ГЕРМАН МЕЛВИЛЛ

ПЬЕР

ПЬЕР

Герман Мелвилл

Аннотация
ПЬЕР. Герман Мелвилл
Книга I. Пьер. в подростковом возрасте
Книга II. Любовь, восхищение и тревога
Книга III. Предчувствие и подтверждение
Книга IV. Ретроспектива
Книга V. Опасения и приготовления
Книга VI. Изабель, и первая часть её истории
Книга VII. О том, что произошло между двумя встречами Пьера с Изабель на ферме
Книга VIII. Вторая беседа в сельском доме и вторая часть истории Изабель и их прямое воздействие на Пьера
Книга IX. Более светлая, и мрачнеющая от этого света. более мрачная, и светлеющая от этого мрака
Книга X. Беспрецедентное и окончательное решение Пьера
Книга XI. Он переходит рубикон
Книга XII. Изабель, г-жа Глендиннинг, портрети Люси
Книга XIII. Они покидают луга

Книга XIV. Поездка и брошюра
Книга XV. Кузены
Книга XVI. Первая ночь по их прибытии в город
Книга XVII. Молодая Америка в литературе
Книга XVIII. Пересматривая Пьера,. как молодого писателя
Книга XIX. Церковь Апостолов
Книга XX. Чарли Миллторп
Книга XXI. Пьер торопится создать и сдать зрелую работу. Новости с лугов. Плинлиммон
Книга XXII. Цветочный занавес поднялся перед тропическим автором с некоторыми замечаниями относительно необыкновенной философии банной щётки
Книга XXIII. Письмо для Пьера. Изабель. Прибытие мольберта и багажа Люси в Апостолы
Книга XXIV. Люси в Апостолах
Книга XXV. Люси, Изабель и Пьер. Пьер и его книга. Энцелад
Книга XXVI. Прогулка; иностранный портрет; парус и конец
Послесловие

Аннотация

Новая Англия. Первая половина 19-го века. Молодой, богатый, красивый и успешный американский аристократ готовится к свадьбе. За несколько дней до этого события он получает письмо от таинственной незнакомки, которое делает его заложником понятий о чести и достоинстве, заставляя серьёзно пересмотреть свои планы.Многие события взяты из жизни самого автора, неудовлетворённого как материальной, так и личной стороной своей жизни.

ПЬЕР
Герман Мелвилл

Переводчик Роман Михайлович Каменский

© Герман Мелвилл, 2020
© Роман Михайлович Каменский, перевод, 2020

ISBN 978-5-0051-1437-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

PIERRE;

OR,

THE AMBIGUITIES.

BY

HERMAN MELVILLE.

NEW YORK:
HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS
329 & 331 PEARL STREET,
FRANKLIN SQUARE.
1852.

К 200-летию Германа Мелвилла

Книга I
Пьер в подростковом возрасте

I

Бывает так, что неким необычным летним утром в деревне приезжий горожанин, идущий по дороге, оказывается сраженным удивительным, подобным сну, зеленым и золотым пейзажем. Ни один цветок не шевелится, деревья забывают махать ветками, трава сама собой, кажется, прекращает расти, и вся Природа будто внезапно узнает о своей собственной глубокой тайне и, ощущая потребность скрыться от неё, не иначе как в тишине, погружается в этот замечательный и неописуемый покой.

Таким же было июньское утро, когда, выйдя из дверей старого островерхого отеческого дома, Пьер, умытый и выспавшийся, весело пошел по длинной, широкой пригородной улице, обрамленной арками из вязов, и с её середины подсознательно направил свои шаги к дому, который выглядывал почти в самом конце аллеи.

Повсюду простиралось зеленое сонное царство, не потревоженное ничем, кроме пестрых коров, мечтательно бредущих к своим пастбищам, даже не погоняемых румяными мальчиками с белыми ногами.

Тронутый и околдованный очарованием этой тишины, Пьер приблизился к дому и, резко застыв, поднял свой взгляд, устремив его на одну из открытых верхних оконных створок. Почему сейчас он так возбудился, юный молодец? Почему загорелись его щеки и глаза? На подоконнике покоилась белоснежная глянцевая подушка, и роскошный темно-красный цветок с вьющегося куста мягко улегся на неё.

Хорошо, что тебе, ароматному цветку, дозволено было найти эту подушку, подумал Пьер, ведь час назад её собственная щека, должно быть, покоилась там.

«Люси!»

«Пьер!»

Поскольку сердце отзывается на звон сердца, то в яркой утренней тишине оба они несколько мгновений стояли тихо, пылко слушая друг друга, взаимно наполненные безраздельным восхищением и любовью.

«Всего лишь „Пьер“?», — рассмеялся, наконец,

юноша, — «ты забыла пожелать мне доброго утра»

«Этого было бы маловато. Доброго утра, добрых вечеров, добрых дней, недель, месяцев и лет тебе, Пьер; — умный Пьер! — Пьер!»

Действительно, подумал юноша, глядя тихо и пристально с невыразимой нежностью; воистину, небеса открылись, и этот ангел призывно смотрит вниз. — «Я верну тебе твое множество разных хороших дней, Люси, не зависимо от того, каковы будут пережитые ночи; и, слава Небесам, но ты принадлежишь местам, где день бесконечен!»

«Фу, ну вот, Пьер; почему-то вы, молодые люди, всегда клянетесь, когда влюблены!»

«Потому, что в нас живет любовь земная, а с вами она достигает смертельных небес!»

«Тут ты снова воспарил, Пьер, ты всегда очень искусен в стремлении обмануть меня. Скажи мне, почему вы, молодые люди, всегда демонстрируете столь милое мастерство по превращению всех наших пустячных достоинств в ваши трофеи?»

«Я не знаю, так ли это, но когда-то это было в вашей манере». И, задев оконную створку, он сорвал с куста цветок и демонстративно закрепил его на своей груди. — «Теперь я должен идти; Люси,

смотри! с этим цветком я и промаршируюю»

«Брависсимо! о, мой единственный рекрут!»

II

Пьер был единственным сыном богатой и надменной вдовы, леди, которая внешне представляла уникальный образец консерватизма и склонности к украшательству, здоровья и богатства, соединенного с тонким умом средней культуры, не испорченного каким-либо безутешным горем, и никогда не отягощенным низменными заботами. В зрелом возрасте румянец все еще чудесным образом играл на её щеках, но ещё не совсем расплелась ее гибкая талия, морщины не избороздили гладкость ее чела, алмазный блеск не покинули ее глаз. Поэтому в свете огней танцевального зала г-жа Глендиннинг все еще затмевала гораздо более молодых кокеток, и избирательно ободряла их, сопровождаемая шлейфом страстно увлеченных волокит, ненамного старших по возрасту её собственного сына Пьера.

Но почтительный и преданный сын оказался для этой вдовы самым любимым Цветком, и помимо всего этого Пьер, будучи неузнанным, раздражался от ревности, движимый слишком

горячим восхищением красивых молодых людей, которые время от времени, случайно попав в ловушку, казалось, лелеяли некие безумные надежды на женитьбу на этом недосягаемом существе; Пьер несколько раз с наигранной злобой открыто клялся, что кавалер — седобородый или безбородый — который осмелится предложить брак его матери, должен будет неким неведомым путем безоговорочно исчезнуть с поверхности земли.

Эта романтичная сыновняя любовь Пьера, казалось, полностью находила ответ в триумфальной материнской гордости вдовы, которая в ясных чертах и благородном характере сына видела свою собственную грацию, определенным образом спроецированную на противоположный пол. Между ними имелось разительное личное сходство, и поскольку мать, казалось, надолго застыла в своей красоте, не учитывающей пролетающие годы, то Пьер, казалось, обзавелся этой красотой середины жизненного пути в великолепном раннем развитии форм и черт, почти продвинувшись к той зрелой точке Времени, где на пьедестале так долго стояла его мать. В игривости их безоблачной любви и с этой странной привилегией, обеспечивавшей

чистейшее доверие и взаимопонимание во всех взаимоотношениях, что так долго развивалась между ними, они имели привычку называть друг друга братом и сестрой. И на публике, и вне её они так и поступали, но когда оказывались среди незнакомцев, эти обращения иногда провоцировали забавные предположения, в первую очередь, в адрес неувядающей г-жи Глендиннинг, всецело переносящей эти юношеские притязания. — Так свободно и светло для матери и сына текла чистым течением их совместная жизнь. Но пока еще чистая река несла свои волны, отражаясь от береговых скал, где впредь ей было предназначено стать навсегда разделённой на два несмешиваемых потока.

Один прекрасный английский автор тех времен, перечисляя начальные свойства предписанной ему по рождению судьбы, сообщает в первую очередь о том, что он появился на свет в деревне. Так же обстояло и с Пьером. Это была его судьба, родиться и быть взлелеянным в стране, окруженной пейзажем, чье необычное очарование было чистейшей формой тонкого и поэтического ума, в то время как популярные названия его самой прекрасной родословной относились к самым величавым патриотическим и фамильным ассо-

циациям исторической линии Глендиннингов. На лугах, которые уходили вдаль от затененной задней части поместного особняка, дальше к извилистой реке, в более ранние дни колонии происходило сражение с индейцами, и в том сражении прадед Пьера по отцовской линии, смертельно раненный и потерявший лошадь, сидел в траве на своем седле, все еще подбадривая умирающим голосом своих сражающихся однополчан. Так и появились Оседланные луга[1], название от которых перешло на особняк и деревню. Вдали от этих равнин, на расстоянии пешеходного перехода для Пьера высились легендарные высоты, где в войне за независимость его дед в течение несколько месяцев защищал простой, но важный укрепленный форт от повторных нападений совместных войск индейцев, тори и английских солдат. Перед этим из форта бежал наполовину джентльмен и наполовину разбойник Брандт, но выжил и отобедал с генералом Глендиннингом в мирное время, которое последовало за этой мстительной войной. Все ассоциации с Оседланными Лугами преисполняли Пьера гордостью. Дело Глендиннингов,

---

1 Примечания: 1
Имеется в виду, что прадед Пьера «оседлал» луга (прим. пер.)

на котором так долго держалось их благосостояние, пробило себе путь при помощи секрета трех Индийских королей: местными и только законными операциями с этими благородными лесами и равнинами. Поэтому многозначительным в эпоху описанной его юности становился взгляд Пьера, когда он смотрел на основу благосостояния своего рода, обращая мало внимания на свою зрелость, а больше — на внутреннее развитие, которое должно было навсегда лишить его великой гордости в душе за все эти богатства.

Но воспитание Пьера оказалось бы неразумно ущербным, если б его молодость непрерывно проходила только на деревенских просторах. В очень раннем возрасте он начал сопровождать своих отца и мать — впоследствии одну только мать — в их ежегодных визитах в город, где, вполне естественно смешиваясь с многочисленным и изысканным обществом, Пьер незаметно формировался в более воздушных грациях жизни без ослабления энергии, происходящей из военной составляющей и взлелеянной в чистом деревенском воздухе.

Но пока столь свободно развивались его личность и манеры, Пьер познавал высшее совершенство и в культуре прекрасного. Не напрасно

потратил он свои долгие летние дни в глубоких нишах приличной по размеру и привередливо собранной библиотеки своего отца, куда во множество лабиринтов изумляющей всех красоты нимфы Спенсера завели его еще в раннем возрасте. Таким образом, благородный жар его конечностей и мягкий, воображаемый огонь в его сердце продвигали Пьера к зрелости, эгоистичному периоду беспощадной проницательности, когда все это нежное тепло должно было казаться ему холодным, и он был бы должен безрассудно потребовать более горячего огня.

Но гордость и любовь, которые в изобилии повлияли на юношеское воспитание Пьера, пренебрегли его культурой в самой глубине всего сущего. Такой же принцип был у отца Пьера, — что все благородство это тщета, все его требования нелепы и абсурдны, если изначальная мягкость и золотые человеческие качества религии могут быть основательно испорчены, переплетясь со структурой характера, и тот, кто объявляет себя джентльменом, может также полноправно принимать кроткий, но царственный образ христианина. В возрасте шестнадцати лет Пьер со своей матерью принял участие в Святом Причастии.

Возможно, что излишне и еще более тяжело точно отследить абсолютные побуждения, которые были порождены этими юношескими клятвами. Достаточно сказать, что Пьер унаследовал и другие многочисленные благородные качества своих предков и, поскольку он нес теперь звание наследника их лесов и ферм и на основе того же самого неощутимого движения, казалось, унаследовал их смиренное уважение к почтенной Фейт (Судьбе), которую первый из Глендиннингов перевез через море, похитив из-под тени английского министра. Таким образом, в Пьере находилась настоящая полированная сталь джентльмена, подпоясанного Шелковым поясом религиозности, и воинская судьба его прадеда преподнесла ему урок, гласящий, что этот крепкий пояс должен в последнем горьком испытании предоставить его владельцу саван Славы так, чтобы тот, кто всю жизнь носил пояс ради Благодати, в смертельный час смог бы быть им убережен. Но одновременно, как и все живые люди, осознающие красоту и поэзию веры его отца, Пьер совсем не догадывался, что у этого мира есть тайна, более глубокая, чем красота, и в Жизни есть такие трудности, которые тяжелее смерти.

К настоящему времени настолько прекрасной казалась Пьеру светлая летопись его жизни, что только один пробел не был заполнен в этом слащаво написанном манускрипте. В тексте не хватало сестры. Он горевал, что настолько восхитительное чувство, как братская любовь, не было ему доступно. Не могло фиктивное обращение, которое он так часто расточал на свою мать, как ни крути, наполнить действительность. Эта эмоция была самой естественной, и полную причину и ее первооснову даже Пьер в это время не мог полностью оценить. Поскольку, само собой, нежная сестра — едва ли не лучший подарок мужчине, и она оказывается первым жизненным подарком, поскольку жена появляется после. Тот, кто лишен сестер, тот словно холостяк в своей перспективе. Восхищение женой уже таится в сестре.

«О, лучше бы у моего отца была дочь!» — восклицал Пьер. — «Кто-то, кого я мог бы любить и защищать, и драться за неё, если нужно. Это же великолепно, участвовать в смертельной схватке за имя милой сестры! Теперь за все, что у меня есть, я попросил бы у небес себе сестру!»

Таким образом, прежде чем оказаться в более нежных узах с возлюбленной, Пьер часто при-

зывая небеса подарить ему сестру; но Пьер тогда еще не знал, что если человек заранее о чем-то будет хорошо молить, то потом получит ответ, удовлетворяющий самые искренние молитвы его юности.

Возможно, случилось так, что эта странная тоска Пьера из-за сестры частично проистекала из-за еще более необычайного чувства одиночества, которое он иногда испытывал, не только как одинокий глава своей семьи, но и единственный мужчина — живой прямой представитель рода Глендиннингов. Сильная и многочисленная фамилия постепенно перетекла в женские ветви, так что Пьер оказывался окруженным многочисленными родственниками и родственницами, но все же не компанией, состоящей хотя бы из одного живого мужского представителя рода Глендиннингов, за исключением двойника, отражавшегося ему в зеркале. Но, по большей части, в обычном естественном настроении эта мысль совершенно не доставляла ему печали. Нет, иногда она становилась ликующе волнительной. Поскольку в румянце, возбуждении и тщеславии его юной души, он нежно надеялся иметь монополию на славу капители колонны, поставленной его благородными родителями.

Обо всем этом наш Пьер не был предупрежден из-за того, что усвоил уроки о предзнаменованиях и о пророчествах об успехах Пальмиры лучше, чем про её руины. Среди этих руин стояла разрушенная, незаконченная колонна, одна на несколько лиг вокруг, давным-давно оставленная в карьере, с соответствующей ей капителью, столь же одинокой. Это Время захватило её и обтрепало, это Время было сосредоточилось в яйце, и гордую горную вершину, которая должна была парить среди облаков, Время оставило похороненной в земле. О, это самое злостное право собственности, когда Время овладевает сыновьями человеческими!

III

Как уже говорилось, красивый сельский пейзаж, окружавший Пьера, напоминал о славных событиях. Путем простых возможностей эта прекрасный край облагородился трудами его прародителей, и из-за долгого и непрерывного владения его родом все его холмы и трясины в глазах Пьера казались ему священными.

Этот изначальный идеализм, который, при любящем взгляде был освящен, как минимум, пустяками, хоть раз бывает знаком человеку,

потерявшему любовь, и для Пьера весь земной пейзаж вокруг него касался талисманом: из-за воспоминаний, что с этих холмов пристально глядели его собственные прекрасные отцы, что через эти леса, вот по этим полянам, вдоль этих ручьев, вдоль этих запутанных тропинок, будучи девочками, весело прогуливалось множество великих дам; из-за ярких воспоминаний Пьер считал всю эту часть земли символом любви, а сам горизонт был для него кольцом на память.

Монархический мир обычно любит воображать, что в демагогической Америке у священного Прошлого нет твердо стоящих статуй, а всё без почтения кипит и варится в вульгарном котле, никак не кристаллизуясь. Это самомнение, как оказывается, вряд ли применимо к социальным обстоятельствам. Разве без раздачи дипломов аристократии не может существовать какой-либо закон, согласно которому любая семья в Америке способна увековечить собственное величие? Конечно, существует общепринятое мнение, которое гласит, что семья, заметная на протяжении одной половины столетия, должна будет узреть свою важность; этот принцип, несомненно, распространяется и на третье сословие. В наших городах случается взрывное возвышение семей,

подобное появлению пузырей в чане. В действительности элемент демократии воздействует на нас в качестве кислотной подпитки; новое производство всегда разъедает созданное прежде, подобно тому, как на юге Франции ацетат меди, примитивный материал для одного из видов зеленой краски, производится из виноградного уксуса, вылитого на медные пластины. Сейчас в целом ничего не может быть более значительным для распада, чем идея коррозии; однако, с другой стороны, ничто не может более ярко представить богатство жизни, нежели идея зеленого цвета, поскольку зеленый — всеобщая своеобразная отличительная метка плодородия самой Природы. Здесь, следуя аналогии, мы созерцаем заметную аномалию Америки, чей дух за рубежом — не стоит удивляться — понимается неверно, когда мы видим, что он по-особому противоречит всем предшествующим человеческим понятиям о природе вещей; и в нем замечательно то, что сама Смерть преобразовывается в Жизнь. Поэтому политические институты, которые в других землях кажутся, прежде всего, весьма искусственными, в Америке кажутся обладающими божественным достоинством естественного права; самый главный из законов

Природы состоит в том, что из Мертвого она создает Живое.

Однако есть что-то в видимом мире, на что постоянно меняющаяся Природа не имеет такого неограниченного влияния. Трава ежегодно меняется, но ветви дуба в течение долгого количества лет бросают вызов этому ежегодному правилу. И если в Америке огромные массы семейств подобны травинкам, то всё же есть немногие — те, что стоят как дубы, которые вместо распада ежегодно выбрасывают новые ветви, вследствие чего Время вместо своего противостояния вынуждено сдаваться при своем многократном преимуществе.

В этом вопросе мы будем — не с чувством превосходства, но взвешенно, — сравнивать родословные с английскими и, как это не непривычно на первый взгляд, без некоторого требования равенства. Осмелюсь сказать, это в этом случае «Книга званий пэров» — хороший статистический стандарт, соответствующий суждению о ней; с тех пор составители этой работы не могут быть совершенно отстраненными от тех, на чей патронаж они больше всего полагаются; и общего понимания нашего собственного народа будет достаточно, чтобы судить о нас. Но великолепие

имен не должно вводить нас в заблуждение относительно их скромности. Поскольку дыхание всех наших легких наследственно, и мое дыхание в данный момент происходит и будет дальше продолжаться, в отличие от тела нынешнего иудейского Первосвященника, насколько до конца можно будет проследить за ним, — то поэтому простые имена, которые также не эфемерны, сообразно этому наслаждаются этим бесконечным обновлением. Но если Ричмонд и Сент-Олбэнс, и Графтон, и Портленд, и Баклед, это имена почти столь же стары, как сама Англия, то нынешние Герцоги к тем именам относят свои собственные подлинные родословные до Карла II и не находят там совсем чистого источника, начиная с которого мы бы увидели менее славное происхождение под солнцем, как например, точное происхождение Бакледа, чья прародительница не смогла избежать материнства — что является истиной — но случайно пренебрегла предварительным обрядом. Все же король был родителем. Только это еще хуже: ведь если нищий наносит маленькое оскорбление, то получить удар от джентльмена смертельно оскорбительно, и, следовательно, все подзаконные удары королей оказываются весьма нелестными. В Англии зва-

ние пэра поддерживается его непрерывными восстановлениями и присвоениями. Только Георг III присвоил титул пэра пятистам двадцати двум человекам. Графство, временно бездействуя в течение пяти веков, внезапно принимается неким простым человеком, к которому оно не перешло никак иначе, чем путем искусства адвокатов, повернувших дело в нужном направлении. Темза не так извилиста в своем естественном течении, и не столь искусно русло Канала Бриджуотер, как ток крови в извилинах вен этой искусственной знати. Непрочные как солома и эфемерные как грибы, эти титулованные семьи в должной последовательности живут и умирают на вечной почве имени. В Англии на сей день две тысячи пятьсот званий пэра лишились первоначальных хозяев, но их имена живы. Поэтому, чтобы пустой воздух имени был более прочен, чем человек или человеческая династия, дух наполняет легкие человека и оживляет его, но сам человек не может наполнить и оживить им воздух.

Теперь я отдаю честь и все свое почтение людям и их именам, но если Сент-Олбанс говорит мне, что он всегда был благороден и всегда вечен, то я должен все же вежливо отослать его к Нелл

Гвинн[2].

До Карла II, действительно, очень немногие — едва достойные упоминания — представляют английские семьи, которые могут отследить прямую неискаженную родословную от нормандских рыцарей. После Карла II их прямые генеалогии кажутся тщетными, подобно тому, как некий еврейский старьевщик с чайницей на голове перевернул бы первую главу Евангелия от Матвея, чтобы установить причастность к крови царя Саула своего предка, умершего задолго до начала царской карьеры.

Теперь, не распространяясь заранее о том, что, в то время как в Англии огромная масса государственной каменной кладки пускается в ход в качестве опоры для поддержки наследственного существования определенных домов, скажем, что с нами невозможно допустить ничего подобного и, опустив всякое упоминание о сотнях незаметных семей в Новой Англии, которые, тем не менее, могли бы легко проследить свое неразрывное английское происхождение до правления Карла Первого, нельзя не сказать о старых и восточных английских семьях плантаторов

---

2 Примечания: 2

Нелл Гвинн — английская актриса, любовница и фаворитка короля Англии Карла II (прим. пер.)

Вирджинии и Юга: например, о Рэндольфах, один из предков которых более чем двести лет назад во времена короля Якова был женат на индейской княжне Покахонтас и из-за чей крови лишился исконных королевских привилегий; посмотрите на те же древние и великолепные голландские Поместья на Севере, чьи шесты — в мили длиной, чьи луга покрывают смежные страны и чья высокая рента держится на тысячах фермеров-арендаторов, пока трава растет и пробегают воды, намекая на удивительную вечность дел, и, кажется, делает адвокатские чернила неисчерпаемыми, как море. Возраст некоторых из этих поместий составляет два столетия, и их нынешние покровители или лорды покажут вам стойки и камни своих поместий, уложенные там — камни, по крайней мере, — до рождения Герцогини-матери Нелл Гвинн, и генеалогии которых, как и их собственная река Гудзон, проистекает совсем издалека и более пряма, чем Змеиный ручеек в Гайд-парке.

Эти уходящие вдаль голландские луга лежат, погрузившись в гиндукушский туман; восточная патриархальность дрожит своей плавной дугой над пастбищами, где должен кормиться скот арендаторов, пока не вырастет их собственная

трава, пока не убегут их собственные воды. Такие состояния, кажется, бросают вызов зубу Времени, и обстоятельства, при которых берут власть над неразрушимой землей, кажется, согласовывают наследственные права с вечностью. Невообразима смелость червя, не проползшего сквозь почву, которую он столь высокомерно требует!

В округе Мидленд в Англии они хвастают старыми дубовыми столовыми, где во времена господства Плантагенетов в дождливый день могли упражняться триста воинов. Но наши Господа не обращаются к прошлому, а указывают на настоящее. Каждый покажет вам, что население графства — всего лишь часть списка его арендаторов. Горные цепи, высокие как Бен-Невис или Сноудон, это их стены; и регулярная армия, с офицерскими денщиками и с артиллерией пересекая реки, проходя через первобытные леса и пробираясь по теснинам между огромных скал, накладывает арест на имущество трех тысяч фермеров-арендаторов одного владельца, если судить по записям. Факт, более чем наводящий на обоюдные размышления, и об обоих здесь говорить не стоит.

Но независимо от того, что можно думать о существовании их могущественных светлостей

в сердце республики, мы можем задаться вопросом об их выживании, подобно Индейским насыпям в Революционном потопе; все же они выжили и существуют, и теперь принадлежат своим нынешним владельцам, как какой-нибудь крестьянин с добрым именем владеет старой шляпой своего отца, а какой-нибудь герцог — старой диадемой своего двоюродного деда.

Учитывая все это, мы теперь не сильно ошибемся, если кротко осмыслим, что, приняв решение прославить себя саму на незначительном отрезке времени, наша Америка разберется с Англией в этом основном различии в небольшом коротком вопросе о больших состояниях и длинных родословных — родословных, как я подозреваю, в которых нет недостатков.

IV

В общих чертах мы все-таки разобрались в утверждении великой генеалогии и в относящемуся к недвижимости величию некоторых семей в Америке, поскольку при этом мы поэтично обосновали наполненное аристократизмом положение Господина Пьера Глендиннинга, для которого мы прежде потребовали некоего особого фамильного отличия. И наблюдательному

читателю продолжение покажет, насколько важны эти обстоятельства, которые отсылают нас к рассмотрению особого развития характера и исключительного своеобразия жизненного пути нашего героя. И при этом ни один человек не помыслит о том, что последняя глава будет отдана просто глупой браваде, а не твердой цели.

Теперь Пьер стоит на этом благородном пьедестале; мы увидим, удержит ли его это прекрасная опора, мы увидим, заключена ли частица Судьбы в этом маленьком слове или в паре слов. Но это не значит, что Глендиннинги жили до Фараонов, или что события в Оседланных Лугах имеют отношение к Трем Волхвам в Евангелиях. Тем не менее, эти дела, как мы прежде намекнули, действительно относятся ко времени трех королей — индийских королей — только к более прекрасным периодам.

Но если Пьер не относился ко времени Фараонов, и если английский фермер Хэмпденс был несколько старше даже самого старого Глендиннинга, и если некоторые американские поместья не превышали его поместья на несколько дополнительных лет и квадратных миль, все же не стоит думать, что юноше девятнадцати лет вообще возможно — просто ради пробы — усы-

пать свою наследственную кухонную каменную плиту под очагом сжатыми пшеничными колосьями и, встав там в дымоходе, начать молотить это зерно цепом, чьи воздушные эволюции превратились бы в свободную игру среди всей этой каменной кладки; возможно ли молотить цепом пшеницу в своем собственном наследственном кухонном дымоходе, не почувствовав хотя бы один или два приступа боли, которую можно назвать семейной гордостью? Я должен сказать, что нет.

И как вы считаете, что было бы с этим юным Пьером, если бы каждый день, спускаясь к завтраку, он не видел старое изодранное британское знамя или два, нависающие над арочным окном в его зале, которые были захвачены его дедом, генералом, в битве за справедливость? И как вы считаете, что было бы, если бы каждый раз, слыша музыку военной компании в деревне, он отчетливо не опознавал особый сигнал британской литавры, также захваченной его дедом в честной битве — о чем гласила надпись на меди — и ставшей наградой Артиллерийскому Корпусу Оседланных Лугов? И как вы считаете, что было бы, если когда-нибудь тихим задумчивым утром Четвертого июля в деревне, он

вышел бы в сад, опираясь на церемониальный посох, длинный, величественный, посох с серебряным наконечником, жезл генерал-майора, когда-то послушный кивающему перу и указывающий цель мушкету того же самого деда несколько раз выше упомянутого? Я должен сказать, что описываю Пьера пока еще довольно молодым и совсем не философом, и, кроме того, довольно благородного происхождения, иногда читавшего Историю Революционной Войны и имевшего мать, которая очень часто делала туманные дружеские намеки на эполеты генерал-майора его дедушки; — я должен сказать, что во всех этих случаях, история, с которой он жил бок о бок, была наполнена гордостью и ликованием. И если в Пьере окажется не только любовь и безрассудство, и если вы скажете мне, что эти черты его характера не открывали в нем подлинного демократа, и что действительно благородный человек никогда не должен хвастать какой-либо силой, кроме как своей собственной, то тогда я прошу вас снова обратить внимание на то, что этот Пьер был пока всего лишь мальчиком. И поверьте мне — вы объявите Пьера радикальным демократом в свое время, возможно даже, что немного более радикальным, чем вы

можете вообразить.

В заключение не обвиняйте меня, если здесь я повторюсь и сошлюсь на свои собственные слова и высказывания о том, что судьбоносным уделом Пьера было родиться и вырасти деревне. Ведь для благородного американского юноши действительно — больше, чем в любой другой стране — это очень редкий и избранный жребий. Замечено, что в сравнении с другими странами предмет главной и прекрасной семейной гордости это дом, и это более заметно среди нас, гордо ссылающихся на город, как на место его расположения. Вот также часто американец, который сам наживает состояние, строит свой великий столичный дом на самой столичной улице большинства столичных городов. Примем во внимание, что европеец того же самого уровня с этой целью мигрирует в деревню. То, что там европейцу лучше, этого ни один поэт, ни один философ и ни один аристократ не будет отрицать. Ведь сельская местность почитается им не только как самая поэтичная и философская, но и как самая аристократическая часть земли, и многочисленные барды облагораживают её множеством прекрасных эпитетов. Примем во внимание, что город это более плебейская

часть страны, которая, помимо многих других вещей, демонстрирует постоянно грязное немытое лицо, тогда как деревня, словно Королева, постоянно посещается щепетильными камеристками под личинами времен года, а у города есть только одно платье из кирпича, водруженного на камень; но у деревни есть нарядное платье в течение всех недель в году; иногда она меняет свое платье двадцать четыре раза за двадцать четыре часа; и еще деревня носит свое солнце днем как алмаз на челе Королевы, и звезды ночью смотрятся как золотые ожерелья, тогда как солнце города — дымное месиво и совсем не алмаз, и городские звезды — поддельные и не золотые.

Сама Природа растила в деревне нашего Пьера, потому что Природа предназначила Пьеру редкое и особое развитие. Не берите в голову, доказала ли она таким образом двусмысленность его конца; тем не менее, в начале она поступила смело. Она унесла свой горн от синих холмов, и Пьер припадал от лирических мыслей, подобно тому, как при вое трубы боевой конь сам бьет копытами в лирической пене. Она шептала в сочельник из своих густых рощ, и нежные шепоты человечности, и сладкие шепоты любви бежали по венам Пьера, журча как вода, переливающа-

яся через гальку. Она сняла свой украшенный блестками гребень, тускло светившийся ночью, и направила в душу Пьера в блеске их божественного Капитана и Господа десять тысяч мыслей об истоках героизма, ярко светя вокруг для некоторых обиженных, служа им хорошей защитой.

Таким образом, деревня стала для молодого Пьера великолепным благословением; мы увидим, исходило ли это благословение от него так же, как и божественное благословение от «Послания к Евреям»; мы еще раз увидим, как я уже говорил, сможет ли сказать Судьба в этом мире простое скромное слово или пару слов; мы увидим, насколько крошечные остатки латыни далеки от принципа — «Никто против Бога, кроме самого Бога»

V

«Сестра Мэри», — сказал Пьер, вернувшись со своей прогулки на восходе солнца и постучав в дверь покоев своей матери, — «ты знаешь, сестра Мэри, что деревья, которые простояли всю ночь, этим утром снова выстроились перед тобой? — Разве ты не чувствуешь что-то вроде запаха кофе, сестра моя?»

Легкими шагами он переместился к двери,

которая отворилась, открыв взору госпожу Глендиннинг, одетую в великолепную веселую утреннюю одежду и держащую в своей руке яркую широкую ленту.

«Доброе утро, мадам», — сказал Пьер медленно и с поклоном, чье подлинное и самопроизвольное почтение забавно контрастировало с охотничьей манерой, которая ему предшествовала. Столь сладка и благоговейна была его дружеская привязанность, что она достигала максимальной глубины сыновнего уважения.

«Доброго дня тебе, Пьер, ведь день, как я полагаю, уже наступил. Но входи же, ты должен завершить мой туалет, — здесь, брат» — протягивая ленту — «теперь смело за дело» — и, встав подальше от стекла, она стала ждать помощи от Пьера.

«Первая леди в ожидании вдовы, герцогини Глендиннинг», — рассмеялся Пьер и, поклонившись своей матери, он изящно обвил ленту вокруг ее шеи, просто перевязав концы впереди.

«Ну, что ты держишь её там, Пьер?»

«Я собираюсь прикрепить её при помощи поцелуя, сестра, — сюда! — о, какая жалость, что такое крепление не всегда будет держаться! — где камея с оленями, что я дал тебе вчера

вечером? — Ах! на плите — ты пришла, чтобы потом надеть её? — Спасибо, моя внимательная и благоразумная сестра — сюда! — но постой — вот завиток, прямо непоседа — поэтому теперь, уважаемая сестра, надень вот этот ассирийский обруч на голову»

Когда в высшей степени счастливая мать встала перед зеркалом, чтобы подвергнуть критике украшение, полученное от ее сына, Пьер, заметив ее разбросанные тапочки, встал на колени и схватил их. «И теперь к самовару», — вскричал он, — «мадам!» — и с насмешливой галантностью предложил руку своей матери. Пара спустилась к завтраку.

Госпожа Глендиннинг бессознательно исповедовала один из тех принципов, согласно которому женщины иногда преданы без каких-либо размышлений, — никогда не появляться в присутствие своего сына наполовину одетой, что было абсолютно неподобающе. Ее собственное независимое наблюдение за вещами открыло ей множество очень общих принципов, которые на деле часто становятся безжизненными из-за опосредованного их применения. Она отлично сознавала, насколько огромно было это влияние, при котором даже при самых близких сердечных

связях, самое простое появление воздействует на сознание. И поскольку в восхищенном любовании и изящной преданности Пьера состояла теперь ее самая высшая радость в жизни, то она не упускала ни малейшего пустяка, который хоть как-то способствовал сохранению настолько сладких и лестных чувств.

Помимо всего этого, Мэри Глендиннинг была женщиной, и с тщеславием бóльшим, чем обычное женское, — если это можно назвать тщеславием — которое за почти пятьдесят лет жизни ни разу не предавало ее в случае нарушения приличий, или вызвало бы у нее известную только ей острую сердечную боль. Кроме того, она никогда не тосковала по восхищению, потому что вечная привилегия красоты была ее неотъемлемым правом, она всегда обладала ею; она не поворачивала ради него свою голову, так как оно самопроизвольно всегда окружало ее. Тщеславие, которое при большом скоплении женщин приближается к душевному пороку, а потому и к видимому изъяну, в ее особом случае — пусть и в высшей степени — все еще было символом самого крепкого здоровья; не зная, что такое тоска по удовлетворению, она почти совсем не осознавала, что обладает этим чув-

ством целиком. Многие женщины несут этот свет своих жизней, пылающий на их лбах, но Мэри Глендиннинг бессознательно носила его внутри себя. Всеми бесконечными узорами женского очарования она невозмутимо пылала как ваза, которая, будучи освещенная изнутри, не показывает внешний признак освещающего её пламени, но, как кажется, сверкает самыми изысканными достоинствами мрамора. Но то обманчивое материальное восхищение, какое испытывают на балу некоторые женщины, не было восхищением матери Пьера. Ни всеобщее уважение мужчин, ни избранное уважение самого благородного мужчины не было таким, какое она ощущала по принадлежащему ей праву. И так как её собственные материнские пристрастия были добавлены к славным, редким и абсолютным достоинствам Пьера, то она видела добровольную преданность его нежной души, всеохватную верность вассала феодалу, избранному гильдией его рода. Таким образом, помимо пополняемого через все ее вены самого тонкого тщеславия она уже была удовлетворена уважением одного только Пьера.

Но что касается ощущений и духа женщины, то восхищение даже самым благородным и самым

одаренным человеком никак ею не ощущается, пока она остаётся под непосредственным влиянием практической магии на её душу; и потому, несмотря на все интеллектуальное превосходство над своей матерью, Пьер, из-за неизбежной слабости неопытной и незрелой юности был необычно внимателен к материнскому обучению почти всем вещам, к которым у него к настоящему времени имелся интерес или же они его касались; следовательно для Мэри Глендиннинг это почтение Пьера было сполна наделено всем самым гордым восхищением и чарами самодовольства, которые только может чувствовать большинство завоевательных девственниц. Более того. Этот несказанный и бесконечно тонкий аромат невыразимой нежности и внимания, каждый раз становясь всё более изящным и благородным, присутствует одновременно с ухаживанием и предшествует заключительному оглашению имен вступающих в брак и брачной церемонии, но — как букет самых дорогих немецких вин — слишком часто испаряется с потоков любви при питье из кубков разочарований от супружеских дней и ночей; эта самая высокая и самая эфемерная вещь среди всех переживаний нашей смертной жизни; эта

небесная эфемерность — еще более эфемерная в сыновней груди — была для Мэри Глендиннинг, теперь не очень далекой от своего великого критического периода, чудесным образом возрождена в учтивом и подобном любви обожании Пьера.

Чисто случайная комбинация самых счастливых и самых редких моментов на земле целиком преобразуется в замечательный, но не ограниченный по продолжительности кульминационный период времени, который столь фатален для обычной любви; этот нежный период, во время которого мать и сын все еще вращались на одной орбите радости, казался проблеском прекрасного шанса на то, что самая божественная из тех эмоций, которые являются прологом к самому сладкому сезону любви, способна на безграничные изменения во множестве незаметных отношений среди нашей разнообразной жизни. Отдельным и самостоятельным путем, она, казалось, здесь и дальше почти реализовала сладкие мечты тех религиозных подвижников, которые рисуют нам приближающийся Рай, когда в эфемерности всех платьев и красок самые святые страсти человека будут объединять все кланы и страны в одном кругу чистого и неослабеваю-

щего восхищения.

VI

Существовала, однако, одна небольшая приземленная черта, которая, по мнению некоторых, могла уронить романтические достоинства благородного Пьера Глендиннинга. У него всегда был превосходный аппетит, и особенно за завтраком. Но когда мы полагаем, что, несмотря на то, что руки Пьера были маленькими, и его манжеты белыми, его рука все же ни в коем случае не была изящна, и цвет его лица был близок к коричневому; и что он обычно поднимался вместе с солнцем и не мог уснуть, не проездив верхом свои двадцать, или не пройдя пешком свои двенадцать миль в день, или не порубив больших болиголовов в лесу, или не побоксировав, или не пофехтовав, или не позанимавшись греблей, или не свершив некий другой гимнастический подвиг; когда мы говорим об атлетическом сложении Пьера и мощной мускулатуре и мышцах, составлявших его тело, то стоит упомянуть, что вся эта мускульная сила и мышцы три раза в день громко требовали внимания, и мы очень скоро почувствуем, что в наличии хорошего аппетита нет никакого вульгарного упрека, а есть лишь признак королевского изящества и чести Пьера,

характеризующие его как мужчину и джентльмена, поскольку полностью развитый джентльмен всегда крепок и здоров, а крепость и здоровье — великие гурманы.

Таким образом, когда Пьер и его мать спустились к завтраку, и Пьер внимательно посмотрел, все ли там максимально удобно для нее, и дважды или трижды приказал солидному и старому Дейтсу, слуге, опустить и поднять оконные рамы так, чтобы ни один сквозняк не смог свободно овладеть шеей его матери, после чего проследил за всем этим, но очень тихо и незаметно; и после приказа невозмутимому Дейтсу отойти в сторону, в горизонтальном особом свете нарисовалась прекрасная радостная картина в веселом фламандском стиле (в подобном стиле живопись и так висела на стене, как образец для сравнения), а затем с места, где он сидел, после несколько вдохновленных взглядов на заливные луга, уходящие вдаль за голубые горы, Пьер подал таинственный масонский знак сиятельному Дейтсу, который, автоматически повинуясь, угодливо перенес с особого маленького подноса очень пышный холодный мясной пирог, оказавшийся при осторожной пробе ножом пышным пикантным гнездом для нескольких необыкновенно

нежных голубей, собственноручно подстреленных Пьером.

«Сестра Мэри», — сказал он, снимая при помощи серебряного трезубца один из множества отборных прекрасных кусочков голубя, — «Сестра Мэри», — сказал он, — «стреляя в этих голубей, я очень старался сбить их таким способом, чтобы оставить грудки неповрежденными. Они были предназначены для тебя! и они здесь. Теперь, старина Дейтс, помоги ближней тарелке своей любимицы. Нет? — ничего кроме крошек от французского рулета и несколько взглядов в кофейную чашку — это что, завтрак дочери вон того смелого Генерала?» — указывая на своего во весь рост обшитого золотым галуном деда на противоположной стене. «Ну, это же несчастье, если я должен буду завтракать за двоих. Дейтс!»

«Сэр».

«Удали эту подставку для гренков, Дейтс, и эту тарелку с языками, и поставь рулет поближе, и откати столик подальше, славный Дейтс»

Таким образом, создав требуемую для себя обстановку, Пьер приступил к завтраку, прерывая наполнение рта множеством веселых шуток.

«Ты, кажется, находишься в потрясающе

прекрасном настроении этим утром, братец Пьер», — сказала его мать.

«Да, в очень сносном; по крайней мере, я не могу точно сказать, что я подавлен, сестра Мэри. — Дейтс, мой славный друг, принеси мне три миски молока»

«Одну миску, сэр, — вы имеете в виду», — сказал Дейтс серьезно и невозмутимо.

Как только слуга покинул комнату, мадам Глендиннинг сказала: «Мой уважаемый Пьер, ты часто просил меня никогда не разрешать твоей веселости переходить за грань и перешагивать через четкую линию достоинства в твоем общении со слугами. Давешний взгляд Дейтса был почтительным выговором тебе. Ты не должен говорить Дейтсу „Мой добрый приятель“. Он прекрасный человек, весьма прекрасный человек, воистину, так; но совсем нет надобности сообщать ему об этом за моим столом. Очень легко быть совершенно добрым и приятным для слуг без малейшей тени намека на кратковременную общительность с ними»

«Хорошо, сестра, несомненно, ты в целом права; после этого я буду пропускать слово „добрый“, и не говорить Дейтсу ничего, кроме слова „приятель“, — „Приятель, поди сюда!“ — как ты на это

ответишь?»

«Никак, Пьер — но ты не Ромео, ты знаешь, и поэтому для присутствующих я пропускаю твою чепуху»

«Ромео! о, нет. Я далек от того, чтобы быть Ромео», — вздохнул Пьер. «Мне смешно, но он кричал, бедный Ромео! увы Ромео! горе — мне, Ромео! он дошел до скорбного конца, покойный Ромео, сестра Мэри»

«Все же это была его собственная ошибка»

«Бедный Ромео!»

«Он не слушался своих родителей»

«Увы, Ромео!»

«Он женился против их исключительной воли»

«Горе — я, Ромео!»

«Но ты, Пьер, собираешься жениться в ближайшее время, как я уверена, не на Капулетти, но на одном из своих Монтекки, и потому злость Ромео едва ли появится у тебя. Ты будешь счастлив»

«Совсем несчастный Ромео!»

«Не будь настолько смешным, брат Пьер; итак, ты собираешься взять Люси в эту долгую поездку среди холмов этим утром? Она — милая девушка, очень милая девушка»

«Да, это — скорее мое мнение, сестра Мэри. — слава Богу, мама, в пяти округах так не считают! Она — такая — хотя я и говорю так — Дейтс! — он теряет много драгоценного времени, неся это молоко!»

«Позволь ему не торопиться. — Не будь тряпкой, Пьер!»

«Ха! моя сестра немного язвительная этим утром. Я догадался»

«Никогда не неси бреда, Пьер, и никогда не говори напыщенно. Твой отец никогда не делал так, этого нет у Сократа, а ведь оба они были большими мудрецами. Твой отец был глубоко любящим — что я знаю по себе — но я никогда не слышала его напыщенных речей об этом. Он был всегда чрезвычайно благородным: и господа никогда не говорят напыщенно. Бесхарактерность и шумная проповедь маглетонианцев[3] совсем не для господ»

«Спасибо, сестра. — Сюда, поставь его, Дейтс; действительно ли лошади готовы?»

«Просто ездят по кругу, сэр, честное слово»

«Почему, Пьер», — сказала его мать, выглядывая в окно», — ты едешь в Санта-Фе-де-Богота

---

3 Примечания: 3

Маглетонианцы — сторонники протестантского движения в 17 веке (прим. пер.)

на этом огромном старом фаэтоне? Почему ты вытащил этого старого Джагернаута?»

«Юмор, сестра, юмор; мне нравится он, потому что он старомоден, и потому что его сидение — это широкая софа, и, наконец, потому, что девушка по имени Люси Тартэн испытывает к нему уважение. Она поклялась, что хотела бы видеть его в качестве своего свадебного экипажа»

«Ну, Пьер, все, что я должна сказать, так это то, что хочется быть уверенной, что Кристофер положит каретный молоток и гвозди, и много шнуров и винтов в коробку. И ты должен позволить ему следовать за тобой в одной из сельскохозяйственных повозок с запасной осью и несколькими досками»

«Ничего страшного, сестра, ничего страшного, — я проявлю должную заботу о старом фаэтоне. Причудливые старые ручки на панели всегда напоминают мне о том, кто ездил на нем первым»

«Я рад, что ты помнишь об этом, братец Пьер».

«И я тот, кто теперь ездит в нем».

«Будь здоров! — Да благословит тебя Господь, мой дорогой сын! — всегда думай о нем и никогда не ошибешься; да, всегда думай о своем дорогом уважаемом отце, Пьер»

«Ну, поцелуй меня теперь, уважаемая сестра, поскольку я должен идти».

«Вот сюда; это — моя щека, а другая — для Люси; хотя теперь, когда я смотрю на них обеих, то полагаю, что ее сторона более цветущая; более сладкие росы выпадают на нее, я уверена»

Пьер рассмеялся и выбежал из комнаты, поскольку старый Кристофер проявлял нетерпение. Мать подошла к окну и встала там.

«Благородный мальчик, и послушный», — пробормотала она, — «у него есть вся юношеская шаловливость и некоторое легкомыслие. И он не вырастет тщеславным в самоуверенном невежестве. Я, слава Богу, не послала его в колледж. Благородный мальчик, и послушный. Прекрасный, гордый, любящий, послушный, энергичный мальчик. Молю Бога, чтоб он никогда не стал другим. Его будущая молодая жена не отстранит его от меня, поскольку она также послушна, — красива, почтительна и само послушание. Редко бывают такие голубые глаза, как у нее, у тех, кто непослушен, и она не последует за смелым черным цветом, как две кротких овцы в синих лентах следуют за своим воинственным вожаком. Насколько же довольна я, что Пьер любит ее, а не кого-то из надменных темноглазых недо-

трог, с кем я никогда не смогла бы жить в мире; но кто бы ни поставил ее молодое супружество впереди моего старого вдовства, я требую всеобщего уважения к моему уважаемому мальчику — прекрасному, гордому, любимому, послушному, сильному мальчику! — родовитому, благородному мальчику и такому ласковому! Посмотрите на его волосы! Он действительно, честно говоря, служит иллюстрацией прекрасного высказывания о своем отце: если самые благородные жеребята по трем признакам — пышной гриве, выпуклой груди и кроткому послушанию — должны напоминать прекрасных женщин, то так же обстоит дело с благородной молодежью. Ну, до свидания, Пьер, и веселого утра тебе!»

Сказав эти слова, она пересекла комнату и остановилась в углу — ее довольный гордый взгляд пал на жезл старого генерала, который Пьер, накануне находясь в шаловливом настроении, взял со своего привычного места и перенес в зал с картинами и знаменами. Она сняла его и задумчиво покачала им из стороны в сторону, затем остановилась и перехватила своей рукой. Ее величественная красота имела когда-то некоторую воинственность, и теперь она смотрелась дочерью Генерала, каковой она и была; поэтому Пьер

был дважды потомком революционеров. С обеих сторон он происходил от героев.

«Здесь — его наследие — этот символ власти! и меня наполняют мысли о нем. Пусть так, но сейчас мне льстит, что Пьер стал таким послушным! Тут, безусловно, очень странное противоречие! Для такого послушного — генеральский символ? и этот жезл? Но как тогда с женским уделом — послушанием? — Здесь открывается простор для ошибок. Теперь я почти желаю ему иного, нежели быть нежным и послушным мне, видя, что человеку, видимо, трудно быть бескомпромиссным героем и предводителем своего рода и одновременно никогда не заставлять морщиться кого-либо из близких. Молю Бога, чтоб он проявил свой героизм в спокойное и благое время, но не призываю стать героем в момент появления темной отчаянной надежды, как у человека, обреченного на погибель; — некой темной отчаянной надежды обреченного, чья суровость делает человека дикарем. Пошли ему, о Боже, почтительные бури! Укрепи его непоколебимое процветание! Тогда он целиком останется послушным мне и одновременно явит миру великого героя!»

Книга II
Любовь, восхищение и тревога

I

Предыдущим вечером Пьер с Люси составили план дальнего путешествия среди холмов, которые простирались вокруг к югу от широких равнин Оседланных Лугов.

Хотя экипажу уже исполнилось шестьдесят лет, животные, которые тянули его, были шестилетними жеребцами. Старый фаэтон пережил несколько поколений своего содержимого.

Пьер поехал под деревенскими вязами, подпрыгивая на неровной дороге, и вскоре натянул вожжи перед белыми дверями дома. Бросив удила, он вошел в дом.

Оба жеребца были его избранными и верными друзьями, родившимися на одной с ним земле и вскормленными тем же самым зерном, которое, в составе индийских пирогов сам Пьер часто имел привычку есть на завтрак. Один и тот же фонтан одним отводом снабжал конюшни водой, другим — кувшин Пьера. Они были своеобразны-

ми фамильными кузенами Пьеру, эти лошади, и они были великолепными молодыми кузенами с очень эффектной внешностью из-за своих пышных грив и мощной поступи, но нисколько не тщеславными и не высокомерными. Они признавали Пьера бесспорным главой дома Глендиннингов. Они хорошо знали, что были всего лишь подчиненной и зависимой ветвью Глендиннингов, в бесконечной феодальной верности связанной с его ведущим представителем. Поэтому эти молодые кузены никогда не позволяли себе убежать от Пьера; они были нетерпеливы в своем беге, но очень терпеливы при остановке. И еще они были преисполнены хорошим настроением и ребяческим видом, словно котята.

«Благослови меня Бог, но как ты можешь позволить им выдержать в полном одиночестве этот путь, Пьер», — вскричала Люси, как только они с Пьером отошли от двери дома, а Пьер поднял платки, пляжный зонтик, сумочку и маленькую корзинку.

«Подожди немного», — крикнул Пьер, опуская свой груз, — «Я покажу тебе, каковы мои жеребцы»

Сказав так, он ласково заговорил с ними, подошел к ним поближе и похлопал их. Жеребцы

заржали, почти как жеребята, ржущие немного ревниво, как будто из-за какой-то несправедливости. Затем, согнувшись, с долгим, почти неслышным свистом, Пьер пробрался между жеребцами, среди упряжи. Затем Люси привстала и слабо вскрикнула, но Пьер попросил её сохранять спокойствие, поскольку вокруг не было никакой опасности. И Люси действительно, так или иначе, соблюдала тишину, хотя всегда приподнималась, когда Пьер мог оказаться в малейшей опасности, хотя, в основе своей она скорее лелеяла мысль, что Пьер заколдован и по метафизическим понятиям не может умереть из-за нее или как-то пострадать, когда она находится в тысяче лиг от него.

Пьер, все еще находясь между лошадьми, уже наступил на ось фаэтона, затем нагнулся, исчез на неопределенное время и частично скрылся среди живой колоннады из восьми тонких и блестящих лошадиных ног. Он вошел в колоннаду одним путем и после многих блужданий вышел другим; во время всей этой гужевой работы оба жеребца продолжали весело ржать и добродушно двигать своими головами вверх и вниз, иногда поворачивая их вбок в сторону Люси, словно говоря: «Мы понимаем молодого хозяина, мы

понимаем его, мисс; не бойтесь, симпатичная леди: все потому, славное и восхитительное маленькое сердце, что мы играли с Пьером задолго до вашего появления»

«Ты действительно боишься, что они сейчас побегут, Люси?» — спросил Пьер, возвратившись к ней.

«Не очень, Пьер; прекрасные малые! Да, пожалуй, Пьер, они стали твоими офицерами — смотри!» — и она указала на два клока пены, эполетами лежавшими на их плечах. «Брависсимо снова! Я назвала тебя моим рекрутом, когда ты отошел от моего окна этим утром, и вот, пожалуйста, доказательство»

«Очень красивая самонадеянность, Люси. Но посмотри, ты не восхищаешься их костюмами; они носят только самый лучший генуэзский бархат, Люси. Посмотри! Ты когда-нибудь видела таких ухоженных лошадей?»

«Никогда!»

«Тогда почему бы тебе не назвать их друзьями жениха, Люси? Великолепные друзья жениха, лучше не придумаешь, я заявляю. У них должно быть по сто локтей чистой благодати во всей длине их грив и хвостов; и когда они повезут нас в церковь, то все время будут расточать чистое

благословение из своих глоток, как они делают это здесь и при мне. По-моему, так они должны быть моими друзьями жениха, Люси. Величественные олени! игривые собачки! герои, Люси. У нас не будет никаких свадебных колоколов; они должны ржать для нас, Люси; мы будем связаны узами брака под звуки военных труб, Люси. Прислушайся! Они ржут сейчас, думая об этом»

«Ржут в твоем лиризме, Пьер. Ну, хватит об этом. Здесь — платок, пляжный зонтик, корзина: почему ты так на них смотришь?»

«Я думаю, Люси, об удручающем состоянии, в котором нахожусь. Не далее как шесть месяцев назад я видел бедного помолвленного парня, моего старого товарища, тащившегося рядом со своей Люси Тартэн, с узелками в обеих руках; и я сказал самому себе: „Вот идет навьюченный мул, вот он, дьявольски несчастный, и он — влюблен“. И теперь посмотрите на меня! Ну, жизнь это бремя, как говорится, почему бы не быть обремененным радостью? Но посмотри, Люси, я иду на формальное объяснение и противостою нашим грядущим трудностям. Когда мы будем женаты, я не буду таскать узлы, кроме как в случаях реальной потребности; и, более того, когда какая-нибудь из твоих знакомых девушек ока-

жется в поле зрения, меня вовсе не обязательно будет отзывать для особого наставления»

«Теперь я действительно раздражена из-за тебя, Пьер; это — твой первый гнусный намек. Будет ли там в поле зрения хотя бы одна из знакомых мне юных леди, хотела бы я знать?»

«Шесть из них прямо по пути», — сказал Пьер, — «но они прячутся за занавесками. Я никогда не доверяю твоим уединенным деревенским улицам, Люси. Меткие стрелки вслед каждому экипажу, Люси»

«Тогда умоляю, дорогой Пьер, действительно, давай поедем!»

II

Пока Пьер и Люси катаются под вязами, позвольте рассказать вам, кем была Люси Тартэн. Само собой разумеется, она была красавицей, потому что молодые люди с румяными щеками, каштановыми волосами, как у Пьера Глендиннинга, редко влюбляются в кого-либо, если тот некрасив. И во времена грядущие так должно быть — как и в настоящее время, так и в прошедшие времена — некий великолепный мужчина и некая прекрасная женщина; и как с этим еще могут обстоять дела, если всегда во все времена

и тут и там красивые молодые люди женятся на красивых девицах!

Но хотя вследствие вышеназванных условий мадам Природы в мире всегда будут красавицы, мир все же никогда не увидит другую Люси Тартэн. Ее щеки были тончайшего белого и красного цвета, с преобладанием белого. Ее глазами некая богиня глядела с небес, ее волосы были волосами Данаи, украшенными блестками золотого дождя, за перлами ее зубов пришлось бы нырять в Персидское море.

Если надолго остановить взгляд на том, кто продирается через более скромные слои общества и смят неоправданно тяжелым трудом и бедностью, то этот человек должен будет случайно увидеть некую справедливую и добрую дочь богов, которая из-за неведомых краев очарования и богатства вплывает в свет, со всех сторон гармоничная и сияющая; и как только она попадает в мир, столь же полный порока и страданий как наш, то должна будет там же сиять и дальше, как видимое подобие небес. Ведь прекрасная женщина не совсем земная. Ее собственная чувствительность не ощущает себя таковой. Толпы женщин следят за женщиной с превосходящей их красотой, входящей в комнату, как будто

это сияющая на подоконнике птица из Аравии. Скажите, будете ли вы ревновать, если кто-либо не последует их открытому восхищению. Будут ли мужчины завидовать богам? И женщины завидовать богиням? Красивая женщина это урожденная Королева, как для мужчин, так и для женщин, подобная Марии Стюарт, урожденной Королеве Шотландцев, все равно, мужчин или женщин. Все человечество — её шотландцы, лояльные ей кланы будут причислены к её народам. Истинный джентльмен в Кентукки будет готов умереть за красавицу в Индостане, хотя он никогда не видел ее. Да, его сердце начнет смертельный обратный отсчет из-за нее и отправится к Плутону ради того, чтобы она могла войти в Рай. Он прогонит турка, прежде чем тот будет отрицать преданность, унаследованную всеми благородными мужами с того часа, как их Великий Предок Адам первым преклонил колени перед Евой.

У некрасивой Королевы Испании нет и половины славы красивой модистки. Ее солдаты могут свернуть головы, но своей Высотой она не в состоянии пронзить сердце, а красивая модистка способна нанизать сердца на нитку, как ожерелье. Несомненно, Красота создала первую

Королеву. Если когда-либо снова наследование в Германской Империи будет оспариваться, то всего лишь одному бедному несообразительному адвокату нужно будет представить стране первую же исключительной красоты женщину, которую он случайно увидит — она вслед за этим единодушно будет избрана Императрицей Священной Римской Германской Империи; — что тут сказать, — о, если бы все немцы были бы настоящими, откровенными и великодушными господами, вообще способными к пониманию такой великой чести.

Тут не имеет смысла рассказывать о Франции как о месте всеобщей любезности. Не у тех ли самых французов-язычников существовал Салический закон? Трое из самых очаровательных существ, — бессмертные цветы линии Валуа — были исключены из претендентов на французский трон согласно этой печально известной мере предосторожности. И это Франция! Эти миллионы католиков все еще поклоняются святой Небесной Королеве Марии, и как раз десять поколений отказались от кубка и колен множества ангельских Марий, законных королев Франции. Вот причина для вселенской войны. Посмотрите, как ужасны нации, где мужчинам позволено

принимать и без возражений носить избранные титулы, не имея заслуг. Американцы, а не французы, являются примерами в мире галантности. Наш Салический закон предусматривает, что вселенское уважение должно быть платой всем красавицам. Никакие самые незыблемые права человека не должны мешать их самым воздушным прихотям. Если вы покупаете лучшее место в экипаже, чтобы поехать и проконсультироваться с доктором по вопросам жизни и смерти, то стоит с готовностью отказаться от лучшего места и тащиться вдаль пешком, если симпатичная женщина, путешествуя, взмахнет единственным пером у крыльца здания.

Сейчас, — с тех пор как мы начали говорить об определенной девушке, которая отправилась в поездку в карете с определенным молодым человеком вскоре после сцены у окна дома, — такое веселое продвижение может показаться скорее периодическими записками. Но куда действительно приведет нас Люси Тартэн, если не в мир могущественных Королев и прочих других знатных существ и, наконец, отправит нас в странствие, чтобы мы смогли узреть, действительно ли огромный мир настолько прекрасен и удивителен. Разве я с незапамятных времен

не обязан славить эту Люси Тартэн? Кто остановит меня? Разве она не мой герой, со мной обрученный? Где здесь противоречие? Где под покровом ночи спит другой такой же?

И всё же никак не могла Люси Тартэн уклониться от всего этого шума и грохота! Она хвалилась, но не хвасталась. К настоящему времени она безмолвно плыла по жизни, как вниз по лугам плывет чертополох. Она была безмолвна, кроме как с Пьером, и даже с ним она провела множество безмолвных часов. О, эти любовные паузы, — как зловеще то, что грядет за ними; ведь паузы предшествуют землетрясению и всякому ужасному волнению! Но некоторое время их небо будет синим, и вся их беседа светлой, а шутки их — игривы.

Никогда я не буду опускаться до столь низменного описания! Ну как можно с бумагой и карандашом выйти в звездную ночь заняться учетом небес? Можно ли рассказывать о звездах, как о чайных ложках? Кто способен передать очарование Люси Тартэн на бумаге?

И об остальном; ее происхождение, её состояние, количество платьев в ее гардеробе и количество колец на ее пальцах — я бы с радостью посоветовал специалистам по генеалогии,

сборщикам налогов и драпировщикам обратить внимание на все это. Меня интересует ангельская кротость Люси. Но поскольку кое у кого превалирует образное предубеждение против ангелов, которые являются просто ангелами и больше никем, то я измучаю самого себя, допустив таких господ и леди в некоторые детали из истории Люси Тартэн.

Она была дочерью старого и самого заветного друга отца Пьера. Но этот отец был теперь мертв, и она, единственная дочь, жила со своей матерью в прекрасном городском доме. Но хотя ее дом стоял в городе, ее сердце два раза в год пребывало в деревне. Она не всецело любила город и его пустые, бессердечные, церемониальные дороги. Это было очень странно, но наиболее красноречивым в её собственном природном ангельском характере было то, что, хотя она и родилась среди кирпича и раствора в морском порту, она все еще тосковала по несожженной земле и целинной траве. Она была подобна милой коноплянке, пусть и родившейся за прутьями клетки в палате леди на океанском побережье, и не знавшей всю свою жизнь какого-либо другого места; однако, когда приходит весенняя пора, её охватывает трепет и неопределенное нетерпение, и она

не может есть или пить из-за этой дикой тоски. Не ведающая никакого опыта, но уже вдохновленная коноплянка согласно божественному вмешательству осознает, что время для миграции пришло. И именно так обстояло с Люси и ее первой тоской по зелени. Каждую весну этот дикий трепет сотрясал ее, каждую весну эта сладкая девочка-коноплянка действительно мигрировала внутрь страны. О Боже, разреши, чтобы эти и другие, — и как можно дольше после неописанных и сокровенных трепетаний ее души, когда вся жизнь станет утомлять ее, — Боже, допусти, чтобы более глубокий трепет в ней оказался одинаково важным для её заключительного ухода на небеса с этой тяжкой земли.

Для Люси было большой удачей, что ее тетушка Лэниллин — задумчивая, бездетная, седоголовая вдова — жила в собственном симпатичном доме в деревне Оседланные Луга, и совсем удачей было то, что эта прекрасная старая тетя была очень неравнодушна к ней и всегда ощущала тихое восхищение Люси от её присутствия возле себя. Таким образом, домом тетушки Лэниллин, в действительности, была Люси. И теперь в течение нескольких минувших лет она ежегодно проводила несколько месяцев в Оседланных Лугах;

и это проходило среди настолько чистых и мягких деревенских соблазнов, что Пьер первым почувствовал к Люси любовную страсть, которая теперь совершенно поглотила её.

У Люси было два брата: один старше её на три года, а другой на два года моложе. Но эти молодые люди были офицерами в военно-морском флоте, и поэтому они не постоянно жили с Люси и ее матерью.

Г-жа Тартэн была вполне удачлива. Она, кроме того, абсолютно сознавала этот факт и была несколько склонна обращать на это внимание других людей, вовсе не заинтересованных этим вопросом. Другими словами, г-же Тартэн, вместо того, чтобы гордиться дочерью, что было бесконечно правильно, больше нравилось гордиться кошельком, для чего у нее не было малейшей причины, отмечая, что Великий Могол, вероятно, обладал большим состоянием, чем она, не исключая Персидского Шаха, барона Ротшильда и тысяч других миллионеров, тогда как Великий Турка и все другие величества Европы, Азии и Африки при всем своем богатстве не смогли бы во всех своих объединенных землях похвастаться такой милой девочкой, как Люси. Тем не менее, г-жа Тартэн была самой прекрасной леди, когда-либо

пришедшей в этот благовоспитанный мир. Она занималась благотворительностью, ей принадлежало пять церковных скамей во многих церквях, и еще она выступала с идеей приблизить всеобщее мировое счастье путем женитьбы знакомых красивых молодых людей друг на друге. Другими словами, она была антрепренером — не антрепренером Люцифера — хотя, говоря по правде, она, возможно, разжигала супружеский блюз в груди определенных неудовлетворенных господ, которые были связаны узами брака при её конкретном покровительстве и ее особом совете. Ходили слухи — но слухи всегда выдумка — что существовало тайное общество неудовлетворенных молодых мужей, которые изо всех сил старались частным образом распространить листовки среди всех не состоящих в браке молодых незнакомцев, предостерегая их от коварного подхода г-жи Тартэн и, ради упоминания, именуя себя под псевдонимом. Но это, возможно, было не так: из-за тысяч раздутых фитилей — горящих синем или ярким пламенем, что неважно, — г-жа Тартэн плавала в морях высшего света, заставляя все топсели кланяться ей, и буксировала флотилии, состоящие из девушек, для всех из которых она обязывалась подобрать самую прекрасную

гавань в мире.

Но разве создание факела благотворительности не начинается дома? Почему её собственная дочь Люси остается без помощника? Но не так скоро: г-жа Тартэн несколько лет назад расчертила четкий план относительно Пьера и Люси; но в этом случае ее программа, как оказалось, совпала, в определенной степени, с предыдущей программой Небес, и только по этой причине случилось так, что Пьер Глендиннинг стал счастливым выбором Люси Тартэн. Кроме того, поскольку все это касалось её самой, г-жа Тартэн была, по большей части, довольно осмотрительной и осторожной во всех своих маневрах с Пьером и Люси. Более того, для всего этого не потребовалось вообще никаких маневров. Две платонических частицы после скитаний в поисках друг друга со времен Сатурна и Опис одновременно и вместе предстали перед собственными глазами г-жи Тартэн; и чего большего могла хотеть г-жа Тартэн для их навеки неразделимого соединения? Однажды, и только однажды, вялое подозрение пронеслось в голове Пьера, что г-жа Тартэн была женщиной — шулером и умела хитро уходить от разоблачения.

В момент их совсем раннего знакомства он

завтракал с Люси и ее матерью в городе, и как только г-жой Тартэн была налита первая чашка кофе, она объявила, что услышала запах спичек, горящих где-то в доме, и что она должна видеть их погашенными. Поэтому, стремясь все погасить, она поднялась для того, чтобы найти зажжёные спички, оставив пару в покое для обмена кофейными любезностями, и, наконец, послала им с вышеупомянутой лестницы фразу о том, что спички или что-то еще вызвали у неё головную боль, и попросила Люси послать ей какой-нибудь тост и чай, поскольку хочет позавтракать этим утром в своих собственных покоях.

При этом Пьер перевел взгляд от Люси на свои ботинки, и как только отвернул его, то увидел на одной стороне дивана Анакреона и «Мелодии Мура» на другой, и немного меда на столе, и немного белого атласа на полу, и своеобразную кружевную вуаль на люстре.

Не бери в голову, — тем не менее, подумал Пьер, остановив свой пристальный взгляд на Люси, — я полностью приготовился быть пойманным, когда приманка установлена в Раю, и эта приманка — ангел. Он снова поглядел на Люси и увидел бесконечно подавленную досаду и некоторую непривычную бледность на ее щеке. Тогда он

охотно поцеловал бы восхитительную приманку, которая так слабо противилась попаданию в ловушку. Но снова поглядел вокруг и заметил, что партитуру г-жа Тартэн под отговоркой наведения порядка поставила на фортепьяно, и, отметив, что эта же партитура стояла теперь в вертикальной стопке напротив стены, — «Любовь была однажды маленьким мальчиком», — как наиболее удаленный и единственно видимый лист, решил, что при этих обстоятельствах это замечательное совпадение, и не смог удержаться от веселой улыбки, хотя она была очень нежной, и немедленно раскаялся, тем более, что Люси, видящая и пытающаяся понять его, немедленно поднялась с необъяснимым, возмущенным, ангельским, восхитительным и все-убеждающим «г-н Глендиннинг?», крайне смущенная наличием у него мельчайшего зародыша подозрения относительно тайного сговора Люси с предполагаемой хитростью ее матери.

Действительно ли г-жа Тартэн контролировала любой процесс вообще прежде, чем он происходил или на него появлялся намек, и деликатность в вопросе любви Пьера и Люси было ничуть не меньшей, чем весьма беспричинной и кощунственной? Были ли фальшивкой лилии

г-жи Тартэн, когда они играли? Приступала ли г-жа Тартэн к созданию партии между сталью и магнитом? Нелепая г-жа Тартэн! Но весь этот мир нелеп со множеством нелепых людей в нем, главой которых была г-жа Тартэн, национальный антрепренер.

Это поведение г-жи Тартэн было более абсурдным, если заметить, что она могла не знать, чего желала г-жа Глендиннинг. И была ли Люси богатой? — то есть, собиралась стать очень богатой, когда ее мать умрет, — (печальная мысль для г-жи Тартэн) — и не была ли семья ее мужа лучше остальных, и разве отец Люси не был закадычным другом отца Пьера? И хотя для Люси можно было подобрать партию, то где среди женщин нашлась бы ровня Люси? Чрезвычайно абсурдная г-жа Тартэн! Но когда такая леди, как г-жа Тартэн, не может сделать нечего положительного и полезного, то она делает такие абсурдные дела, какие г-жа Тартэн и делала.

Но прошло время, и Пьер полюбил Люси, а Люси Пьера; и тут как раз два благородных молодых военных моряка, ее братья, как оказалось, прибыли в гостиную г-жи Тартэн из своего первого путешествия — три года по Средиземноморью. Они сразу уставились на Пьера, обнаружив его

на диване, и на Люси, сидевшую поблизости.

«Умоляю, присаживайтесь, господа», — сказал Пьер. — «Комната просторная»

«Мои дорогие братья!» — вскричала Люси, обнимая их.

«Мои дорогие братья и сестра!» — вскричал Пьер, обнимая их всех.

«Умоляю, сэр, сдержитесь», — сказал старший брат, который служил уже проэкзаменованным гардемарином в течение последних двух недель. Младший брат немного отступил и, хлопнув своей рукой по своему кортику, сказал, «Сэр, мы со Средиземноморья. Сэр, разрешите мне сказать, что это совсем неуместно! Кем вы нам тут приходитесь, сэр?»

«От радости я не могу этого объяснить», — вскричал Пьер, снова весело обхватывая их всех.

«Весьма странно!» — вскричал старший брат, высвобождая из объятий воротник своей рубашки и с силой вытягивая его.

«Обрисуй!» — бесстрашно крикнул младший.

«Мир, глупыши», — крикнула Люси — «это ваш старый приятель Пьер Глендиннинг»

«Пьер? почему, Пьер?» — закричали парни. — «Обними всех снова! Ты вырос с морскую сажень! — кто бы тебя узнал? Но здесь Люси? Я

спрашиваю, Люси? — какое дело у тебя здесь — а? а? — подобрала себе пару, не так ли?»

«О! Люси, не думай об этом», — вскричал, Пьер — «обойди еще один раз всех по кругу»

Таким образом, они все снова обнялись, и тем же вечером стало публично известно, что Пьер должен будет жениться на Люси.

После чего молодые офицеры взяли его на себя, чтобы подумать — хотя они ни в коем случае не планировали отдыхать — на что они имели право, хотя и косвенное, — и закрепить ранее неоднозначно истолкованное и достойное высокой похвалы положение между теперь уже помолвленными влюбленными.

III

В прекрасные старые здравые времена дед Пьера, американский джентльмен внушительного телосложения и состояния, проводил свое время в стиле, несколько отличном от стиля оранжерейных джентльменов настоящего времени. Дед Пьера был ростом в шесть футов и четыре дюйма; во время пожара в старом поместном особняке он одним ударом своей ноги разбил дубовую дверь, чтобы впустить своих чернокожих рабов с ведрами; Пьер часто примерял свой военный жилет,

все еще остававшийся семейной реликвией в Оседланных Лугах, карманы которого оказывались ниже его коленей, и посещал множество дополнительных комнат с большемерными опоясанными четвертными бочками; в ночной схватке в диком краю перед Революционной войной дед уничтожил двух дикарей-индейцев, превратив их головы в дубинки друг для друга. И все это было сделано кротким, сердечным и самым синеглазым джентльменом в мире, который, согласно патриархальной моде тех дней, был благородным белоголовым почитателем всех домашних богов, самым нежным мужем и самым нежным отцом, самым добрым хозяином своим рабам с самым замечательным невозмутимым нравом, безмятежным курильщиком своей послеобеденной трубки, прощающим многие раны добродетельным христианином со мягким сердцем, прекрасным, чистым, веселым, искренним, голубоглазым, божественным стариком, в чьей кроткой, величественной душе соединились лев и ягненок — подходящее изображение его Бога.

Никогда не мог Пьер смотреть на его прекрасный военный портрет без бесконечной и жалобной тоски из-за невозможности встретиться с ним живым в реальной жизни. Величественная

сладость этого портрета была действительно отмечена влиянием на любого чувствительного и молодого наблюдателя с широкой душой. Для него этот портрет обладал небесной убедительностью ангельской речи; великолепное евангелие было вставлено в рамку и повешено на стену, и объявило всем людям, как с горы, что человек — благородное, богоподобное существо, наполненное отборным соком, состоящее из силы и красоты.

Тогда этот великий старый Пьер Глендиннинг был великим любителем лошадей, но не в современном значении этого слова, поскольку он совсем не был жокеем; одним из самых близких его друзей был огромный, гордый, серый конь с удивительным запасом привычек, со своим звериным седлом, у которого были свои конские кормушки, вырезанные наподобие старых мисок из крепких кленовых бревен; ключ от этих закромов висел в его библиотеке, и никто не задавал зерна его коням, кроме него самого; в его отсутствие дома ему в его благородной службе помогал Мойяр, неподкупный и пунктуальный старый негр. Он говорил, что человек не любит своих лошадей, если собственными руками не кормит их. Каждое Рождество он наполнял

меры до краев. «Я отмечаю Рождество со своими лошадьми», — говорил великий старый Пьер. Этот великий старый Пьер всегда поднимался на восходе солнца, мыл свое лицо и грудь под открытым небом и затем, вернувшись к своему туалету и полностью одевшись, наконец, шагал дальше, чтобы произвести церемониальную перекличку в своих конюшнях, обещая своим весьма благородным друзьям очень хорошее и радостное утро. Горе было Кранцу, Киту, Дьюи или любому другому из его постоянных рабов, если великий старый Пьер находил одну лошадь непокрытой или хоть один сорняк среди сена, которое наполняло стойло. Не то, чтобы он когда-либо порол Кранца, Кита, Дьюи или любого другого из них — явление, неизвестное в стране в это патриархальное время, — но он отказывался говорить им свои обычные добрые слова, и для них это было очень горько, для Кранца, Кита, Дьюи и всех тех, кто любил великого старого Пьера, как любили пастухи старого Авраама.

Что это за чинный, барский, седой конь? Кто этот старый халдей, ездящий повсюду? — Это великий старый Пьер, который каждое утро, прежде чем поесть, идет гулять со своим оседланным зверем и не садится на него, не испросив

сначала разрешения. Но время прошло, и великий старый Пьер постарел: великолепные гроздья его жизни теперь лопались от соков; совесть не позволяла ему обременять своего величественного зверя столь мощным грузом мужественности. Кроме того, благородный зверь сам постарел и его большие, внимательные глаза приобрели трогательный задумчивый взгляд. Нога человека, поклялся великий старый Пьер, никогда уже не будет в стремени на моем коне, его нельзя больше использовать, не трогайте его! Тогда каждую весну он стал засевать поле клевером для своего коня и в разгар лета сортировал все луговые травы, отбирая сушеное сено на зиму и обмолачивая предназначенное коню зерно цепом, древко которого когда-то несло флаг в жаркой битве, где тот же самый старый конь гарцевал под великим старым Пьером: один махал гривой, другой — мечом!

Теперь великий старый Пьер должен был отказаться от утренней езды; он больше не ездил на старом сером коне. Ему построили фаэтон, пригодный для толстого генерала, чей пояс мог бы опоясать трех обычных людей. Удвоенными, утроенными были огромные S-образные кожаные рессоры, колеса казались украденными

с некоего завода; сидение было похоже на укрытую кровать. Из-под старой арки уже не одна лошадь, а две каждое утро вывозили старого Пьера, как выводят китайцы своего толстого бога Джа один раз в год из своего храма.

Но время прошло, и пришло утро, когда фаэтон не появился, но все дворы и корты были заполнены, шлемы выстроились в линию, взятые наизготовку обнаженные мечи ударялись о каменные ступени крыльца, на лестнице зазвенели мушкеты, и печальные военные мелодии раздались во всех залах. Великий старый Пьер умер, и, как герой старых сражений, он умер в канун другой войны; перед тем, как уйти стрелять в неприятеля, его взводы салютовали над могилой своего старого командующего: великий старый Пьер умер в лето от рождества Христова 1812-е. Барабан, что выбивал медь его похоронного марша, был британской литаврой, которая когда-то помогла разбить тщеславный марш, направленный на захват тридцати тысяч предназначенных к заключению человек и уверенно ведомый известным хвастливым мальчиком Бургойном.

На следующий день старый серый конь отвернулся от своего зерна, развернулся и бессильно

заржал в своем стойле. Теперь он отказывался быть похлопанным рукой доброго Мойяра; понятно, что если бы лошадь могла говорить, то старый серый конь сказал бы — «Я не чувствую обычного запаха рук; где великий старый Пьер? Нет моего зерна, нет моего конюха. — Где великий старый Пьер?»

Он спит недалеко от своего хозяина, под посевной травой на мягком ложе; и задолго до того великий старый Пьер и его конь прошли через эту траву к славе.

Но его фаэтон — словно украшенный перьями катафалк, пережил тот благородный скучный груз, который он возил. И подобно тому, как темно-гнедые кони тащили великого старого живого Пьера, так и его завещание влекло его мертвого и следовало за гордым седоком темно-серого коня: эти темно-гнедые кони все еще существовали, но не в себе самих или в своем потомстве, но в двух потомственных жеребцах своей породы. Ведь на землях Оседланных Лугов человек и лошадь — оба — наследники; и этим ярким утром Пьер Глендиннинг, внук великого старого Пьера, теперь ехал вместе с Люси Тартэн, усаженной там, где сидел его собственный предок, и правил конями, чьих прапрапрадедов

прежде держал в узде великий старый Пьер.

Какую же великую гордость чувствовал Пьер, воображая двух конных призраков, парой запряженных в фургон. «Это не коренники», — кричал молодой Пьер — «это вожди поколений»

IV

Но Любовь ближе к своему собственному возможному и реальному потомству, нежели к когда-то жившим, но теперь несуществующими прежними родословным. Поэтому румянец Пьера от семейной гордости быстро уступил место более глубокому колориту, когда Люси заставила его поднять на щеках знамя любовного румянца.

Это утро было выбрано из тех глубин, что есть у Времени в его сосуде. Невыразимая чистота мягкой сладости неслась с полей и холмов. Фатальное утро для всех обрученных влюбленных. «Идите к собственному осознанию», кричало оно. «Полюбуйтесь нашим воздухом, влюбленные», — щебетали птицы с деревьев; далеко в открытом море матросы больше не вязали свои булини; их руки потеряли свою сноровку; они или не они, но Любовь связала любовные узлы на каждой украшенной блестками штанге.

О, похваляющиеся стать красой этой земли, красой и цветком, и испытывающие радость от этого! Первые созданные миры были зимними мирами; вторые — весенними мирами; третьи и последние — чистейшие — стали летом нашего мира. В холодных и нижних сферах проповедники вещают о земле, как раньше мы вещали о Рае. О, там, мои друзья, они скажут, что там есть сезон, на тамошнем языке называемом словом «лето». В эту пору их поля прядут себе зеленые ковры, снег и лед лежат не по всей земле, и тогда же миллион странных, ярких, ароматных частиц осыпают этот луг благовониями; и высокие, величественные существа, немые и великие, стоят с протянутыми руками и держат свои зеленые навесы над веселыми ангелами — мужчинами и женщинами — которые любят и женятся, и спят, и мечтают под одобрительными взглядами видимых ими бога и богини, радующегося сердцем солнца и задумчивой луны!

О, похвалявшийся быть красотой этой земли; красота и цветение, и переполняющая радость от этого. Мы жили прежде и будем жить снова, как надеемся на более справедливый мир, чем тот, что пришел, поскольку сами произошли из того мира, что менее прекрасен. От каждого

последующего мира демон Принципа отходит все больше; он — проклятая помеха родом из хаоса, и с каждым новым переходом мы оставляем его все дальше и дальше позади. Осанна этому миру! Он сам по себе красив, и он — преддверие к более красивому. Из некоего Египетского прошлого мы пришли в этот новый Ханаан, и из этого нового Ханаана мы направляемся в некую Черкессию. Хотя корни зла, Нужда и Горе, все еще сопровождают нас на пути из Египта, и теперь нищенствуют на улицах Ханаана, все же Врата Черкесии не должны пропустить их; они, с их родителем, демоном Принципа, должны отступить в хаос, из которого они вышли.

Любовь была первым, что породили Радость и Мир в Эдене, когда мир еще был молод. Человек томился от осторожности, он не мог любить; человек мрака не находил бога. Поскольку молодость, по большей части, не отступает и не знает мрака, то с тех пор, как время начало свой действительный отсчет, молодости принадлежит любовь. Любовь может закончиться с горем и с возрастом, и с болью, и с потребностями, и со всеми другими признаками скорбящего человека, но начинается любовь с радости. Первый вздох любви никогда не заканчивается выдо-

хом, только смехом. Любовь сначала смеется, а после вздыхает. У любви нет рук, но есть цимбалы; уста Любви разделены на камеры как горн, и инстинктивные вдохи её жизни наполнены праздничными приметами счастья!

Тем утром две гнедые лошади тянули хохочущую пару вдоль дороги, которая вела к холмам Оседланных Лугов. Все время они непрестанно громко болтали: Пьер Глендиннинг — молодым мужественным тенором, Люси Тартэн — девичьим сопрано.

С поразительно красивым лицом, голубоглазая, со светлыми золотыми волосами, Люси была одета в цвета, гармонирующие с небесами. Голубой — твой нескончаемый цвет, Люси; светло-голубой для тебя лучше всего — такую повторяющуюся голубизну советовала мать Люси Тартэн. С обеих сторон от ограды к Пьеру обращались цветки клевера Оседланных Лугов, а изо рта и со щек Люси исходил молодой аромат свежей фиалки.

«Это пахнут цветы или ты?» — кричал Пьер.

«Я вижу озера или глаза?» — кричала Люси, сама заглядывая в его душу подобно тому, как пристально смотрят две звезды в альпийское озеро.

Ни один корнуэльский шахтер никогда не погружался в шахту, настолько уходящую глубже уровня моря, насколько глубже взгляда пловцов погружалась Любовь. Любовь глядит на десять миллионов морских саженей вниз, пока её не ослепит жемчужное дно. Глаза — собственное волшебное стекло Любви, через которое все неземное предстает в сверхъестественном свете. В море меньше рыб, чем сладких видений в глазах влюбленных. В этой удивительной полупрозрачности плавают странные глазастые рыбы с крыльями, которые иногда выпрыгивают от инстинкта радости, влажные крылья рыб это влажные щеки влюбленных. Глаза любви святы, в них поселились тайны жизни; вглядываясь в любые другие глаза, влюбленные видят скрытую первооснову мироздания и при помощи обостренных ощущений, извечно непереводимых, чувствуют, что Любовь — бог всего. Мужчина или женщина, которые никогда не любили, никогда не проникали в глубину своих собственных влюбленных глаз, не знают самую сладость и самую высшую религию этой земли. Любовь для человечества это евангелие Создателя и Спасителя, а его томик обернут лепестками розы, перевитыми фиалками, клювами колибри, и персиковым соком

припечатан к листьям лилий.

Бесконечна летопись Любви. Время и пространство не могут вместить историю Любви. Все, на что сладко смотреть или пробовать, или чувствовать, или слышать, все это было создано Любовью, и ничего другого Любовь не создала. Любовь не создает арктические зоны, но Любовь иногда меняет их. Скажите, не жестоко ли ежедневно и ежечасно происходящее на этой земле? Где теперь ваши волки в Великобритании? Где теперь в Вирджинии вы найдёте пантеру и леопарда? О, любовь находится везде. Везде у Любви есть моравские миссионеры. Нет Проповедника, которому не нравилось бы любить. Южный ветер дразнит северный варварский ветер; на многих дальних берегах более нежный западный ветер увлажняет засушливый восток.

Вся эта Земля обручена с Любовью; безуспешно демон Принципа требует не оглашать имена вступающих в брак. Почему вокруг центра этого мира находится столь богатая буйной тропической зеленью зона, если она не одежда для финальных обрядов? И почему она предоставляет апельсиновые цветки и лилии из долины, если они не предназначены для тех мужчин и девиц, что желают любить и жениться? Каждой

свадьбой связанные узами брака истинно влюбленные помогают маршу вселенской Любви. Кто-то из невест должен будет стать подружками невесты-Любви в мире брака. Поэтому со всех сторон Любовь очаровательна; сможет ли сдержать себя тот юноша, который видит чудо прекрасной женщины мира? Где есть красивая женщина, там есть вся Азия и все её Базары. Италия не видела красоты Девочки-американки, но небеса шлют благословение из-за пределов ее земной любви. Разве ангелоподобные Лотарио[4] не спускались на землю, на которой они могли бы испытать Любовь и Красоту смертной женщины? Разве ее собственные глупые братья после не тосковали о том же самом Рае, который они покинули? Да, те, кто завидовал ангелам, спустились, воистину ушли; и кто эмигрирует, если не в поисках лучшей доли?

Любовь — этот великий всемирный избавитель и реформатор; и поскольку все красивые женщины — ею избранные эмиссары, то и Любовь одаривает их магнетической убедительностью, которую ни одна юность не способна отразить. Собственный сердечный выбор каждого юно-

---

4 Примечания: 4
Персонаж из пьесы В. Шекспира (прим. пер.)

ши иногда кажется ему загадочными чарами, как и десять тысяч концентрических периодов и круговых заклинаний, доносящихся со всех сторон, как только он повернется, бормотание слов неземного происхождения, сбор для него всех подземных эльфов и гномов и очистка всего моря для наяд, чтобы те плавали вокруг него; и так как эти тайны вызваны вздохами Любви, то зачем тогда удивляться тому, что эта Любовь и есть мистика?

V

И это же самое утро казалось Пьеру весьма мистическим, хотя и не всегда; но самым мистическим был один момент, изобиловавший безумным, необузданным весельем, о котором будет рассказано позже. Он одновременно казался юным волхвом и почти шарлатаном. Халдейская импровизация вырывалась из него быстрыми Золотыми Стихами на грани остроумия и находчивости. Более того, ясный взгляд Люси передался ему. Теперь, пока безрассудство лошадей с обеих сторон держало Люси в его объятиях, он, как сицилийский ныряльщик, нырял в адриатическую глубину души ее глаз и доставал оттуда некий королевский кубок радости. Все волны

в глазах Люси казались ему волнами бесконечного ликования. И словно настоящие моря, они действительно ловили отраженные всполохи этого прозрачного голубого утра; в глазах Люси, казалось, засияла вся небесная синева главного дня и вся непостижимая небесная сладость. И, конечно же, голубизна глаз женщины, как море, не может не зависеть от атмосферы. Только под открытым небом некоего самого божественного, летнего дня вы увидите ультрамарин, — его жидкую ляпис-лазурь. Затем Пьер с силой взорвался в некоем пронзительном крике радости, и полосатые тигры его каштановых глаз запрыгали в своих исхлестанных клетках с жестоким восхищением. Люси уклонилась от него на пике любви, из-за самой острой сути высочайшей вершины Любви, Страха и Восхищения.

Вскоре быстрые лошади примчали этого истинного бога и богиню к почти заросшим холмам, чья далекая синева уже поменялась на разные оттенки зелени, вставшей перед ними как старые мшистые вавилонские стены, в то время как повсюду расставленные на одинаковом расстоянии пики казались стеновыми башнями, а собравшиеся в группу сосны возвышались над ними во всю ширь, будто высокие лучники,

выглядывающие, словно наблюдатели, в дни славного Города Вавилона. Ловя воздух холмов, скачущие лошади ржали, потешаясь ликующими ногами над землей. Они почуяли веселый восхитительный позыв дня, поскольку день обезумел от чрезмерной радости, и высоко в небе было слышно ржание лошадей Гелиоса, пена из ноздрей которых выпадала вниз густыми кудрявыми туманами с холмов.

С равнин медленно поднимался туман, с трудом оставляя столь сочный луг. На этом зеленом склоне Пьер обуздал своих коней, и скоро парочка уселась на берегу, пристально глядя вдаль, и еще дальше, на множество рощ и озер, рогатые хребты и низменные пастбища, растянувшиеся ярко-зеленые топи, служащие признаком того, что сама зеленая щедрость этой земли ищет свои извилистые каналы, и того, что, как всегда, больше всего небесная щедрость ищет тихие места, создавая зелень и счастье для множества скромных смертных, и уходит к своему собственному сухому одиночеству во множестве высокогорных княжеств.

Ни Горе, ни Радость не бывают моралистами; и из этой сцены Пьер уловил маленькую мудрую мораль. Пока он сжимал руку Люси своей

рукой и чувствовал, мягко чувствовал её мягкое покалывание, ему казалось, что он был перевязан летними молниям и посредством нежных последовательных ударов получает намеки на неземные сладости земли.

Теперь, распростершись на траве, он направил свой неподвижный и внимательный взгляд на глаза Люси. «Ты — моё небо, Люси; и здесь я лежу, твой пастух-король, наблюдающий за новыми глазами-звездами, оживающими в тебе. Ха! Теперь я вижу прохождение Венеры; — Ло! там новая планета, и позади всего — бесконечная звездная туманность, как будто твое существо было фоном для некоего сияния, уступающего место таинственности»

Действительно ли Люси оставалась глуха ко всему этому бреду его лирической любви? Почему она глядела вниз и дрожала, и почему теперь с ее бесценных век стекало такое тепло? Никакой радости уже не было в глазах Люси, и казалось, что у неё дрожат губы.

«Ах! Ты слишком горяч и порывист, Пьер!»

«Нет, ты слишком сырой и изменчивый апрель! Ты разве не знаешь, что сырой и изменчивый апрель сопровождается веселым, уверенным и радостным сухим июнем? И разве этот, Люси,

этот день не должен стать твоим июнем, как раз как эта земля?»

«Ах Пьер! Для меня нет июня. Но скажи, не сладок ли июнь сладостью апрельских слез?»

«Да, любовь! но здесь падение более глубокое, — все больше и больше; — эти дожди дольше, чем апрельские, и не свойственны июню»

«Июнь! Июнь! — Ты — месяц летних невест, — следующий за весной сладкий ухажер земли, — мой июнь, мой июнь всё же должен наступить!»

«О! он все же придет, но будет устойчив, — станет хорошо, когда он придет, и лучше».

«Тогда нет существует такого цветка, которого в зародыше не питали бы апрельские ливни; а разве такой цветок не может безвременно погибнуть, не распустившись к июню? Ты не хочешь в этом поклясться, Пьер?»

«Бессмертные дерзости самой божественной любви находятся во мне; и теперь я клянусь тебе всеми неизменными вечными радостями, о которых когда-либо мечтала женщина в этом земном доме мечты. Бог сулит тебе неизменное счастье и мне, бесспорному обладателю тебя и всего остального, благодаря моему неотчуждаемому поместью. — Я брежу? Смотри на меня, Люси; думай со мной, девочка»

«Молодой и красивый, и сильный; и радость от мужества питает тебя, Пьер; и твоё бесстрашное сердце никогда еще не ощущало прикосновение страха. Но…»

«Что „но“?»

«Ах, мой прекрасный Пьер!»

«С поцелуями я высосу твою тайну из твоей щеки! — но что?»

«Позволь нам поспешить домой, Пьер. Какая-то неизъяснимая печаль, слабость странным образом пришла ко мне. Я предчувствую бесконечный мрак. Расскажи мне еще раз историю этого лица, Пьер, — столь таинственного, преследующего лица, о котором ты однажды поведал мне, которого ты действительно трижды безуспешно пытался избежать. Синее небо, о, мягкий воздух, Пьер, но — расскажи мне историю лица, — темноглазого, блестящего, умоляющего, жалобного лица, что так мистически бледно, — зажатого в тебе. Ах, Пьер, иногда я думаю, что никогда не стану женой моего прекрасного Пьера, пока разгадка этого лица не станет известной. Скажи мне, скажи мне, Пьер, — что это за застывший василиск с мрачно пылающим, непоколебимым взглядом, лицо которого сейчас же завораживает меня»

«Околдованный! околдованный! — Будь про-

клят час, когда у меня появилась мысль, что Любовь неисчерпаема. Я никогда не расскажу тебе историю этого лица, Люси. Я приоткрыл тебе слишком многое. О, Любовь никогда не должна всего знать!»

«…Не всё знать, затем не всё любить, Пьер… Никогда ты не скажешь так снова; и, Пьер, слушай меня. Сейчас, сейчас, в этом необъяснимом трепете, который я чувствую, я действительно заклинаю тебя, что ты слабеешь, когда продолжаешь делать то, что ты делаешь; поэтому для того, чтобы я всегда могла продолжать знать все, что волнует тебя, твои легкие и скоротечные мысли, у тебя должна будет произойти очистка от густой атмосферы, состоящей из всего того, что касается смерти. Здесь я сомневаюсь относительно тебя; — могла ли я когда-либо подумать, что в твоем сердце все еще скрыт от меня один укромный уголок или угол; для меня настал бы фатальный день освобождения от чар, мой Пьер. Я говорю тебе, Пьер, — эта Любовь, которая теперь говорит моими устами — только в неограниченной вере и обмене всеми самыми тонкими тайнами; тогда Любовь все в состоянии вынести. Любовь сама по себе тайна, и потому питается тайнами, Пьер. Знала бы я о тебе только то, что

может знать весь мир — кем тогда был бы для меня Пьер? — Ты должен полностью раскрыть мне тайну; Любовь тщетна и горда, и когда я пойду по улицам и встречу твоих друзей, я все еще должна буду смеяться и быть приверженной этой мысли. — Они не знают его — только я знаю моего Пьера; — никого нет ближе к кругу вращения вот этого моего солнца. Затем поклянись мне, дорогой Пьер, что, теряя присутствие духа, ты никогда не будешь хранить тайны от меня — нет, никогда, никогда; — клянись!»

«Что-то удерживает меня. Твои необъяснимые слезы падают, падают на мое сердце и уже превратили его в камень. Я чувствую ледяной холод и тяжесть; я не буду клясться!»

«Пьер! Пьер!»

«Бог помогает тебе, и Бог помогает мне, Люси. Я не могу и думать, что в этом самом спокойном и приятном воздухе невидимые агенты готовят заговор против нашей любви. О! если вы — теперь почти рядом с нами, то вы те, кого я не могу назвать; тогда именем того, кто обладает силой — святым именем Христа я заклинаю вас отступиться от нее и от меня. Не трогайте ее, вы, воздушные дьяволы; отправляйтесь в предназначенный для вас ад! почему вы, крадучись,

заходите в эти небесные пределы? Цепи всемогущей Любви не могут связать вас, злодеев?»

«И это Пьер? Его глаза страшно сверкают; теперь я вижу их глубину слой за слоем; он оборачивается и грозит воздуху и говорит с ним, как будто бросает воздуху вызов. Горе мне, если волшебную любовь закроет это злое пятно! — Пьер?»

«Но сейчас я был бесконечно далек от тебя, о моя Люси, в расстройстве блуждая душной ночью; но твой голос мог бы найти меня, даже если б я блуждал в краю Борея, Люси. Здесь я сижу рядом с тобой, я ловлю от тебя успокоение»

«Мой собственный, мой личный Пьер! Пьер, я могу теперь разорваться ради тебя на десять триллионов частей; я спрятала бы тебя в моей груди и там держала бы в тепле, даже сидя на плавучих арктических льдинах, замораживающих до смерти. Мой собственный, лучший, счастливый Пьер! Теперь могу ли я вонзить в себя некий кинжал, чтобы тем самым мои ничтожные боли повлияли на тебя и заставили бы тебя страдать? Прости меня, Пьер; твое изменившееся лицо добилось от меня другого, страх за тебя превзошел все другие страхи. Теперь он уже не с такой силой преследует меня. Сожми мою руку, гляди на меня

твердым взглядом, моя любовь, эти последние следы могут пройти. Теперь я снова чувствую себя почти в порядке; теперь это ушло. Наверх, мой Пьер, вези нас наверх и правь на эти холмы, где, я боюсь, нас встретит слишком широкая перспектива. Летим к равнине. Посмотри, твои кони ржут для тебя — они дают тебе знать — посмотри, облака летят вниз к равнине — Ло, все эти холмы теперь кажутся пустынными мне и всей зеленой долине. Благодарю тебя, Пьер. — Посмотри теперь — я оставляю холмы с сухими щеками и оставляю все слезы позади, чтобы их впитали эти вечнозеленые растения. Встречая признаки неизменной любви, моя собственная печаль съедает меня. Тяжела судьба, если Любовь, словно прекрасная зелень, должна быть питаема такими слезами!»

Теперь они быстро катили под уклон, не соблазнившись вершинами холмов, но ускорившись в направлении равнины. Облако уже сошло с глаз Люси; уже не было мертвенно-бледных косых наклонных легких морщин, уходящих вверх от бровей ее возлюбленного. На равнине они снова нашли мир, любовь и радость.

«Это был самый простой, беспричинный, холостой пар, Люси!»

«Пустое эхо печального звука, Пьер, долго звучащее. Благослови тебя Бог, мой Пьер!»

«Великий Бог постоянно прикрывает тебя, Люси. Итак, теперь мы дома».

VI

Посмотрев на Люси в самой светлой гостиной ее тети и на то, как она раздвинула жимолость, наполовину пробравшуюся в тамошнее окно, рядом с которым находился ее мольберт для рисования, на части конструкции которого Люси ловко поправила две тонких виноградных лозы, в чьи заполненные землей горшки были вставлены две из трех ножек мольберта, и, присев возле неё, при помощи своей приятной, легкой беседы Пьер стремился извести последний след печали. И только когда ему показалось, что он этого полностью добился, Пьер поднялся, чтобы позвать к ней ее славную тетю, и тем самым получить себе отпуск до вечера, Люси позвала его, попросив сначала принести ей синий портфель из ее комнаты, поскольку она хотела уничтожить последние остатки его непрекращающейся меланхолии, — если что-то действительно еще оставалось — направив его мысли на небольшой карандашный эскиз, на сцены, далеко отстоящие

от пейзажей Оседланных Лугов и их холмов.

Поэтому Пьер поднялся по лестнице, но остановился на пороге открытой двери. Он никогда не входил в эту комнату без чувств заметной почтительности. Ковер казался ему святой землёй. Каждый стул для него был освящен неким покойным святым, который когда-то давно на нем сидел. Здесь его книга Любви становилась сводом правил богослужения, и они гласили: «Поклонись сейчас же, Пьер, поклонись». Но эта чрезвычайная преданность любовному благочестию, исходившая из него проблесками самой сакральной внутренней святости, в то же время не ослабевала из-за такого ускорения всех его импульсов, когда, фантазируя, он обнимал в объятиях прекрасный широкий мир только потому, что весь этот мир самостоятельно избрал Люси величайшей любовью его сердца.

Теперь, пересекая волшебную тишину пустой комнаты, он поймал взглядом белоснежную кровать, отражавшуюся в туалетном зеркале. Он проникся этим видом. За один короткий миг он, казалось, разглядел одним взглядом две отдельные кровати — реальную и отраженную — и вслед за этим непрошеное предчувствие большого несчастья закралось в него. Но с од-

ним дыханием оно пришло и ушло. Поэтому он приблизился, а затем с любящей и радостной нежностью его взгляд упал на саму безупречную кровать и остановился на белоснежном свитке, который лежал возле подушки. Он сейчас же привстал; Люси, как ему показалось, поднималась к нему; но нет — это только носок одного из её маленьких шлепанцев случайно выставился на свет из-под узких нижних оборок кровати. С другой стороны его взгляд остановился на тонком, белоснежном, раздражающем рулоне, и он встал, как очарованный. Ни один драгоценный греческий пергамент не стоил и половины увиденного его глазами. Ни один дрожащий ученый не стремился с большим желанием развернуть мистический пергамент, нежели Пьер, жаждущий открыть священные тайны этого белоснежного, раздражающего предмета.

Но его руки коснулись не каждой вещи в этой палате, а только той, за которой он туда пошел.

«Вот синий портфель, Люси. Посмотри, ключ висит возле его серебряного замка, — разве ты не боишься, что я открою его? — должен признаться, он привлекает»

«Открой его!» — сказала Люси, — «почему, нет, Пьер, почему нет; какую тайну я храню от тебя?

Прочти меня снова и снова. Я — полностью твоя. Посмотри!» — и рывком открытый портфель явил все сорта радужных вещиц, выскочивших из него вместе с самым тонким ароматом некой невидимой сущности.

«Ах! Ты святой ангел, Люси!»

«Почему-то, Пьер, ты искусно преобразился; ты теперь огорчен как тот, кто… — почему, Пьер?»

«Как тот, кто только что заглянул в рай, Люси, и…»

«Снова блуждаешь в своем уме, Пьер; более того — ну, ты не должен оставлять меня теперь. Я снова вполне отдохнула. Скорей позови мою тетю и оставь меня. Стой! Этим вечером мы должны просмотрим книгу эстампов из города, как ты помнишь. Прибудь пораньше, — теперь иди, Пьер»

«Ну, до свидания, до вечера, ты выше всякого восхищения».

VII

Как только Пьер проехал через тихую деревню под вертикальными тенями полуденных деревьев, сладкая сцена в комнате оставила его, а мистическое лицо снова явилось ему и осталось с ним. Наконец, придя домой, он нашел свою

мать отсутствующей; поэтому, пройдя прямо через широкий средний зал особняка, он спустился по площадке к другой дороге и в мечтательности побрел дальше вниз к речному берегу.

Здесь в стороне стояла одна древняя сосна, по счастью оставленная усердными лесниками, когда-то давно расчищавшими этот луг. Однажды выйдя к этой благородной сосне из зарослей болиголова, стоящих далеко за рекой, Пьер впервые отметил такой значительный факт, что, болиголов и сосна — деревья одного роста и высоты, и так похожи по внешнему виду, что люди, далекие от работы с лесом, иногда путают их; и если оба дерева, согласно пословице, символизируют печали, то все же у темного болиголова нет музыки в его вдумчивых ветвях, а нежная сосна испускает печальную мелодию.

Среди его полуобнаженных печальных корней и уселся Пьер, оценив крепость ствола и корень, разросшийся дальше всех остальных, что уходил вниз к берегу, и который несколько лет назад открылся штормам и дождям.

«Как широко, и с какой силой эти корни должны были разрастись! Несомненно, эта сосна с силой схватила эту любезную землю! Вот у того яркого цветка нет таких глубоких корней. Это

дерево пережило век того веселого цветущего поколения и переживет век тех, кто придет. Это весьма печально. Прислушавшись, я уже слышу постепенно возрастающие и бесчисленные, подобные пламени, стоны этой Эоловой сосны; — ветер сейчас дышит на неё: — ветер, — это дыхание Бога! Действительно ли Ему так грустно? О, дерево! Ты настолько могуче, так высоко, и все же так жалко! Это очень странно! Прислушайтесь! Вот я вглядываюсь в твои высокие тайны, о, дерево, лицо, лицо, глядящее сверху на меня! — „Искусен ли ты, Пьер? Подойди ко мне“ — о, твоя таинственная девочка, — что это у тебя за неподходящая подвеска, к тому другому выражению лица милой Люси, которая висит тут, а сначала висела у моего сердца! Горе — приятная подвеска? Действительно ли горе — нежданный гость, что входит своевольно? Все же я никогда не знал тебя, Горе, — ты для меня — нарисованная легенда. Я познал несколько славных жарких волнительных безумств, я часто предавался задумчивости; почему приходит задумчивость, почему приходит печаль, откуда происходят все восхитительные поэтические предчувствия, — но ты, Горе! ты для меня все еще призрачное искусство. Я не знаю тебя, — на-

половину не верю в тебя. Не то, чтобы у меня нет моих слишком маленьких заветных приступов печали, приходящих время от времени; но Бог удерживает меня от тебя, ты — другая форма далекого и глубокого мрака! Я дрожу из-за тебя! Лицо! — лицо! — снова прочь от твоих высоких тайн, о, дерево! Лицо похищает меня. Таинственная девочка! В чем твоя тайна? какое у тебя право на такое похищение моих самых глубоких мыслей? Убери от меня свои тонкие пальцы; — я обручен, но не с тобой. Оставь меня! — Что за дело у тебя ко мне? Конечно же, ты любишь не меня? — это было бы самым страшным несчастьем для тебя и для меня, и для Люси. Этого не может быть. Кто ты и что ты за создание? О! несчастная неопределенность — слишком знакомая мне и все же необъяснимая, — неведомая, абсолютно неизвестная! Я, кажется, проваливаюсь в этом непонимании. Тебе кажется, что ты знаешь что-то обо мне, что я не знаю о себе самом, — и что дальше? Если в твоих глазах мрачная тайна, избавься от нее; этого требует Пьер; что именно так незатейливо скрыто в себе, что я, казалось, видел его движение, но не его форму? Оно явно шелестит за закрытой ширмой. Сейчас, как никогда в душе Пьера, оно прежде

так не закутывалось! Если действительно ничего не скрыто в нем, то высшими силами, которые требуют всех моих подлинных поклонений, я заклинаю тебя, сними завесу; я должен встретиться с ним лицом к лицу. Шагну я к шахте, предупреди меня, приближусь я к пропасти — удержи меня, но открой мне неведомое страдание, которое должно внезапно схватить меня и овладеть мною полностью, — этого ты никогда не сделаешь; и еще, основа веры Пьера в Тебя — теперь чистая, нетронутая — может убираться восвояси и дать мне стать отгородившимся атеистом! Ах, лицо уже уходит. Умоляю Небеса не только забрать его назад, но и снова скрыть в твоих высоких тайнах, о дерево! Но оно уведено — уведено — полностью уведено; и я благодарю Бога, и я снова чувствую радость; радость, которая, как я чувствую, будет у меня, как человеческое право; лишенный радости, я чувствую, что должен буду найти причину смертельной вражды с невидимым. Ха! Слой железа, кажется, становится круглым и уже шелушит меня; и я слышал, что самые горькие зимы предсказываются более толстой шелухой на индийском зерне; так говорят наши старые фермеры. Но это мрачное сравнение. Оставьте ваши аналогии; сладость в устах оратора горька

в животе мыслителя. Сейчас и потом я буду вместе со своим собственным радостным желанием, и моё радостное лицо распугает всех призраков — и вот, они уходят, и Пьер теперь — снова Радость и Жизнь. Ты, сосна! — впредь я буду сопротивляться твоей слишком предательской убежденности. Ты не так часто привлекаешь меня под свой воздушный навес поразмышлять на мрачных глубоко уходящих корнях, которые держат его. Поэтому теперь я ухожу, и мир тебе, сосна! Та счастливая безмятежность, что всегда скрывается в сердечной печали — простой печали — и ждет, когда все остальное пройдет, — это теперь мое сладкое чувство легкости. Я не сожалею, что мне было грустно, я теперь чувствую себя полностью благословленным. Драгоценнейшая Люси! — хорошо, хорошо, — этим вечером нам предстоит приятное занятие; есть книга фламандских печатей — сначала мы должны её просмотреть; затем, во-вторых, Гомер Флексмана — ясные схемы, но все же исполненные неприкрашенного варварского благородства. Затем Данте Флексмана; — Данте! Он поэт ночи и Ада. Нет, мы не откроем Данте. Мне кажется, теперь лицо — лицо — возражает против моего немного задумчивого, милого лица

Франчески — или, скорее это было лицо дочери Франчески — принесенное печальным темным ветром наблюдательному Вергилию и натертому до блеска флорентийцу. Нет, мы не откроем Данте Флексмана. Печальное лицо Франчески теперь мой идеал. Флексман мог бы раскрыть его полностью, — представить это в линиях страдания — завораживающе сильно. Нет! Я не открою Данте Флексмана! Будь проклят тот час, когда я прочитал Данте! более проклят, чем час, когда Паоло и Франческа прочитали о фатальном Ланселоте!»

Книга III
Предчувствие и подтверждение

I

Лицо, на которое так странно и жутко намекали Пьер и Люси, отнюдь не очаровывало, но его мрачные смертные черты Пьер разглядел довольно ясно. И при этом оно никогда не встречалось ему лично, ни где-либо в безлюдном месте, ни под белым светом неполной луны, ни в радостном зале, освещенном свечами и оглашаемой парой самых веселых игривых женских голосов. Этот образ из-за пределов радостной сердечности все ближе подбирался к нему. Окруженный ободками света, он продолжал испускать на него лучи, неопределенно, исторически и пророчески, обращая назад, намекая на некий необратимый грех, и далее указывая на некую неизбежную беду. Это было одно из тех лиц, которые время от времени, кажется, взывают к человеку и без единого изреченного слова все еще показывают проблески некоего почтения к евангелию. В естественном облике, но освещенные сверхъестественным

светом; чувствительные, но с непостижимой душой, со своим безмолвным воздействием на нас, иногда парящие между Адским страданием и Райской красотой, такие лица, составленные из ада и небес, свергают внутри нас все неизбежные устои и заново в этом мире заставляют задаваться детскими вопросами.

Лицо предстало перед Пьером за несколько недель до его поездки с Люси к холмам за Оседланными Лугами и перед ее прибытием на лето в деревню; кроме того, это произошло посреди весьма людной и домашней сцены, что увеличило удивление.

Из-за неких дел с дальним фермером-арендатором он отсутствовал в особняке большую часть дня, и, как только появился дома ранним приятным лунным вечером, Дейтс передал ему сообщение от его матери, попросившей прибыть к ней около половины восьмого этим вечером в дом мисс Ллэниллин, чтобы сопровождать ее отсюда к двум мисс Пеннис. При упоминании об этой фамилии Пьер хорошо понял, чего ему ждать. Пожилые и воистину набожные старые девы, одаренные самыми добродетельными сердцами в мире и в середине жизни лишенные завистливой природой своего слуха, казалось,

поставили своим жизненным принципом благотворительность, а поскольку Бог не дал им больше права слышать евангельские проповеди Христа, они впредь делали то, что способствовало их осуществлению. Теперь, не имея для себя возможности проявлять интерес к проповедям, они сторонились церкви, и в то время, как с молитвенниками в руках Конгрегация преподобного г-на Фэлсгрэйва была занята поклонением своему Богу, обе мисс Пеннис, согласно божественной воле, с нитью и иглой были поглощены трудами служения ему, занимаясь пошивом рубашек и платьев для бедных людей округа. Пьер слышал, что они недавно взяли на себя труд организовать регулярное общество среди жен и дочерей соседних фермеров, чтобы встречаться два раза в месяц в их собственном доме (мисс Пеннис) с целью совместного шитья в пользу разных поселений нуждающихся эмигрантов, которые в последнее время расставили свои тесные лачуги вверх по реке. Но хотя это предприятие не могло быть начато без предварительного ознакомления с г-жой Глендиннинг — она действительно была очень любима и почитаема набожными старыми девами — и обещания им основательной помощи со стороны этой доброй

поместной леди, все же Пьер не слышал о том, что его мать получила официальное приглашение председательствовать или же быть всем представленной на собраниях два раза в месяц; впрочем, он предположил, что, будучи далекой от сомнений относительно таких дел, она была бы очень рада присоединиться на этом пути к славным жителями деревни.

«Теперь, брат Пьер», — сказала г-жа Глендиннинг, вставая с огромного уютного стула мисс Ллэниллин — «оберни мой платок вокруг меня; и добрый вечер тетушке Люси. — Идем, мы опаздываем»

Пока они шли, она добавила — «Теперь, Пьер, я знаю, что ты иногда проявляешь некоторое нетерпение при этих сценах шитья, но храбрись; я просто хочу заглянуть на них, чтобы получить некоторое отдаленное представление, каковы они в действительности; и затем мои обещанные пожертвования выберут себе лучшее применение. Кроме того, Пьер, я, возможно, взяла бы для сопровождения Дейтса, но я предпочла тебя, потому что хочу, чтобы ты знал, кто они и среди кого ты живешь; среди скольких действительно симпатичных и естественно чистых дам и девушек ты должен будешь однажды стать помещиком.

Я жду редкое представление красных и белых сельских цветов»

Приветствуемый такими приятными обещаниями, Пьер вскоре ввел свою мать в заполненную людьми комнату. Как только они появились, старушка, сидевшая со своим вязанием возле двери, без всякой просьбы пронзительно пропищала — «Ах! дамы, дамы, — госпожа Глендиннинг! — Господин Пьер Глендиннинг!»

Почти немедленно после этого звука раздался внезапный, растянутый, неземной, девичий вопль из дальнего угла длинной, сдвоенной комнаты. Никогда прежде человеческий голос так не трогал Пьера. Хотя он не видел человека, из которого он исходил, и хотя голос был для него совершенно необычным, все же внезапный вопль, казалось, проложил свой путь прямо через его сердце и оставил там зияющую дыру. На мгновение он в изумлении остановился, но раздался голос его матери, чья рука все еще находилась в его руке. «Почему ты так сжимаешь мою руку, Пьер? Ты причиняешь мне боль. Фу! кто-то упал в обморок, — ничего более»

Пьер немедленно опомнился и, тронутый насмешкой над своим собственным трепетом, пролетел через комнату, чтобы предложить свои

услуги, если в них появится потребность. Но все дамы и девы уже заранее были с ним; дико замерцали огни в потоке воздуха, вызванном резким открытием оконной створки, откуда как раз и исходил вопль. Но кульминационный момент шума скоро закончился и к настоящему времени, после закрытия оконной створки, спал почти полностью. Старшая из старых дев Пенсов, подойдя к г-же Глендиннинг, теперь дала ей понять, что у кого-то из дальней группы присутствующих трудолюбивых девушек случился внезапный, но мимолетный припадок, неопределенно приписанный некоему сложившемуся беспорядку или чему-то другому. Её самочувствие снова восстановилось. И поэтому компания, вся целиком, по-видимому, живя в своей естественной благоприятной среде, которая в любой основе суть всего лишь деликатность и благотворительность, воздержалась от всего дальнейшего любопытства, не напоминая девушке о том, что произошло, и не выделяя ее из всех присутствующих; и все иглы продолжили шить дальше, как и прежде.

Отправив свою мать поговорить, с кем ей хочется, и следить за своими собственными делами в обществе, Пьер, уже забыл в такой живой тол-

пе обо всех прошлых неприятностях и после некоторых изысканных слов обеих мисс Пенс, — добившись их понимания через витые длинные трубки, которые, если они не использовались, старые девы носили, засунув, как пороховницу за свой корсет, — и, аналогично, после проявления глубокого и великого интеллектуального интереса к мистическому механизму огромного шерстяного носка полностью завершил свое отдельное большое знакомство со старой леди в очках. В конце концов, это было пройдено, и после какого-то более утомительного события для того, чтобы его детализировать, но занявшего его почти на полчаса, Пьер с некоторой застенчивостью и недостаточно четкой уверенностью приблизился к дальней толпе дев, где под светом множества ароматных свечей они надували все свои щеки, яркие и контрастные, как плотные клумбы с садовыми тюльпанами. Тут были застенчивые и симпатичные Марии, Марты, Сюзанны, Бетти, Дженни, Нелли и сорок более ярких нимф, которые снимали сливки и производили масло на маслобойнях Оседланных Лугов.

Уверенность всегда находится там, где присутствует уверенный в себе человек. Там, где преобладают трудности, они затрагивают наи-

более свободного. Как же удивительно тогда, что при разглядывании такого густого множества сплетенных, плутоватых, наполовину отвлеченных, покрасневших лиц — оставаясь дерзким при их сильном замешательстве — Пьер также должен был немного вспыхнуть и начать заикаться из-за своих отношений к мелочам? Юношеская любовь и милосердие жили в его сердце, на его языке — самые добрые слова, но там, где он стоял, цель ради перевода взгляда устроила для его глаз засаду из лучников.

Но его смущение длилось слишком долго; его щека поменяла румянец на бледность; что необычного увидел Пьер Глендиннин? Позади первого бруствера из молодых девушек находилось несколько очень маленьких подставок или круглых столиков, где сидели небольшие группы швей по двое и по трое в сравнительно небольшом уединении. Они, казалось бы, были меньше известны в сельской компании или, иначе говоря, по некоторой причине добровольно удалились в свое скромное изгнание. На одной из этих персон, занятой за самым дальним и наименее заметным из этих маленьких столиков рядом с оконной створкой, взгляд бледного Пьера и остановился.

Сидящая девушка непрерывно шила; ни она, ни ее две компаньонки не разговаривали. Ее глаза были заняты ее работой, но время от времени очень близкий наблюдатель заметил бы, что она украдкой отводит их и робко, бочком скашивает в направлении Пьера, а затем, с еще большей украдкой и робостью, — к его женщине — матери, а потом отводит в сторону. Со временем её сверхъестественное спокойствие иногда казалось лишь попыткой скрыть борьбу чувств в ее груди. Ее неприкрашенное и скромное черное платье доходило почти до шеи и зажимало её ровной, бархатной полосой. В чистом восприятии этот бархат выглядел эластичным, ограничивающим и расширяющим, как будто что-то, наполненное силой, возвышалось в упругой области ее сердца. На её темных, оливковых щеках не было румянца или какого-либо признака беспокойства. На общем фоне эта девушка выделялась невыразимым самообладанием. Но, тем не менее, её косой взгляд скользил скрыто и робко. Скоро, словно уступая непреодолимой кульминации своих скрытых эмоций, независимо от того, какими они были, она обратила всю свою красоту к сияющим свечам, и в течение одного краткого момента это лицо со сверхъестественной откровенностью

встретилось с лицом Пьера. Вот тогда замечательное очарование и еще более замечательное одиночество вместе с необъяснимой мольбой взглянуло на него с этого отныне запечатленного лица. И еще он, как показалось, увидел там яркое ристалище, где Мучение сражалось с Красотой, и где, не в силах друг друга победить, оба они полегли на этом поле.

Медленно оправляясь от своей слишком очевидной эмоции, Пьер отошел еще дальше, чтобы вернуть осознанное самообладание. Дикое, изумляющее и непостижимое стремление узнать что-то определенное об этом лице охватило его. Этому любопытству в данный момент он поддался полностью, оказавшись неспособным сопротивляться ему или хоть как-нибудь осмыслить его. Как только он почувствовал, что его расстроенное самообладание вернулось к нему, он поставил себе цель проложить путь через брустверы из ярких глаз и щек и при некой кабинетной отговорке или другой услышать, если это возможно, голос той, чей простой тихий облик заставил его переместиться. Но пока с этим объектом в памяти он пересекал комнату, то снова услышал голос своей матери, весело звавшей его, и, обернувшись, увидел ее уже одетой в шаль

и капот. Теперь он мог не искать благовидный предлог и гасить волнение в себе, поэтому поклонился хозяйкам и, поспешно простившись с компанией, пошел дальше со своей матерью.

Они шли обратно домой, в прекрасной тишине, когда заговорила его мать.

«Хорошо, Пьер, что это будет возможно!»

«Бог мой, мама, ты видела ее тогда!»

«Сын мой!» — вскричала г-жа Глендиннинг, немедленно останавливаясь в беспокойстве и отводя свои руки от Пьера, — «что — что беспокоит тебя под небесами? Это очень странно! Я, по игривости спросила, над чем ты так упорно размышляешь; и тут ты отвечаешь мне самым странным вопрошающим голосом, который будто бы исходит из могилы твоего прадеда! Что, черт возьми, это означает, Пьер? Почему ты был столь тихим, и почему теперь ты говоришь невпопад! Ответь мне, — объясни все это: она… — она… — что она… ты разве не должен думать только о Люси Тартэн? — Пьер, остерегайся, остерегайся! Я думала, что ты более тверд в своей вере в женскую верность, на что, кажется, не намекает такое странное поведение. Ответь мне, Пьер, что это значит? Ну, я ненавижу таинственность; говори, сын мой»

К счастью, это долгое словесное выражение удивления его матери предоставило Пьеру время прийти в себя от своего удвоенного и усилившегося удивления, вызванного первым подозрением, что его мать также была поражена странным видом лица, а после, учитывая подозрение, так яростно накатившее на него, — ее видимым непониманием поглотивших его тревожных мыслей, одновременно совершенно не разделяемых ею самой.

«Это — ничего — ничего, сестра Мэри; просто самый маленький пустяк во всем мире. Я полагаю, что это был сон — лунатизм или что-то вроде того. В этот вечер там были весьма симпатичные девушки, сестра Мэри, не так ли? Ну, давай пойдем — идем, сестра моя»

«Пьер, Пьер! — но я снова возьму твою руку, — и тебе действительно ничего больше сказать? ты действительно бредил, Пьер?»

«Я клянусь тебе, моя драгоценная мама, что никогда прежде, с тех пор я существую, не появлялось в моей душе такого бреда, как в этот самый момент. На сегодня это всё». Затем в менее серьезном и несколько игривом тоне он добавил: «И, сестра моя, если ты знакома с трудами каких-либо авторов по физике и гигиене, то ты должна

знать, что единственное лечение такого случая безвредного временного умопомрачения для всех людей состоит в том, чтобы игнорировать его в сущности. Это главное при этой глупости. Разговор об этом только заставляет меня чувствовать себя до неприятия глупым, и не известно, может или нет он вернуться ко мне»

«Тогда любой ценой, мой дорогой мальчик, никаких слов об этом. Но то, что случилось — странно — действительно, очень, очень странно. Ну, об этом утреннем деле; как ты поступил? Расскажи мне об этом»

II

Таким образом, Пьеру, с удовольствием погруженному в этот поток приветственного разговора, было позволено сопроводить свою мать домой, не рискуя в дальнейшем вызвать у нее беспокойство или удивление. Но ни в коем случае он не мог столь легко смягчить свое собственное беспокойство и удивление. Действительно, серьезный ответ его матери был слишком верным сам по себе, хотя и уклончивым по своему эффекту, и объявившим, что никогда за всю его жизнь у него не было такого глубокого замешательства. Лицо преследовало его как некая умоляющая,

прекрасная, возбужденная, идеальная Мадонна для болезненно тоскующего и восторженного, но когда-то сбитого с толку художника. И иногда, словно мистика, лицо вырастало перед его воображением, затрагивая в нем другие мысли. Растянутый, неземной, девичий вопль вычистил до дна его душу, и на данный момент он знал, что вопль исходил от лица — такой дельфийский вопль мог донестись только из такого источника. И почему раздался этот вопль? — думал Пьер. Предвещает ли оно беду этому лицу или мне, или обоим? Что я поменял, если мое появление на какой-либо сцене способно породить такое горе? Но это, главным образом, лицо — лицо, и то, что было написано на нем. Вопль там показался его случайным воплощением.

Эмоции, которые он испытывал, казалось, охватили самые глубокие корни и самые тонкие волокна его существа. И чем больше подспудного ощущалось в нем, тем больше он чувствовал его странную непостижимость. Кем приходилась ему эта неизвестная, кричащая девушка с печальными глазами? Должны же существовать где-нибудь в мире девушки с печальными глазами, и тут была только одна из них. И кем для него стала самая красивая девушка с печальными гла-

зами? Печаль способна быть красивой, а также хорошей, как радость — он потерял себя, пытаясь следовать этому смятению до конца. «Мне больше не надо этого безумного увлечения», — мог бы он вскричать, но изо всех областей освещенного воздуха божественная красота и молящее о страдании лицо вкрадывалось во все, что видели его глаза.

К настоящему времени, думал Пьер, я всегда безразлично относился ко всем историям о человеческих призраках и мистике; мое кредо в этом мире вынуждает меня верить в видимую, красивую плоть и слышимое дыхание, пусть даже сладкое и ароматное; но только в видимую плоть и слышимое дыхание я верил до настоящего времени. Но теперь! — теперь! — и он снова едва ли не терялся в большом удивлении и метафизических размышлениях, которые расстроили весь хитрый самоанализ его ума. Самого себя ему было слишком много. Он почуял, что на то, что он прежде всегда считал твердью действительной истины, теперь смело вторгаются орущие армии замаскированных фантомов, словно с флотилий призрачных шлюпок, высаживающихся в его душе.

Страхи лица не были Горгонами, но отра-

женное безобразие не поразило бы его так, как это сделало изумительное очарование его несказанной красоты и его многострадальное, безнадежное мучение.

Но он понимал, что общее впечатление, производимое на него, также было особенным; лицо так или иначе мистически обращалось к его собственным частным и отдельным привязанностям и тихим и тиранническим голосом бросало вызов его самой глубокой морали, призывая встать Правду, Любовь, Жалость, Совесть. Вершина всех чудес! — думал Пьер, — оно действительно почти лишает меня мужества своим превосходством. Избегнуть лица он не мог. Закутывание самого себя в постельном белье не помогало от него скрыться. Полет от него под солнечными лучами вниз по лугам был столь же тщетным.

Для Пьера самым удивительным из всего было неопределенное ощущение, что где-то прежде он видел похожие черты этого лица. Но где, он не мог сказать; не мог даже вообразить, в самой отдаленной степени. Он хорошо знал — для одного или двух случаев это было фактом — что иногда мужчина может увидеть мимолетное выражение лица на улице, которое непреодоли-

мо и магнетически на мгновение затронет его, как совершенно неизвестное ему и вместе с тем странно напоминающее о некоем неопределенном лице, с которым он столкнулся ранее в некое воображаемое время, а также с чрезвычайным интересом к его жизни. Но не сейчас всё обстояло не так. Лицо не смущало его в течение нескольких созерцательных минут, а затем отвернулось от него, более не показываясь. Оно оставалось рядом с ним, но только — и не безоговорочно — именно он мог отогнать его, применив всю свою решимость и своеволие. Кроме того, то, что помимо общего очарования скрывалось в его странном восприятии, казалось концентрированным, сжатым, и указывало на острие, проникающее в его сердце с необъяснимой острой болью каждый раз, когда особая эмоция — назовем её так — захватывала его мысли и представала в его видениях тысячами форм прошлых времен и множеством легендарных старых семейных событий, знания о которых он почерпнул от своих старых родственников, теперь уже умерших.

Маскируя свою дикую мечтательность, настолько хорошо, насколько у него это получалось, от внимания своей матери и всех остальных людей в её домашнем хозяйстве, Пьер в течение

двух дней боролся со своим собственным часто посещаемым духом и, наконец, столь действенно очистился от всех странностей и столь действенно вернул самообладание, что на какое-то время жизнь зашагала рядом с ним, как будто у него никогда не было такого странного волнения. Опять же, сладкие, не ограниченные условностями мысли о Люси полностью проникли в его душу, сместив оттуда всех этих фантомных жителей. Он снова ездил, ходил, плавал, он вольтижировал и с обновленным интересом бросался в пылающую практику всех мужских упражнений, которые он так сладко любил. Ему уже почти казалось, что прежде чем обещать всегда защищать, а также вечно любить свою Люси, он должен сначала полностью поддержать и покрыть загаром самого себя и обладать той благородной мускульной мужественностью, при помощи которой он мог бы отстоять Люси перед лицом всего материального мира.

Но пока еще — даже перед случайным появлением перед ним нового лица — Пьер, из-за всей его преднамеренной страсти к гимнастике и другим увлечениям, в закрытом ли помещении, или за книгой про орнамент — пока еще Пьер в тайне не мог не раздражаться и немного

не озадачиваться, как от повода, который впервые в его воспоминаниях побудил его не просто скрыть от своей матери исключительное обстоятельство в его жизни (что, как он чувствовал, было слишком не простительно, и, кроме того, как будет в конечном итоге отмечено, он мог найти один маленький прецедент для него в своем прошлом опыте), но аналогично и сверх того, парировать, нет, уклониться, и, в действительности, вернуться из-за тревоги, как выдумщик, к явному вопросу, известному его матери, — так выглядела внешне часть их разговора в той богатой событиями ночи, теперь представшая перед его утонченным умом. Он считал также, что его уклончивый ответ не оказался пантеистическим взрывом в мгновенном провале самообладания. Нет, его мать произнесла перед ним весьма длинную речь, во время которой, как он хорошо помнил, тщательно, хотя и с трепетом, он проработал в своем уме, как лучше всего ему было бы отделить ее от ее же собственного нежеланного и несвоевременного аромата. Почему так случилось? Было ли это его привычкой? Что это за непостижимая вещь, которая так внезапно схватила его и сделала обманщиком — да, обманщиком и никак не меньше — по отношению

к своей собственной нежно любимой и доверчивой матери? Здесь, действительно, было что-то странное для него; здесь был материал для его запредельных этических медитаций. Но, тем не менее, при строгом самоанализе, он чувствовал, что у него в противном случае не будет такого желания; не будет желания скрыться самому в этом вопросе к своей матери. Опять же, почему так произошло? Было ли это его привычкой? Здесь, снова появилась пища для мистики. Здесь, в половинчатых подозрениях, покалываниях, предчувствиях Пьер начал понимать, что все зрелые мужчины, как волхвы, рано или поздно начинают осознавать, — и с большей или меньшей уверенностью — что не всегда в наших действиях присутствуют наши собственные факторы. Но в Пьере это понятие было развито очень слабо, а полумрак иногда подозрителен и противен нам; и таким образом Пьер умерил отвращение к адским катакомбам сознания, со дна которых его подзывало утробное воображение. Только этим, пусть и в тайне, он дорожил; только в этом он чувствовал себя убежденным, а именно в том, что в обоих мирах он не хотел бы иметь свою мать в качестве партнера для своего периодически мистического настроя.

Но не это неописуемое очаровывающее воздействие лица, во время тех двух дней сначала и полностью овладевшего им как своей собственностью, запутало Пьера, удерживая, по-видимому, от самого естественного из всех устремлений, — смелого поиска и возврата к ощутимой причине и опроса, взглядом или голосом, или и тем, и другим вместе, её — самой таинственной девушки? Нет; здесь Пьер сдерживался весьма серьезно. Но его глубокое любопытство и интерес к вопросу — это покажется странным — не отнеслось к печальной персоне оливковой девушки, как к некой опасности, а воплотилось в неопределенных образах, которые взволновали его собственную душу. ... Там.., скрывалась более тонкая тайна: ...её... Пьер стремился разорвать. Замечательное не сможет воздействовать не нас извне, если внутри нет того, что ответит встречным удивлением. Если звездный свод должен нагрузить сердце всеми восхитительными чудесами, то только потому, что мы сами — великие чудеса, и красота наша великолепней всех звезд в космической вселенной. Удивление переплетается с удивлением, а затем приходит чувство смущения. Нет никакой причины полагать, что лошадь, собака, домашняя птица когда-нибудь

встанут, замерев, под этим вот величественным небесным грузом. Но арки нашей души затвердели и поэтому препятствуют тому, чтобы верхняя арка упала на нас с непостижимой неотвратимостью. «Раскрой мою самую глубокую тайну», — сказал халдейский царь пастуху, ударяя в грудь его, лежащего на спине на равнине, — «и тогда я подарю все свое восхищение вам, величественные звезды!» Так, в некотором роде, и обстояло с Пьером. Объясни эту странную совокупность, ощущаемую мной самим, — думал он — поверни воображаемое лицо — и тогда я откажусь от всех других чудес ради того, чтобы пристально и с любопытством взглянуть на тебя. Но, помимо вызова со стороны твое лицо пробудило во мне первобытные чары! Для меня ты открыла одну только бесконечность, немое, умоляющее лицо тайны, лежащей в основе всех оболочек видимого времени и пространства.

Но в течение тех двух первых дней его первой дикой вассальной зависимости от его сенсационного оригинала, Пьером двигали не менее таинственные импульсы. Два или три очень простых и практических плана желательных процедур в отношении некоторого возможного простого объяснения всей этой ерунды — как он

ежеминутно это называл — время от времени мимолетно прерывали его всепроникающий полубезумный настрой. Как только он схватил свою шляпу, пренебрегши своей привычкой к перчаткам и трости, то обнаружил себя на улице, очень быстро идущим в направлении сестер Пеннис. Но куда теперь? — спросил он себя, освободившись от чар. Куда ты идешь? Миллион за то, что те глухие старые девы ничего не смогут сказать тебе о том, из-за чего ты горишь. Глухие старые девы не используются в качестве хранителей таких мистических тайн. Но тогда они смогут подсказать ее имя — где она живет, и что-то, пусть и фрагментарное, и не вполне исчерпывающее, кто она, и откуда. Да; но тогда, через десять минут после твоего ухода от них все здания в Оседланных Лугах зажужжат сплетнями о Пьере Глендиннинге, занятом женитьбой на Люси Тартэн и обегавшем всю деревню, двусмысленно преследуя странную молодую женщину. Этого совсем нельзя было делать. Ты помнишь, помнишь, как часто видя мисс Пеннис, без головного убора и без платка, спешащих через деревню, два почтальона стремятся отпустить пару сладких драгоценных сплетен? В чем для них радость, Пьер, если ты теперь позовешь их. Поистине, их

трубы и для использования и для выражения. Хотя мисс Пеннис были очень глухими, они ни в коем случае не были немыми. Они очень широко вещали.

«Теперь убедись и скажи, что это были мисс Пеннис, которые оставили новости — будьте уверены — мы — мисс Пеннис — напоминаем — сказать г-же Глендиннинг, что это были мы». Таково было сообщение, которое теперь полушутливо припомнилось Пьеру, однажды вечером доверенное ему старыми сестрами, когда они позвонили в дверь, представив, по мнению некоторых, очень …изысканную …болтовню… для его матери, но нашли помещицу отсутствующей, и потому обвинили в этом ее сына, поспешно уходя ко всем лачугам, так нигде и не опередив их открытие.

Теперь мне уже жаль, что это был никакой не другой дом, а дом мисс Пеннис; любой другой дом, кроме их дома; и своей душой я полагаю, что должен буду пойти. Но не к ним — нет, этого нельзя делать. Это, несомненно, дошло бы до моей матери, и тогда она соединила бы это вместе — поволновавшись немного — позволив ему вариться на медленном огне — и навсегда простилась бы со всеми ее величественными

понятиями о моей безупречной целостности. Терпение, Пьер, население этой области не столь огромно. Никакие плотные толпы Ниневии не помешают опознанию всех персон в Оседланных Лугах. Терпение; ты скоро снова должен увидеть её, поймав при встрече в некоем зеленом переулке, священном для твоего мечтательного вечера. Та, кому оно принадлежит, не может жить далеко. Терпение, Пьер. Иногда такие тайны лучше всего и весьма скоро распутываются, в зависимости от обстоятельств, путем распутывания самого себя. Или, если ты вернешься и возьмешь свои перчатки и, более того, свою трость, то уже после начнешь свое собственное секретное путешествие как первооткрыватель. Твою трость, говорю я; потому что это, вероятно, будет очень длинная и утомительная прогулка. Правда, сейчас я намекнул, что его обладательница не может жить очень далеко; но тогда ее близость может быть вообще незаметной. Поэтому, домой, и сними свою шляпу, и позволь своей трости остаться тихим, хорошим Пьером. Не стремись мистифицировать тайну.

Таким образом, как бы то ни было, шаг за шагом, вскоре, в течение тех двух печальных дней самого глубокого страдания, Пьер стал рассуж-

дать и убеждать себя сам; и при помощи этого непосредственного медитативного лечения смог умерить свои собственные импульсы. Несомненно, мудрым и правильным было то, что он делал, несомненно; но в мире, столь полном таких сомнений, никогда нельзя быть совершенно уверенным, что другой человек, как минимум, заботливый и донельзя добросовестный, как можно лучше и во всех отношениях будет отстаивать все мыслимые интересы.

Но когда эти два дня закончились, и Пьер сам начал признавать свои шаблоны, как воскресшие для него из мистического изгнания, тогда, в мыслях о личном и остро стоящем поиске неизвестной, он, в качестве планируемого действия, либо вызывал старых сестер, либо выполнял роль обычного наблюдателя с рысьими глазами, обходящего деревню пешком, и, как лукавый исследователь, скрывал причину своих поисков; эти и все подобные намерения полностью оставили Пьера.

Теперь он старательно боролся вместе со всей своей умственной силой за то, чтобы навсегда удалить от себя фантом. Тот, казалось, чувствовал, что порождает в нем определенное состояние его существа, и очень болезненное,

и сам фантом противоречит обычному для него самого естеству. Его задевало то, что он не знал, в чем состоит его, так сказать, нездоровье: он, при своем тогдашнем невежестве не мог найти лучшего термина; ему казалось, что в нем поселился некий микроб, который мог бы, если не быстро уничтожить, то коварно отравить и озлобить его на всю жизнь — этакая альтернатива восхитительной жизни, которую он обещал Люси в своем чистом и исчерпывающем предложении — одновременно жертвенном и сладостном.

Но в этих усилиях он потерпел полную неудачу. Теперь, по большей части, он чувствовал, что имеет власть над приходом и движением лица, но не во всех случаях. Иногда старая, оригинальная мистическая тирания нападала на него; длинные, темные локоны печальных волос опутывали его душу и тащили его замечательную меланхолию вперед вместе с собой; два больших, неподвижных, переполненных очарованием и мучением глаза сходились своими магическими лучами, пока он не начинал чувствовать, что они разожгли несказанные таинственные огни в сердце, на которое они нацелились.

Как только это чувство овладело им полностью, для Пьера наступило опасное время. Из-за

сверхъестественности, которую он ощущал, и обращений ко всему, что находилось по другую сторону его души, он был восхитительно печален. Некая туманная фея плыла над ним в небесном эфире и поливала его самыми сладкими слезами меланхолии. Тогда же его охватило необычайное желание раскрыть секрет хотя бы еще одному человеку в мире. Только одному, не больше; он не мог держать все это обилие странностей в себе. Этим нужно было поделиться. В тот час, когда это случилось, ему посчастливилось столкнуться с Люси (её, которую, прежде всех остальных, он сделал обожаемой наперстницей). Она, услышав рассказ о лице, не спала вообще той ночью и в течение долгого времени не освобождала до конца свою голову от дикой природы, отдаленных звуков Бетховена, вальсирующих мелодий двусмысленного танца фей на пустоши.

III

Эта история движется и откатывается назад ради объяснения её причины. У нас должны быть подвижная ось, гибкий обод. Теперь мы возвращаемся к Пьеру, уходящему домой от своих мечтаний под сосной.

Его нетерпеливое возмущение возвышенным

итальянцем Данте явилось результатом того, что поэт оказался тем, кто в прежнее время сначала открыл для его дрожащих глаз бесконечные утесы и заливы человеческих тайн и страданий, — хотя, по большей части, на основе увиденного, чем на сенсационном предчувствии или опыте (из-за того, что он пока ещё не видел так далеко и глубоко, как Данте, Пьер был совершенно неспособен достойно встретиться с мрачным бардом на его специфической почве), а неосознанный взрыв его молодого нетерпения также стал результатом наполовину из-за высокомерной неприязни и наполовину из-за эгоистичной ненависти, при которых, или по естественной слабости, или по неразвитости мыслей он счел всё темным бредом более высоких поэтов, находящихся в вечной оппозиции к их же собственным прекрасно закрученным, мелким мечтам о восторженной или благоразумной Юности; этот опрометчивый, невежественный взрыв молодого нетерпеливого Пьера, казалось, сбросил вместе с собой все другие формы его меланхолии — если это была меланхолия — и теперь оставил его снова безмятежным и готовым к любому спокойному и радостному событию, которое только смогли подготовить боги. В момент быстрого движения

к радости перед его темпераментом истинного Юноши предстал печальный вывод в виде надолго затянувшейся и задержавшейся радости, как раз когда она почти полностью пришла к нему.

Когда он вошел в столовую, то увидел, что Дейтс со своим подносом удалился к другой двери. Одинокая и задумчивая, сидела его мать за обнаженной половиной полированного стола за своим десертом; чаши для фруктов и графин стояли перед нею. На другом конце того же самого стола все еще лежала ткань, сложенная наизнанку, с одной положенной тарелкой и присущими ей аксессуарами.

«Садись, Пьер; когда я пришла домой, то с удивлением услышала, что фаэтон вернулся очень рано, и я ждала тебя здесь к ужину до тех пор, пока не смогла ждать больше. Но пойди прямо сейчас в зеленую кладовую и забери то, что Дейтс приготовил и просто спрятал там для тебя. Хейхо! слишком явно я предвижу это — нет более никаких регулярных обедов или чайных часов, или часов ужина в Оседланных Лугах, пока его молодой господин не связан узами брака. И это мне что-то напоминает, Пьер; но я отсрочу слова, пока ты немного не поешь. Ты знаешь, Пьер, что если ты будешь продолжать этот нерегулярный

прием пищи и таким способом почти полностью лишишь меня своей компании, то я не смогу избежать риска стать ужасной винной пьяницей, — да, ты можешь невооруженным глазом увидеть, что я сижу в полном одиночестве здесь с этим графином, как какая-то старая матрона, Пьер; некая одинокая, несчастная старая матрона, Пьер, покинутая своим последним другом, и поэтому вынужденная схватиться за флягу»

«Нет, я не почувствовал большой тревоги, сестра», — сказал Пьер, улыбнувшись, — «так как я не мог не почувствовать, что графин пока еще наполнен до пробки»

«Возможно, это уже новый графин, Пьер», — тут её голос внезапно изменился, — «но заметь меня, г-н Пьер Глендиннинг!»

«Хорошо, г-жа Мэри Глендиннинг!»

«Вы знаете, сэр, что очень скоро будете женатым, — и что этот день действительно почти определен?»

«Как!..» — вскричал Пьер в неподдельном радостном удивлении, одновременно из-за сути новости и серьезного тона, которым они были переданы — «дорогая, дорогая мама, ты теперь странным образом передумала, моя дорогая мама»

«Пусть даже так, дорогой брат, — до ближайшего светлого месяца я надеюсь заполучить Тартен в качестве младшей сестры»

«Ты говоришь очень странно, мама», — быстро возразил Пьер. — «Очень сожалею, что мне почти ничего сказать по этому вопросу!»

«Почти ничего, Пьер! Что действительно ты можешь сказать об этом? Какое вообще это имеет к тебе отношение, хотела бы я знать? Так ли велика твоя иллюзия, у тебя, влюбленного мальчика, что мужчина когда-нибудь, да обязательно женится? Соседство женит мужчин. Есть всего лишь один антрепренер в мире, Пьер, и это — г-жа Соседство, самая печально известная леди!»

«Это весьма своеобразный, разочаровывающий вид разговора при данных обстоятельствах, сестра Мэри», — сказал Пьер, кладя свою вилку. «Г-жа Соседство, ах! И по твоему материнскому мнению, мама, эта чистая славная страсть обязана только ему?»

«Только ему, Пьер; но отмечу для тебя: согласно моему кредо — хотя эта его часть немного туманна — г-жа Соседство перемещает своих пешек только так, как она сама движется в соответствии со своим настроением»

«Ах! снова набор этих же правил», — сказал

Пьер, подняв свою вилку — «мой аппетит вернулся. Но что такого в том, что я так скоро буду женат?» — добавил он, безуспешно стремясь принять скептический и беззаботный вид, — «Ты пошутила, я полагаю; мне так кажется, сестра, что либо ты, либо я, немного блуждаем сейчас в мыслях на эту тему. Ты действительно думала о подобных делах? и ты действительно победила свои проницательные сомнения в самой себе после того, как я так долго и безуспешно искал способ сделать это для тебя? Ну, я миллион раз восхищен; скажи мне скорее!»

«Я скажу, Пьер. Ты очень хорошо знаешь, что с первого часа, как ты сообщил мне — или, скорее, еще до того — с того момента, как я, при помощи своего собственного чутья узнала о твоей с Люси любви, я всегда одобряла её. Люси — восхитительная девочка, благородного происхождения, состоятельная, воспитанная, и настоящий образец всего, что я считаю любезным и привлекательным в девочке семнадцати лет»

«Ну, хорошо, ну, в общем», — вскричал Пьер быстро и стремительно, — «мы знали это прежде»

«Ну, хорошо, ну, в общем, Пьер», — насмешливо парировала его мать.

«Это не хорошо, ну, в общем, хорошо; но плохо, плохо, плохо подвергать меня таким пыткам, мама; иди вперед!»

«Но, несмотря на мое восхищенное одобрение твоего выбора, Пьер, я все-таки, как ты знаешь, сопротивлялась твоим просьбам о своем согласии на ваш скорый брак, поскольку думаю, что девушка всего лишь семнадцати лет и юноша всего лишь двадцати не должны спешить, — у них есть множество времени, которое, как полагаю, оба могли бы использовать и получше»

«Разреши мне здесь прервать тебя, мама. Независимо от того, что ты, возможно, видишь во мне; она — я подразумеваю Люси — никогда не спешила выйти замуж, — это — всё. Но я буду считать это твоим лингвистическим ляпсусом»

«Несомненно, ляпсус. Но послушай меня. Последнее время я вела тщательное наблюдение за тобой и Люси вместе, и это заставило меня подумать об этом вопросе в перспективе. Итак, Пьер, если бы ты имел какую-либо профессию, или какое-либо дело вообще; нет, не так, если я была бы женой фермера и ты — моим ребенком, работающим на моих полях, то почему бы тогда тебе и Люси не подождать ещё некоторое время. Но так как тебе нечего делать, кроме как думать

о Люси днем и мечтать о ней ночью, и так как она находится в том же самом затруднительном положении, как я предполагаю, с уважением к тебе; и поскольку последствия всего этого определенно становятся заметны, просто очевидны, и тут довольно безопасна, если можно так выразиться, впалость щёк, но очень заметно и опасно дрожание глаз; поэтому, я выбираю меньшее из двух зол; и теперь у тебя есть мое разрешение жениться, когда захочешь. Осмелюсь спросить, не возражаешь ли ты, чтобы свадьба прошла перед Рождеством[5], в этот месяц, первый месяц лета»

Пьер ничего не сказал, но, вскочив на ноги, обхватил обеими руками свою мать и неоднократно поцеловал ее.

«Самый сладостный и красноречивый ответ, Пьер, но присядь снова. Я хочу теперь сказать немного относительно менее привлекательных, но довольно необходимых слов, связанных с этим делом. Ты знаешь, что согласно завещанию твоего отца эти земли и…»

«Мисс Люси, моя любимица», — сказал Дейтс, бросаясь открывать дверь.

---

5 Примечания: 5
Имеется в виду Рождество Иоанна Крестителя (прим. пер.)

Пьер вскочил на ноги, но, как будто внезапно вспомнив о присутствии своей матери, снова овладел собой, хотя он все же приблизился к двери.

Вошла Люси, неся небольшую корзинку с земляникой.

«Как дела, моя дорогая», — нежно сказала г-жа Глендиннинг. — «Это — неожиданная радость».

«Да, и я предполагаю, что Пьер здесь также немножко удивлен, зная, что он был зван мною этим вечером, а не я им перед закатом. Но на меня снизошла внезапная фантазия из-за прогулки в одиночестве, — день был такой восхитительный; и нечаянно — это вышло нечаянно, — проходя через Локаст-Лейн, ведущую сюда, я встретила очень странного малого с этой корзинкой в руке. — «Да, купите же их, мисс», — сказал он. «И почему ты считаешь, что я хочу купить их», — возразила я, — «я не хочу их покупать. " — «Так купите же, мисс; они должны стоить двадцать шесть центов, но я возьму тринадцать, что будет моим шиллингом. Мне всегда нужны лишние полцента, всегда. Ну, я не могу ждать, я жду уже довольно долго»

«Весьма проницательный маленький чертёнок», — рассмеялась г-жа Глендиннинг.

«Маленький дерзкий мошенник», — вскричал Пьер.

«И разве я теперь не самая глупая из всех глупых девочек, так откровенно рассказывающая вам о своих приключениях», — улыбнулась Люси.

«Нет, но самая божественная из всех невинных», — вскричал Пьер в рапсодии восхищения. — «Настоящий распустившийся цветок, который обладает только чистотой, которую и показывает»

«Теперь, моя дорогая маленькая Люси», — сказала г-жа Глендиннинг, — «позволь Пьеру взять твой платок, сейчас же подойди и останься с нами на чай. Пьер как раз вернулся к ужину, час чая наступит теперь очень скоро»

«Спасибо, но на сей раз я не могу остаться. Посмотрите, я забыла о своем собственном поручении; я принесла эту землянику для вас, г-жа Глендиннинг, и для Пьера, — Пьер невероятно любит её»

«Я был бы недостаточно смел, чтобы не думать так же», — вскричал Пьер, — «для тебя и для меня, ты видишь, мама; для тебя и для меня, я надеюсь, что ты это понимаешь»

«Отлично понимаю, мой дорогой брат».

Люси покраснела.

«Это столь сердечно, г-жа Глендиннинг»

«Весьма сердечно, Люси. Итак, ты не останешься к чаю?»

«Нет, я сейчас должна идти, просто немного прогуляться, это — все; до свидания! Не надо тут же следовать за мной, Пьер. Г-жа Глендиннинг, вы удержите Пьера? Я знаю, что вам он нужен; вы обсуждали некое частное дело, когда я вошла; вы оба смотрелись очень загадочно»

«И ты была не очень далека от истины, Люси», — сказала г-жа Глендиннинг, не подавая ей никакого знака остаться.

«Да, дело самой высокой важности», — сказал Пьер, многозначительно уставившись на Люси.

В этот момент Люси, оказавшись у выхода, застыла возле двери; заходящее солнце, струившееся через окно, окунуло всю её фигуру в золотое очарование и свет; ее замечательное и очень живое прозрачное лицо ясного валлийского цвета теперь воистину пылало, как розовый снег. Ее колышущееся, белое платье с синими лентами весьма удачно заполучило ее. Пьер почти решил, что она могла бы покинуть дом, лишь просто выплыв из открытого окна, вместо того, чтобы на самом деле выйти через дверь. Весь ее облик

для него был в тот момент тронут неописуемой веселостью, плавучестью, хрупкостью и неземным исчезновением.

Юность не философ. Но в сердце молодого Пьера тогда вошла мысль, гласящая, что если слава розы тянется в течение дня, то и фаза полного бутона девичьей легкости и очарования исходит из земли почти так же скоро, как заботливо поглощенные скромные элементы, заново соединившись, превращают девичий цветок в первый раскрывающийся бутон. Но нутро молодого Пьера тогда охватили думы о запредельной печали и размышления о неизбежности исчезновения всего земного очарования, что делает самые сладкие вещи в жизни всего лишь пищей для вечно пожирающей и всеядной меланхолии. Мысли Пьера отличалась от неё и все же, так или иначе, казались ей сродни.

И это всё для того, чтобы стать моей женой? Я едва ли не на днях показал на весах сто пятьдесят фунтов твердого веса. Мне… жениться на этом небесном флисе? Мне кажется, что одно бережное объятие сломает ее воздушную оболочку, и она воспарит к тем небесам, откуда сюда и пришла, приняв облик смертной. Этого не может быть; у меня есть тяжелая земля и ее воздушный свет.

Боже мой, но брак — вещь нечестивая!

Между тем, пока эти думы прокатывались через его душу, у г-жи Глендиннинг также оказались собственные взгляды.

«Очень красивая картина», — воскликнула она, наконец, мастерски повернув свою веселую головку немного боком — «очень красиво, действительно; это всё, как я предполагаю, заранее придумано для моего развлечения. Орфей, нашедший свою Эвридику, или Плутон, крадущий Прозерпину. Замечательно! Это может означать и то, и другое»

«Нет», — серьезно сказал Пьер, — «это в прошлом. Сейчас, впервые я вижу в этом смысл» Да, добавил он про себя, я — Плутон, крадущий Прозерпину; и каждый влюбленный с этим согласится.

«И ты был бы очень глуп, братец Пьер, если бы ты не увидел что-то там», — сказала его мать, все еще следуя своему собственному сложному ходу мыслей. — «Тут объяснение следующее: Люси попросила меня оставить тебя, но в действительности она хочет, чтобы ты проводил ее. Хорошо, ты можешь дойти до подъезда, но потом ты должен вернуться, поскольку мы не завершили наше маленькое дело, как тебе известно.

Прощайте, маленькая леди!»

Тут всегда присутствовало некое нежное покровительственное великолепие цветущей г-жи Глендиннинг, возвышавшееся над тонким и скромным девичеством молодой Люси. Она относилась к ней так, как могла бы относиться к чрезвычайно красивому и не по годам развитому ребенку; и точно такой Люси и была. Будучи женщиной дальновидной, г-жа Глендиннинг не могла не чувствовать эту зрелость даже в женственной Люси: Люси для неё всё ещё была ребенком, поэтому она, ликуя, чувствовала, что в определенной интеллектуальной энергии, если можно так выразиться, она была существенной противоположностью Люси, сочувствующий ум и личность которой слились в единой форме поразительной деликатности. Но здесь г-жа Глендиннинг была права и не права одновременно. Настолько далеко, насколько здесь ей виделось различие между собой и Люси Тартэн, она не допускала ошибки; но именно поэтому дальше — гораздо дальше — думая, что видит свое врожденное превосходство над ней в абсолютной шкале бытия, она весьма глубоко и неизмеримо ошибалась.

Ведь чем может быть художественная стили-

зация ангелоподобия, если не самой высокой сущностью, совместимой с созданным существом, — внутри ангелоподобного нет вульгарной энергии. И то, что очень часто побуждает к показу какой-либо энергии — свойство, в мужчине или женщине, в основе своей являющееся устремлением, — качество чисто земное, а не ангельское. Это ложь, что все ангелы падают по причине честолюбия. Ангелы никогда не падают и никогда не бывают честолюбивыми. Поэтому доброжелательно и нежно, и со всем уважением, как будто от своего сердца, о, г-жа Глендиннинг! станьте теперь поддержкой для кудрявой Люси; а пока, леди, вы, к великому прискорбию, ошибаетесь, когда раздвигаете гордые, двойные арки яркого нагрудника на вашей груди, с тайным триумфом над той, кому вы так мягко, но все же покровительствуете, — Маленькой Люси.

Но неосведомленная об этих дальнейших идеях, эта прекрасная с виду леди, теперь ждавшая возвращения Пьера из двери портика, сидела в очень глубокой задумчивости; ее взгляд остановился на графине с вином янтарного цвета, стоящим перед нею. Случилось ли так, что она, так или иначе, увидела некое скрытое сходство между этим удивительно тонким и изящно заду-

манным маленьким графином, емкостью с пинту, наполненным легким, золотым вином, или нет, теперь абсолютно не известно. Но действительно, из-за странного и похожего на пророческое, удовлетворенного выражения ее лучезарного и добродушного лица, она казалась некой тщеславной болтуньей, что следовало из следующих слов: — Да, она — очень приятный небольшой графин на пинту для девочки; довольно маленький графин с пинтой Белого Шерри для девочки; а я — я — графин с кварту — Порто — крепкого Порто! Итак, Шерри для мальчиков и Порто для мужчин — так, я слышала, говорят мужчины; и Пьер — всего лишь мальчик, но когда его отец женился на мне, — почему нет, его отец снова стал тридцатипятилетним.

После недолгого дальнейшего ожидания г-жа Глендиннинг услышала голос Пьера — «Да, до восьми часов, по крайней мере, Люси — ничего страшного»; затем дверь зала хлопнула, и Пьер вернулся к ней.

Но теперь она обнаружила, что непредвиденное посещение Люси полностью расстроила весь деловой настрой ее энергичного сына; было бы благоразумно вернуть настрой снова, чтобы не было никакого сообщения с морем приятной

задумчивости.

«Дорогая моя! В некое другое время, сестра Мэри».

«Не в этот раз; это весьма определенно, Пьер. Честное слово, я должна буду похитить Люси и временно увезти за границу, и приковать тебя к столу, если не будет предварительного взаимопонимания с тобой, до запроса адвоката. Хорошо, я все же буду направлять тебя тем или иным способом. До свидания, Пьер; я вижу, что ты мне пока не нужен. Я предполагаю, что не увижу тебя до завтрашнего утра. К счастью, у меня есть очень интересная книга для чтения. Адью!»

Но Пьер остался на своем стуле; его пристальный взгляд остановился на тихом закате за лугом и дальше, у теперь уже золотых холмов. Стоял величественный, великолепный в своей мягкости, и самый добрый вечер, который явно казался языком всего человечества, как бы говоря: Я опускаюсь в красоте, чтобы поняться в радости; Любовь присутствует повсюду во всех мирах, приходя в виде таких закатов; страдания нет: это — глупый призрак истории. Любовь, будучи всемогущей, разве допустит страдание в своем мире? Может ли бог солнечного света учредить мрак? Повсюду этот безупречный, чистейший,

ясный, красивый мир; радуйтесь сейчас и радуйтесь всегда!

Тогда лицо, которое прежде, как казалось, мрачно и укоризненно наблюдало за ним из сердца сверкающего заката, лицо это отодвинулось от него и оставило наедине с душевной радостью и мыслями о том, как этой очень важной ночью он будет произносить волшебную брачную клятву своей Люси; ну, а юность, более счастливая, чем Пьер Глендиннинг, сидела и наблюдала, как солнце этого дня клонится к закату.

IV

После этого веселого утра, уже в тот полдень, когда все случилось, и тем же вечером, столь наполненным различными мыслями, душа Пьера уже обрела радостную мягкость и спокойствие; бесподобное чувство дикого мучения от ожидаемого восторга в более слабых умах слишком часто уводит милую влюбленную птицу из ее гнезда.

Начало ночи было теплым, но темным — из-за еще не взошедшей луны, — и Пьер прошел под развесистыми пологами из длинных ветвей плакучих деревенских вязов, почти непроницаемой чернотой окружавших его, но не ведущих к залам, мягко освещенным его очагом. Он отошел

не очень далеко, когда на некотором расстоянии от себя он заметил свет, медленно приближавшийся с противоположной стороны дороги. Поскольку носить фонарь было обычаем некоторых более пожилых и, возможно, робких жителей деревни, выходящих из дому темной ночью, то увиденное не было чем-то новым для Пьера; тем не менее, пока тот тихо приближался, единственно различимый им, его так или иначе охватило невысказанное предчувствие, что свет должен искать именно его. Он почти дошел до двери дома, когда фонарь пересекся с ним; и, как только его быстрая рука коснулась, наконец, маленьких створок калитки, которая, как он мыслил, пропускала его с большим восхищением, так тяжелая ладонь легла на него, и одновременно фонарь был поднят к его лицу, закрыв темную фигуру человека, чье лицо он мог, пусть и неотчетливо, но различить. Но Пьера, открытого для обозрения, как оказалось, уже быстро исследовал другой человек.

«У меня письмо для Пьера Глендиннинга», — сказал незнакомец, — «и я полагаю, что это вы». Одновременно с этими словами письмо было вынуто и вложено в руку Пьера.

«Для меня!» — воскликнул Пьер, бледнея и при-

ходя в себя после странной встречи. — «Мне кажется, что сейчас — странное время и место для доставки вашей почты, — кто вы? — Стойте!»

Но, не давая ответа, посыльный обернулся и уже повторно пересек дорогу. Первым импульсом Пьера было шагнуть вперед и преследовать его, но, улыбнувшись над своим собственным беспричинным любопытством и трепетом, он снова остановился и плавно повернул письмо в своей руке. Какой таинственный корреспондент, — подумал он, своим большим пальцем обводя печать по окружности; никто не пишет мне, кроме как из-за границы, и их письма приходят через контору; и что касается Люси — фу! — только что она сама была на этом месте, и едва ли её письма были бы доставлены от её собственных ворот. Странно! но я приду и прочитаю его; — нет, нет так; — я приду и прочитаю снова в ее собственном сладком сердце — это дорогое официальное письмо с небес ко мне, — и это дерзкое письмо для меня занятно. Я подожду, пока не приду домой.

Он вошел в ворота и положил свою руку на дверной молоточек дома. Внезапная прохлада в его руке вызвала бы небольшое и, в любое другое время, необъяснимо приятное чувство. Непривычно для него, но дверной молоточек,

казалось, произнес — «Входа нет! — Прочь, и сначала прочитай свое письмо»

Наполовину встревожившись и наполовину подтрунивая над собой, уже уступив этим темным внутренним наставлениям, он, подсознательно оставив дверь полуоткрытой, повторно прошел через ворота и вскоре снова обнаружил себя идущим домой.

Он больше не говорил с собой намеками; мрачный дух уже заполнил его сердце и погасил там свет; тогда, впервые за всю свою жизнь, Пьер осознал непререкаемые наставления и предчувствия Судьбы.

Он незаметно вошел в зал, поднялся в свою спальню и, поспешно закрыв в темноте дверь, зажег свою лампу. Как только зажженное пламя осветило комнату, Пьер встал перед круглым столом, куда его рукой лампа была поставлена на медный круг, который регулировал фитиль, и взглянул на отражение в противоположном зеркале. У отражения были черты Пьера, но лицо уже странно изменилось и стало ему незнакомым; лихорадочное рвение, страх и невысказанные плохие предчувствия! Он бросился на стул и какое-то время безуспешно боролся с непостижимой силой, которая овладела им. Затем,

отвернувшись, он вытянул письмо из-за пазухи, шепча себе — на тебе, Пьер! каким робким теперь ты будешь считать себя, когда это ужасное письмо окажется приглашением на завтрашний ночной ужин; быстрее, дурачок, и напиши шаблонный ответ: г-н Пьер Глендиннинг будет очень рад принять мисс такую-то и далее — подобное вежливое приглашение.

Пока он все еще считал письмо оповещающим. Посыльный поспешно обратился к нему и поставил такую задачу, которой у Пьера еще не было, покуда он не бросил один взгляд на адрес на письме. И сейчас же дикая мысль пронеслась в его голове, каков будет результат, если он сознательно разорвет письмо, не посмотрев на почерк человека, который обращался к нему. Едва он начал тешить себя этой полубезумной надеждой самому полностью навести четкий порядок в своей душе, как ощутил, что обе его руки, сложенные посередине письма, раздвинулись! Он вскочил со своего стула — небеса! — пробормотал он, невыразимо потрясенный силой того настроя, который впервые за всю его жизнь невольно появился при совершении в тайне постыдного для него действия. Хотя его настроение никак не приводило к собственному преднамеренному

поиску; все же теперь он быстро осознал, что он, возможно, немного потворствовал ему вследствие несомненно странного, безумного увлечения нежностью, с которой человеческий ум, даже энергичный, иногда сопереживает любой эмоции, как романтической, так и мистической. В такие моменты неохотно, — никто не думает, что это может быть страшно — но мы пытаемся найти чарующую силу, которая покажет, что с течением времени нас всех, удивленных, впустят в туманное преддверие духовного мира.

Пьер теперь, казалось, отчетливо чувствовал в себе две противоречивых силы, одна из которых просто боролась в его сознании, и каждая из которых боролась за господство; и между их одновременным финальным восхождением он решил, что в состоянии осознать, пусть и не пророчески, свою способность стать единственным судьей. Одна предлагала ему покончить со всем при помощи эгоистичного уничтожения письма, поскольку неким темным путем его прочтение безвозвратно запутало бы его судьбу. Другая предлагала ему отклонить все опасения; не потому, что для них не было никакого возможного основания, а потому, что отклонить их было бы более мужественно, если не брать в голову то, что

может случиться. Этот хороший ангел, казалось, мягко говорил — Прочитай, Пьер, и если даже чтение сможет запутать тебя, ты все же таким путем сможешь распутать другое. Прочитай и почувствуй, что больше всего счастлив тот, кто, проникнувшись исполнением всех обязанностей, останется к счастью равнодушным. Плохой ангел вкрадчиво дышал — Не читай его, мой дорогой Пьер, а разорви его и будь счастлив. Затем от взрыва его благородного сердца плохой ангел канул в небытие, а хороший начал вырисовываться всё яснее и яснее, возвысившись и почти приблизившись к нему, улыбаясь печально, но благожелательно; в то время, как издалека, минуя бесконечные расстояния, замечательные гармонии пробрались к нему в сердце, да так, что каждая вена запульсировала в нем, словно некий небесный свод.

V

«Имя в конце этого письма будет совершенно необычным для тебя. До настоящего времени мое существование было совершенно неизвестно тебе. Это письмо тронет тебя и причинит тебе боль. Я хотела бы уберечь тебя, но не могу. Мое сердце это мой свидетель, который заставляет

меня думать, что если бы эти выстраданные строки, передаваемые тебе, могли бы в самой слабой степени сравниться с этими мыслями, то я навсегда отказалась бы от них.

«Пьер Глендиннинг не единственный ребенок твоего отца; в глазах солнца, силы, которая ведет его, я являюсь твоей сестрой; да, Пьер, Изабель называет тебя ее братом — её братом! о, это самое сладкое из слов, о котором я так часто размышляла наедине с собой и едва ли не считала богохульным для такого изгоя, как я, так говорить или думать. Дражайший Пьер, мой брат, дитя моего собственного отца! ты — воплощение ангела, поскольку сможешь перепрыгнуть через все бессердечия и нравы окружающего мира, который назовет тебя глупцом, глупцом, глупцом! И проклянет ли он тебя, если ты уступишь этому небесному импульсу, единственному, что может принудить тебя ответить на долгую тиранию и теперь, наконец, утолить неутолимую тоску моего разорванного сердца? О, брат мой!

«Нет, Пьер Глендиннинг, я буду горда с тобой. Не позволяй моему несчастью погасить во мне благородство, которое я унаследовала наравне с тобой. Ты не должен быть обманут ни моими слезами и моим мучением, ни чем-либо другим,

в чем ты будешь раскаиваться в твой самый трезвый час. Не читай далее. Если это подходит тебе, сожги это письмо; так ты избежишь определенности в этих знаниях, которые, если ты теперь воплощение холода и эгоизма, могут после этого в некоторых зрелых суждениях, полных раскаяния, и в несчастливый час, вызвать у тебя острую укоризну. Нет, я не буду, я не буду просить тебя. — О, мой брат, мой дорогой, дорогой Пьер, — помоги мне, прилети ко мне; посмотри, я погибаю без тебя; — печально, печально, — но я замерзаю здесь в огромном, огромном мире; — никакому отцу, никакой матери, никакой сестре, никакому брату, никакому живому существу в ясной человеческой форме я не дорога. Нечего больше, ничего больше, дорогой Пьер, не могу я вынести ради того, чтобы стать изгоем в мире, за который умер дорогой Спаситель. Прилети ко мне, Пьер; — нет, я смогла бы порвать то, что я теперь пишу, — поскольку я порвала столько других листов, написанных для твоих глаз, которые никогда не достигли тебя, потому что из-за своей растерянности я не знала, ни как написать тебе, ни что тебе сказать; и потому снова смотри, как я брежу.

«Ничего больше; я не напишу ничего больше, —

тишина становится могилой, — сердечная болезнь надвигается на меня, Пьер, брат мой.

«Я недостаточно хорошо понимаю, что я написала. Я все же напишу тебе фатальную строку и сообщу тебе все остальное, Пьер, мой брат. — Та, которую зовут Изабель Бэнфорд, живет в небольшом красном сельском доме, в трех милях от деревни, на береговом склоне озера. Завтра в сумерки — не прежде — не днем, не днем, Пьер.

ТВОЯ СЕСТРА ИЗАБЕЛЬ»

VI

Это письмо, написанное женской, но неровной рукой, в некоторых местах почти неразборчивое, явно свидетельствовало о состоянии ума того, кто продиктовал его, — запятнанное, а также, тут и там, с пятнами слез, которые, взаимодействуя с чернилами, приняли странный красноватый оттенок — как будто кровь, а не слезы пали на лист, — и поэтому совершенно порванное надвое собственной рукой Пьера, которому оно действительно показалось подходящим посланием от надорванного, а также чувствительного сердца; — это было удивительное письмо, что отстраненный Пьер с течением времени всё ясней и определённей осознавал и ощущал. Он полуживой свисал на своем стуле; его рука, схватившая

письмо, была прижата к сердцу, как будто некий убийца нанес ему удар и сбежал; и теперь Пьер придерживал кинжал в ране, чтобы остановить кровотечение.

Да, Пьер, теперь действительно искусно нанесенная тебе рана никогда не будет полностью излечена, кроме как на небесах; для тебя, встретившегося с подозрительной моралью, красота мира исчезнет навсегда; для тебя твой священный отец больше не святой; вся яркость пошла от ваших холмов и весь мир от ваших равнин; и теперь, теперь, впервые, Пьер, Правда катит черной лавиной через твою душу! Ах ты, несчастный, чью Правду, в её первых потоках, никто, кроме медведей не способен одолеть!

Различимые формы вещей, оформленные мысли, биение жизни, медленно, но возвращались к Пьеру. И как моряк, потерпевший кораблекрушение и выбравшийся на пляж, в большой суматохе стремится избежать отката волны, что выбросила его; поэтому Пьер все силился и силился избежать обратного удара того мучения, которое выбило его из себя и швырнуло на обморочный берег.

Но человек не поддался горечи Зла. Молодость не опытна и сражается понапрасну. Ошеломлен-

ный Пьер встал; его большие глаза застыли, и вся его фигура дрожала.

«По крайней мере, я сам остался», — пробормотал он медленно, и наполовину задохнувшись. «Я сам встану перед тобой! Отпустите меня, все страхи, и отпустите меня все чары! Впредь я буду знать только Правду; счастливую Правду или печальную Правду; я буду знать, что к чему, и сделаю то, что предписал мой самый проникновенный ангел. — письмо! — Изабель, — сестра, — брат, — я, мне — мой священный отец! — Это мечта попала в точку! — нет, но эта бумага подделана, — основательная и злонамеренная подделка, я клянусь, — ты хорошо поступил, скрыв свое лицо от меня, ты, мерзкий посыльный с фонарем, который действительно обратился ко мне на пороге Радости, с этим лежащим здесь свидетельством Зла! Разве Правда не приходит в темноте, и не овладевает нами, и впоследствии не грабит нас, а затем не бежит ли, оставаясь глухой ко всем последующим мольбам? Судьба, разве этой ночью, которая теперь обволакивает мою душу точно так, как теперь окружает эту половину мира, я могу выбрать ссору с тобой? Ты искусна в уловках и обмане; ты выманиваешь меня из-за веселых садов к заливу. О! Меня,

ложно ведомого в дни моей Радости, теперь действительно ведут этой ночью моего горя? — Я буду энтузиастом, и никто не остановит меня! Я подниму руку в ярости, разве я не поражен? Мне будет горько дышать, разве тут не было чаши с желчью? Ты — Черный рыцарь, который с опущенным забралом противостоит мне и удерживает меня; Ло! Я разобью твой шлем, и увижу твое лицо, даже если это лицо Горгоны! — Позволь мне уйти, ты, основа переживаний; все благочестие оставило меня; — я буду нечестив из-за благочестия, манипулировавшего мной и учившего меня уважать то, что я должен был отвергнуть. Со всех идолов я сорву все завесы; впредь я увижу скрытое и переживу его прямо в внутри самого себя! — Теперь я чувствую, что только Правда может сдвинуть меня. Это письмо не подделка. О! Изабель, ты моя воплощенная сестра, и я буду любить тебя и защищать тебя, да, и пронесу тебя через все. Ах! простите мне, вы, небеса, мой нечестивый бред и примите эту мою клятву. — Здесь я клянусь самой Изабель. О! Ты бедная брошенная девочка, которая в одиночестве и мучении долго вдыхала тот же самый воздух, который я вдыхал только с восхищением; ты, кто должна даже сейчас рыдать и плакать,

брось в океан неуверенность относительно своей судьбы, которую небеса вложили в мои руки; милая Изабель! Разве я стал бы крепче, чем медь, и тяжелее, и холоднее, чем лед, если бы смог остаться бесчувственным к твоим просьбам? Ты движешься передо мной в радужных лентах своих слез! Я вижу твой долгий плач, и Бог требует от меня для тебя утешения; и утешит себя, и поддержит тебя и сражаться за тебя будет твой внезапно признанный брат, которого твой собственный отец назвал Пьером!»

Он не мог оставаться в своей комнате: дом вокруг него съежился до размеров ореховой скорлупы; его лоб бился о стены; без шапки он сорвался с места и только в бесконечном воздухе нашел свободу для безграничного пространства своей жизни.

Книга IV
Ретроспектива

I

По жизни, в своей точной последовательности и тонкой причинной связи самые сильные и пламенные эмоции бросают вызов всякому аналитическому восприятию. Мы видим облако и чувствуем грохот; но метеорология лишь лениво проводит критическое расследование того, как это облако стало заряженным, и почему этот грохот так ошеломляет. Писатели-метафизики признаются, что самое впечатляющее, внезапное, и подавляющее событие, равно как и мельчайшее, является всего лишь продуктом бесконечной череды бесконечно запутанных и не отслеженных предшествующих случайностей. Именно так обстоят дела и с каждым движением сердца. Почему эти щеки пылают благородным восторгом, почему эта губа презрительно загибается; эти вещи не вполне правильно приписывать очевидной причине, которая является только одним звеном в цепи; но в длинной цепи зави-

симостей её дальнейшее участие теряется где-то в глубине пространств, заполненных неощутимым воздухом.

И теперь бессмысленно будет пытаться каким-либо извилистым путем проникнуть в сердце, память, сокровенную жизнь и натуру Пьера, чтобы узнать, почему все так произошло. И если показать на примере интеллекта, как при естественном ходе вещей многие любезные господа, и молодые, и старые, познают и воспринимают что-то с мгновенным чувством удивления, а затем проявляют некоторое любопытство, чтобы узнать больше, то тогда, наконец, со всей беззаботностью надо попытаться показать, что именно скатилось на душу Пьера, как расплавленная лава, и оставило настолько глубокое опустошение, что все его последующие усилия так и не вернули первоначальные храмы земле и не восстановили полностью весь цвет его похороненной культуры.

Но некоторых случайных намеков может быть достаточно, чтобы немного поубавить такие странности, как бурный настрой, в который его бросило столь малое письмо.

Вот так долго держалась святыня в обрамленном вечнозеленой листвой сердце Пьера, к кото-

рой он поднимался, оставив множество памяток на каждом шагу, и вокруг которых он ежегодно развешивал свежие венки сладкой и святой привязанности. Созданная в прошлом одной такой зеленой беседкой, столь последовательно исполненная согласно жертвенному обету его существа, эта святыня и казалась, и действительно была местом для празднования радостного события, а не для каких-либо печальных обрядов. Но даже у укутанной и увитой венками, у этой святыни имелся мраморный столб, который считался твердым и вечным, и с чей вершины ниспадали неисчислимые рельефные свитки и ветви, которые держались на всем этом одноколонном храме его праведной жизни подобно тому, как в некоторых красивых готических молельнях один центральный столб, словно ствол, поддерживает крышу. В этой святыне, в нише этого столба стояла прекрасная мраморная фигура его покойного отца — незапятнанная, безоблачная, белоснежная и безмятежная, столь любимое Пьером воплощение совершеннейшего, достойнейшего и прекраснейшего человека. Перед этой святыней Пьер обильно изливал большую часть всех почтительных мыслей и верований молодой жизни. Едва ли не к Богу в сердце входил

тогда Пьер, поднимаясь по ступеням этой святыни и таким образом создавая преддверие своей малопонятной религии.

После князя Мавсола пусть будет благословен и прославлен в свой могиле тот смертный родитель, который после благородного, чистого жизненного курса умер и был похоронен, словно в избранном источнике, на сыновней груди добросердечного и рассудительного благодарного потомка. Поскольку в тот период идеи Соломона еще не влились своими мощными притоками в незамутненное течение детской жизни, то у этих небесных вод тоже имелось редкое оберегающее достоинство. Все брошенные в этот фонтан сладкие воспоминания превращаются в мрамор, да так, что все недолговечное становится вечным и неизменным. Так, иногда воды в Дербишире замирают перед птичьими гнездами. Но если судьба долго хранит отца, то слишком часто его похороны для сына оказываются менее прочувствованными, а для наследника канонизация покойного становится не столь желательна. Раскрыв глаза, мальчик ощущает или неосознанно полагает, что ощущает, небольшие пятнышки и недостатки в характере того, кого он некогда абсолютно почитал.

Когда Пьеру было двенадцать лет, его отец умер, оставив о себе, согласно общепринятому мнению, отменную репутацию джентльмена и христианина, в сердце своей жены — свежую память о многих здоровых днях безоблачной и радостной супружеской жизни, а в сокровенной душе Пьера — впечатление от редкой физической мужественной красоты и доброты, с которой могла соперничать только воображаемая прекрасная форма, в которой было отлито его добродетельное сердце. В задумчивые вечера, при жарком зимнем огне, или летом, на южной веранде, когда эта мистическая ночная тишина, столь характерная для деревни, вызывала в сознании Пьера и его матери длинную вереницу изображений прошлого, авангардом всей этой духовной процессии величественно и благочестиво выступала почитаемая персона покойного мужа и отца. Тогда их разговоры уходили в воспоминания и становились серьезными, но сладкими; и снова, и снова, глубоко и еще глубже, в душе Пьера отпечатывалось заветная мысль, что его добродетельный отец, такой прекрасный на земле, был теперь столь же непогрешимо праведен на небе. Столь тщательно и, в определенной степени, уединенно взлелеянный Пьер, хоть

и достигший теперь возраста девятнадцати лет, никогда еще полностью не приобщался к тому более темному, хотя и более истинному положению вещей, которое в городской среде с самого раннего периода жизни почти неизбежно оставляет отпечаток в уме любого проницательного, наблюдательного и мыслящего молодого человека одних с Пьером лет. Поэтому до того времени в его груди все оставалось, как было; и для Пьера святость его отца казалась безупречной и пока еще нетронутой, как мрамор из Аримафеи на его могиле.

Сочтя тогда всё опустошающим и испепеляющим взрывом, Пьер, в одну ночь лишил свою самую священную святыню всех возложенных цветов и тихо похоронил статую святого под руинами повергнутого храма своей души.

II

Насколько пышно растет виноградная лоза, и виноград своим багрянцем закрывает крепостные стены и надульники пушек Эренбрайтштайна, настолько же самые сладкие радости жизни растут в самых опасных её челюстях.

Но действительно, разве в жизни из-за всеобщего языческого легкомыслия мы, бенефициарии

проступков, не бываем столь глупы и увлечены, что считаем нашей самой сильной стороной восхищение, появившееся всего лишь вследствие капризного события — падения листьев, звука голоса или одного маленького бумажного квитка с некими нацарапанными острым пером маленькими знаками? Поэтому мы совершенно не беспокоимся, что эта шкатулка, куда мы поместили нашу самую священную и самую последнюю радость, и которую мы снабдили невероятно хитрым замком, может быть извлечена и осквернена прикосновением самого простого незнакомца, пока мы полагаем, что только мы одни держим её под единственным и избранным контролем?

Пьер! Ты воплощение глупости; восстанови — нет, не так! для тебя святыня все еще стоит; она стоит, Пьер, твердо стоит; ничуть тобой не обеспокоенная, поддерживающая цветок? Такое письмо, как твое, можно довольно легко написать, Пьер; самозванцы известны в этом любопытном мире или же шустрый романист, Пьер, напишет тебе пятьдесят таких записок и тем самым выдавит фонтан слез из глаз своего читателя, как раз когда ты заметил, как странным образом его собственные мужественные глаза

стали такими сухими; такими остекленевшими и такими сухими, Пьер — глупый Пьер!

О! не дразните сердце кинжалом. Человек, которому наносят удар, знает, что такое сталь; впустую говорить ему, что это — только щекочущее перо. Он не чувствует внутри глубокую рану? Что делает эта кровь на моем одеянии? и зачем эта острая боль в моей душе?

И здесь снова и весьма обоснованно можно подойти к тем Трём Судьбам, которые трудятся за ткацким станком Жизни. Мы могли бы снова спросить их, что это за нити, о, Вы, Судьбы, соткали в чужих годах, которые теперь столь безошибочно передают Пьеру электрические предчувствия и горечь от осознания того, что его отец больше не святой, и Изабель, действительно, его сестра?

Ах, отцы и матери! всего окружающего мира! Будьте внимательны, — обратите внимание! Вы сейчас мало понимаете силу слов и признаков тех зловещих вещей, на которые намекали и которые в его невинном присутствии вы решили замаскировать. Но теперь он знает, а очень многое даже внешне сознательно замечает; но если в загробной жизни Судьба вкладывает в его руки алхимический зашифрованный ключ, то как же

быстро и как замечательно он прочитает все непонятные надписи и большую часть стертых, что найдет он в своей памяти; да, и сам он пороется во всем, что сверху, продвигаясь к еще непрочитанным скрытым письмам. О, самые темные уроки Жизни будут таким способом прочитаны, вся вера в Достоинство будет убита, и юность обретет атеистическое презрение.

Но не так, в целом, обстояло дело с Пьером; все же будет лучше, если в некоторых пунктах это вышеупомянутое искреннее предупреждение окажется вполне уместным.

Его отец умер от лихорадки; и, как весьма часто случается при этой болезни, к своему концу разум его периодически блуждал. В это время незаметно, но искусно, преданные семье слуги оградили его от присутствия жены. Но нежная, сыновняя любовь маленького Пьера всегда влекала его к этой кровати; они учли простодушие маленького Пьера, когда его отец был безумен, и поэтому однажды вечером, когда их тени терялись за занавесками и вся палата притихла, а огонь в очаге улегся в разрушенном храме из замечательных углей, Пьер смутно, но увидел лицо отца. И тогда странный, жалобный, бесконечно жалкий, низкий голос донесся с верного ложа,

и Пьер услыхал, — «Моя дочь! моя дочь!»

«Он снова бредит», — сказала сиделка.

«Дорогой, дорогой отец!» — рыдал ребенок. — «У тебя нет дочери, но вот твой собственный маленький Пьер»

Но снова непочтительный голос прозвучал в постели, и тут же раздался внезапный, очищающий вопль, — «Моя дочь! — Боже! Боже! — моя дочь!»

Руку ребенка схватил умирающий человек; его рука еле-еле сжалась, но с другой стороны кровати другая рука, также впустую самостоятельно приподнятая, поймала пустоту так, как будто ухватила некие другие детские пальцы. Затем обе руки опустились на простыню, и в мерцающих вечерних тенях маленький Пьер, казалось, увидал, что в то время как рука, которая его держала, покрылась слабым, лихорадочным румянцем, другая, пустая, осталась пепельно—белой, как у прокаженного.

«Это пройдет», — прошептала сиделка, — «он уже не будет бредить дольше, чем до полуночи, — что стало его привычкой». И затем в своем сердце она задалась вопросом, как так случилось, что столь прекрасный джентльмен и такой безукоризненно хороший человек должен столь

двусмысленно бредить и с дрожью думать в душе о ком-то таинственном, который, как кажется, не признается человеческой юрисдикцией, и с озлобленностью невинного человека все еще мечтает об ужасном и бормочет о неприличном; и пораженная страхом, ребяческая душа Пьера прониклась родственной близостью, пусть и пока ещё весьма смутно осознанной. Но она принадлежала сферам неощутимого эфира, и ребенок скоро кинулся к другим и более сладким воспоминаниям о нем и закрылся ими; и наконец, все это смешалось со всеми другими туманными материями и грезами полумрака, и потому, как казалось, не уцелело ни в какой реальной жизни Пьера. Но хотя в течение многих долгих лет белена не распускала свои листья в его душе, брошенное там семя все же осталось: и письмо Изабель, как первый проблеск, словно по волшебству, открыло у него источник силы. Затем снова долго угасающий, жалобный и бесконечно жалкий голос произнес слова, — «Моя дочь! моя дочь!» — сопровождаемые раскаивающимся «Боже! Боже!» И снова к Пьеру впустую протянулась рука, и снова пепельная рука упала.

III

Если скучные судьи с холодными головами в качестве доказательства требуют присяги на Священном Писании, то в теплых залах сердца одной единственной незасвидетельствованной искре памяти будет достаточно возжечь такое пламя доказательств, при котором все углы греховного сознания будут освещены так же внезапно, как загоревшееся в полночь городское здание, каждой из сторон окрасившееся в красный цвет.

С комнатой Пьера сообщался стенной, с круглыми окошками шкаф, куда он всегда имел привычку заходить в те ужасно сладкие часы, когда душа взывала к душе. Войди в одиночество со мной, брат-близнец, и отойди: у меня есть тайна; позволь мне прошептать её тебе в сторонке: в этом шкафу, священном для уединенного Тадмора и периодического отдыха иногда уединявшегося Пьера, на длинных шнурах от карниза висел маленький портрет, написанный маслом, перед которым Пьер много раз недвижимо стоял. Если бы эта картина висела на какой-либо ежегодной общественной выставке, и в свою очередь была бы описана в печати случайно увидевшими её критиками, её, вероятно, описали бы именно так, и это было бы правдиво: «импрови-

зированный портрет прекрасного на вид юного джентльмена с легким нравом. Он беспечно и, на самом деле, не задумываясь, не наблюдаемый никем, уселся или, скорее, на мгновение занял старомодное малаккское кресло. Одна рука придерживает шляпу, трость нетерпеливо брошена на заднюю часть стула, в то время как пальцы другой руки играют с золотой гравировкой часов и ключом. Свободно сидящая голова была повернута боком с необычно ясным и беззаботным, утренним выражением лица. Кажется, что он просто заглянул в гости к хорошему знакомому. В целом, картина эта чрезвычайно умная и веселая, все ясно и бесцеремонно отображающая. Несомненно, это портрет и ничего необычного, и, рискну туманной догадкой, портрет любительский»

Такой ясный и такой веселый в тот момент, такой аккуратный и такой молодой, какой-то особенно здоровый и солидный; что за тонкий элемент мог настолько принизить весь этот портрет, что для жены оригинала он стал несказанно неприятным и отвергаемым? Мать Пьера всегда не любила эту картину, которая, как она всегда утверждала, действительно заметно противоречила облику её мужа. Ее главные воспоминания

о покойном не позволяли обрамить его одним-единственным венком. Это не он, — так могла она подчеркнуто и почти с негодованием восклицать, а то и настойчиво заклинать, показав причину такого неблагоразумного мнения почти всем другим знакомым и родственникам покойного. Но портрет, в котором она сочла отдать должное своему мужу, правильно в деталях передав его особенности и, что наиболее важно, самое истинное, самое прекрасное и всё связующее благородное выражение лица, этот портрет был намного большим по размеру и в большой нижней гостиной занимал на стене самое заметное и благородное место.

Даже Пьеру эти две картины всегда казались необычайно разными. И поскольку большая была написана на много лет позже другой, то, следовательно, оригинал в большой степени оказался ближе к его собственным детским воспоминаниям; а поэтому он сам не мог не считать его гораздо более правдивым и живым отображением своего отца. Поэтому простое предпочтение его матери, хоть и сильное, нисколько не было для него удивительным, а скорее совпадало с его собственным мнением. И всё же не по этой причине другой портрет был так решительно отклонен.

Поскольку на первом месте сказалась разница во времени и некоторое различие костюмов, и значительное различие стилей соответствующих художников, и значительное различие в соответствии этих, наполовину отраженных лиц идеалу, который даже в присутствии оригиналов одухотворенный художник скорее подберет, чем напишет прямо с мясистых физиономий, пусть даже блестящих и прекрасных. Кроме того, в то время как большой портрет был портретом женатого человека средних лет и, как казалось, был полностью насыщен молчаливым и отчасти величественным спокойствием, присущим этому состоянию, как никогда удачному, меньший же портрет изображал живого, свободного, молодого бакалавра, способного с радостью расположиться как в верху, так и в низу мира, беззаботного и, возможно, не очень обольстительного, и с губами, наполненными первой, еще не надоевшей, утренней сочностью и свежестью жизни. Здесь, конечно, стоит проявить большую осторожность в какой-либо искренней оценке этих портретов. Для Пьера это заключение стало почти непреодолимым, когда он самостоятельно поставил рядом два портрета; один был взят из его раннего детства, — одетый и опоясанный мальчик четырех

лет; и другой, — взрослый юноша шестнадцати лет. Если исключить все неразрушаемое, что сохранилось в глазах и на висках, то Пьер едва мог признать громко смеющегося мальчика в высоком и задумчиво улыбающемся юноше. «Если несколько лет способны создать такое различие, то почему это не относится к моему отцу?» — думал Пьер.

Помимо всего этого, Пьер изучил историю и, если можно так выразиться, семейную легенду о малой картине. Она была подарена ему на его пятнадцатилетие тетей — старой девой, которая жила в городе и лелеяла память об отце Пьера со всей замечательной неувядающей преданностью, с которой старшая сестра всегда сопереживает идее любимого младшего брата, теперь уже умершего и безвозвратно ушедшего. Как только ребенок этого брата, Пьер, стал объектом самого теплого и необыкновенно большого участия со стороны этой одинокой тети, ей привиделось, что, снова превратившись в юношу, он стал очень сходен душой с ее братом и точно унаследовал его наружность. Хотя портрет, как мы сказали, был слишком переоценен ею, все же долгое следование канону ее романтичной и образной любви, утвержденной портретом,

должно было длиться до тех пор, пока Пьер — поскольку Пьер был не только единственным ребенком своего отца, но и его тезкой — пока Пьер не станет достаточно взрослым, чтобы правильно понять святость и бесценность сокровища. В соответствие с этим она послала портрет ему, поместив в тройную коробку и, наконец, укрыв водонепроницаемой тканью; и он был доставлен в Оседланные Луга особым, тайным посыльным, старым досужим джентльменом, когда-то ею покинутым, потому что отверг процесс ухаживания, но теперь уже ставшим удовлетворенным и болтливым соседом. С этого времени перед миниатюрой из слоновой кости с золотой крышкой и золотой рамкой — братским подарком — тетя Доротея посвящала свое утро и свои вечерние обряды памяти самого благородного и самого солидного из её братьев. Все же ежегодное посещение Пьером стенного шкафа —совсем не легкое обязательство для того, кто слабеет с годами и слабеет от любого пути — настолько свидетельствовало о серьезности этого сильного чувства долга, что отказ добровольно расстаться с драгоценным мемориалом сам по себе оказывался весьма болезненным.

IV

«Расскажи мне, тетя», — так впервые спросил её маленький Пьер, задолго до того, как портрет стал ему принадлежать — «расскажи мне, тетя, как этот портрет на стуле, как ты его называешь, был написан, — кто написал его? — чей был этот стул? — этот стул теперь у тебя? — Я не вижу его здесь, в твоей комнате, — почему папа смотрит так странно? — Я хотел бы теперь узнать, о чем тогда папа думал. Теперь, дорогая тетя, расскажи мне все об этой картине, чтобы, когда она будет моей, как ты обещаешь, я знал всю её историю»

«Тогда присядь, веди себя как можно тише и будь внимательным, мое дорогое дитя», — сказала тетя Доротея, одновременно повернув голову, дрожа и пытаясь разыскать свой карман, пока маленький Пьер не вскричал: «Тетя, разве история картины не описана в какой-нибудь из маленьких книжек, которые ты пытаешься вынуть и прочитать?»

«Где мой носовой платок, дитя мое?»

«Вот, тетя, он здесь под твоим локтем; здесь, на столе; здесь, тетя; возьми его, возьми. О не говори сейчас о картине; я не буду слушать»

«Останься, мой дорогой Пьер», — сказала его тетя, взяв носовой платок, — «задерни немного занавес, мой дорогой; свет вредит моим глазам.

Теперь подойди к шкафу и принеси мне мой темный платок, — запасись терпением… Вот спасибо, Пьер; теперь снова присядь, и я начну… Картина была написана давно, дитя мое; ты тогда еще не родился»

«Не родился?» — вскричал маленький Пьер.

«Не родился», — сказала его тетя.

«Ну, продолжай, тетя; но не говори мне снова, что когда-то давно я был не маленьким Пьером вообще, а мой отец уже жил. Продолжай, тетя, — да, продолжай!»

«Зачем ты так нервничаешь, дитя мое, — будь терпелив; я очень стара, Пьер, а старики всегда не любят торопиться»

«Теперь, моя родная дорогая тетя Доротея, действительно прости мне это один раз и продолжай свою историю»

«Когда твой бедный отец был настоящим молодым человеком, мой мальчик, он во время одного из своих долгих осенних визитов к своим друзьям в этом городе состоял в доверительном общении со своим кузеном, Ральфом Уинвудом, который был его ровесником, — тот тоже был прекрасным юношей, как и Пьер»

«Я никогда не видел его, тетя; скажи, где он теперь?» — прервал Пьер; — «он теперь живет

в деревне, как мама и я?»

«Да, дитя мое; но это далекая, красивая дервня, я полагаю, — он находится на небесах, я уверена»

«Умер», — вздохнул маленький Пьер — «продолжай, тётя».

«Тогда кузен Ральф очень любил живопись, дитя моё, и он провел множество часов в комнате, кругом завешенной картинами и портретами; и там у него были свой мольберт и кисти; и он очень любил рисовать своих друзей и развешивать их портреты у себя дома на стенах так, чтобы, находясь в полном одиночестве, у него все же была большая компания, которая навсегда оставалась средой их наилучшего самовыражения в его отношении и никогда не раздражала его, никогда не сталкивалась с ним и не злила, маленький Пьер. Часто он умолял твоего отца посидеть у него, говоря, что его тихий круг друзей никогда не будет полон, если бы твой отец не согласится присоединиться к нему. Но в те дни, мой мальчик, твой отец всегда находился в движении. Мне было трудно заставить его оставаться на месте, в то время я вязала ему шейный платок; поэтому он никогда не приезжал ни к кому, кроме меня. Таким образом, он всегда откладывал и откладывал посещение кузена

Ральфа. „Как-нибудь в другое время, кузен; не сегодня; — возможно, завтра, — или на следующей неделе“; — и так, наконец, кузен Ральф впал в отчаяние. Но я все-таки поймаю его, вскричал хитрый кузен Ральф. Таким образом, он уже больше ничего не сказал твоему отцу о его портрете, но каждое утро выкладывал свой мольберт, кисти и все необходимое, чтобы быть готовым к первым мгновеньям визита твоего отца, если тот сейчас или позже, но все же заглянет к нему во время своих долгих прогулок, поскольку у твоего отца была привычка время от времени наносить мимолетные ответные визиты кузену Ральфу в его мастерскую. — Ну, дитя мое, теперь ты можешь раздвинуть занавес — здесь, как мне кажется, становится очень мрачно,»

«Ну, я так все время и думал, тетя», — сказал маленький Пьер, повиновавшись, — «но не сделаю, поскольку ты говоришь, что свет вредит твои глазам»

«Но не сейчас, маленький Пьер»

«Ну, хорошо; продолжай, продолжай, тетя; ты не можешь представить, насколько мне интересно», — сказал маленький Пьер, придвигая свой табурет вплотную к стеганой атласной кромке платья его славной тети Доротеи.

«Да, мой мальчик. Но сначала позволь мне сказать, что в это время в порт прибыл корабль, каюты которого были наполнены французскими эмигрантами — бедными людьми, Пьер, которые были вынуждены уехать из своей родины из-за суровых, кровопролитных событий. Но ты прочитал обо всем этом в небольшой истории, которую я давно давала тебе»

«Я всё это знаю: Французская революция», — сказал маленький Пьер.

«Ты же известный маленький ученый, мой дорогой мальчик», — сказала Тетя Доротея, слабо улыбнувшись — «среди этих бедных, но благородных эмигрантов была красивая молодая девушка, печальная судьба которой позже создала большой шум в городе и заставила глаза многих людей заплакать, но напрасно, поскольку о ней никогда больше не было слышно»

«Как? как? Тётя, — я не понимаю, — она тогда исчезала, тетя?»

«Я оказалась почти перед началом моей истории, мальчик. Да, она действительно исчезла, и о ней никогда больше не слышали; но это было позже, некоторое время спустя, дитя мое. Я очень уверена, что так было; могу в этом поклясться, Пьер»

«Да ведь, дорогая тетя», — сказал маленький Пьер, — «как искренне ты говоришь — после чего? Твой голос становится очень странным; давай теперь не говорить так; ты очень пугаешь меня, тетя»

«Возможно, что виной тому — сильный насморк, который у меня сегодня; я боюсь, Пьер, что он делает мой голос немного хриплым. Но я снова попытаюсь не говорить так хрипло. Ну, дитя мое, за некоторое время до того, как эта красивая девушка исчезла, и после того, как бедные эмигранты высадились, твой отец завел с ней знакомство и со многими другими человеколюбивыми господами города решил узнать, чего хотят иностранцы, поскольку они действительно были очень бедны, лишены какого-либо имущества и берегли небольшие пустяковые драгоценности, с которыми невозможно было уехать подальше. Наконец, друзья твоего отца попытались отговорить его от посещения этих людей, так как они боялись, что поскольку девушка была очень красива и немного склонна к интрижке — так говорили некоторые — твой отец мог бы жениться на ней, что было бы не самым мудрым решением для него; поскольку, хотя девушка, возможно, была очень красивой

и доброй, все же никто на этом берегу океана, конечно, не знал её достоверную историю, а она была иностранкой; и никто не стал бы настолько подходящей и превосходной партией, достойной твоего отца, какой стала позже твоя дорогая мать, мой мальчик. Но, что касается меня, то я та, кто всегда очень хорошо знала обо все намерениях твоего отца, и он также очень доверял мне, — я же, со своей стороны, никогда не считала, что он поступил бы столь неблагоразумно, а именно, женился бы на странной молодой леди. Во всяком случае, он, наконец, прекратил свои визиты к иммигрантам; и это произошло после этого, как девушка исчезла. Некоторые рассказывали, что она, должно быть, добровольно, но тайно вернулась в свою собственную страну, а другие заявляли, что она, должно быть, была похищена французскими эмиссарами, из-за чего, после ее исчезновения, стали появляться слухи, что она была самого благородного происхождения и состояла в некотором родстве с королевской семьей; и тогда снова некоторые мрачно качали своими головами и бормотали о случаях утопления и других темных делах, на что всегда слышатся намеки, когда люди исчезают, и никто не может их найти. Но, несмотря на то, что

твой отец и многие другие господа сделали все возможное, чтобы найти ее след, все же, как я рассказала прежде, мой мальчик, она никогда больше не появлялась»

«Бедная французская леди!» — вздохнул маленький Пьер. — «Тетя, я боюсь, что она была убита»

«Бедная леди, и о ней ничего не известно», — сказала его тетя. — «Но послушай, поскольку я снова подхожу к картине. Тогда, в то время, когда твой отец так часто навещал эмигрантов, мой мальчик, кузен Ральф был одним из тех, кто мало представлял себе, что твой отец ухаживал за нею; но кузен Ральф, будучи тихим молодым человеком и человеком образованным, плохо понимал, что мудро, а что глупо в большом мире; кузена Ральфа вообще не задело бы, если бы твой отец действительно женился на молодой беженке. В пустых размышлениях о том, что твой отец ухаживал за ней, — как я рассказала тебе — ему казалось, что будет очень здорово, если он сможет нарисовать твоего отца как ее поклонника, то есть, нарисовать его сразу после его ежедневного посещения эмигрантов. Итак, он увидел свою возможность: каждая вещь пребывала в его мастерской в ожидании, как я прежде говорила

тебе; и как-то утром, конечно же, твой отец ввалился к нему после своей прогулки. Но прежде чем он вошел в комнату, кузен Ральф проследил за ним из окна; и когда твой отец вошел, у кузена Ральфа был готов разложенный стул, — а задняя часть его мольберта уже была повернута к нему, — и сделал вид, будто очень занят живописью. Он сказал твоему отцу — „Рад видеть тебя, кузен Пьер; я здесь только что начал кое-чем заниматься; пока сядь прямо там и расскажи мне новости; и я вскоре выйду к тебе. И расскажи нам что-нибудь про эмигрантов, кузен Пьер“, — хитро добавил он — желая заполучить бег мыслей твоего отца, отражавших процесс ухаживания, через попытку поймать соответствующее выражение лица, как ты понимаешь, маленький Пьер»

«Я не знаю, точно ли понимаю, тетя; но продолжай, мне так интересно; действительно продолжай, дорогая тетя»

«Ну вот, при помощи множества маленьких хитрых движений и приемов кузен Ральф удерживал твоего отца, сидящего там на стуле, болтающего снова и снова, и бывшего тогда столь простодушным, что никогда не учитывал всего, пока хитрый кузен Ральф рисовал и рисовал столько, сколько смог, и только притворялся, что

смеется над остротами твоего отца; короче говоря, кузен Ральф украл свой портрет, мой мальчик»

«Я надеюсь, что не украл его», — сказал Пьер, — «это ведь очень злобное слово»

«Ну, тогда мы не назовем это кражей, так как я уверена, что кузен Ральф держал твоего отца все время в стороне от себя и поэтому не имел возможности рисовать, хотя действительно, он, так сказать, при помощи хитрости написал тот портрет. И если действительно это была кража или нечто подобное, то, все же, видя, сколько радости этот портрет доставил мне, Пьер, и как много он будет значить для тебя, я надеюсь, я думаю, что мы должны всем сердцем простить кузена Ральфа за то, что он тогда сделал»

«Да, я думаю, что, действительно, должны», — вмешался маленький Пьер, сам теперь нетерпеливо рассматривая портрет, который висел над мантией.

«Ну, поймав таким способом твоего отца два-три раза и более, кузен Ральф, наконец, закончил картину; и когда он заключил её в раму, и все труды закончились, то удивил бы твоего отца, смело повесив портрет в своей комнате среди других своих портретов, если бы однажды утром твой отец внезапно не пришел к нему — как раз

в тот момент, когда, действительно, сама картина была уложена на столе изображением вниз, и кузен Ральф прикреплял к ней шнур — пришел к нему и напугал кузена Ральфа, спокойно сказав, что, оказывается, то, что он думал о нем, было неспроста, и что кузен Ральф подшучивает над ним; но он надеется, что это не так. «Что ты имеешь в виду?» — немного взволнованно сказал кузен Ральф. «Разве ты здесь не повесил мой портрет, кузен Ральф?» — сказал твой отец, разглядывая стены. — «Я рад, что не вижу его. Это — моя прихоть, кузен Ральф, — и, возможно, что очень глупая, — но если ты недавно написал мой портрет, то я хочу, чтобы ты уничтожил его; во всяком случае, не показывай его никому, держи подальше от людских глаз. Что у тебя там, кузен Ральф?»

«Кузен Ральф теперь еще больше затрепетал, не зная, что делать — как и я по сей день — из-за странного поведения твоего отца. Но он нашелся и ответил — «Это, кузен Пьер, секретный портрет, который я написал здесь; ты должен знать, что нам, портретистам, иногда предлагают написать такое. Поэтому я не могу показать его тебе или сказать о нем что-либо»

«Ты писал мой портрет или нет, кузен Ральф?» —

спросил твой отец, весьма внезапно и остро.

«Я не нарисовал ничего, кроме того, что ты здесь видишь», — уклончиво сказал кузен Ральф, как будто заметив на лице твоего отца жестокое выражение, которого он никогда не видел прежде. И ничего больше твой отец не смог от него добиться»

«И почему?» — сказал маленький Пьер.

«Потому он не смог добиться большего, мой мальчик, — потому, что твой отец ни разу не уловил и проблеска той картины; воистину, так и не узнав наверняка, существует ли такая картина вообще. Кузен Ральф тайно отдал её мне, зная, как я нежно любила отца, торжественно потребовав от меня обещания никогда не выставлять её там, где твой отец мог бы случайно увидеть её или как-то услышать про неё. Это обещание я искренне сдержала и только после смерти твоего дорогого отца повесила её в своей комнате. Итак, Пьер, у тебя теперь есть история портрета на стуле»

«…Одного из очень необычных портретов», — сказал Пьер, — «и история настолько интересная, что я никогда не забуду её, тетя»

«Я надеюсь, что никогда не забудешь, мой мальчик. Теперь позвони в звонок, и у нас бу-

дет маленький кекс с цукатами и орехами, а я возьму стакан вина, Пьер, — ты слышал, мой мальчик? — звони — звони ему. Зачем ты встал там, Пьер?»

«Разве папа не хотел, чтобы кузен Ральф написал свою картину, тетя?»

«До чего же скоры эти детские умы!» — воскликнула старая тетя Доротея, в изумлении разглядывая маленького Пьера — «Это действительно даже больше, чем я могла сказать тебе, маленький Пьер. Но у кузена Ральфа была такая глупая мечта. Он успел рассказать мне, что, находясь в комнате твоего отца спустя несколько дней после последней сцены, которую я описала, обнаружил там весьма примечательную работу по физиогномике, как её называют, в которой были определены самые странные и самые темные законы для распознавания самых глубоких тайн при изучении человеческих лиц. И поэтому глупому кузену Ральфу всегда льстило, что причиной отказа твоего отца брать его портрет состояла в том, что он тайно любил французскую девушку и не хотел, чтобы его тайна отражалась в портрете; с тех пор, как замечательная работа по физиогномике появилась у него, он инстинктивно не хотел рисковать. Но кузен Ральф

был столь отстраненным и исключительным молодым человеком, что у него всегда имелись подобные любопытные причуды. Со своей стороны я не думаю, что у твоего отца когда-то были какие-либо нелепые идеи на этот счет. Безусловно, я сама не могу сказать тебе.., почему… он не хотел делать портрет, но когда ты станешь столь же взрослым, как я, маленький Пьер, ты обнаружишь, что все, даже лучшие из нас время от времени склонны действовать очень странно и необъяснимо; действительно, мы не можем полностью объяснить причину некоторых своих действий даже самим себе, маленький Пьер. Но вскоре ты узнаешь всё об этих странных делах»

«Надеюсь, что узнаю, тетя», — сказал маленький Пьер. — «Но, дорогая тетя, я подумал, разве Мартен не должен был принести маленький кекс с цукатами и орехами?»

«Тогда позвони ему в звонок, дитя моё»

«О! Я забыл», — сказал маленький Пьер, выполнив ее указания

.

Вскоре тетя уже потягивала свое вино, а мальчик поедал свой пирог, и обе пары их глаз уставились на портрет; маленький Пьер, пододвинув

свой табурет поближе к картине, воскликнул: «Теперь, тетя, она действительно точно походит на папу? Ты когда-нибудь видела его в этом самом блестящем жилете и огромном фигурном галстуке? Я вполне неплохо помню печать и ключ, и лишь неделю назад я видел, что мама вынула их из небольшого запертого ящика в своем гардеробе — но я не помню ни странных бакенбардов, ни жилета цвета буйволовой кожи, ни огромного белого галстука; ты когда-либо видела папу в этом самом галстуке, тетя?»

«Мой мальчик, это я выбрала материал для этого галстука; да, и обшила его, и вышила „П. Г.“ в одном углу, но этого нет на картине. Тут абсолютное сходство, дитя мое, галстук и все; как он выглядел в то время. Да ведь маленький Пьер, иногда я сижу здесь в полном одиночестве, гляжу, гляжу и гляжу на это лицо, пока не начинаю думать, что твой отец смотрит на меня и улыбается мне, и кивает мне, и говорит — Доротея! Доротея!»

«Как странно», — сказал маленький Пьер, — «я думаю, что он теперь начинает смотреть на меня, тетя. Прислушайся! тетя, тут настолько тихо повсюду в этой старомодной комнате, что я думаю, будто слышу слабый звон от картины, вроде того,

как крышка часов ударяется о ключ — Прислушайся, тетя!»

«Благослови меня Бог, не говори так странно, дитя моё»

«Я слышал, как мама сказала однажды — но не мне — что ей не понравилась картина тети Доротеи из-за плохого сходства, так она выразилась. Почему маме не нравится картина, тетя?»

«Мой мальчик, ты задаешь очень странные вопросы. Если твоей маме не нравится картина, то по очень простой причине. У нее дома есть картина намного больше и прекрасней, которую она написала для себя; да, и заплатила, я не знаю, сколько сотен долларов за неё; и она также обладает абсолютным сходством, …вот что… должно быть причиной, маленький Пьер»

После чего старая тетя и маленький ребенок замолчали, каждый с удивлением подумал о своем, и оба увидели еще более странную картину; и лицо на картине все еще смотрело на них открыто и бодро, как будто ничего не тая, и, опять-таки, немного двусмысленно и насмешливо, как будто хитро подмигивая некой другой картине, словно заметив очень глупую старую сестру и совсем несмышленого маленького сына, ставших столь чудовищно серьезными и созерцательными из-

за огромного фигурного белого галстука, жилета цвета буйволовой кожи и весьма благородного и дружелюбного лица.

Итак, после этой сцены, как обычно, один за другим, быстро пронеслись годы, пока маленький мальчик Пьер не превратился в высокого господина Пьера и не смог назвать картину своей собственной; и теперь, уединившись в своем собственном маленьком шкафу, он мог стоять или склониться, или сидеть перед ней весь долгий день, если ему нравилось, и продолжать думать и думать, думать и думать, пока вскоре все мысли не размывались и, наконец, не исчезали вообще.

Картину послали ему перед его пятнадцатилетием, что произошло только благодаря невнимательности его матери или, скорее, случайному попаданию в комнату Пьера, который, так или иначе, знал, что его мать не одобрит портрет. Ведь тогда Пьер был еще молод, а картина изображала его отца, и хранила достояние самой прекрасной и нежно любимой, благородной тети; поэтому мать с интуитивной деликатностью воздержалась от сознательного выражения своего особого мнения в присутствии маленького Пьера. И эта разумная, хотя и наполовину бессознательная терпимость матери, была, возможно,

в некоторой степени, особенным и подобающим ответом на чувства ребенка. Дети с естественной чистой организацией и нежной подпиткой иногда обладают замечательной и часто неподдельной утонченной деликатностью, заботой и снисходительностью в вопросах почитания тонкостей даже в большей степени в сравнении со старшими и лучшими самовыдвиженцами. Маленький Пьер никогда не раскрывал своей матери, что он от другого человека узнал про ее мысли относительно портрета тети Доротеи; он, казалось, обладал интуитивным знанием обстоятельств, при которых из-за различий в их отношении к его отцу и по другим мелким причинам ему было бы уместней некоторые детали отцовской жизни выяснить у своей тети, а не у своей матери, особенно касаясь портрета на стуле. И аргументы тёти Доротеи, объясняющие отвращение его матери, долгое время вполне удовлетворяли его, или, по крайней мере, довольно хорошо все объясняли.

И когда портрет прибыл в Луга, оказалось, что его мать была в отъезде, и поэтому Пьер молча повесил его в своем шкафу; и после того, как день или два спустя его мать вернулась, он ничего не сказал ей о его прибытии, все еще странно

осознавая это бесспорную тихую тайну, которая окружала его, и чью святость он теперь боялся нарушить, вызвав какое-либо обсуждение его матерью подарка тети Доротеи или разрешив себе быть неуместно любопытным относительно личных причин его матери, имевшей свое мнение о нем. Но в один из дней — и это было вскоре после прибытия портрета — он узнал о том, что его мать открывала его шкаф; затем, когда он увидел ее, он был готов услышать то, что она должна была добровольно сказать о последнем дополнении в виде такого украшения; но поскольку она опустила все упоминания на эту тему, то он незаметно наблюдал за ее самообладанием, надеясь обнаружить хоть какое-то облако эмоций. Но он ничего не смог разглядеть. И поскольку в их характерах сосредоточились все подлинные тонкости, то благодаря одной лишь почтительной, взаимной, но молчаливой воздержанности матери и сына, развитие событий было остановлено. И это было еще одной их сладостью и святостью, и священной связью друг с другом. Поскольку, независимо от того, что некоторые влюбленные могут иногда сказать, любовь всегда сопровождается тайной, подобно тому, как природа, согласно известному выражению, не терпит пустоты.

Любовь построена на тайнах, как прекрасная Венеция на невидимых и неразрушаемых морских сваях. Любовные секреты, будучи тайнами, всегда принадлежат необыкновенному и бесконечному, и поэтому они, по сути, и есть воздушные мосты, благодаря которым наши далекие тени попадают в места золотых туманов и испарений, откуда происходят все поэтические, прекрасные мысли, что выпадают на нас, как жемчуг из радуги.

С течением времени целомудрие и чистота этого взаимного оберега служили только тому, чтобы оформить портрет с большим изяществом, сделав его очарование еще более таинственным, и чтобы разбросать, на самом деле, свежий фенхель и розмарин вокруг уважаемой памяти об отце. Хотя, действительно, как ранее говорилось, Пьер время от времени любил предлагать себе некие причудливые объяснения предпоследней тайны портрета, такие же далекие, как и туманные аргументации его матери; и все же аналитический интерес, присутствующий в его размышлениях, никогда произвольно не нарушал эту сакральную границу, где особенное отвращение его матери начало незаметно переходить к неоднозначным соображениям, затрагивая какие-то неведомые детали характера и молодости оригинала. Но тут

он целиком запретил своему воображению располагаться в таких гипотетических областях; все эти грезы должны были взаимодействовать с той чистой, высокой идеей его отца, которая в его душе покоилась на общепризнанных фактах отцовской жизни.

V

В те моменты, когда мышление бродит вверх и вниз в безразмерных пространствах недолговечных догадок, любую конкретную форму или особенность можно заменить множеством форм, созданных из его собственных прежних непрерывно распадающихся созданий; и тогда мы могли бы здесь попытаться ухватить и определить наименее темные из тех причин, которые в рассматриваемом нами периоде юности наиболее часто занимали мысли Пьера всякий раз, когда он пытался понять особенное отвращение своей матери к портрету. Все же мы рискнем отразить это одним наброском.

Да, иногда смутно сознавал Пьер — кто знает, но кузен Ральф после всего произошедшего, возможно, был не столь далек от правды, когда предположил, что когда-то мой отец действительно взлелеял некое мимолетное чувство к красивой

молодой француженке. И этот портрет, написан точно в это время и действительно с целью увековечить некоторые смутные доказательства этого факта через выражение лица оригинала: поэтому выражение его лица не близко по духу моей матери, не знакомо и в целом не приятно: не только из-за того, что лицо моего отца никогда не смотрело на нее так (так как это случилось после её первого знакомства с ним), но также из-за определенной женской черты характера, которую я мог бы, возможно, в любой другой леди назвать благородной ревностью, утонченным тщеславием, позволяющим ей чувствовать этот взгляд лица на портрете, по некоторым признакам, адресованный не лично ей, а некому другому и неизвестному объекту; и поэтому она не терпит его, и это отражается на ней: ведь она должна быть естественно нетерпимой к любому оценочному воспоминанию о моем отце, которое не совпадает с ее собственными воспоминаниями.

Примем во внимание, что больший и более развернутый портрет в большой гостиной был написан в начале жизни, во время лучших и самых благоухающих дней их брачного союза, при конкретном желании моей матери и зна-

менитым художником, собственноручно ее выбранным и костюмировавшим оригинал по её собственному вкусу, и со всех точек обсужден знающими людьми, удостоверившими особенно удачное сходство с тем периодом; вера духовно укреплена моими собственными тусклыми инфантильными воспоминаниями; согласно всем этим признакам этот портрет в гостиной обладает для неё неоценимым очарованием: в нем она действительно видит своего мужа таким, каким он действительно явился перед ней; она не глядит рассеянным взглядом на незнакомый фантом, взывающий из далеких, а для неё почти невероятных дней жизни моего отца-холостяка. Но в том, другом портрете она видит пересказ для ее любящих глаз, последние рассказы и легенды о его преданной супружеской любви. Да, теперь я думаю, что отчетливо вижу: так оно и должно быть. И все же, неизменно новые причудливые образы воспаряют во мне, как только я смотрю на странный сидячий портрет, который — хотя он намного более незнаком мне, нежели, возможно, моей матери — иногда, как кажется, говорит — Пьер, не верь портрету в гостиной; это не твой отец, или, по крайней мере, не совсем твой отец. Взвесь в своем уме, Пьер, можем ли

мы оставить только одну из двух картин. Верные жены постоянно привязаны к определенному воображаемому изображению своих мужей; и верные вдовы всегда очень почтительны к определенному предполагаемому призраку того же самого предполагаемого изображения, Пьер. Посмотри снова, я — твой отец, так как он более реален. В зрелой жизни, мир ограничивает и лакирует нас, Пьер; вступают в дело тысячи правил приличия, изысканных тонкостей и гримас, Пьер; тогда мы, на самом деле, отказываемся от самих себя и берем себе другого себя, Пьер; в юности мы существуем, Пьер, но с возрастом мы кажемся. Снова взгляни. Я — твой настоящий отец, более реальный, поскольку не распознан тобой, как ты знаешь, Пьер. У самих отцов нет такой привычки — полностью открываться перед своими маленькими детьми, Пьер. Есть тысяча и один лишний грешок юности, которые мы не разрешаем обнародовать, Пьер. Погляди на эту странную, неоднозначную улыбку, Пьер; по внимательней изучи этот рот. Ты не считаешь, что он слишком страстный, и что, на самом деле, в этих глазах необузданный свет, Пьер? Я — твой отец, мальчик. Была однажды некая, ох, но слишком прекрасная молодая француженн-

ка, Пьер. Юность горяча, и искушение сильно, Пьер; и в краткий миг свершаются важные бесповоротные поступки, Пьер; и Время несется, а свершенное не всегда уносится вниз его течением, но может быть выброшено на берегу, вдали, в новых, зеленых местах, Пьер. Посмотри снова. Твоей матери я совсем не нравлюсь? Посмотри. Не все ли ее спонтанные любовные ощущения всегда стремились увеличить, одухотворить и обожествить память о её муже, Пьер? Тогда, почему она бросает злобный взгляд на меня и никогда не говорит с тобой обо мне; и почему ты сам молчишь, стоя перед ней, Пьер? Посмотри. Есть ли здесь какая-то маленькая тайна? Немного внимания, Пьер. Не бойся, не бойся. У твоего отца теперь нет вопросов. Посмотри, разве я не улыбаюсь? — да, и улыбка неизменна; и так я постоянно улыбаюсь в течение многих долгих прошедших лет, Пьер. О, это — постоянная улыбка! Так я улыбался кузену Ральфу, и так же в комнате твоей дорогой старой Тети Доротеи, Пьер, и именно так я улыбаюсь здесь тебе, и даже в более поздней жизни твоего отца, когда его тело, возможно, было в беде, — в кабинете Тети Доротеи я все еще тайно улыбался, как и прежде; и именно так я улыбался бы на стене в самой глубокой темнице

испанской инквизиции, Пьер; даже оставаясь в темной бездне, я продолжу улыбаться этой улыбкой, когда ни единой души не будет рядом. Посмотри: ведь улыбка это избранный экипаж для всех намеков, Пьер. Когда мы обманываем, мы улыбаемся; когда мы прячем какую-либо милую выдумку, Пьер — тоже; всего лишь маленькое удовлетворение наших собственных маленьких сладких желаний, Пьер — затем посмотри на нас — уже появляется странная легкая улыбка. Когда-то давно была прекрасная молодая француженка, Пьер. Ты тщательно и аналитически, и психологически, и метафизически, изучил ее родню и окружение, и все эпизоды из её жизни, Пьер? О, это странная история, которую твоя дорогая старая Тетя Доротея однажды рассказала тебе, Пьер. Я знал тогда доверчивую старую душу, Пьер. Изучи, немного поисследуй — посмотри — там, кажется, есть маленькие трещины, там, Пьер — клинообразные, клинообразные. Кое-что постоянно вызывает интерес; не нам ли так постоянно любопытны пустяки, Пьер, и не из-за пустяков ли мы так интригуем и становимся коварными дипломатами, и трепещем нашими собственными умами, Пьер, и боимся с открытой равнины последовать по индейской тропе в тем-

ные чащи, Пьер; но хватит, умный понимает с полуслова.

Так вот иногда в мистической, внешней тишине долгих деревенских ночей беззвучный особняк бывает окружен толстым валом выпавшего в декабре снега или кольцом неподвижного белого лунного света в августе. Живя среди призраков давней истории, занятной только для него самого, сторожа свой собственный небольшой шкаф, стоя на страже перед мистическим шатром-картиной и постоянно наблюдая за значением необычным образом скрытых огней, что так загадочно перемещаются из стороны в сторону, Пьер иногда вставал перед ликом своего отца, подсознательно бросаясь открывать для всех эти невыразимые намеки, двусмысленности и неопределенные догадки, что, время от времени, точно так же плотно окружают людские души, как плотно в мягкой, нескончаемой метели снежинки облепляют людей. И так же часто, когда Пьер вырывался из этой мечтательности и транса, стремясь к осознанно предложенной и самостоятельно продуманной мысли, к нему возвращался элемент уверенности; и затем, через мгновение весь воздух очищался, ни единой снежинки не выпадало, и Пьер, браня самого

себя за свое собственное потакание безумным страстям, обещал никогда снова не оказываться в полночь в мечтательности перед сидячим портретом своего отца. Но потокам этой мечтательности, кажется, никогда не суждено было оставить какой-нибудь сознательный осадок в его уме; они были так легки и так быстры, что уносили свои собственные отложения дальше и, казалось, оставляли все каналы для мыслей Пьера чистыми и сухими, как будто аллювиальный поток никогда не прокатывался там вообще.

И потому в его трезвых, взлелеянных воспоминаниях отцовское благословление пока оставалось нетронутым, и вся странность портрета всего лишь служила идее поделиться с ним прекрасным, легендарным романом, сущность которого была бы очень таинственна, если бы в другие времена не оказалась бы так тонка и так зловеща.

Но теперь…, сейчас!.. — в письме Изабель говорилось так; и быстрее первых лучей, идущих от солнца, Пьер увидел все предшествующие намеки, как будто наружу вылезли все тайны, вскрытые острым мечом, и двинулись всей толпой дальше, раздув фантомы бесконечного мрака. Теперь его самые далекие детские воспомина-

ния — блуждающие мысли его отца — пустая рука пепельного цвета — странная история Тети Доротеи — мистические полуночные намеки самого портрета и, прежде всего, интуитивное отвращение его матери, всё, всё сокрушило его обоюдными свидетельствами.

И теперь из-за непреодолимой интуиции все, что в портрете представало для него необъяснимо таинственным, и все, необъяснимо знакомое в лице, чудесным образом совпало; веселость одного весьма гармонировала с мрачностью другого, но из-за некоторой невыразимой похожести они взаимно распознавали друг друга и, в самом деле, проникали друг в друга; и такое взаимопроникающее единение обозначило черты, включающие в себя нечто сверхъестественное.

Материальный мир, состоящий из плотных объектов, скользя, раздвинул во все стороны от пределы своего круга и поплыл в эфире видений; и, поднявшись на ноги, со сжатыми руками и выпученными глазами на застывшем в воздухе лице, он изверг замечательные стихи Данте, описавшего две взаимно поглощенные формы в Аду:

«Ах! как ты изменился,

Барашек! Посмотри! не ты ли удвоился

теперь
И стал вдвойне единым!»

Книга V
Опасения и приготовления

I

Было уже далеко за полночь, когда Пьер вернулся домой. Его душа разрывалась и вырывалась из тела, что при таком буйном темпераменте обычно присуще первой стадии какого-либо внезапного и огромного несчастья; но теперь уже он вернул себе слабое подобие самообладания благодаря спокойному дыханию ночного воздуха, взошедшей затем луны и последних показавшихся звезд, несущих в себе всю странную мелодию подчинения, которая, сначала растоптанная и презираемая, все же постепенно проникла внутрь сосудов его сердца и затем распространилась в пределах его собственного мира. Теперь, с высоты своего спокойствия он твердо и пристально смотрел на обугленный пейзаж внутри себя, подобно тому, как канадский лесоруб, вынужденный убежать от своих горящих лесов, возвращается назад, когда огонь угасает, и стойко следит за безразмерными полями горящих

головешек, что светятся тут и там под широкой дымовой завесой.

Мы уже говорили, что всегда, когда Пьер искал одиночества в существующем жилище и в окружении стен, тогда приватный уголок, сообщающийся с его комнатой, становился его избранным прибежищем. Поэтому, идя в свою комнату, он взял потайной фонарь, который имелся в запасе и, машинально войдя внутрь помещения, уселся со сложенными руками и склоненной головой на привычный старый стул с ножками в виде драконов. Со свинцовыми ногами и сердцем, теперь уже не холодным, но необычайно безразличным и ощущающим собственное поражение, он сидел там некоторое время, пока, как отдыхающий путешественник в снегах, не начал бороться с таким бездействием, как с самым предательским и самым смертельным из душевных симптомов. Он поднял взгляд и нашел обращенный к нему уже совсем не загадочный, но все еще двусмысленно улыбающийся портрет отца. Немедленно все его сознание и его мучение вернулись, но уже не с той силой дрожащего мрачного спокойствия, которое ранее владело им. Он уже не мог выносить улыбку на портрете, и, повинуясь непреодолимому и неопределен-

ному импульсу, поднялся и, ничего не меняя, повернул картину изображением к стене.

Это позволило увидеть стертую и пыльную изнанку, кое-где сморщенную, оборванную бумагу на сочленениях рамы, которые разошлись из-за клея. «О, символ твоего переворота в моей душе», — застонал Пьер, — «ты не должен так висеть. Лучше отбросить тебя подальше, чтоб ты так оскорбительно не бросался в глаза. У меня больше не будет отца». Он снял картину со стены шкафа и спрятал её в большой груде вещей, покрыв синим ситцем. Но, тем не менее, в квадрате слегка выцветшей стены картина оставила за собой темный, но свободный и пустынный след. Теперь он стремился удалить малейший след своего преображенного отца, так как боялся, что все мысли о нем окажутся не только совершенно тщетными, но и фатальным образом отвлекут и выведут из строя сознание, которое теперь громко призывало не только избавиться от признаков печали, но и немедленно воздействовать на неё. Это выглядит дико и жестоко, когда молодежь иногда ошибается в процессе размышлений, когда думает; по опыту хорошо известно, что действие, которое кажется усиливающим горе, на самом деле приносит облегчение;

хотя, для того, чтобы постоянно облегчить боль, нам следует сначала избавиться от некоторых прибавляющихся мук.

Но теперь, пусть и с глубоким осознанием того, что все его прежние принципы уже опрокинуты, и что для него справедливая структура мира, пока еще неким неизвестным путем, но должна быть полностью восстановлена, начиная с самого нижнего углового камня, теперь сам Пьер мучился мыслью об этом последнем опустошении и о том, как пустынное место снова сделать сияющим. Он, казалось, чувствовал, что в самой глубине его души скрывалась неопределенная, но потенциальная вера, которая могла управлять унией из царств всех наследственных верований и обстоятельных убеждений, но всеми чувствами ощущал, что его душа пребывает в анархии. Некий регент как будто бы по праву принял скипетр, и исполненный горечи Пьер не предался полностью мародерству и разграблению.

Для менее восторженного сердца, чем сердце Пьера, перед вопросом почтения к Изабель встал бы вопрос, что делать? Но такой вопрос никогда не вставал перед Пьером; непосредственный живой отклик не оставил никакой тени сомнения относительно цели, к которой он дол-

жен был устремиться. Но если цель была ясна, то не таков путь к ней. «Как я должен сделать это?» было проблемой, для которой сначала не виделось никакой возможности решения. Даже без учета того, что он сам полностью знал о ней, Пьер обладал одним из тех характеров, которые не в определении и противопоставлении маленьких «за» и «против» — но в импульсивном подчинении божьему промыслу, присутствующем в самих событиях, будучи в замешательстве, постепенно находят самое верное решение и ярчайшую возможность сдерживаться. И для него на вопрос «что я должен делать?» уже был дан ответ в виде воодушевления от самой его тяжести; поэтому он теперь, как и случилось, подсознательно освободил от обязательств свой ум, чтобы представить все отвлекающие соображения относительно того, «как он должен сделать это», уверенный в том, что грядущий разговор с Изабель не сможет не вдохновить его. Однако, вдохновение, которое к настоящему времени направляло его, не оставалось совершенно немым и замалчивающим множество очень горьких деталей, которые Пьер разглядел в широком море проблем, в которое он был погружен.

Если это — священная область, — поскольку

тут, как считается, живет сама мудрость, — и неоценимая компенсация за более тяжелое горе, из-за которого они оба с веселым сердцем очистят души от ошибок и пополнят его неприятной правдой, то святое служение не так искусно во всех тайнах, ведающих процессом рассуждения, истинный мотив которого исходит от особенного недуга; и потому это — волшебный эффект от допуска к сокровенному человеческому духу изначально неопытного и совершенно необъяснимого элемента, который, как электричество, внезапно проникает в любую душную темноту, во всех направлениях разделяясь на быстрые копья очищающего света, разом и мгновенно отбрасывающие всю медлительность и придающие ему способность светить; поэтому объекты, которые прежде, в темной неопределенности имели темные и романтичные линии, теперь освещены в своей существующей реальности так, что в этих вспыхивающих откровениях горького восхитительного огня мы видим все вещи такими, какие они есть; и когда электрического элемента уже нет, а тени спускаются снова, то снова возвращаются и ложные линии объектов, но уже не с их прежней, сбивающей с толку силой; и теперь, даже в присутствии фальши, мы

все еще храним впечатления от их незыблемых истин, пусть даже опять скрывшихся.

Так же и с Пьером. В радостные ранние времена, прежде чем на него свалилось большое горе, все, кто окружал его, скрывали обман. Но как только долго и нежно лелеянное изображение перед ним быстро и сразу же из зеленого украшенного листьями дерева перевоплотилось во взорванный ствол, так и любое другое отображение в его уме стало доказательством всеохватности этого электрического света, который проник в его душу. Даже его прекрасная, безупречная мать не осталась совершенно нетронутой и в стороне от этого шока. На ее изменившийся образ, когда он впервые открылся перед ним, Пьер смотрел пристально и панически; и теперь, когда электрический шторм прошел, он сохранился в его уме, который так внезапно и с великим сожалением разглядел её изображение. Она, которая в своей меньшем великолепии, но в большей чистоте и большей духовности всегда казалась Пьеру не только красивой святой, перед которой возносились его ежедневные молитвы, но также нежной советчицей и исповедником, а ее почтенный будуар — завешенным мягким атласом кабинетом и исповедальней, — его мать уже

не была абсолютно привлекательной; но более того, он слишком остро чувствовал, что мог он идти к своей матери, как к той, кто полностью сочувствовала ему, как к той, перед кем он мог почти полностью открыться, как к той одной, способной указать ему истинный путь оттуда, где он видел себя сплошь окруженным. Действительно замечательной была эта электрическая проницательность, которая сейчас передалась ему Судьбой через жизнеутверждающий характер его матери. Она, возможно, хорошо выдержала все обычные испытания, но когда Пьер подумал о пробном камне своей громадной страты, воззвав к её душе, то почувствовал глубокую уверенность, что камень обратится перед ней во прах.

Она была благородным существом, но сформировалась в основном для позолоченного жизненного цветения, и к настоящему времени привыкла, в основном, к своему невозмутимому спокойствию, рожденная и развивавшаяся при всех событиях под единственным влиянием наследственных форм и общепринятых обычаев. Но Пьер чувствовал, что его благородная, изысканная, любящая, уравновешенная мать, может открыто и как небесная героиня встретиться с его

чрезвычайно шокирующей ситуацией и поддержать его сердечное эхо возвышенной твердостью, которая даст отпор удивлению и насмешкам всего мира.

Моя мама! — дорогая мама! — Бог дал мне сестру, а для тебя дочь, и покрыл ее самым чрезвычайным позором в мире и презрением, вот так, я и ты… ты, моя мать, в твой власти было достойно принять её и признать ее, и… Нет, нет, застонал Пьер, никак, никак нельзя такие слова сразу адресовать ей. Затем, высоко вздымаясь и все подавляя, перед Пьером выросло прежнее невообразимо прекрасное здание огромной гордости за свою мать, — гордости за его рождение, гордости за ее богатство, гордости за ее чистоту и совокупной гордости за высокое происхождение, изысканную и обеспеченную Жизнь и всю славу женского семейства Семирамиды. Тогда он отступил и нашел поддержку только в себе самом. Затем Пьер почувствовал, как глубоко в нем скрыто несоответствие божественному замыслу, не свойственное ни одной земной родне или семье. Все же это было ощущение совершенного одиночества, подобного сиротству. Затем с радостью в течение одного момента он вспомнил тысячу сладких жизненных иллюзий,

пусть и купленных ценой Жизненной Правды; и потому не мог еще раз не прочувствовать своевольное изгнание в пустыню младенца Измаила без Агари, её сопровождения и поддержки.

Однако в этих эмоциях не было предубеждения к его собственной любви к матери и ни малейшей горечи от уважения к ней; и, как минимум, не было никакого мелкого презрения к её превосходству. Он слишком ясно видел, что его мать не создавала саму себя, а Чистое Высокомерие сначала вылепило ее, а далее формировал надменный мир, не отпуская с ритуальной высоты.

Электрическая проницательность, при помощи которой Пьер теперь увидел характер своей матери, — действительно, мы повторим это — была замечательной даже не из-за яркого воспоминания о ее щедрой любви к нему, способной реально отринуть его внезапное убеждение. Она любит меня, думал Пьер, но как? Она любит меня непонимающей любовью? той любовью, которая во имя любви все еще спокойно противостоит всей ненависти? Чей великий триумфальный гимн лишь воспевает раздутое превыше всего колкое сопротивление и презрение? — Любимая мама, я люблю тебя, но признай свою всемирно признанную сестру, — и если ты любишь меня,

мама, то твоя любовь будет также любить и ее, и в самой великолепной гостиной прими ее максимально достойно. — И пока Пьер в воображении возносил Изабель перед своей матерью и в воображении уводил ее, то чувствовал, как его язык прилипает к небу при виде её пронзающего взгляда, вызванного невозможным, презрительным ужасом; тогда восторженное сердце Пьера тонуло глубже и глубже и проделывало в нем чистое отверстие, благодаря которому он впервые так остро почувствовал свою первую тоску от сердечной пустоты обычной жизни. О, бессердечный, гордый, позолоченный ледяной мир, я ненавижу тебя, — думал он, — поскольку из-за твоей тиранической, жадной хватки я теперь нахожусь в своей самой горькой нужде — тут даже моя мать ограбила меня, сделав меня теперь вдвойне сиротой, без зелени на могиле, которую нужно орошать. Мои слезы, — могу ли я источать их? — теперь будут выплаканы в пустыне; теперь всё для меня таково, как будто и отец, и мать пустились в далекие странствия и, возвращаясь, умерли в неведомых морях.

Она любит меня, да; — но почему? А если бы я был отлит в форме калеки, как тогда? Теперь я вспоминаю, что в ее самой ласковой любви

постоянно мерцали некие изогнутые чешуйки блестящей гордости. Меня она любит, гордится мною; она думает, что во мне видит свои собственные кудри и величественную красоту; она стоит перед моим зерцалом, — жрица гордости — и к своему зеркальному отображению, но не мне, она прикладывается поцелуем. О, будет скромна моя благодарность тебе, Благосклонной Богине, которая воистину во всю мужскую красоту одевала эту фигуру, создавая возможность скрывать от меня всю правду о человеке. Теперь я вижу, что твоей красотой человек заманен в ловушку и становится слепым, как червь в своем шелковом коконе. Теперь, добро пожаловать, Уродство, Бедность и Позор, и все вы, прочие лукавые министры Правды, скрывающие под нищенскими капотами и тряпками всё те же пояса и короны королей. И потускнела вся красота, которая должна была окружать глину, и потускнело все богатство и все восхищение, и все ежегодное цветение земли, да так, что не стало позолоты у звеньев и штифтов у алмазов на заклепках и цепях Лжи. О, теперь, кажется, я немного вижу, почему в старости люди из-за… Правды… ходят босиком, подпоясанные веревкой, и постоянно пребывают под трауром как под навесом. Я пом-

ню теперь первые мудрые слова, которых наш Спаситель Христос сказал в своем первом обращении к людям: «„Будьте благословенны, нищие духом и благословенны скорбящие“». О, теперь у меня есть слова, но сваленные в кучу: куплены книги и куплены некие мелкие впечатления, и поставлены мною в библиотеках; теперь я сажусь и читаю. О, теперь я знаю ночь и постигаю колдовство луны и все темные убеждения, что появились во время штормов и ветров. О, недолго пробудет Радость, когда действительно придет Правда, да и Горе не отстанет. Хорошо, что эта голова может сидеть на моем туловище — она выдержит слишком многое, ну, может, удары моего сердца внутри моих ребер — как удары нетерпеливого узника за железными прутьями. О, люди — тюремщики для всего, тюремщики для самих себя; и Мировое мнение из-за невежества считает их самую благородную часть пленником самой мерзкой части; потому и замаскировался король Чарльз, когда был пойман крестьянами. Сердце! сердце! это божий помазанник; позвольте мне повиноваться сердцу!

II

Но если предвзятое мнение Пьера о гордыне

его матери было фанатично враждебно к взлелеянному им благородному плану, и если это чувство было противно ему, то намного больше мыслей было о другой и более глубокой враждебности, ставшей проявлением её души. Её гордость не была бы уязвлена, если бы не супружеские воспоминания с ужасом отклоняющие непристойные обвинения, заключающиеся в простом факте существования Изабель. В какую галерею догадок, в какую ужасную среду не дающих покоя жаб и скорпионов такое открытие привело бы ее? Когда Пьер подумал об этом, то идея разглашения своей матери всей тайны уже не была приведена в жизнь, отразив его безнадежную слабость при атаке на цитадель ее гордости, а если бы и была, то реализовалась бы в высшем градусе бесчеловечности, как издевательство над ее нежнейшими воспоминаниями и осквернение самого белого алтаря в ее святилище.

Впрочем, убежденность в том, что он никогда не должен будет раскрыть свою тайну матери, было вначале необдуманным и, как оказалось, вдохновенным; все же теперь он почти кропотливо и тщательно исследовал все обстоятельства вопроса, чтобы ничего не пропустить. Он уже неясно ощущал, что, как от сокрытия, так и от рас-

крытия этого факта в отношении его матери зависели все его взаимоотношения и все земные блага, не только его самого, но и Изабель. Но чем больше он думал о нем, тем больше и больше крепла его истинная убежденность. Он считал, что в случае раскрытия общечеловеческая вероятность указала бы на презрительное неприятие его матерью ходатайства о благородном приеме Изабель в благородном особняке Глендиннингов. Тогда в этом случае, подсознательно вывел Пьер, я преподнесу моей матери сильный яд в виде горькой правды, без пользы для кого бы то ни было и полезной печали для всех. И тогда в голову Пьера проникла мрачная мысль о том, что правда не должна всегда выставляться напоказ, как это иногда бывает с ложью небесной и адской правдой. Это, действительно, будет сыновний ад, подумал Пьер, если я должен буду одним мерзким дыханием правды взорвать счастливую память о своем отце в груди моей матери и всадить самый острый кинжал, состоящий из горечи, в ее душу. Я не сделаю этого!

Но поскольку это решение открыло в нем настолько темные и ужасные первоосновы его точки зрения, то он уже больше не стремился о нем думать, а отложил его, пока разговор с Изабель

не придаст в некотором роде более определенную форму его цели. Поскольку, внезапно сталкиваясь с шоком от новых и не имеющих ответа открытий, которые касаются его и должны коренным образом изменить все обстоятельства его жизни, человек сначала, как правило, стремится избежать всей осознанной категоричности в своих мыслях и целях, как гарантию, что линии, которые должны точно определить предстоящее ему страдание, таким образом проложат человеку будущий путь; и обозначить их могут только остро заточенные вехи, которые пронзают его сердце.

III

Наиболее меланхоличным из всех часов земли является один долгий, серый час, который человек, сидящий возле лампы, застает между ночью и днем, когда и лампа, и наблюдатель, мозг которого перегружен работой, приобретают в бледном свете болезненный вид, а сам наблюдатель, ищущий радость в рассвете, не видит ничего, кроме слепящего тумана, и почти проклинает приближающийся день, который должен будет вторгнуться в его одинокую многострадальную ночь.

Одно маленькое окно его кабинета выходило

на луг и за реку, и потом к дальним высотам, известным по великим деяниям Глендиннингов. Пьер много раз подходил к этому окну перед восходом солнца, чтобы лицезреть кроваво-красный, резкий отблеск, который окутывал эти пурпурные холмы наподобие знамени. Но сегодня утро рассеялось в тумане и дожде и пролилось дождем на его сердце. Все же день начался и еще раз явил перед ним привычные детали его комнаты благодаря естественному свету, который до этого самого момента, никогда не освещал её; но теперь к его радости, уже день, а не ночь, стал свидетелем его горя, и впервые реальный страх сотряс его. Понимание ужасного несчастья, слабости, бессилия и бесконечного вечного опустошения овладело им. Оно было не только духовным, но еще и материальным. Он не мог стоять, а когда попытался сесть, то его руки упали на пол, как привязанные к свинцовым гирям. Сдвинув свои шары и цепи, он упал на свою кровать; ведь когда разум находится в смятении, только в благоприятной среде можно успокоить тело, отсюда кровать, зачастую, первое убежище в Беде. Наполовину одурманенный, словно от опиума, он погрузился в глубокий сон.

Через час он проснулся, немедленно вспом-

нив все события предыдущей ночи; и теперь его самообладание немного восстановилось, и он лежал спокойно и тихо, почти без физических ощущений, кроме незаметной тревоги в душе, и осторожно, чтобы не рассеять чары малейшим движением конечностей или малейшим поворотом своей головы. Пьер стойко встретился со своим горем и заглянул глубоко в его глаза, и полностью, и спокойно, и вкратце теперь постиг его — так, по крайней мере, он думал — и понял, что оно потребует от него, и понял, что он должен быстро выполнить, и безотлагательно, и понял, какой линии следует придерживаться в грядущем неизбежном разговоре за завтраком со своей матерью, и понял, как увязать свой план с Люси. Времени для размышлений оставалось немного. Встав с кровати, он моментально выпрямился, затем подошел к своему письменному столу и, вначале с некоторым волнением, но тщательно и без отрыва от линий, вывел следующие строки:

«Я должен попросить прощения у тебя, Люси, за свое странное отсутствие вчера вечером. Но ты знаешь, и сам я вполне уверен, что не поступил бы так без важной причины. Я был на улице и подходил к дому, когда ко мне пришло сообще-

ние, срочно занявшее меня. Это — дело, которое займет все мое время и внимание, возможно, что на два или три дня. Я говорю тебе это сейчас для того, чтобы ты смогла к нему подготовиться. И я знаю, что, хотя это может быть неприятно тебе, ты все это вытерпишь ради меня, поскольку, воистину, и в самом деле, дорогая Люси, я не мечтал быть вдали от тебя так долго, если бы не оказался к этому принужден. Не приезжай в особняк, пока я не приеду к тебе, и не проявляй любопытства или беспокойства в отношении меня, даже если тебе представится возможность встретить мою мать в каком-либо другом месте. Оставайся столь же бодрой, как если бы я находился возле тебя все это время. Сделай это теперь, я заклинаю тебя; и поэтому, прощай!»

Он сложил послание и уже было запечатал его, когда, на мгновение призадумавшись и немедленно развернув его, перечитал написанное. Но он не смог адекватно осмыслить свое собственное письмо, поскольку внезапная тень пробежала по нему. Но все закончилось, и, снова поспешно взяв свое перо, он дописал следующий постскриптум:

«Люси, это примечание может показаться та-

инственным, но если так и случится, то я не стремился к этому; и при этом я не исключаю, что, возможно, сам этому и помог. Но единственная причина — в следующем, Люси: вопрос, на который я сослался, имеет такую природу, которую я не раскрою никому, пока придерживаюсь фактического обязательства, тем более, человеку, непосредственно вовлеченному в него. Но невозможность раскрыть саму проблему делает её описание еще более таинственным. Поэтому, просто знай, что лично мне совершенно ничего не угрожает, и я вечно предан тебе; и сохраняй спокойствие, пока я не увижу тебя»

Затем, запечатав письмо и позвонив в звонок, он отдал его со строгим наказом слуге с наставлениями доставить его как можно раньше и не ждать какого-либо ответа. Но поскольку посыльный уже покинул помещение, он вызвал его снова, взял запечатанное письмо и, вскрыв его своими руками, небрежно приписал на нем карандашом следующие слова: «Не пиши мне; не спрашивай обо мне», и затем вернул его человеку, который оставил Пьера стоящим в раздумье посреди комнаты.

Но скоро он пробудился и покинул особняк, и нашел прохладную, освежающую луговую

речушку и место, где она образовала глубокий и затененный бассейн, в котором он и искупался и, уже взбодрившийся, вернулся в свой дом и переменил все свое платье, слабо заботясь о своем туалете в стремлении вконец изгнать все мысли об этой тяжести на своей душе. Сам он никогда не одевался с целью произвести сильное впечатление. Одной из прихотей его матери было стремление сделать благоуханным содержимое его гардероба; и это же было одной из его собственных маленьких, присущих женщинам черт, — иногда с интересом замечаемое у мужчин с широкой душой и очень крепким телом, как, например, у Мохаммеда, — быть совсем неравнодушным ко всяческим приятным благовониям. Поэтому, когда он еще раз покинул особняк, чтобы снова освежить свои щеки, то, встретив острый взгляд своей матери, для которой тайна его возможной бледности не могла быть обнародована, Пьер пошел дальше весь благоухающий; но, увы! его тело под одеждой лишь скрывало забальзамированных и похороненных мертвецов.

IV

Его прогулка оказалась более долгой, чем он

рассчитывал, и когда он вернулся по липовой аллее, то, идя в комнату для завтрака и поднявшись на ступени крыльца, Пьер поглядел в широкое окно и увидел свою мать, сидевшую недалеко от стола; она повернула лицо к нему, и он услышал ее веселый голос и необычно легкий и живой смех, обвинявший его, а не её в опоздании. Дейтс, стоя в стороне, занимался ложками и салфетками.

Придав максимально возможную жизнерадостность своему лицу, Пьер вошел в комнату. Вспомнив о своей озабоченности купанием и одеждой и зная то, что нет такой атмосферы, способной преднамеренно придать щекам цветущий вид, подобный влажному свежему, прохладному и туманному утру, Пьер смирился с тем, что этот маленький след его долгого ночного бдения будет теперь на нем заметен.

«„Доброе утро, сестра, … такая славная прогулка! Я прошел весь путь до…“»

«„Где? о боже! где? с таким лицом, как это! — что, Пьер, Пьер? что беспокоит тебя? Дейтс, я позвоню прямо сейчас“»

Пока славный слуга возился среди салфеток, как будто не желая оторваться даже на миг от своих обычных обязанностей, и не без неко-

торой хорошей и терпеливой старой домашней неопределенности не прерывал бормотания, полностью исключая себя из семейных вопросов, г-жа Глендиннинг не спускала глаз с Пьера, который, не обратив внимания, что завтрак еще не вполне готов, сел за стол и придвинул к себе — хотя и очень нервничая — сливки и сахар. Моментально закрыв дверь перед Дейтсом, мать вскочила на ноги и обвила руками сына, но в этом объятии Пьер с грустью почувствовал, что оба их сердца уже не бьются, как прежде, в унисон.

««Какая мука гложет тебя, сын мой? Говори, мне непонятно! Люси, — фи! — не она ли? — не любовная ли тут ссора; — скажи, скажи, мой дорогой мальчик!

««Моя дорогая сестра…«» — начал было Пьер.

«„Сестра теперь не я, Пьер, я — твоя мать“»

««Ну, тогда, дорогая мама, ты столь же непонятна для меня, как…

«„Говори быстрее, Пьер — я леденею от твоего спокойствия. Расскажи мне по душам, что-то очень необычное, должно быть, случилось с тобой. Ты — мой сын, и я велю тебе. Это не Люси; тут что-то еще. Скажи мне“»

«„Моя дорогая мама“», — сказал Пьер, импуль-

сивно отодвинув свой стул от стола, — «„если ты только веришь мне, когда я говорю это, но мне действительно ничего тебе сказать. Тебе известно, что иногда мне случается почувствовать себя по-дурацки весьма занятым наукой и философией, и я сижу допоздна в своей комнате, а затем, независимо от часа, по-глупому выскакиваю на воздух ради долгой прогулки по лугам. У меня была такая же прогулка в последний раз ночью, и она заняла немало времени из-за того, что началась поздно, а для наступления дремоты, как я полагаю, нет ничего лучше. Но уже скоро я не буду снова настолько глуп; поэтому, драгоценная мама, действительно прекрати смотреть на меня и дозволь нам позавтракать. — Дейтс! Коснись там звонка, сестра“»

«„Останься, Пьер! — Сейчас тяжелый час. Я чувствую, я знаю, что ты обманываешь меня; возможно, я допускаю ошибку, пытаясь вырвать из тебя твою тайну, но поверь мне, сын мой, я никогда не думала, что у тебя от меня была какая-то тайна, кроме твоей первой любви к Люси — и об этом мне говорит моя собственная женская суть, самая всепрощающая и верная. Но сейчас, что это может быть? Пьер, Пьер! Прими во внимание в своей непреклонности, что не может

существовать моего доверия без доверия мне. Я — твоя мать. Это судьбоносное понятие. Разве это хорошо и добродетельно, что Пьер что-то скрывает от матери? Позволь нам не разжимать руки, Пьер; твое доверие исходит от меня, мое — от тебя. Теперь мне можно звонить?“»

Пьер до сих пор безуспешно пытался занять свои руки своей чашкой и ложкой; затем он сделал паузу и безмолвным тоскливым взглядом бессознательно уставился на свою мать. Из-за разоблачительного характера матери его снова охватило нехорошее предчувствие. Он предвидел воображаемое негодование её раненой гордости, её последующую постепенную отрешённость; он знал ее твердость и ее раздутую идею неотъемлемой сыновней преданности. Он дрожал, понимая, что теперь действительно настал первый момент его тяжкого суда. Но, даже сознавая всю значимость позиции своей матери, когда она стояла перед ним и внимательно его слушала, держа одной рукой шнур звонка, и чувствуя, что само открытие двери, которая должна будет теперь впустить Дейтса, не может дать абсолютный выход всему доверию между ним и его матерью, а также понимая, что это было тайной мыслью его матери, он, тем не менее, собрался с силами

в своем обдуманном решении.

«Пьер, Пьер! я позвоню?»

«Мама, стой! — да, звони, сестра»

В звонок позвонили; и по вызову вошел Дейтс и, несколько многозначительно поглядев на г-жу Глендиннинг, сказал: «Прибыл Его преподобие, моя любовь, и находится теперь в западной комнате»

«Пусть г-н Фэлсгрейв сразу же появится здесь; и принеси кофе; разве я тебе не говорила, что жду его к завтраку этим утром?»

«Да, моя любовь; но я думал что — что — это будет потом», — с тревогой переводя взгляд с матери на сына.

«О, мой славный Дейтс, ничего не произошло», — вскричала г-жа Глендиннинг, с легкой и горькой улыбкой глядя на своего сына, — «покажи г-на Фалсгрейва. Пьер, я не видела тебя и потому не смогла сказать тебе вчера вечером, но г-н Фэлсгрейв приглашен к нам на завтрак. Я была вчера в пасторате, чтобы вместе с ним разобраться в ситуации несчастной Делли, и мы, наконец, этим утром приходим к решению. Но мое мнение относительно Неда определенно: ни один развратник не должен марать это место; бесчестной Делли здесь не будет»

К счастью, резкий вход священника тут же отвлек внимание от внезапной бледности Пьера и дал ему возможность собраться с мыслями.

«„Доброе утро, мадам; доброе утро, сэр“», — сказал г-н Фалсгрейв особенно мягким, подобным флейте голосом, поворачиваясь к г-же Глендиннинг и её сыну; леди приняла его с ответной сердечностью, но Пьер растерялся в тот момент, когда стоило быть столь же вежливым. За одно краткое мгновенье г-н Фалсгрейв уже встал перед обоими, прежде чем принять предложенный Дейтсом стул, и облик его казался чрезвычайно привлекателен.

Несомненно, что в жизни почти каждого человека всегда присутствуют такие сладкие моменты, когда множество небольших предшествующих обстоятельств объединяются воедино, чтобы заставить его на время забыть о том, что в жизни существует тяжесть и горечь, а также сделать его наиболее дружелюбным и открытым; тогда пейзаж или компания прямо перед ним оказываются очень приятными; и если в такое время ему случается оказаться в сценически благоприятном физическом положении, то тогда в этом, хоть и недолгом, состоянии вы уловите благородную стать прекраснейшего из ангелов; уловите

небесный проблеск скрытой божественности человека. Таким и был теперь г-н Фэлсгрейв. Но дом в пятидесятимильном удалении он предпочел дому перед дворцом в Оседланных Лугах; и хотя дело, ради которого он этим утром приехал, относилось к нему, все же не оно тогда занимало его память. Перед ним преставали в одном лице самая возвышенная леди легендарной в округе красоты и прекраснейший, мыслящий и самый приятный юноша из всех ему известных. Перед ним также стояла щедрая учредительница и неутомимая патронесса небольшой красивой мраморной церкви, освященной добрым епископом не далее как четыре года назад. Перед ним также стояла — хотя и в изысканном наряде — та самая неустанная благотворительница, из кошелька которой — он мог не сомневаться — приходила заметная часть его жалования, номинально восполняемая арендной платой с церковных скамей. Он был приглашен к завтраку; трапеза во влиятельном семействе была самым ярким моментом в повседневной жизни; в аромате, исходившем из серебряной кофеварки, он учуял все специи Явы и хорошо понял, какая восхитительная жидкость скоро выльется оттуда. Помимо всего этого и множества других

мелочей он сознавал, что г-жа Глендиннинг была к нему особенно неравнодушна (хоть и не стремилась выйти замуж за него, поскольку он десять раз познал очень горький опыт), и что Пьер не отставал в уважении к нему.

И священник был вполне достоин этого. Природа по-царски одарила его персону. В свои счастливые моменты, словно подарок, его лицо сияло изысканной, но сдержанной благосклонностью; его фигура была по благородному крепка и достойна, в то время как очевидно малый размер его ноги и почти инфантильная деликатность, а также яркая белизна и чистота его рук поразительно контрастировали с его прекрасной статью и ростом. В таких странах, как Америка, нет никакой отличительной наследственной касты господ, исключительность которых поддельно увековечена как для скаковых лошадей, так и для лордов в королевских землях. И, особенно, в сельских районах, состоящих из сотен рук, отдающих голоса за Президентство, девяносто девять должны быть самыми загорелыми и самыми мускулистыми; в таких районах эта утонченность пальцев, соединенная с цельным мужественным обликом, принимает черты, неведомые в европейских странах.

Этот весьма привлекательный священнический облик ничего не терял от характера его манер, которые были отточены и ненавязчивы, но необыкновенно вкрадчивы, без малейшего проявления хитрости или аффектации. Небеса подарили его, как прекрасную, отделанную серебром персону для игры на флейте в этом мире, и в этом он был почти совершенным мастером. Его изящные движения обладали волнообразностью мелодичных звуков. Вы почти могли бы счесть, что слышали, но не видели его. Он казался настолько замечательным и одновременно естественным джентльменом, что г-жа Глендиннинг несколько раз ставила его перед Пьером в качестве великолепного примера утонченного и благородного христианского воздействия на умы и манеры, экстравагантно заявляя в отеческих фантазиях, как казалось, что ни один человек не может быть истинным джентльменом и достойно председательствовать за своим собственным столом, если он не разделяет церковного причастия. Но в случае г-на Фэлсгрэйва это был совершенно абсурдный принцип. Будучи ребенком бедного северного фермера, который женился на симпатичной белошвейке, священник не имел геральдической

родословной линии, демонстрируемой как ордер, объясняющий его личную красоту и благородные манеры; во-первых, он был преднамеренно разборчив от природы, а во-вторых, вследствие схоластической жизни, был ограничен в доступе к избранному женскому обществу, пусть даже и небольшому, которое он всегда считал лучшим наслаждением в жизни. Если теперь его манеры соответствовали его личности, то его ум соответствовал им обоим, будучи самой прекрасной к ним иллюстрацией. Помимо своей красноречивой убедительности на кафедре проповедника, различные недолговечные свидетельства о явлениях природы, искусства и литературы говорили не только о его чистейшем родстве со всем красивым, видимым или невидимым, но и о том, что в соответствии с этим он обладал даром радоваться таким вещам, которые при отсутствии лени и более амбициозной натуре, несомненно, к настоящему времени принесли бы его доброму имени славу поэта. Этот г-н Фэлсгрейв просто застыл в начале своих лет — периоде, который для такого человеке наиболее сладок, а для зрелых женщин, безусловно, более привлекателен. Юность ещё не прошла полностью с её красотой, изяществом и силой, хотя не всегда возраст

приходит с ветхостью; ведь самые прекрасные открытые взору составляющие части — его мягкость и его мудрость — проявились прежде, подобно тому, как соблюдающие обычаи камергеры шествуют перед портшезом какого-нибудь носителя королевского креста.

Таков был этот г-н Фэлсгрейв, который теперь сидел за столом на завтраке у г-жи Глендиннинг, и угол одной из широких салфеток этой леди был так закреплен на его белоснежной груди, что ее сгибы почти окутывали его глубоко внизу за краем стола, и потому он казался святым отцом, воистину, завтракающим в своем стихаре.

«„Прошу вас, г-н Фэлсгрейв“», — сказала г-жа Глендиннинг, — «„отломите мне кусочек от этого рулета“»

Были ли его священнические переживания столь же необычно чистыми и одухотворенными, как простое преломление хлеба, или это происходило от безупречного вида его рук, но бесспорно было одно: г-н Фэлсгрейв оправдал себя в этом небольшом эпизоде в манере, присущей старому Леонардо и ограждавшей этого художника от презренных намеков относительно его божественной живописи. Пьер видел его, сидящего столь умеренным и кротким, этакой фигурой

с белыми бровями, белыми руками и чистейшей салфеткой; и поскольку он чувствовал нежное человеческое излучение, которое исходило от мужественной и гладкой красоты священника, и поскольку он помнил обо всей пользе, приносимой этим человеком, и обо всей его доброте, про которую рассказывали, и не мог припомнить ни одного пятна в его характере, и поскольку в своем собственном скрытом страдании и несчастье он рассмотрел открытую благосклонность и величавую сиятельную сердечность г-на Фэлсгрейва, то его озарила мысль, что, если какое-либо живое существо и было способно предоставить ему достойного защитника его прямоты, и если кто и мог подойти с христианской уместностью и с некоторой долей оптимизма, то этот человек сидел перед ним.

««Умоляю, г-н Глендиннинг»», — шутливо сказал священник, пока Пьер молчаливо помогал своему языку — ««не позволяйте мне грабить вас — извините, но у вас, у самих, кажется, совсем немного еды этим утром, я полагаю. Отвратительная игра слов, я знаю: но», — обернувшись к г-же Глендиннинг — ««когда кто-либо чувствует себя очень счастливым, то он так или иначе склонен говорить очень глупые слова. Счастье и глу-

пость — ах, это — подозрительное единение»

««Г-н Фэлсгрейв»», — сказала хозяйка — ««Ваша чашка пуста. Дейтс! — Мы говорили вчера, г-н Фэлсгрейв, об этом мерзком малом, Неде»

«„Да, мадам“», — ответил джентльмен несколько встревоженно.

««Его не должно быть на моей земле, — таково мое мнение, сэр. Человек с дурной репутацией! — разве у него нет жены, столь же добродетельной и красивой, как когда-то и я, ушедшая её же путем от вашего алтаря? — Это было в чистом виде ничем не оправданным распутством»

Священник мрачно и согласно двигал головой.

«„Такие мужчины“», — продолжила леди, вспыхнув с самым искренним негодованием, — «„как я считаю, более отвратительны, чем убийцы“»

«„Это вы несколько жестко о них, моя уважаемая госпожа“», — сказал г-н Фалсгрейв, смягчая тон.

«„Разве не так, Пьер“», — тут же сказала леди, с убежденностью обратившись к своему сыну — «разве человек, который грешил как этот Нед, не хуже, чем убийца? Разве он разом не принес в жертву одну женщину и не опозорил другую — уже обеих — это о том, что касается именно их.

Если его собственный законный мальчик должен будет теперь ненавидеть его, то я едва ли смогу обвинять его»

«„Моя уважаемая госпожа“», — сказал священник, чьи глаза следили за лицом сына г-жи Глендиннинг и, заметив там странный трепет, серьезно и тщательно исследовали неукротимые эмоции Пьера, — «„Моя уважаемая госпожа“», — сказал он, немного склонив свою величественную епископального вида персону — «„Достойно видеть в вас, возможно, чересчур пылкого адепта; вы слишком горячитесь; но г-н Глендиннинг — здесь ему, кажется, становится слишком холодно. Умоляю, одарите нас своим взглядом, г-н Глендиннинг“»

««Я сейчас не буду думать об этом человеке», — медленно сказал Пьер и отвел взгляд от своих собеседников — «позвольте нам поговорить о Делли и ее младенце — у неё он есть или был, как я случайно услышал: их ситуация действительно бедственная»

««Мать заслуживает этого»», — жестко сказала леди, — ««и ребенок — Преподобный сэр, что говорит Библия?»

««Грехи отцов да падут на детей до третьего колена»», — сказал г-н Фэлсгрейв с некото-

рой неохотой в своем тоне. — ««Но, мадам, тут не имеется в виду, что общество в любом случае добровольно берет опозоренных детей на поруки в виде сознательного полномочного служения непостижимым божьим указаниям. Поскольку объявлено, что печально известные последствия греха должны быть унаследованы, то не следует нашу личную и активную ненависть к греху переводить с порочного грешника на его безгрешного ребенка»

«„Я понимаю вас, сэр“», — сказала г-жа Глендиннинг, покраснев немного, — «„вы думаете, что я слишком строга. Но если мы полностью забываем о происхождении ребенка и любым путем принимаем ребенка, как любого другого, сопереживая ему во всех отношениях и не указывая на его позор, — то как тогда выполнять библейские указания? Разве то, что мы сами встаем на путь их исполнения, лишает нас полной почтительности?“»

Здесь пришла очередь священника немного покраснеть, и стала различима праведная дрожь под губой.

««Pardon'», — вежливо продолжила леди, — ««но если есть какое-либо пятно в характере Преподобного г-на Фэлсгрейва, то это — благо-

склонность его сердца, которая тоже слишком сильно приминает в нем святую суровость Доктрины нашей церкви. Со своей стороны, поскольку я ненавижу мужчину, то я ненавижу и женщину, и никогда не пожелаю увидеть ребенка»

Последовала пауза, которая была на руку Пьеру, поскольку всеобщая завороженность в таких случаях воспринимается как подарок; глаза всех троих уперлись в ткань, и все трое в этот момент предоставили свободу своим собственным мучительным размышлениям по предмету дебатов, а г-н Фалсгрейв раздосадовано подумал, что ситуация стала немного неловкой.

Пьер был первым, кто заговорил; как и прежде, он стойко не спускал глаз с обоих своих собеседников; но хотя он не указывал на свою мать, что-то в тоне его голоса показывало, что то, что он скажет, по большей части будет адресовано ей самой.

«Так как мы, кажется, необыкновенно увлеклись этическим аспектом этого печального вопроса», — сказал он, — «то предполагаю идти по нему дальше; и позвольте мне спросить, какими должны быть отношения между законным и незаконнорожденным ребенком — детьми

одного отца — когда они должны будут пройти свое детство?»

Здесь священник быстро поднял свои глаза и настолько удивлено и глубоко всмотрелся в Пьера, насколько позволяла его вежливость.

«Честное слово» — сказала г-жа Глендиннинг, едва ли не более удивленная и не пытающаяся скрыть это удивление, — «это — странный вопрос, который ты задаешь; ты более внимателен к предмету разговора, чем я полагала. Но что ты думаешь, Пьер? Я действительно не совсем тебя понимаю»

«Хорошо ли, когда законнорожденный ребенок избегает незаконнорожденного, если его отец — отец обоим?» — возразил Пьер, все еще держа свою голову в стороне от тарелки.

Священник снова посмотрел немного вниз и промолчал; он продолжал держать свою голову повернутой немного боком к своей хозяйке, как будто ожидая от нее некоего ответа Пьеру.

«Спроси у мира, Пьер», — по-дружески сказала г-жа Глендиннинг, — «и спроси свое собственное сердце»

«Мое собственное сердце? Я спрошу, мадам» — сказал Пьер, теперь уже с твердым взглядом, — «но что вы думаете, г-н Фэлсгрейв?» — позволив

его взгляду снова поникнуть, — «должен ли один избегать другого, может ли он отказываться от своего самого высокого чувства и прекрасной любви к другому, особенно, если тот, другой, был оставлен всей остальной частью мира? Как вы думаете, каковы были бы мысли нашего благословенного Спасителя на этот счет? И почему он так мягко сказал про неверную супругу?»

Краска разлилась по лицу священника, залив даже его широкий лоб; он слегка дернулся на своем стуле и невольно перевел взгляд с Пьера на его мать. Он казался проницательным человеком с добрым нравом, оказавшимся между противоположными мнениями — простыми мнениями — который с цельными и вдвойне отличными собственными убеждениями все еще удерживался от их декларации из-за непреодолимой неприязни к проявлению абсолютного инакомыслия и из-за честных убеждений тех людей, каждого из которых в общественном и нравственном отношении он уважал.

«Ну, что вы ответите моему сыну?» — сказала, наконец, г-жа Глендиннинг.

«Мадам и сэр», — сказал священник, уже вернув все свое самообладание, — «это — один из тех общественных пороков, о которых мы читаем

проповеди, и где мы, предположительно, видим больше моральных обязательств человечества, чем другие люди. И пока для мира это настолько серьезный порок, косвенно определенный самой церковью, что наше неприятие разговорного мнения о самых сложных проблемах этики вынуждает нас передать его на авторитетное рассмотрение. Сейчас ничто не может быть более ошибочным, чем такие понятия, и ничто так не смущает меня и не лишает всего спокойствия, которое обязательно для подведения осторожного мнения о субъективной морали, чем в тот момент, когда подобные вопросы внезапно возникают передо мной в компании. Простите эту длинную преамбулу, поскольку я хочу сказать намного больше. Не на каждый вопрос, даже прямой, г-н Глендиннинг, можно дать осознанный ответ „да“ или „нет“. Миллионы обстоятельств меняют все моральные вопросы, поэтому свободная трактовка любого известного частного случая с позиций совести и одновременный охват одним универсальным принципом всех моральных непредвиденных обстоятельств, — это не только невозможное, но и, как мне кажется, глупое устремление»

В этот момент похожая на стихарь салфетка

упала с груди священника, показав на минуту изящную миниатюрную брошку-камею, изображавшую аллегорический союз змеи и голубя. Это был подарок благодарного друга, иногда надевавшийся в светской жизни в знак уважения.

«Я согласен с вами, сэр» — сказал Пьер, кланяясь. — «Я полностью согласен с вами. И теперь, мадам, позвольте нам поговорить о чем-нибудь еще»

«Ваше „мадам“ для меня очень церемонно этим утром, г-н Глендиннинг», — сказала его мать с наполовину горькой улыбкой и с наполовину открытой обидой, но все же больше удивляясь холодному поведению Пьера.

«Почитай родителей своих», — процитировал Пьер, — «обоих: отца и мать», — добавил он подсознательно. — «И теперь, когда это поражает меня, г-н Фэлсгрейв, и сейчас, уж коли мы так необычно начали полемизировать этим утром, позвольте мне сказать, что эта заповедь, как справедливо говорят, единственный завет без учета каких-либо непредвиденных обстоятельств и заявлений. Может ли так оказаться — или нет, сэр? — что самый лживый и лицемерный из отцов должен в равной степени уважаться сыном, как самый достойный»

«Поэтому оказывается, что она, несомненно, согласуется со строгими наставлениями в „Десяти заповедях“ — истинно так»

«И вы думаете, сэр, что этого стоит придерживаться и применять в фактической жизни? Например, должен ли я чествовать моего отца, если бы знал, что он был соблазнителем?»

«Пьер! Пьер!» — сказала его мать, густо покраснев и наполовину привстав, — «нет никакой потребности в этих спорных предположениях. Ты слишком забываешься этим утром»

«Это — просто интерес к общественной проблеме, мадам», — холодно возразил Пьер, — «Мне жаль. Если ваше прежнее возражение здесь не применимо, г-н Фэлсгрейв, то вы одобрите мой ответ на мой вопрос?»

«Пожалуй, что снова — да, г-н Глендиннинг», — сказал священник, благодаря Пьера за намек, — «это — другой вопрос морали, абсолютно неразрешимый в рамках точного ответа, который должен быть повсеместно применим», — подобная стихарю салфетка снова случайно свалилась.

«Тогда я снова молчаливо раскритикован, сэр», — медленно сказал Пьер, — «но я признаю, что вы, возможно, снова правы. И теперь, мадам, поскольку у г-на Фалсгрейва и вас есть малень-

кий общий вопрос, для решения которого мое присутствие совсем без надобности и без него можно вполне обойтись, то разрешите мне оставить вас. Я ухожу на долгую прогулку, а поэтому вам не нужно ждать меня к ужину. Доброе утро, г-н Фэлсгрейв; доброе утро, мадам», — глядя на свою мать.

Как только дверь закрылась за ним, г-н Фэлсгрейв сказал — «Г-н Глендиннинг немного бледен сегодня: не заболел ли он?»

«Не то, чтобы я знаю об этом», — ответила леди, безразлично, — «но часто ли вы видите молодого джентльмена, столь же величественного, как он! Необыкновенного!» — пробормотала она. — «Что это может означать — „мадам“ — „мадам“? Но ваша чашка снова пуста, сэр», — вытянув свою руку.

«Хватит, хватит, мадам», — сказал священник.

«Мадам? Умоляю вас, больше не делайте из меня „мадам“, г-н Фэлсгрейв; у меня возникла внезапная ненависть к этому титулу»

«А если это будет Ваше Величество?» — галантно сказал священник, — «Майские королевы такие стильные, и такими же должны быть королевы в октябре»

Тут леди рассмеялась. «Пойдемте», — сказала

она, — «давайте пойдем в другую комнату и уладим дело этого печально известного Неда и этой несчастной Делли»

V

Стремительность и неотвратимость лавины, так плотно накрывшей Пьера своим первым ударом, не только влилась в его душу буйством совершенно новых образов и эмоций, но, с течением времени, почти полностью изгнала из неё все предыдущие. Все, что так или иначе непосредственно указывало на фактическое существование Изабель, живо и ярко предстало перед ним; но то, что больше касалось его самого и его собственная суть, уже навсегда соединенная с его сестрой, — всё это не было столь живым и существенным. Догадки относительно прошлого Изабель таинственным образом охватывали личность его отца, поэтому мысли об отце довлели над его воображением, и возможное будущее Изабель существенно, хоть и косвенно, могло подвернуться опасности из-за любого шага его матери, способной после этого по неосведомленности преследовать даже его самого, чтобы впредь, из-за Изабель, навсегда противопоставлять себя ей; эти соображения давали его матери

сверкающее преимущество перед ним.

Небеса, в конце концов, бывают немного милосердны к несчастному человеку, но самые ужасные удары Судьбы совершенно не терпимы к человеческой натуре. Когда со всех сторон окружают сомнения, страшный финал которых скрыт от неё, душа человека — любого, инстинктивно убежденного, что он не может бороться с большим воинством сразу, или, иначе говоря, благосклонно ослепленного угрожающим ему окружением, — какова бы ни была правда, душа окруженного человека не может и, по сути, никогда не способна противостоять всему несчастью сразу. Горькая чаша для него делится на отдельные глотки: сегодня он принимает одну часть своей беды, назавтра — ещё, и так далее, пока он не сделает последний глоток.

Но эта мысль о Люси при давлении других обстоятельств и непредвиденном страдании, в которое она могла так скоро погрузиться, возникла как благодаря угрожающей неопределенности его собственного будущего, так и из-за всех больших опасностей, выпадающих на Изабель; но эта мысль к настоящему времени была весьма чужда ему. Холодная как лед, подобная змее, она, придвинувшись, прокралась в другие его трепетные

грезы; но эти, другие мысли продолжали подниматься снова и снова, и сами поглощали его так, что вскоре уводили его от существующих мрачных предчувствий настоящего. Превалировали мысли, связанные с Изабель, к которой он мог теперь прийти подготовленным и с открытым взором; но, случайно подумав о Люси, когда она возникала перед ним, он мог только закрыть свои изумленные глаза своими изумленными руками. И это не было трусливым эгоизмом, а бесконечной чувственностью его души. Он мог перенести агонию, думая о Изабель, поэтому сразу же решился помочь ей и успокоить ближнего своего в горе; но все же он не мог не думать о Люси, потому что само решение в отношении обещанного утешения Изабель подспудно включало в себя постоянный мир с Люси, а поэтому всякие сложности угрожали намного большему, чем счастье ближнего.

Хорошо для Пьера было то, что возникшие предчувствия относительно Люси в его уме стерлись так же быстро, как и нарисовались их мучительные образы. Для стоящего на наполовину затянутой туманом вершине своей Судьбы вся эта часть широкой панорамы была затянута облаками, но скоро эти пары отошли

в сторону и в них быстро образовался разрыв, раскрыв далеко внизу наполовину различимую сквозь низкий туман тихую извилистую долину и течение предыдущей счастливой жизни Люси; через недолгий разрыв он мельком увидел ее выжидающее ангельское лицо, выглядывающее из истекающего медом окна ее дома; и в следующий момент кудрявые барашки облаков снова сами закрыли его, и все оказалось скрыто, как прежде, и все, как прежде, смешалось в кружащейся раме и тумане. Только лишь из-за несознательного вдохновения, пришедшего из невидимого для человека просвета, он решился написать это первое, со смутными намеками, письмо для Люси, где связанность, мягкость и спокойствие были всего лишь естественными, хотя и коварными предвестниками, поочередно соединенными одним болтом за другим.

Но, будучи по большей части окруженным своими воспоминаниями и видениями, тем не менее, согласно условностям в отношениях со своей Люси, теперь глубоко затрагиваемым, он еще больше распутывал и отделял самого себя от наиболее близкого тумана, и даже от низа всего верхнего тумана. Будучи несоизмеримо запутанными, более тонкие черты человека

не всегда проявляются в процессе замысла; но, как бывает со всеми другими силами, они проявляются, в основном, в своих окончательных решениях и результатах. Странная дикая работа, крайне обоюдная и взаимная, была теперь продолжением хаоса, царившем в груди Пьера. Поскольку в его собственном сознательном определении несчастная Изабель была выхвачена из своего всемирного одиночного заточения, то таким образом, глубоко внизу в больших тайных палатах его ничего не подозревающей души улыбающаяся Люси, теперь как будто мертвая и пепельно-бледная, связывалась с искупительным спасением Изабель. Око за око и зуб за зуб. Вечно непреклонная и беззаботная Судьба это простой бессердечный торговец человеческими радостями и горем.

Но присутствовало ли тут общее и непроизвольное самоукрывательство от всех основных наиболее важных составляющих его любви, как непоправимо связанных с Изабель и его решением уважать ее; было ли это его непрошенное побуждение в нем порождено никем не поддержанной подсказкой его собственного сознательного суждения, когда под давлением самого главного события этому суждению было

позволено сыграть в редкую игру? Он не мог не знать, что все мысли о Люси теперь стали более, чем бесполезны. Как мог он теперь планировать свои юношеские жизненные планы, когда все еще пребывало в белом тумане со сливочными прожилками! Он все еще чувствовал себя будто бы божественно посвященным, выполняющим божественный приказ оказывать поддержку и защищать Изабель от всех мыслимых непредвиденных обстоятельств Времени и Случая; но как мог он застраховаться от коварного влияния личного интереса и считать нетронутым всё своё бескорыстное великодушие, если единственное, что он должен был разрешить, так это отвлечь Люси от мысли оспаривать с Изабель право на проникновение в его душу?

И если — хотя пока еще подсознательно — он был почти готов принести сверхчеловеческую жертву всем, кто больше всего был для него дорог и сокращал ему самому путь от его последних надежд на общее счастье, то должны ли были пересечься с его великим решением стать подвижником — если так и обстояли дела, то тогда на каких тонких, как паутинка, и редких, и почти неощутимых, как воздушные нити из марли, держались все обычные общие оценки — на-

следственной обязанностью по отношению к его матери и его клятве перед всем миром в вере и чести, засвидетельствованной в момент помолвки? Не то, чтобы в настоящее время всё это именно так представлялось Пьеру; но всё это, словно эмбрион, зарождались в нем. Он получил пропитку высоким подвижничеством, уже растворившимся в нем и породившим такой болезненный неопределенный трепет в его душе; все это, при его зрелости, должно было, наконец, в дальнейшем придать силу живому делу, презрев все личные отношения Пьером и низведя до нуля его самые дорогие сердечные интересы. Так в Обязательном Подвижничестве рождается благословенный Богом Христос; и да не будет у него смертного родителя, и да отвергнет он и разорвет все смертные связи.

VI

Одну ночь, один день и небольшую часть следующего вечера Пьер посвятил подготовке к важной беседе с Изабель. Теперь, слава Богу, думал Пьер, ночь проходит, — ночь Хаоса и Гибели; теперь остаются только день и часть вечера. Может быть, новая небесная струна моей души и утверждает меня в чувстве, подобном христову

чувству, которое я впервые ощущаю. Может быть, я при всей своей скудости мыслей все еще ровняю самого себя по негибким правилам святого права. Не позволю ни одному слабому, мысленному искушению встать у меня на пути в этот день; не позволю ни одному большому камню оказаться на нем. В этот день я стану переписывать людей и искать одобрения у богоподобного древесного народа, который теперь кажется мне более благородной породой, чем человеческая. Его высокая листва должна будет окропить меня святостью, через мои ноги, обвитые его могучими корнями, бессмертная энергия должна будет влиться в меня. Проведите меня, опоясайте меня, уберегите меня в этот день, вы, высшие силы! Спеленайте меня, чтоб я не мог сломаться; удалите от меня все зловещие соблазны; навечно в этот день сотрите во мне отвратительные и искаженные образы всяческой удобной лжи и обязательных отговорок ныряющей и безразмерной морали этой земли. Ради них наполните меня огнем честолюбия, влейте в мою жизнь ваш собственный замысел. Не позвольте прийти миру сирен и спеть мне в этот день, и перекормить меня моей собственной неустрашимостью. Я бросаю свое вечное умирание в этот день, по вашей

воле. В своей твердой вере в вашу незримость я делаю ставку на целых три метких фразы и целых три жизни в этот день. Если вы оставите меня теперь, — тогда прощай, Судьба, прощай, Правда, прощай, Бог, посланный навсегда от Бога и человека, — я объявлю себя равным им обоим, вольным вести войну Ночью и Днём, всеми мыслями и думами духа и сил, что обвивают верхние и нижние небесные своды!

VII

Но Пьер, хоть и заряженный божественным огнем, был создан из глины. Ах, мушкеты созданы богами для бесконечного огня, и тоже сделаны из глины!

Спасите меня от того, чтобы быть вассально связанным с Правдой, как я сейчас. Как только я проникну далее в Пьера, то покажу, как этот небесный огонь помог поддержать его самого при помощи простых случайностей и того, что он не знал. Но я последую бесконечным, извилистым путем, — по плавной реке в человеческой пещере, ведомый легкомыслием туда, где я опрометчиво высажусь на берег.

Разве не было это лицо — хотя и безмолвно несчастным — красиво, очаровательно?

До чего же непостижимы были эти большие поразительные глаза необыкновенного света! В эти заколдованные глубины вместе нырнули и погрузились Горе и Красота. Очарование так красиво, так таинственно, так изумительно; разговор о печали бесконечно более сладок и привлекателен, чем о радости; это лицо исполнилось благородным страданием; это лицо трогало очарованием; это было лицо собственной сестры Пьера, это было лицо Изабель, это лицо Пьер четко разглядел, в эти же самые необыкновенные глаза наш Пьер и заглянул. Таким образом, еще до предполагаемой схватки он не сомневался, что, в основном, женская красота, а не женское уродство, привлекло его к отстаиванию правды. Бесполезно было что-то скрывать в этой книге священной правды. Это как если бы в некоем нищенском переулке горбатая, отвратительная девочка должна была схватить его за кромку одежды со словами — «Спаси меня, Пьер — полюби меня, прими меня, брат; я — твоя сестра!» — Ах, если человек был целиком создан на небесах, то почему в нас мелькают проблески ада? Почему на самом благородном мраморном столбе, поддерживающем всеохватный свод, мы рано или поздно замечаем погибельную трещину?

В природе мы очень близки к Богу, и хотя далее течение может быть перегорожено отмелями, все же в оправе фонтана, где находится человечество, поток определенно оказывается фонтаном.

Так не позвольте же здесь ни одному строгому слову намекать на смертного Пьера. Мне легко хитростью скрыть эти намеки и навсегда поставить его перед глазами, как чистого и безупречного, невосприимчивого к неизбежной природе и участи обыкновенных людей. Я более откровенен с Пьером, чем кто бы то ни было. Я всё же не осторожен и великодушен по отношению к Пьеру, и поэтому вы видите его слабость, и только поэтому. Построить внушительные характеры вполне в человеческих силах; это не божье откровение. Он должен быть совершенно честным и, всё же, более благородным, чем Итан Аллен[6]; этот человек должен знать об опасности презрения со стороны любого смертного.

---

6 Примечания: 6
Герой войны за независимость США (прим. пер.)

Книга VI
Изабель, и первая часть её истории

I

Наполовину желая, чтобы час настал, и так же наполовину дрожа от того, что с каждой секундой этот час становится все ближе и ближе, с сухими глазами, но влажным телом из-за дождливого темного дня, Пьер в конце вечера пришел в себя после долгого блуждания в первобытном лесу Оседланных Лугов и на одно мгновенье неподвижно застыл на его скошенной опушке.

Там, где он стоял, пролегала грубая деревянная дорога, используемая только санями в снежное время, а стоявшие по бокам деревья образовали узкую арку и представляли собой ворота, открывающие путь на далекие, широкие пастбища, спускающиеся к озеру. В этот влажный и туманный вечер раскидистые, дрожащее вязы на пастбище казались стоящими в неприветливом мире и державшимися за свое место только из-за непостижимого чувства долга. Рас-

положенное далее озеро, в единой плоскости безучастности и немоты, не тронутое бризом или дыханием, было крепко зажато в берегах и лежало без достаточной живости, необходимой для отражения самого маленького куста или ветки. И все же в этом озере было заметно отраженное, неподвижное высокое небо. Только в солнечном свете этому озеру удавалось поймать веселые, зеленые образы, но и они не прогоняли отображенную немоту малозаметных небес.

С обеих сторон, в отдалении, а также далеко за дальним пологим берегом озера возвышался длинный, таинственный горный массив с косматыми соснами и болиголовами, с мистическими и неразличимыми выдыхаемыми испарениями, в которых черный воздух смешивался со страхом и сумраком. У его подножия росли дремучие очарованные леса. Из их далеких совиных глубоких пещер и гнилых листьев (от быстрого гниения бесполезной древесины и игнорировании этого факта в других странах гибнет множество нищих), из бесконечности этих жестоких бездонных лесов доносились стенание, бормотание, рев, прерывистые изменчивые звуки: стук капель дождя о парализованные деревья, удары оторвавшихся камней и последних остатков долго

раздираемых ветвей и дьявольская тарабарщина лесных призраков.

Но на ближнем берегу тихого озера, где оно образовывало длинный полукруг и задевало полого поднимающиеся кукурузные поля, стоял маленький невысокий красный сельский дом; его древняя крыша заросла самыми яркими мхами; северная сторона (с севера мох сдувался ветром) также была с прозеленью мха, как и северная сторона любого широкого кленового ствола в лесу. У одного из остроконечных фронтонов спутавшееся дерево требовало поддержки и щедро платило за неё широкой раскидистой кроной, одна из вьющихся ветвей которой сама собой встала вертикально прямо напротив кирпичного дымохода, словно машущий громоотвод. Напротив другого фронтона можно было разглядеть низкий молочный сарайчик; его стороны, словно сеткой, закрывали виноградные лозы Мадейры, и, оказавшись достаточно близко, заглянув через этот решетчатый узор посредством легкого поворота планок небольшой оконной амбразуры, вы, возможно, разглядели бы нежных и самодовольных пленников — кастрюли с молоком, ряды белоснежных голландских сыров, брикеты золотого масла и банки с лиловым кремом. Ше-

ренга из трех гигантских лип стояла на страже этого зеленого пятна. На нижней и средней части их стволов, почти до конькового бруса, листвы было мало, но потом, внезапно, как три огромных зеленых воздушных шара, они уже раскачивались в воздухе тремя широкими, перевернутыми округлыми зелеными конусами.

Вскоре, как только взгляд Пьера упал на это место, его сотрясла дрожь. Не только из-за Изабель, которая там теперь оказалась, но и из-за двух косвенных и весьма странных совпадений, которые привели его к дневным переживаниям. Он шел позавтракать со своей матерью, и его сердце, переполненное вероятным предчувствием её высокомерного отношения к появлению Изабель, требовало её материнской любви: и ло! Входит преподобный г-н Фэлсгрейв и обсуждает Неда и Делли, и все эти переживания, которые Пьер отчаялся представить своей матери во всех своих этических аспектах, чтобы абсолютно до конца изучить ее мысли об этом и, тем самым, подтвердить свои собственные догадки, — весь этот вопрос был обсужден полностью, да так, что из-за этого странного совпадения он теперь отлично понял мысли своей матери и, словно от небес, получил предупреждение, ничего ей

не раскрывать. Это было утром; и теперь, в конце дня мельком увидев дом, где нашла пристанище Изабель, он сразу опознал в нем сдаваемый в аренду сельский дом старого Уолтера Альвера, отца той самой Делли, навеки падшей от жестоких чар Неда.

Самые странные чувства, почти сверхъестественные, вкрались теперь в голову Пьера. С ничтожной силой задевая страхом души менее восприимчивых, рефлексирующих и поэтических существ, такие совпадения, как бы часто они не повторялись, всегда наполняют более чистую душу чувствами, которые превосходят все словесные образы. Они охватывают самые тонкие аспекты жизни. Со вспышкой молнии спонтанно возникает вопрос — случайность или Провидение? Если сознание, на которое оказывается влияние, также окажется по аналогии жертвой в любом определенном горьком событии, тогда все стороны вопроса будут видны разборчивей, и, наконец, получат всеобъемлющее объяснение окружающих вещей. Всегда заметно, что искренние души, испытав страдание, больше всех затем размышляют об окончательных причинах. Сердце, взволнованное до самой глубины, находит ответное чувство в голове, которое проникает

в неё столь же глубоко. Перед несчастными людьми, когда они размышляют, все мировые эпохи проходят, словно процессии в кандалах, и все их мириады связаны мрачным таинственным скрежетом.

Долго шагая под тенью каймы высоких лесных деревьев, в ожидании прихода назначенного часа Пьер почему-то стремился представить саму сцену, которая должна была последовать. Но здесь воображение его крайне подводило; действительность была слишком реальна для него: только лицо, одно только лицо теперь виделось ему; и поскольку он в последнее время так привык путать его с воздушными формами, то он почти дрожал, когда думал, что это лицо должно вскоре встретиться с его собственным.

И вот начали падать более густые тени; местность потерялась для него; лишь три туманных, высоких липы ведут его, пока он спускается с холма, нависшего над домом. Он не знает этого, но его задумчивый маршрут извилист, как был извилист в тот момент поток его мысли, преграждаемый вкрадчивыми сторонними опасениями относительно окончательной прагматичной разумности решительного энтузиаста, которым он был. Он умеряет шаги, поскольку почти пришел,

и видит слабый свет, бьющийся в простой двойной оконной створке. Он абсолютно уверен, что его собственные добровольные шаги уведут его навсегда от блестящих люстр особняка в Оседланных Лугах, чтобы присоединиться к компании несчастных проблесков бедности и горя. Но его возвышенная интуиция также рисует ему подобную солнцу славу божественной правды и достоинства, которая, хоть иногда и затеняется плотными туманами земли, все же будет бесконечно сиять в безоблачном великолепии, проливая показательный свет на сапфировый трон Бога.

II

Он стоит перед дверью, дом погружен в тишину, он стучит, свет за оконной створкой на мгновение мерцает, а затем меняет место; он слышит, как скрипят дверные петли и все его сердце дико бьется, поскольку внешний замок открыт, и, держа фонарь над своей чудесной головой, перед ним стоит Изабель. Это она сама. Никаких слов, никого рядом. Они входят в комнату с двойной оконной створкой, и Пьер садится, подавленный физической слабостью и душевным страхом. Он поднимает глаза и встречается с пристальным

взглядом очаровательной и одинокой Изабель, а затем слышит низкий, сладкий, наполовину плачущий голос с более чем естественной музыкальностью:

«Итак, мой брат, — я буду звать тебя Пьер?»

Неподвижно производя свое первое и последнее братское исследование мистической девушки, Пьер какое-то мгновение следит за нею и в один миг видит в умоляющем лице не только невыразимую трогательность той самой девушки за шитьем, но и более тонкое выражение лица с портрета своего когда-то еще юного отца, необычайным образом перешедшее и по-родственному смешавшееся с некой, ранее неизвестной, иностранной женственностью. Память, Пророчество и Интуиция хором говорят ему: «Пьер, все на виду; ни единого мельчайшего сомнения, — это существо — твоя сестра; ты глядишь на плоть твоего отца»

«Итак, мой брат! — я буду звать тебя Пьер?»

Он вскочил на ноги и по-настоящему заключил ее в свои объятия.

«Это ты! Это ты!»

Он почувствовал слабое сопротивление своим объятиям; ее голова свисала ему на плечи; весь он купался в плавном лоске ее длинных и несо-

бранных волос. Отстранив локоны, он увидел теперь смертельную красоту лица и уловил исходящую от него бессмертную печаль. Она казалась мертвой, словно задушенной, — смерть оставляет совсем нетронутыми скрытое спокойствие и сладкое выражение лица.

Он хотел было громко воззвать к помощи, но её глаза медленно открылись и повернулись к нему. Пьер постепенно почувствовал, что вялость оставила девушку, и теперь она немного опомнилась, — и снова почувствовал ее слабое сопротивление его рукам, как будто из-за смущения и неверия в право смертного держать её в объятиях. Теперь Пьер раскаивается в своей чрезмерной пылкости и неосторожной теплоте и испытывает всё большее почтение к ней. Он ласково проводит ее к скамье у двойной оконной створки, садится около нее и ждет в тишине, пока первый шок от этого свидания не оставит её и она не станет более готовой выдержать общение с ним.

«Как сейчас ты себя чувствуешь, сестра моя?»

«Благослови тебя Бог! Благослови тебя Бог!»

Снова появилась сладкая, дикая власть музыкального голоса и некой мягкой, необычной частицы иностранного акцента, — так это меч-

тательно показалось Пьеру, до глубины души ощутившему острый трепет. Он нагнулся и поцеловал ее в лоб, а затем, почувствовав близость её руки, нашел её и сжал без единого произнесенного слова.

Все его существо оказалось теперь сосредоточено в едином ощущении сжимаемой руки. Он чувствует, что она очень маленькая и нежная, но необычайно тяжелая. Потом он узнал, что только трудом своих рук дочь его собственного отца зарабатывала на жизнь в том же самом мире, где он, ее собственный брат, жил столь праздно. Еще раз он почтительно поцеловал ее лоб, и его встречное теплое дыхание прошептало мольбу к небесам.

«Мой язык не в состоянии говорить с тобой, Пьер, с моим братом. Пока все мое существо, мысли и тоска всей моей жизни находятся в бесконечном долгу перед тобой, я не знаю как с тобой разговаривать. Будь на то Божья воля, Пьер, моим величайшим благом теперь было бы лечь и умереть. Тогда я окажусь в состоянии покоя. Перетерпи меня, Пьер»

«Я вечно буду терпеть, моя любимая Изабель! Не говори со мной пока некоторое время, если тебе так лучше, если только так тебе легче. Эту

твою руку я сжимаю, моя сестра, теперь она для меня — твой язык»

«Я не знаю, откуда начать разговор с тобой, Пьер; и пока моя душа переполнена»

«Глубинами моего сердца я люблю и почитаю тебя, и сопереживаю тебе, и до, и после, через всю вечность!»

«О, Пьер, разве ты можешь вылечить во мне эту мечтательность, это изумление, которое я чувствую? Моя бедная голова плывет и плывет, и остановки не будет. Моя жизнь не может продлиться так долго, я слишком переполнена ею. Заклинаю, не плач из-за меня, Пьер; то, что мое сердце не может порвать с существующим чувством, — более смертельно для меня, чем все мое прошлое горе!»

«Вы, уменьшающие жажду вечерние небеса, вы, холмистые росы и туманы, извлекаете отсюда вашу влагу! Гром прошел, почему за ним не следует ливень? — Пусть он прольется!»

Затем ее голова склонилась к нему, и большие слезы упали на Пьра; вскоре Изабель мягко отодвинула от него голову и, немного успокоившись, уселась рядом.

«Если ты чувствуешь, что находишься в бесконечном долгу у меня, сестра моя, то такое же

чувство испытываю и я к тебе. Я тоже не очень хорошо знаю, о чем должен говорить с тобой. Но когда ты смотришь на меня, сестра моя, ты видишь того, кто своей душой принял неизменную клятву всецело уважать тебя и стать тебе, во всех отношениях, в пределах и случайностях Судьбы, твоей защитой и всеми признанным братом!»

«Не простые звуки общих слов, а сокровенные мелодии и тоны из самой глубины моего сердца должна ты сейчас услышать. Ты взываешь к человеку, но что-то небесное должно ответить тебе, — некий звук флейты в воздухе должен ответить тебе; конечно же, большинство из твоих подчеркнуто неожиданных речей, Пьер, уверена, не слышимо на высоте. Ради этого благословения, невообразимые всеми смертными фантазиями, должны быть твоими»

«Благословение, подобное твоему, остается, но отражается и отдает обратное благословение сердцу, которое его произнесло. Я не могу благословить тебя, мою сестру, так как ты воистину благословляешь саму себя, благословляя мою ничтожность. Но, Изабель, продолжая испытывать первоначальное удивление от нашей встречи, мы сделаем сердца наши беспомощными. Позволь мне после повторить тебе, каков есть Пьер,

какую жизнь до настоящего времени он вел, и чему после этого он должен следовать, — так ты немного подготовишься»

«Нет, Пьер, это моя обязанность; ты — первый, кто имеет право услышать мой рассказ; тогда, если он будет полезен тебе, ты должен будешь считать меня нетитулованным подарком. Слушай меня теперь. Незримые силы помогут мне, это не долго, Пьер, и не нечто сказочное. Слушай дальше — я уже успокоилась перед своим повествованием»

Во время некоторых кратких, прерывистых, тихих пауз в их столь позднем разговоре Пьер слышал мягкие, медленные, печальные, из стороны в сторону, задумчивые шаги над потолком, а в частых паузах, которыми прервалась странная история из следующей главы, то же самое мягкое, медленное, печальное, из стороны в сторону, задумчивое, и, по большей части, печальное движение становилось снова и снова различимым в тихой комнате.

III

«Я никогда не знала свою покойную мать. Самое далекое воспоминание о моей жизни не дает мне ни единой черты её лица. Если, действительно,

моя мать жила, то она давно осталась в прошлом и не отбрасывает тени на земле, по которой она шагала. Пьер, губы, которые теперь говорят с тобой, никогда не касались женской груди; мне кажется, что меня не родила женщина. Мои первые проблески воспоминаний о жизни связаны со старым, полуразрушенным домом в некоем месте, которое не отмечено ни на одной карте, способной помочь в поисках. Если такое место действительно когда-то существовало, то оно также, кажется, было удалено от всего остального на земле. Это был дикий, темный дом, стоящий посередине круглого, расчищенного пологого склона в глубине чахлого соснового леса. Иногда вечером я боялась выглядывать из моего окна, чтобы призрачные сосны не смогли близко подкрасться ко мне, протянуть темные ветви и утащить меня в свою мерзкую тень. Летом лес нескончаемо гудел непреложными голосами неизвестных птиц и зверей. Зимой, когда его глубокие снега были испещрены, словно некая бумажная карта, ночными следами четвероногих существ, то даже солнцу дом никогда не был виден, и никогда не был виден человеку вообще. На круглом открытом пространстве темный дом стоял не прикрытым ни единой зеленой веткой

или листом; открытый и беззащитный в сердце тенистого укрытия. Часть окон была грубо по вертикали забита досками, и эти комнаты были совершенно пусты, и никогда не посещались, хотя там даже не было дверей. Но часто, из отзывающегося эхом коридора я со страхом вглядывалась в них; все большие камины лежали в руинах, нижний ярус из задних камней был выжжен до самого сплошного белого крошева, и черные кирпичи с верха выпадали на очаг, смешиваясь тут и там со всё ещё падающей сажей давно погашенных огней. В каждой каменной плите под очагом в этом доме имелась одна длинная трещина; все полы просели по углам, а снаружи вся основная конструкция дома, опиравшаяся на низкий фундамент из зеленоватых камней, была завалена унылыми, желтыми гниющими подоконниками. Никаких имен, никаких случайных записок или писем, никаких книг в доме не было; никаких разговоров и воспоминаний о его прежних жителях. Он был немым как смерть. Ни одного могильного камня или насыпи, или какого-либо небольшого пригорка вокруг дома, говорящих о каких-либо похоронах взрослого или ребенка в прошлом. И потому нет никакого следа его истории, поскольку теперь полностью

ушли и погибли мои малейшие знания о том, где этот дом стоял и о том, в каком месте он находился. Ни одного другого дома, кроме этого, я никогда не видела. Но как только я увидела эстампы с изображениями французских шато, то они сильно напомнили мне его тусклое изображение, особенно два ряда маленьких слуховых окон на развороте крыши. Но тот дом был из дерева, а эти из камня. Однако иногда я думаю, что дом был не в этой стране, а где-нибудь в Европе; возможно, во Франции; но все это не озадачивает меня, и поэтому ты не должен начинать из-за меня поиски, поскольку я не могу уверенно говорить на такие необдуманные темы.

«В этом доме я никогда не видела живой человеческой души, кроме старика и старухи. Лицо старика было почти черным от старости и представляло собой единую складку из морщин, его седая борода всегда спутывалась, испачканная пылью и частицами земли. Я думаю, что летом он немного трудился в саду или некоем участке как тот, что находился на одной из сторон дома. Все мои мысли здесь пребывают в сомнениях и беспорядке. Но сами старик и старуха, пожалуй, неизгладимо отпечатались в моей памяти. Я полагаю, что тогда они были единственными людь-

ми, связанными со мной, что стало причиной того, что они взяли меня к себе. Они редко говорили со мной, но иногда бывало так, что темными, порывистыми ночами садились у огня и начинали смотреть на меня в упор, затем болтали друг с другом, а потом снова и снова глядели на меня. Они не были совсем недобрыми, но, я повторяю, они очень редко разговаривали со мной. Какими словами или каким языком они пользовались для общения друг с другом, я не могу вспомнить. Я еще часто желала узнать, по крайней мере, одно: находился ли дом в этой стране или где-нибудь за морем. И здесь я должна сказать, что иногда у меня появляются расплывчатые воспоминания о каком-то времени — вскоре после периода, о котором я теперь говорю — когда я болтала на двух разных детских языках, один из которых уменьшался во мне, тогда как другой и последний рос. Но об этом немного после. Женщина давала мне еду отдельно, поскольку я не ела с ними. Как-то раз они уселись у огня с буханкой и с бутылкой красного вина для себя, я подошла к ним, попросилась поесть вместе с ними и коснулась буханки. Но старик немедленно сделал резкое движение, как будто желая ударить меня, но не ударил, а женщина, впившись в меня взгля-

дом, схватила буханку и бросила её в горящий очаг. Напуганная, я выбежала из комнаты и принялась искать кошку, которую я часто пыталась задобрить и подружиться с ней, но, по некоторой странной причине, без успеха. Но тогда, в моем испуганном одиночестве, я снова поискала кошку и нашла ее наверху, мягко скребущую нечто скрытое среди мусора из заброшенных каминов. Я позвала её, поскольку не осмеливалась войти в комнату с привидениями, но она только косо и бессмысленно посмотрела на меня и продолжила свою бесшумную охоту. Я позвала снова, и тогда она обернулась и зашипела на меня, и я сбежала вниз по лестнице, все еще уязвленная мыслью о том, что была изгнана и оттуда тоже. Я уже не знала, куда пойти, чтобы избавиться от моего одиночества. Наконец я вышла из дома на улицу и присела на камень, но его холод не пришелся мне по сердцу, и я поднялась и встала на ноги. Но голова моя кружилась, я не могла стоять; я упала и больше ничего не помню. Но следующим утром я оказалась в кровати в моей невеселой комнате, и там уже было немного черного хлеба и чашка воды для меня.

«Это я случайно рассказала тебе эту подробность из воспоминаний о моей молодости в этом

доме. Я еще многое могу рассказать из того, что интересно, но этого достаточно, чтобы показать, какой образ жизни я в то время вела. Каждый день, прожитый тогда мною, я чувствовала все видимые особенности и слышала все звуки, становящиеся все более и более странными, и все более и более пугающими. Отношение ко мне со стороны мужчины и женщины были точно такими же, как у кошки: ни один из них не разговаривал со мной, ни одного из них я не понимала. И к мужчине и к женщине, и к кошке я относилась точно так же, как к зеленым закладным камням моего дома: я не знала, откуда они прибыли или что заставило их жить там. Я повторяю, ни одна живая человеческая душа не приходила в дом, кроме мужчины и женщины; но иногда старик рано утром уходил вдаль по дороге, которая вела через леса, и возвращался поздно вечером; он приносил с собой черный хлеб и простое красное вино. Хотя вход в лес находился не очень далеко от двери, он все же ходил медленно и с таким трудом тащился со своей небольшой ношей, что время между его первым появлением среди деревьев и пересечением разбитого порога казалось томительными часами.

«Теперь широкие и свободные очертания моих

ранних лет становятся более четкими в моем уме. Ко мне теперь приходит все, что я не могла вспомнить. Это, возможно, произошло в то время, когда я стала болеть некой долгой лихорадкой, во время которой я забыла про саму себя. И, возможно, это правда, то, что я слышала, что за периодом наших ранних воспоминаний следует поле беспамятства, чередующееся с первыми тусклыми проблесками воспоминаний предыдущих, более или менее отчетливо охватывающих все наше прошлое вплоть до изначального пробела в нем.

«Как бы то ни было, ничего больше я не могу вспомнить о доме на широкой открытой поляне; ничего из прошлого, пока я не оставила его; но тогда ещё я была совсем маленькой. Но есть у меня и отрывки сомнительных, случайных воспоминаний о другой круглой, открытой поляне, но гораздо большей, чем первая, и без лесного окружения. Все же мне часто время от времени кажется, что где-то там, почти рядом со мной стояли три высоких, прямых дерева, вроде сосен, и они жутко дрожали и трещали как старые деревья, привыкшие к периодам горных штормов. И иногда казалось, что полы по углам свисали еще более круто, чем в старом доме, и выгибались еще круче, чтобы я сильнее ощущала, что они

свисают подо мной.

«Теперь ещё мне иногда также кажется, что я изначально болтала на двух детских языках, на которых и говорила некоторое время назад. Кажется там, из людей, окружавших меня, некоторые говорили на одном языке, а некоторые на другом; но я говорила на обоих, хотя на одном не так легко, как на другом; но изначально, так и было; и этот другой постепенно вытеснял первого. Люди эти — как иногда мне время от времени видится в грезах — часто поднимали три странных похожих на деревья предмета и говорили — мне нужно подумать, если действительно у меня есть какая-либо реальная мысль о таком бестелесном фантоме, как этот — они говорили на языке, на котором я говорила как раз в то время, постепенно забывавшемся мною. Это был красивый язык; о, мне кажется, такой сверкающе веселый и светлый; просто язык для такого ребенка как я, если бы ребенок не был всегда столь грустным. Это был чисто детский язык, Пьер; этакий щебет — просто щебет.

«Своим собственным умом ты должен теперь прочувствовать, какие из этих моих туманных воспоминаний неопределенно намекают на судно в море. Но все туманно и неопределенно для

меня. Я никогда не понимаю отчетливо, говорю ли я тебе о реальных вещах или о грезах. Во мне всегда реальность превращается в мечты, а мечты в реальность. Никогда мне полностью не излечиться от влияния странностей моей ранней жизни. Они таковы, что даже сейчас — в этот момент — окружают твою видимую форму, мой брат, таинственным туманом, да так, что второе лицо, третье лицо и четвертое лицо наблюдают за мной из твоего собственного. Вот сейчас все туманней и туманней становятся мои воспоминания о том, как ты и я пришли встретиться. Я хожу, ощупывая все виды форм, из которых я состою; поэтому мне кажется, что я передвигаюсь при помощи форм; и все же у форм есть глаза, которые смотрят на меня. Я оборачиваюсь, и они смотрят на меня; я выхожу вперед, и они смотрят на меня. — Позволь мне теперь побыть в тишине; не говори со мной»

IV

Наполненный невысказанным удивлением от этого странного рассказа, Пьер сидел, онемев и пристально глядя на её вполоборота повернутую голову. Ее огромные мягкие локоны черных как смоль волос свисали и закрывали её буд-

то наполовину раздвинутый занавес некой оберегаемой святыни. Пьеру она казалась наполовину неземной, но это неземное было только её тайной, но никак не тем, что ограждалось от него или угрожало ему. И, тем не менее, низкая тональность ее далекого мелодичного внутреннего голоса дрожала в комнате сладким эхом; и с потолка сверху, напоминая процесс отжима винограда, продолжали раздаваться равномерные незримые шаги.

Она уже слегка пошевелилась и после недолгого странного хождения уже более связно продолжила свой рассказ.

«Мое следующее воспоминание, на которое я могу в определенной степени полагаться, было уже о другом доме, также расположенном вдали от человеческого жилья, в сердце не совсем спокойной страны. Через эту страну, и рядом с домом протекала зеленая и спокойная река. Тот дом, должно быть, находился в некой низменности; о первом доме я говорила, что он, кажется, стоял где-то среди гор или близко к горам — вдали шумел водопад — я, кажется, слышу его теперь; четко очерченные облака позади дома в закатном небе — я, кажется, вижу их теперь. Но этот другой дом, второй или третий, я не знаю,

который, я снова говорю, что он стоял в некой низменности. Вокруг него было никаких сосен, немного разных деревьев; земля не имела такого же крутого наклона, как вокруг первого дома. В округе располагались возделанные поля, и вдали — сельские дома, надворные постройки, скот и домашние птицы и много чего-то подобного. Этот дом, я уверена, был в этой стране, по эту сторону моря. Это был очень большой дом и полный людей; но по большей части они жили отдельно. В нем жили какие-то старики, жили молодые люди и молодые девушки, — некоторые очень солидные, и в нем жили дети. Некоторые из этих людей считали это место счастливым, многие из них всегда смеялись, но для меня тут не было счастья.

«Но здесь я могу ошибаться из-за моего собственного сознания, я не могу определиться — я имею в виду в памяти обо всей моей предшествующей жизни, — я говорю, что не могу определить, что называют счастьем; это то, чей символ — смех или улыбка, или тихое спокойствие на губах. Я могла бы быть счастлива, но сейчас этого нет в моих осознанных воспоминаниях. И при этом я не чувствую тоску по счастью, как будто у меня его никогда и не было; мой дух жаждет разнооб-

разного счастья, я полагаю, что у меня есть такое подозрение. Я перенесла нищету, но не из-за отсутствия счастья, и не моля о нем. Я молю о покое — о неподвижности — об ощущении самой себя неким растением, поглощенным жизнью, без её поисков, и существующим без личных ощущений. Я чувствую, что не может существовать никакого прекрасного мира в отдельности. Поэтому я надеюсь однажды почувствовать себя испившей проникновенный дух, оживляющий все на свете. Я чувствую, что я здесь в изгнании. Я продолжаю отклоняться. — Да, в ответ ты улыбаешься. — Но позволь мне снова помолчать. Не отвечай мне. Когда я подведу итог, то не буду блуждать так же, конец будет короткий»

Уважительно решив не допускать малейшую помеху или даже намека на помеху удивительному рассказу, услышанному им, и потому пассивно сидеть и получить его чудесное проникновение в его душу, несмотря на долгую паузу, и, не касаясь малейших мистических соображений, быть убежденным в том, что он должен, в конечном счете узнать наименее туманный и незавершенный итог истории Изабель, Пьер все еще сидел, ожидая продолжения, пока его взгляд не остановился на замечательно красивом ухе девушки,

которое, случайно выглянуло из ее густых локонов и расположилось в их черноте наподобие прозрачной морской жемчужной раковины.

Она опять немного прошлась и после некоторого странного блуждания продолжала более размеренно; в тот момент движение по полу сверху, как ему показалось, прекратилось.

«Я говорила о втором или, скорее, третьем отрывке моих воспоминаний о прошлом, о том, как они впервые появились у меня; я имею в виду, что говорила о людях в доме, согласно моему самому раннему забытому впечатлению о них. Но я оставалась в том доме в течение нескольких лет — пять, шесть, возможно, семь — и во время этого периода все изменилось для меня, поэтому я знаю многое, хотя всегда смутно. Часть из его жителей отбыли; некоторые поменяли улыбки на слезы, некоторые хандрили весь день; некоторые выросли дикарями и бунтарями и уводились вниз молчаливыми мужчинами куда-то глубоко, так что я не знала ничего о них, пока через цокольный этаж не стали проникать заунывные звуки, стоны и звон от падения, подобно падению железяк в солому. Время от времени я видела гробы в тихий полдень, которые вносили в дом, и через пять минут выносили снова, по-видимому,

более тяжелыми, чем при внесении; но я не видела, кто лежал в них. Однажды я увидела гроб огромного размера, который протолкнули через самое низкое окно трое молчаливых мужчин, а после — как он был выставлен обратно, и они уехали вместе с ним. Но количество не видимых мною людей, которые таким образом покидали дом, компенсировалось другими людьми, прибывающими в закрытых экипажах. Некоторые в тряпках и лохмотьях приходили пешком или, скорее, плелись пешком. Как только я слышала ужасные протесты и выглядывала из моего окна, то видела крепких, но запущенных и изуродованных людей, по-видимому, крестьян, связанных четырьмя длинными веревками по рукам и ногам, ведомых позади множества равнодушных мужчин, которые под удары плетей гнали этих диких запущенных существ по дороге к дому. Тогда я слышала ответные рукоплескания, вопли, завывания, смех, благословения, молитвы, ругательства, гимны и все шумные волнения, исходящие из всех комнат дома.

«Иногда они входили в дом — пусть ненадолго, отбывая в течение часа после прибытия — люди примечательного тогда для меня облика. Они были очень сдержаны; не смеялись, не стонали,

не плакали, не гримасничали; без бесконечно уставшего взгляда, не странно и не фантастически одеты; короче говоря, нисколько не напоминали людей, которых я когда-либо видела прежде, исключая немногих людей в доме, которые, казалось, были авторитетами для остальных. Эти люди интересного для меня облика, я думаю, были особенно безумными людьми — с самообладанием, но с блуждающим сознанием; духовно собранные и блуждающие физически, необыкновенно безумные люди.

«Мало-помалу, дом, казалось, снова изменился, или же мой ум стал воспринимать больше, и изменились первые впечатления о нем. Меня поселили наверху в маленькой комнате, едва ли не лишенной какой-либо мебели; иногда я хотела выйти из неё, но дверь оказывалась заперта. Иногда приходили люди и выводили меня из комнаты в и очень длинную комнату намного большего размера, и здесь я видела вместе множество других жителей дома, которых, кажется, также приводили из удаленных и отдельных палат. В этой длинной комнате они рассеянно бродили и вели свободный разговор друг с другом. Некоторые стояли посреди комнаты, постоянно и пристально глядя на пол

в течение многих часов подряд, и никогда не шевелились, только дышали и пристально глядели в пол. Некоторые могли сидеть, сжавшись в углу, и сидели, сжавшись там, и только лишь дышали и жались по углам. Некоторые прижимали свои руки к сердцам и медленно шли вниз на прогулку, издавая стоны и стеная про себя. Один мог сказать другому — «Чувствуете это — здесь, засуньте вашу руку в рану». Другой бормотал в ответ — «Рана, рана, рана» — и не говорил ничего, кроме слова «рана» Но большинство из них были немыми и не могли говорить, или не говорили, или забыли, как говорить надо. Почти все они были бледными. У некоторых волосы были белы, как снег, хотя они были довольно молодыми людьми. Некоторые всегда говорили о Черте, Вечности и Боге; и некоторые — как о вещах навсегда определенных, а другие утверждали обратное; и затем они могли спорить, но, в любом случае, без большой убежденности. Но однажды почти все присутствующие — даже немые безучастные люди и апатичные люди, присевшие в углах — почти все они однажды рассмеялись, когда после громкого бормотания в течении целого дня, оба этих фатальных противника сказали друг другу — ««Вы убедили меня, дружище, но мы

расходимся; поэтому я также смогу убедить вас другим путем; потом давайте обсудим всё это снова, поскольку после взаимных уступок, у нас все еще имеются разногласия»» Некоторые обращались к стене, некоторые — к воздуху, некоторые свистели в воздух, некоторые высовывали свои языки, некоторые били по воздуху, некоторые двигались так, будто сражались с воздухом, и выпускали воздух из рук, задыхаясь от невидимых объятий.

«Теперь, по описанию, ты, должно быть, догадываешься, что это было за место, и каким был этот второй или третий дом, в котором я тогда жила. Но не произноси ни слова. Это слово никогда не произносили мои губы; даже сейчас, когда я слышу его, я бегу от него; когда я вижу, что оно напечатано в книге, я убегаю от книги. Слово это для меня совершенно невыносимо. Кто привел меня туда, как я попала туда, не знаю. Я долго жила в доме; одно это я знаю, я говорю, что знаю, но, тем не менее, я все еще сомневаюсь, Пьер, всё еще — о, мечтательность, изумление — они никогда насовсем не покидают меня. Позволь мне снова помолчать»

Она отодвинулась от него, прижала маленькую твердую руку ко лбу, затем очень медленно её

опустила, но тяжесть на её глазах все ещё сохранялась, не означая ничего, кроме смерти. Затем она пошевелилась и продолжила свой смутный и ужасный рассказ.

«Я должна быть краткой; я не хотела отходить то в одну, то в другую сторону от моей истории, но мечтательность, как я сказала, иногда отвлекает меня; и я, как только лишусь затем сил, повинуюсь мечтательному побуждению. Потерпи; теперь я буду более краткой»

«Случилось, наконец, то, что в доме из-за меня произошел раздор; некое препирательство, о котором я услышала только после, но не в тот самый момент. Прибыли какие-то незнакомцы, и прибыли в поспешности, нарочно посланные сюда. На следующий день они одели меня в новую и красивую, но все же простую одежду, провели меня вниз по лестнице на воздух, и далее в карету с миловидной женщиной, мне не знакомой; меня везли в стороне от хорошей дороги, и мы ехали почти два дня, останавливаясь где-нибудь в течение ночи; и вечером второго дня мы приехали в другой дом, вошли в него и остались там.

«Этот дом был намного меньшим, чем другой и показался после всего сладким успокоением.

В нем жил красивый младенец; и этот красивый младенец всегда лукаво и невинно улыбался мне и странно подзывал меня, чтобы я пришла, поиграла с ним и порадовалась вместе с ним, и была беспечной, и радовалась и ликовала вместе с ним; этот красивый младенец впервые привел меня к моему собственному разуму, впервые заставил меня осознать, что я чем-то отличаюсь от камней, деревьев, кошек; впервые лишил меня иллюзий, что все люди это камни, деревья, кошки, впервые заполнил меня сладкой идеей человечности, впервые заставил меня познать бесконечное милосердие, нежность и красоту человечности; и этот красивый младенец впервые наполнил меня туманной идеей Красоты и, одновременно, чувством Печали, бессмертной и вселенской Печали. Сейчас я чувствую, что должна скоро уйти, — — сейчас же останови меня, не выпускай меня на этот путь. Я обязана всем этому красивому младенцу. О, как я завидовала ему, лежащему у груди его счастливой матери и олицетворяющему жизнь и радость, и всем его бесконечным улыбкам, исходящим от этой белой и красивой груди. Этот младенец не только спас меня, но также передал мне неопределенные желания. Теперь я начала размышлять

своим умом, пытаться после всего вспомнить прошедшее; но при этих попытках я мало что могу вспомнить, только то, что озадачивает, — и оцепенение, и вялость и черноту, и полумрак и пустоту от сбивающего с толку вихря. Позволь мне продолжить снова»

И движение над потолком, — оно возобновилось.

V

«Мне, должно быть, было девять или десять, или одиннадцать лет, когда красивая женщина увезла меня из большого дома. Она была женой фермера, и тогда моим жилищем стал сельский дом. Они научили меня шить, стричь шерсть и прясть её; теперь я почти всегда была занята. Это занятие, должно быть, также частично придало мне силы для того, чтобы я иногда чувствовала себя человеком. Теперь я начала воспринимать необычные различия. Когда я видела змею, проползавшую через траву, и выбегающий раздвоенный язык изо её рта, я сказала себе, что это не свойственно человеку, но я человек. Когда вспыхнула молния и расщепила какое-то красивое дерево, оставив гниль от всей его зелени, я сказала, что молния не человек, но я человек. И так со всем остальным. Я не могу здесь сказать

связно, но, так или иначе, я почувствовала, что все хорошие, ни в чем не повинные мужчины и женщины были человечными сущностями, направленными с противоположными намерениями в мир змей и молний, в мир ужасной и непостижимой жестокости. Я ничему не училась. Всем моим чувствам хорошо внутри меня, я не знаю, как отнесутся они к тому, что раньше приводило меня в изумление; но поскольку они существуют, они есть, то я не могу изменить их, поскольку я не имею никакого отношения к их появлению в моем уме, и я никогда не трогаю мысли, и никогда мысли не смешиваю, но когда я говорю, язык оказывается сильнее, речь иногда опережает мысли; поэтому мой собственный язык часто учит меня новому.

«Тогда я еще ни разу не спрашивала женщину или ее мужа, или молодых девушек, их дочерей, почему я была привезена, или как долго я должна буду оставаться в доме. Там я и оставалась; единственной, какой и нашла себя в мире, поскольку из-за той случайности, из-за которой я была приведена в мир, я не слышала ни одного необычного вопроса о себе, и по какой причине я была привезена. Я не знала ничего о себе или о чем-либо, что имело бы отношение ко мне;

я чувствовала свой пульс, свои мысли, но пребывала в полном неведении о чем-либо другом, кроме как об общем ощущении моей человеческой сущности среди жестокости. Но поскольку я стала старше, мое мышление развилось. Я начала изучать то, что вне меня; видеть еще более странные и мельчайшие различия. Я называла женщину мамой, и так делали другие девочки, хотя женщина целовала их часто, а меня — редко. За столом она всегда в первую очередь подавала им. Фермер почти никогда не разговаривал со мной. Пробегали месяцы, годы, и молодые девушки начали внимательно смотреть на меня. Тогда изумленные взгляды одиноких старика и старухи из прошлого, рухнувшая каменная плита под очагом в пустом старом доме на круглой пустоши — те прежние изумленные взгляды сейчас же вернулась ко мне; и пронзительно зеленый взгляд и змеиное шипение нелюдимой кошки повторились для меня, и от чувства бесконечного одиночества в моей несчастной жизни я содрогнулась. Но женщина была очень любезна со мной, она учила девочек не проявлять ко мне жестокости; она подзывала меня к себе и весело разговаривала со мной, и я благодарила — нет, не Бога, поскольку мне не преподавали Закон

Божий — я благодарил яркое человеческое лето и радостное человеческое солнце в небе; я благодарила великодушное лето и солнце за то, что они отдали меня этой женщине, и иногда могла ускользнуть в красивую траву и поклониться доброму лету и солнцу и часто говорить добрые слова самой себе, лету и солнцу.

«Однако пробегали недели и годы, и волосы мои начали тяготить меня своим обилием и длиной, и теперь я часто слышала похвалу моим волосам и моей красоте, когда говорили обо мне. Напрямую мне не говорили ни слова, но я случайно подслушал их шёпот. Слова обрадовали меня своим человеческим чувством. Они были неправы, не сказав мне их открыто; моя радость была бы полнее из-за искренности их красивых слов обо мне, и я знаю, что они наполнили бы меня всей мыслимой добротой ко всему. Когда я услышала красивое слово, то шептала его, время от времени, в течение нескольких месяцев, пока новый человек не приехал в дом; они называли его джентльменом. Его лицо показалось мне приятным. Что-то похожее, и все же отличающееся от этого, я видела прежде, но где, я не могла сказать. Но однажды, взглянув на спокойную воду позади дома, я увидела сходство — почти та-

кое же и все-таки другое лицо. Это привело меня в замешательство. Новый человек, джентльмен, был очень добр ко мне; он казался удивленным, сконфуженным из-за меня; он посмотрел на меня, затем в очень маленькую, круглую картину — так показалось — которую он вынул из своего кармана, но все же скрыл от меня. Потом он поцеловал меня и посмотрел уже с нежностью и горечью; и я почувствовала, что он уронил слезу. Тогда он прошептал мне в ухо одно только слово. Это было слово ««отец»»; то же самое слово, с которым молодые девушки обращались к фермеру. Тогда я узнала, что это было слово доброты и поцелуев. Я поцеловала джентльмена.

«Когда он покинул дом, я заплакала, так как хотела, чтобы он приехал снова. И он действительно приезжал снова. Все теперь назвали его моим отцом. Он приезжал один или два раза в месяц, чтобы увидеть меня, пока, наконец, не перестал приезжать; и когда я заплакала и спросила о нем, то услышала слово „умер“. Давнее изумление от прибытия и движения гробов в большом и многолюдном доме, это изумление снова прокатилось через меня. Что значило быть мертвым? Что значило быть живым? В чем различие между словами Смерть и Жизнь? Буду ли

я когда-нибудь мертва? Жила ли я? Позволь мне снова помолчать. Не говори со мной»

И движение по полу свыше — оно возобновлялось.

«Проходили месяцы, и я уже каким-то образом узнала, что мой отец был всем обеспечен и посылал женщине деньги на мое содержание в доме, и о том, что деньги после его смерти больше не приходили; последний пенс из его денег был потрачен. Теперь жена фермера смотрела на меня с тревогой и мучением, а фермер — неприязненно и беспокойно. Я чувствовала, что что-то было абсолютно несправедливо; я сказала себе, что для меня это чересчур, я должна уйти из красивого дома. Тогда пораженная одиночеством и безысходностью всей моей несчастной и одинокой жизни, всем этим замешательством и подавленностью от замешательства, перевернувшими меня, я выскочила из дома, не в силах сдержать слезы.

«Но я была сильная и уже взрослая девушка. Я сказала женщине — Займите меня работой; позвольте мне все время работать, но позвольте мне остаться с вами. Но других девушек для работы было достаточно, я оказалась не нужна. Фермер осторожно поглядел на меня и его взгляд явно

говорил мне — Ты нам не нужна; уходи от нас; тебя слишком много, и больше, чем много. Тогда я сказала женщине — Сдайте меня кому-нибудь внаем, позвольте мне поработать на кого-нибудь. — Но я слишком о многом рассказала в моей маленькой истории. Я должна заканчивать.

«Женщина выслушала меня и направила жить в другой дом и зарабатывать там себе на жизнь. Моя работа состояла в дойке коров, сбивании масла, сучении шерсти и выделке тонких полос ткани. Однажды в этот дом пришел коробейник. В его фургоне была гитара, старая гитара, и, все же, очень симпатичная, но с порванными струнами. Он преуспел в торговле со слугами в большом доме, расположенном по соседству. Несмотря на сломанные струны, вещь показалась мне очень изящной и красивой; и я знала, что в ней таилась мелодичность, хотя я никогда не видела гитару прежде, не слышала ни одного звука; но в моем сердце раздался странный гул, который, казалось, предрекал звон гитары. Интуитивно я знала, что струны были не такими, что должны были стоять. Я сказала человеку — я куплю у вас вещь, которую вы называете гитарой. Но вы должны поставить на ней новые струны. И потому он пошел их искать; и, принеся струны

и натянув их на гитару, настроил её для меня. Таким образом, на часть своих денег я купила гитару. Я немедленно взяла её в свою небольшую комнату во фронтоне и мягко уложила её на моей кровати. Затем я зашептала, спела и пошептала ей; очень мягко, очень тихо; я едва могла расслышать себя. И я поменяла размерность моего пения и мой шепот; и снова спела и шептала, тихо, мягко, — больше и больше; и вот тогда я услышала внезапный звук: слаще и тише всех слов был этот сладкий и внезапный звук. Я захлопала в ладоши; гитара говорила со мной, дорогая гитара пела мне, бормотала и пела мне эта гитара. Тогда я спела и шепталась с ней уже при помощи разных мотивов; и она еще больше отвечала мне разными струнами; и еще потом она шептала и отвечала мне разными струнами. Гитара была живой, гитара учила меня своим секретам, гитара научила меня игре на ней. Я не знала ни одного музыканта, кроме гитары. Я приобрела любимого друга, своего сердечного друга. Она поет мне так же, как и я ей. Любовь — это не все, что есть у моей гитары. Все чудеса, что невообразимы и не названы, все эти чудеса перешли в таинственную мелодичность гитары. Она знает все мое прошлое. Иногда она наигрывает

мне мистические видения беспорядочного большого дома, названия которого я не произношу. Иногда она приносит мне щебет птиц в воздухе, а иногда она вселяет в меня восторженные пульсации сладких сказаний о вечно непознанном и мне неизвестном. Принеси мне гитару»

VI

Очарованный, потерянный, словно пораженный и ослепленный от блуждания среди блеска неисчислимых танцующих огней, Пьер неподвижно внимал этому таинству пышноволосой и большеглазой девушки.

«Принеси мне гитару!»

Оторвавшись от своего очарования, Пьер внимательно осмотрел комнату и увидел инструмент, прислоненный в углу. Он тихо принес его девушке и снова тихо присел.

«Теперь слушай гитару, и гитара должна спеть тебе продолжение моей истории; в словах этого нельзя высказать. Поэтому слушай гитару»

Немедленно комната наполнилась мелодичными звуками, жалобными и замечательными, неразборчивыми, но восхитительными. Звуки, казалось, вальсировали в комнате; звуки висели, словно блестящие сосульки в углах комнаты

и падали на него; и снова взлетали к потолку и снова повисали, и снова с серебристым звоном падали оттуда. Светлячки, казалось, гудели в звуках; казалось, что в них ярко, но все же мягко слышались летние молнии.

А безумная девушка всё играла и играла на гитаре; и волна её длинных темных локонов упала на гитару и закрыла её; и, тем не менее, оттуда продолжал исходить поток сладости и чрезвычайно неразборчивые, но бесконечно значимые звуки.

«Непостижимо таинственная девушка!» — вскричал Пьер. — «Говори со мной — сестра; если ты, действительно, смертная, то говори со мной, если ты Изабель!»

«Тайна! Тайна!
Тайна Изабель!
Тайна! Тайна!
Изабель и тайна!»

Среди кружащихся, ниспадающих и роящихся звуков, Пьер теперь слышал тоны, искусно и незаметно вплетенные среди бесчисленных вихрей других мелодий, — искусно и незаметно вплетенные, словно звуки уважаемых инструментов, но сами по себе замечательные и несдержанные,

свободные и смелые — соударяющиеся и отскакивающие, будто от множества противоположных стен, в то время как с каждым слогом закрытая волосами фигура Изабель импульсивно, внезапно и шаловливо раскачивалась из стороны в сторону: это уже не походило на какую-либо песню, и, как казалось, не исходило из какого-либо рта, но доносилось от той же самой, скрытой волосами гитары.

Его лоб теперь горел странным и диким теплом; он положил на него руку. Сразу же музыка поменялась, начала затихать и меняться, и меняться, и меняться; и протяжно отступать, пока менялась, и, наконец, полностью затихла.

Пьер был первым, кто нарушил тишину.

«Изабель, ты наполнила меня таким удивлением, и я настолько обезумел, что определенные дела, которые я должен был обсудить с тобой, когда сюда прибыл, — об этих делах я не могу теперь вспоминать, чтобы поговорить о них, — я чувствую, что не все еще высказано тобой, кто со временем слабеет. Но мне уже больше нельзя оставаться. Считай меня всегда своим любимым, уважаемым и самым удивительным братом, который никогда не покинет тебя, Изабель. Теперь позволь мне поцеловать тебя и отбыть до зав-

трашнего вечера, когда я открою для тебя все мои мысли и все мои планы относительно нас. Позволь мне поцеловать тебя и проститься!»

Словно исполненная непререкаемой и твердой веры в него, девушка сидела неподвижно и слушала. Затем она тихо встала и в безграничном доверии подставила ему свой лоб. Он поцеловал его трижды и без каких-либо слов покинул дом.

Книга VII

О том, что произошло между двумя встречами Пьера с Изабель на ферме

I

Не сразу, а спустя долгое время Пьер сумел полностью или частично осознать произошедшее. Но теперь он смутно осознал, что часть его видимого мира прежде казалась ему не слишком обычной и прозаической, а также не понятной, и неясно почувствовал, что весь мир и каждая необдуманная обычная и прозаическая мысль в нем отстоит от решения на миллион морских саженей совершенно безнадежной таинственности. Во-первых, загадочная история девушки и её глубокая искренность, и всегда сопровождающие её призрачность, мрачность и почти волшебство, — сначала замечательная история девушки сместила всю заурядность и прозаичность в его душе, а затем необъяснимая игра на гитаре и тонкие мелодичные обращения, состоящие из нескольких кратких слов Изабель,

пропетых в конце игры, — все это околдовывало его и очаровывало его, пока он не уселся без движения и не склонился, как одеревеневший и отягощенный тайной гость, пойманный и наскоро связанный в саду некоего некроманта.

Но теперь, оторвавшись от этого чародейства, он поспешно прошел по открытой дороге, стремясь с течением времени рассеять мистическое чувство или, по крайней мере, приглушить его на какой-то срок, пока у него не найдется возможности защитить оба тела и обе души от самых непосредственных последствий этого долгого дневного поста, блужданий и ночной незабываемой сцены. Теперь он пытался прогнать от себя все мысли, за исключением мыслей о физических потребностях.

Проходя через тихую деревню, он услышал, как часы пробили половину первого ночи. Он поспешно вошел в особняк через приватную дверь, ключ от которой висел во внешнем секретном уголке. Не раздеваясь, он бросился на кровать. Но, не помня себя, он снова поднялся и завел свой будильник так, чтобы тот обязательно проиграл в пятом часу. Затем заснул снова и, прогнав все вторгающиеся заботы и решительно настроив себя для дремоты, он вскоре впал в неё сначала

с неохотой, но под конец с желанием и с душой. В пять часов он поднялся и на востоке увидел первые копья авангарда нового дня.

Его целью было уйти подальше в этот ранний час и, тем самым избегнув всякого случайного контакта с кем-либо из обитателей особняка, провести весь день в повторном блуждании в лесах, как единственной пригодной прелюдии к обществу такого дикого существа, как его впервые увиденная сестра Изабель. Но знакомая обстановка его комнаты необычайным образом подействовала на него. В какой-то момент, он, возможно, почти умолял Изабель вернуться назад в удивительный мир, из которого она ускользнула. На мгновение любящие, всё понимающие голубые глаза Люси поменялись на нежные, но печальные и непостижимо темные глаза Изабель. Он, казалось, встал между ними, выбирая одну или другую, затем обе оказались принадлежащими ему, но в глазах Люси оказалась половина печали от Изабель, и печаль не уменьшилась.

Снова слабость и долгая физическая усталость парализовали его. Он вышел из особняка и подставил свой голый лоб навстречу возобновившемуся ветру. Он повторно вошел в особняк

и завел часы так, чтобы они прозвонили в семь, а затем лег на свою кровать. Но теперь он уже не смог заснуть. В семь он переоделся и в половине девятого спустился встретить свою мать за столом за завтраком, незадолго до этого услышав ее шаги по ступенькам.

II

Он поприветствовал ее, но она взглянула на него серьезно и все же тревожно, а затем внезапно, уже с плохо подавленной паникой. Тогда он понял, что, должно быть, заметно изменился. Но его мать не заговорила с ним, только взаимно пожелала ему доброго утра. Он видел, что она по разным причинам была глубоко оскорблена им; более того, она неосознанно испугалась за него, и, наконец, ее уязвленная гордость подавила все её тревоги; и он был уверен, что его мать, даже если бы он прямо тут перед нею развернул магическую рукопись, не выразила бы показного интереса и не попросила бы от него объяснений. Тем не менее, он смог полностью воздержаться от попытки испытать ее силу.

«Я выходил из дому, сестра Мэри», — сказал он с недобрым сарказмом.

«Да, Пьер. Как ты находишь кофе этим утром?

Это — какой-то новый кофе»

«Он весьма хорош; очень насыщенный и ароматный, сестра Мэри».

«Я рада, что ты так считаешь, Пьер»

«Почему ты не называешь меня братом Пьером?»

«Разве я не назвала тебя так? Ну, тогда, братец Пьер, — так лучше?»

«Почему ты так безразлично и в упор смотришь на меня, сестра Мэри?»

«Я смотрю безразлично и в упор? Тогда я попытаюсь смотреть иначе. Подай мне вот тот тост, Пьер»

«Ты очень глубоко оскорбила меня, моя дорогая мама»

«Ни в малейшей степени, Пьер. Ты видел Люси в последнее время?»

«Не видел, дорогая моя»

«Ах! Немного лосося, Пьер».

«Ты слишком горда, чтобы показать мне, что ты чувствуешь в этот момент, мама»

Г-жа Глендиннинг медленно встала во весь рост, и ее женственная и величественная красота впечатлила его.

«Не провоцируй меня больше, Пьер. Я не спрошу про твою тайну; все между нами должно

быть добровольно, как это когда-то было почти до недавнего времени, или между нами не будет ничего. Осторожней со мной, Пьер. В мире не так много тех, кого тебе больше стоит остерегаться, а потому, продолжай подобное обхождение со мной, но не очень долго»

Она повторно села и больше не разговаривала. Пьер хранил молчание, а после, набив полный рот чем попало, тихо покинул стол, комнату и особняк.

III

Как только дверь утренней столовой закрылась за Пьером, г-жа Глендиннинг встала, продолжая машинально держать свою вилку в руке. В это время, уже оказавшись в глубине комнаты и быстро размышляя, она почувствовала, что сжимает что-то странное, и, даже не взглянув, чтобы понять, что это, импульсивно отбросила его от себя. Раздался свист полета, а затем дребезжание. Она повернулась и, остановившись около портрета Пьера, увидела свой собственный улыбающийся портрет, в который воткнулась вилка, чьи серебряные зубцы оказались в написанной художником груди и терзали дрожащую рану.

Она быстро подошла к картине и бесстрашно

встала перед ней.

«Да, ты нанес удар! но твой удар нанесен неправедной рукой; это должно быть, твой серебряный удар», — повернувшись к портрету Пьера. «Пьер, Пьер, ты нанес мне удар отравленным острием. Я чувствую, как моя кровь химически изменяется во мне. Я, мать единственного оставшегося Глендиннинга, чувствую теперь, что когда-то была рождена для скорейшего уничтожения этого рода. Для скорейшего уничтожения рода, чей наследник — единственный, но поэтому так велико надвигающееся позорное дело. И дело какое-то позорное, или же что-то очень сомнительное и очень темное находится в твоей душе, или же некий бес противоречия, с туманным, стыдливым обликом, сидел там, на том месте, но теперь! Что это может быть? Пьер, откройся. Мне нелегко улыбаться при таком тяжелом горе. Ответь; что это, мальчик? Может быть, то? Может быть, это? нет — да — конечно — может это? этого не может быть! Но он не был вчера у Люси, и её здесь не было; и она не увидела меня, когда я её позвала.

Что это может предвещать? Но не просто сломить соперника — сломать, как влюбленные иногда разрывают отношения, чтобы потом

воссоединиться с радостными слезами, скоро и снова, — но простой разрыв не может так разбить мое гордое сердце. Если это действительно — часть, то это не всё. Но нет, нет, нет; этого не может, не может быть. Он не мог бы, не мог бы поступить настолько безумно, настолько бесчестно. Это было самое удивительное лицо, хотя я не призналась в этом ему, даже не намекнула, что видела его. Но нет, нет, нет, этого не может быть. Такая молодая несравненность в такой скромности не может иметь подлинного целомудрия. Лилии не растут на сорняках, даже будучи грязными, они никогда не смогут расти среди них. Она должна быть и бедной, и мерзкой — некий случайный плод великолепных, бесполезных повес, обреченная наследовать обе их заразные составляющие — мерзость и красоту. Нет, я не буду так думать о нем. Но что тогда? Иногда я боюсь, что моя гордость принесёт мне некое неизбывное горе, закрыв мои губы и весь мой внешний блеск, отчего я, возможно, полностью приобрету мягкий и умоляющий вид. Но кто может постичь собственное сердце, чтобы такое исправить? Направить саму себя против другого — так иногда можно делать, но когда этот другой является твоим собственным, эти острые

грани непозволительны. Тогда я буду поступать в соответствии с моим собственным духом. Я буду горда. Я не сдвинусь с места. Будь, что будет, я с полпути не убегу, чтобы встретить его и отбить. Будет ли мать унижаться перед своим сыном-подростком? Пусть сам расскажет мне про себя, или пусть катится вниз!»

IV

Пьер углубился в лес и шел, не останавливаясь, несколько миль, и сделал паузу, только когда оказался у приметного камня или, скорее, гладкой массивной скалы, огромной как сарай, которая целиком лежала отдельно и была полностью закрыта буками и каштанами.

Камень имел форму удлиненного яйца, но более сплюснутого и более заостренного по концам, и одновременно не заостренного, но неровного клина. Где-то сбоку посередине у него имелся боковой гребень, и невидимой точкой этот гребень опирался на другую продольно лежащую заостренную скалу, немного выдающуюся из земли. Около этой неясной и мельчайшей точки соприкосновения вся огромная масса камня никак не соприкасалась с землей. Она выглядела затаившейся. Один широкий конец

свода зависал на волосок от земли, постоянно балансируя на грани, не касаясь почвы. На много футов от этой — нижней части противоположного конца, которая вся была покрыта рубцами и наполовину расколота, проем был вполне достаточен, чтобы не только дать возможность, но и с удобством пропустить проползающего человека; и все же не находилось ни одного смертного с бесстрашным сердцем, пожелавшего проползти там.

Камень, возможно, мог бы удивить всю округу. Несмотря на то, что сотни каменных плит домашних очагов — где долгими зимними вечерами старики курили свои трубки, а молодые люди шелушили свое зерно — окружали его на не таком уж большом удалении, но только юный Пьер стал известен как первооткрыватель этого камня, который он впоследствии причудливо окрестил Камнем Мемнона. Возможно, причина, почему этот удивительный объект так долго оставался неизвестен миру, заключалась в том, что он никогда прежде не показывался на свету — хотя, действительно, дважды опоясанный и покрытый плотной буйной растительностью первобытного леса, он лежал как затонувший корпус корабля капитана Кида в ущелье верхо-

вьев реки Гудзона, — его корона имела полных восемь морских саженей под великой весенней листвой — и помимо этого, у обитателей коттеджей вообще не было особого повода для его посещения в непосредственной близости; свою древесину и топливо они получали из более доступных лесистых мест — а потому, даже если кто-то из простых людей случайно видел его, то они, неблагодарно обманутые, не сочли бы его таким чудесным зрелищем и никогда бы не решили, что он может стоять в их краю, и никак не в другом. Поэтому, в реальной жизни они, возможно, видели его, но потом все же забывали столь незначительное обстоятельство. Короче говоря, этот поразительный Мемнонов Камень для них совсем не мог быть Мемноновым Камнем, а только огромным каменным препятствием, заставлявшем глубоко сожалеть о перспективе его возникновения на удобном пути, пересекающим эту дикую часть Поместья.

Как-то однажды, расположившись около его склона, внимательно рассматривая его и размышляя о том, насколько удивительным было то, что в такой давно обжитой стороне он оказался первым проницательным и благодарным человеком, пролившим свет на столь большой

природный курьез, Пьер случайно сдвинул в сторону несколько лежащих друг на друге старых, седых, оборванных слоев пушистого мха и внизу, к своему немалому изумлению, увидел грубо выбитые в скале некие полустертые инициалы — «С. зовет В.» Тогда он понял, что, хотя все в округе не имели сведений о камне с незапамятных времен, он сам все же не стал единственным человеком, который обнаружил эту чудесную нависающую картину: но давным-давно, в совсем другие времена камень видели, и его особенность осознавали — поскольку нанесенные инициалы, казалось, свидетельствовали о некоем покойном человеке, который, будь он теперь живой, возможно, мог бы покачать старческой бородой как самый почтенный многовековой дуб. Но кем, — во имя Мафусаила! — кем мог быть этот «С., зовущий В.»? Пьер думал долго, но не мог вообразить; инициалы, из-за их древности, казалось, указывали на некий период перед эрой Открытия Колумбом этого полушария. Случайно он упомянул об этих инициалах старому джентльмену с белыми волосами, своему городскому родственнику, который после долгой и разнообразной, но неудавшейся жизни, наконец, нашел великое утешение в Ветхом Завете, изучаемом все время

с постоянно возрастающим восхищением; этот белоголовый старый родственник, разузнав все подробные сведения о камне — его величине, его высоте, точном угле его критического нависания и все прочем, — и затем, после очень долгих дум о нем и нескольких долгих протяжных вздохов, зрелых взглядов со стариковской многозначительностью и чтения определенных стихов в Екклезиасте — после последовательного выполнения всех этих утомительных подготовительных действий этот неторопливый белоголовый старый родственник опустил свою дрожащую руку на крепкое молодое плечо Пьера и медленно прошептал — «Мальчик, это Премудрый Соломон». Пьер при этом не мог подавить веселый смех, изумленный настолько странным и раздражительным заявлением, — заставившим его считать мнимым старческое слабоумие своего почтенного родственника, которого он хорошо знал, как весьма здравомыслящего, — о том, что старый Библейский Офир находился где-то на нашем северном побережье; поэтому неудивительно, что старый джентльмен должен был представить себе, что царь Соломон, возможно, предпринял путешествие — как своеобразный перевозчик-любитель — на некоем тирском или

сидонском золотом судне по водам, и случайно обнаружил Камень Мемнона, стреляя из лука в трепетных куропаток.

Но веселье ни в коем случае не было обычным настроением Пьера, думавшего об этом камне; еще меньше веселья было у него, когда он, сидя в этой глубокой лесной тишине, бросал взгляд на свое чудесное грядущее. На некоторое мгновение он часто приходил к мысли, что он не хотел бы ничего лучшего в качестве надгробного камня, чем эта самая внушительная груда, в которой, время от времени, при мягком колебании окружающей листвы, казалось, скрывался некий скорбный и горький плач из-за какого-то милого мальчика, ушедшего в незапамятные времена.

Этот камень был хорош не только как простая достопримечательность округи, но и как своеобразное устрашение. Иногда, впадая в мистический настрой, рассматривая его тяжелую непостижимость, Пьер называл его Устрашающим Камнем. Немногими овладевало искушение подняться на головокружительную высоту и залезть на большой нависающий выступ. Казалось, будто выпадение одного семени из клюва самой маленькой пролетающей птицы может свалить

огромную глыбу, обрушив её прямо на деревья.

Этот камень был очень знаком Пьеру; он часто поднимался на него, приставив длинные шесты, и, таким образом, взобравшись туда, спускался по небольшим полуразрушенными ступеньками, или же он влезал высоко на соседние буки, напарываясь собственным лбом на упругие ветки. Но никогда у него не было достаточного бесстрашия — или, скорее, достаточного безрассудства, чтобы проползти по проему у верхнего конца; этот кусок, как первейшая угроза Устрашающего Камня, действительно должен был когда-нибудь свалиться.

V

Все также продолжая двигаться и как бы с некоторой внутренней решительностью пристально следя за массой, он бросился ничком на прошлогодние листья, пролез прямо в ужасный проем и улегся там словно мертвый. Пьер не мог говорить из-за теснившихся в голове безмолвных мыслей. Они, наконец, уступили место другим мыслям, все менее и менее выражаемым словами, пока, в конце концов, из-под больших нависших и угрожающих бровей Устрашающего Камня не донеслась его речь:

«Если поклясться самому себе всем Достоинством и всей Правдой, то когда невыразимые мучения во мне когда-нибудь низвергнут меня с моей мужественной позиции, из меня не получится дрожащий, недоверчивый раб; если Жизнь подвергнет меня испытанию бременем, которое я не смогу перенести без позорного раболепия, то тогда, действительно, все наши действия предопределены, и мы — русские крепостные у Судьбы; если невидимым дьяволам в нас действительно смешно, когда мы столь благородно сражаемся, то тогда Жизнь это обманчивая мечта, а достоинство бессмысленно и не закономерно при всяком благословении, как полуночная радость от вина; если ради Морали моя собственная мать повторно пожертвует мной, то тогда сама Мораль всего лишь проблема, и для человека всё допустимо и ненаказуемо; и тогда ты, Немая Тяжесть, пади на меня! Ты ждала веками; и если все так и обстоит, то больше не жди; кого ещё ты сможешь сокрушить, если не того, кто теперь лежит здесь, призывая тебя это сделать?»

Падающая вниз стремительная птица, исполненная песней, стремительно сверкнула на неподвижном и вечно непоколебимом равновесии Устрашающего Камня и что-то бодро

прощебетала Пьеру. Ветви дерева согнулись и закачались от порывов внезапного, ароматного ветра. Пьер медленно прополз дальше и гордо встал на ноги, как никому и ничем не обязанный, и пошел своим капризным путем.

VI

Когда в своих юношеских образных капризных мыслях Пьер окрестил приметный камень старинным звучным именем Мемнона, то он сделал это просто из определенных ассоциативных воспоминаний об этом египетским чуде, про которое рассказывали все путешественники по Востоку. И у него внезапно появилось желание сделать этот самый камень своим надгробием, когда не станет его самого; тогда он только уступил одному из тех неисчислимых причудливых понятий, окрашенных мечтательной безвредной меланхолией, которой часто подвержены умы поэтичных юношей. Но в будущем, при совсем иных обстоятельствах, отличных от тех, что окружали его в Лугах, Пьер рассуждал на камне и о своих юношеских мыслях о нем, и о своем будущем отчаянном проползании под ним; тогда огромный смысл дошел до него и надолго передал неосознанное движение его ещё юному

сердцу, которое оказалось теперь пророческой и аллегорической проверкой последующих событий.

Поэтому не стоит говорить о других и более тонких значениях, которые припали к земле позади колоссальных бедер этого камня, грозно называемом нависшим Камнем Устрашения — скрытым для всех простых жителей поселка, но видимым Пьером — считающим его аналогом Камня Мемнона. Ведь Мемнон был этим корнем, принцем, сыном Авроры и урожденным египетским фараоном, который со стремительной страстью бросался защищать что-либо в праведном споре, сражаясь плечом к плечу с превосходящими силами, и встретил свою ребяческую и весьма мучительную смерть под стенами Трои. Стенающее подданные поставили ему памятник в Египте, чтобы увековечить его безвременную кончину. Тронутая дыханием скорбящей Авроры, при каждом восходе солнца эта статуя издавала печальный надорванный звук, как струны внезапно и резко расколотой арфы.

Здесь и существует никогда не наполняемый мир горечи. Ведь в этой скорбной басне мы видим воплощение гамлетизма античного мира, гамлетизма трех с лишним тысячелетней давно-

сти: «Достойный цветок срезан слишком редким невезением». И английская Трагедия это всего лишь египетский Мемнон, монтенизированный и обновленный; но у смертного Шекспира также были свои прародители.

Теперь, как и статуя Мемнона, дожившая до наших дней, это такой же благородно сражающийся, но обреченный на крушение дух некоторых августейших молодых особ (оба, Мемнон и Гамлет были сыновьями государей), статуи которых относятся к меланхолическому типу. Но памятник горю Мемнона однажды наполнился мелодией — теперь же все памятники немы. Подходящим символом этой старины были поэтическое посвящение и надгробие для всех несчастных человеческих жизней; но в добродушном, бесплодном и прозаическом, бессердечном веке музыкальный стон Авроры потерялся среди наших дрейфующих песков, которые одинаково поглощают и памятник, и панихиду.

VII

Пока Пьер шел через лес, он позабыл про все, кроме Изабель. Он стремился сгустить туман ее таинственности до некой определенной и понятной формы. Он не мог не сделать вывода,

что чувство замешательства, на которое она так часто указывала во время их беседы, заставляло ее все время идти в обход прямого повествования и, наконец, закончить его в резко наступившем и загадочном мраке. Но он также был уверен, что всё это было полностью непреднамеренно, и теперь, несомненно, жалел её, поэтому приближавшееся второе свидание помогло бы прояснить большую часть этой тайны; полагая, что создавшаяся пауза сделает многое для того, чтобы успокоить её и помочь прийти в себя без её восхищения им самим, он не стал легкомысленно относиться к появившемуся у него часу отсрочки. Поскольку, действительно, рассматриваемая с рассвета дневная перспектива казалась ему неопределенной и бесконечной. Он не хотел повстречаться с людьми или жильем: возделанное поле, какой-либо признак пашни, сгнивший пень давно срубленной сосны, малейший мимолетный след человека отталкивал его и был ему чужд. Аналогично в его собственном уме все воспоминания и грезы, которые имели отношение к общему и общечеловеческому, становились ему, с течением времени, особенно неприятными. Однако теперь, ненавидя все, что было общим в двух разных мирах — и в этом

и в том — даже в самой уединенной и самой нежной части своей собственной душевной основы, Пьер, тем не менее, не мог найти ни единой приятной ветви размышлений, к которой можно было бы пристроить его утомленную душу.

Мужчины, как правило, редко страдают от такой чрезвычайной нищеты духа. Если Бог не одарил их неискоренимым легкомыслием, то мужчины, в основном, все же обладают неким скрытым самомнением или уровнем добродетели; мужчины, в основном, всегда совершают некие маленькие самоотверженные поступки ради некоего другого человека; и поэтому, в те вновь и вновь приходящие часы давящей усталости, которая в любое время и на любой срок способна настигнуть почти каждого цивилизованного человека, такие люди немедленно вспоминают про один или два, или три своих маленьких подвига и получают передышку, утешение и более или менее удовлетворяющую сладость от этого. Но у мужчин самокритичных, в чьих избранных душах при помощи самих небес затвердело примитивное убеждение, что согласно самой истинной христианской доктрине добрые дела несущественны, а случайные воспоминания об этих славных событиях нико-

гда не воздействует на снижение их душевного комфорта, также как и вспоминания (в соответствие с гармонией, соотносимой с Доктриной священного писания) о пережитых ими ошибках и преступлениях не передают им ни малейшей острой боли или тени упрека.

Хотя вызывающее таинственность повествование Изабель, сделанное со временем, в его конкретном настрое, вызвало отторжение у нашего Пьера, все же что-то должно было занять душу человека, и Изабель была тогда самой близкой ему душой; и Изабель, как полагал он сначала, с великим неудобством и с болью, но вскоре (из-за того, что небеса в конечном счете вознаграждают решительного и сознательного мыслителя) отнеслась к нему с уменьшившимся отторжением и, в конце концов, с возросшей поддержкой и расположением. Теперь он вспомнил свои первые впечатления, и одно, и другое, и пока она повторяла ему свой дикий рассказ, вспомнил те быстрые, но мистические подтверждения, владевшие его умом и памятью, которые, проливая иной мерцающий свет на ее историю, не увеличивали её таинственность, но в то же время удивительным образом подтверждали её.

Ее первое рассказанное воспоминание было

о старом, заброшенном, подобном шато, доме в странной, похожей на Францию стране, которая, как она смутно предполагала, находится где-то за морем. Не это ли удивительным образом соответствовало определенным естественным выводам, которые могли исходить из знаний его тети Доротеи об исчезновения французской девушки? Да; исчезновение французской леди на этой стороне вод было связано с её новым появлением на другой; и затем он задрожал, когда представил себе возможное мрачное продолжение ее жизни, изъятие у неё её младенца и его заточение в диких безлюдных горах.

Но у Изабель также были неясные собственные впечатления от пересечения моря — обратного пересечения, как выразительно сказал про себя Пьер, непроизвольно представив себе, что она, вероятно, впервые невольно и тайно пересекла океан, скрываясь под сердцем своей горюющей матери. Но в попытке сделать какие-либо выводы из того, что он сам когда-то услышал, ради установления соответствующего доказательства или разъяснения этого предположения о фактическом пересечении Изабелью моря в настолько нежном возрасте, Пьера смутил дефицит его своих собственных знаний и знаний Изабель

для того, чтобы разгадать глубокую тайну ее детства. Будучи уверенным в неустранимости этого мрака, он подчинился самому себе и старался изгнать его из своего сознания, и чем сильнее, тем безнадежней. Также, в большой степени, он попытался изгнать из него воспоминания Изабель о ней самой, неназванном большом доме, из которого она, наконец, уехала с красивой женщиной в экипаже. Этот эпизод в её жизни прежде всего наиболее безжалостно наводил его на размышления о возможном вовлечение его отца в тайны, от которых нежная душа Пьера с изумлением и отвращением упала бы в обморок. Здесь присутствовали бесполезность всего дальнейшего прояснения и вечная невозможность логичной реабилитации его покойного отца, исходящие от его собственных обязательств, и множество других самых темных самозародившихся гипотез; все это пришло к Пьеру с силой, настолько адской и значительной, что она могла воздействовать только благодаря запоздалому преступному умыслу самого Зла. Но как только эти мысли вкрадчиво и безо всякой причины появились у него, Пьер столь же благородно восстал против них и с оглушительным шумом всей своей возмущенной души прогнал далеко назад

в широкую адскую сферу, откуда они и вышли.

Теперь, чем больше и больше Пьер прокручивал историю Изабель в своем уме, тем больше поправок вносил он в свою оригинальную идею, говорившую, что большая часть мрака рассеется во время следующей беседы. Он видел или ему казалось, что он видит, что не так сильно Изабель с ее диким складом ума мистифицировала повествование о своей жизни, поскольку тут присутствовали основа и неизбежная тайна самой ее истории, которую она с такими необыкновенными загадками адресовала ему.

VIII

Проблемой этих пересмотров стало убеждение, что все, что он мог теперь обоснованно ожидать от Изабель в дальнейшем раскрытии подробностей ее жизни, так это лишь несколько дополнительных подробных сведений, приводящих его к настоящему моменту, а также, возможно, дополнение последней части того, что она уже рассказала. Но мог ли он здесь убедить самого себя, что она хотела рассказать многое? Изабель не была столь неуступчивой и неразговорчивой, как он думал. Более того, действительно, может, она теперь должна будет сообщить, что за стран-

ные мысли были у неё, что она имела в виду в последний раз, если бы её брат не появился, и тоскливое подробное описание того, как ей удавалось справляться со своей крайней материальной бедностью; как она приехала сюда, оставив одну тяжелую работу на одном месте ради другой, где к настоящему времени он и нашел её в смиренном рабстве у фермера Алвера? Возможно ли тогда, думал Пьер, что в этом обычном каждодневном мире живет человеческое существо, чью историю целиком можно пересказать менее чем в два слова, одновременно воплощая в этой малости бездонный фонтан невиданной тайны? Действительно ли возможно, в конце концов, что, озлобившись на кирпичи и бритые лица, этот мир, в котором мы живем, наполнен до краев чудесами, а я и все человечество под своими банальными одеждами скрываем такие загадки, что сами звезды и, возможно, самые высшие серафимы не в состоянии их разгадать?

Интуитивно бесспорным, хотя и буквально бездоказательным фактом его родственных связей с Изабель, была отсылка к тому, что он теперь чувствовал свою связь с прежде невообразимой и бесконечной цепью удивления. Сама его кровь, казалось, текла через все его ар-

терии, не привычные к утонченности, когда он думал, что этот же самый поток пробегал через мистические вены Изабель. Все испытываемые им муки от двусмысленности, как великой направляющей силы — реальности физических отношений, навалились на его, добавив и уверенность, и неразрешимость.

Она — моя сестра — дочь моего собственного отца. Хорошо; почему я верю этому? На днях до меня едва дошел отдаленный слух о её существовании, и что произошло с тех пор, что изменило меня? К какому еще новому и бесспорному поручителю я обращался? Ни к кому. Но я увидел ее. Хорошо, соглашусь с этим; я, возможно, видел тысячу других девушек, которых никогда не замечал прежде; но среди них не было моих сестёр. Но портрет, портрет на стуле, Пьер? Подумай об этом. Но он был написан прежде, чем родилась Изабель; какое отношение этот портрет имеет к Изабель? Это не портрет Изабель, это — портрет моего отца; и все же моя мать клянется, что это не он.

Теперь он живо, со всеми этими аргументированными перечислениями мельчайших известных фактов, так или иначе, но касался объекта; и уже, в то же самое время, пребывал

в убеждении, сильном как смерть, что, несмотря на них, Изабель действительно была его сестрой; и как мог Пьер — поэтичный по природе, и поэтому проницательный, — как мог он не признать существование этого всевидящего и всепроникающего чуда, которое в момент, когда оно неясно и обособлено признается сообществом, столь многозначительно именуется Божьим Перстом? Но это не просто Перст, это — сама Длань вездесущего Бога; разве не гласит Священное писание, что Он держит всех нас в своем Рукаве? — в Рукаве, воистину!

Когда он шел через лес, его взгляд постоянно следовал за меняющейся темной перспективой, удаляющейся от всех видимых обителей и следов этого странного упрямого народа, который в низкой торговле глиной и грязью постоянно стремился распродать естественную возвышенность своих душ; тогда же вошли в ум Пьера мысли и мечты, совсем не приемлемые в городских воротах; ведь только простирающаяся дальше атмосфера девственных лесов с вечным океаном остались по сей день неизменны и неотличимы от тех, что первоначально встречал пристальный взгляд Адама. Из чего следует вывод, что из большинства воспламеняющихся или

испаряющихся земных тел, древесина и вода, в пейзаже наименее раздражают глаз.

Теперь все его размышления, хотя и беспорядочные, вертелись вокруг Изабель, как вокруг своего центра, и снова возвращались к ней после каждого экскурса, и снова появлялись некие новые, маленькие зачатки удивления.

У Пьера возник вопрос о Времени. Сколько лет было Изабель? Соответственно всем разумным выводам, исходящим из предполагаемых обстоятельств ее жизни, она, конечно, была старше его, пусть и на неопределенное количество лет, хотя весь её облик был более, чем детским; тем не менее, он чувствовал не только свое физическое превосходство над ней, но ещё, если можно так выразиться, спонтанное живое осознание покровительственного старшинства над ней; он не только думал о превосходящем знании о мире и общих культурных познаниях, но сам, злясь от причины, независимо от всех простых расчетов испытывал чувство, которое самостоятельно объявляло ему о старшинстве вечного ребенка Изабель в конкретное Время. Это странная, хотя и сильная убежденность в такой таинственности, несомненно, получила свое неощутимое, но едва ли сомнительное подтверждение в его

уме из-за идеи, порожденной его благоговейным созерцанием простой детскости её лица, которое, пусть и глубоко печальное в целом, всё же, по той же причине проигрывало одну йоту в своей исключительной детскости; так лица настоящих младенцев часто обладают при их самом раннем появлении обликом глубокой и бесконечной печали. Но это была не печаль, а воистину, строго говоря, детскость лица Изабель, которая особенно впечатляла его идеей своей оригинальной и неизменной молодости. Тут присутствовало ещё что-то; ещё что-то, что полностью ускользало от него.

Образно вознесенные согласно выбору всего человечества в более высокие и более чистые сферы, чем те, где обитают сами мужчины, красивые женщины — по крайней мере, красивые душой, а также телом, — несмотря на неустанный закон земной мимолетности, продолжают казаться в течение долгого времени таинственным образом освобожденными от нареченного им увядания; и в то время как внешнее очарование с каждым прикосновением уходит, внутренняя красота с каждым прикосновением заменяет этот исчезнувший цветок с очарованием, которое, недополученное от земли, обладает

вечным сиянием звёзд. И еще: почему в возрасте шестидесяти лет некоторые женщины находятся в самых крепких узах любви и вассальной верности с мужчинами, довольно молодыми и годящимися им во внуки? И почему всех совращающая Нинон спровоцировала множество разрывов сердец, будучи семидесятилетней? Из-за постоянной женственной сладости.

С инфантильного, но все же вечно печального лица Изабель, исходила, по мнению Пьера, ангельская искренность, на которую намекал наш Спаситель — одно единственное облачение переходящих душ, поскольку оно — даже у маленьких детей — уже из иного мира.

Теперь бесконечно, как замечательные реки, в которых когда-то омывали ноги первобытные люди, все еще продолжающие быстро течь над могилами всех последующих поколений и мимо лож всех теперь живущих, бесконечно, иногда плавно, прокатывались через душу Пьера, снова и снова, дальше и дальше, мысли об Изабель. Но что-то более непонятное, чем бег его реки, нечто более таинственное неслось к нему, держа в себе всё большую уверенность, что эта таинственность неизменна. В её жизни присутствовал запутанный сюжет, и он чувствовал, что распу-

тал его и навечно останется с ним. У него не было никакой малейшей надежды или мечты о том, что всё тёмное и печальное в ней когда-то очистится до состояния некой светлой и радостной атмосферы. Как и все молодые люди, Пьер выучил свои литературные уроки, прочитав больше романов, чем большинство людей его возраста, но их фальшивые, вывернутые попытки упорядочить вечно беспорядочные элементы, их дерзкое, бессильное вмешательство в попытке распутать, распустить и классифицировать нити, более тонкие, чем легкие нити, из которых свивается сложная нить жизни, — сейчас эти идеи не имели над Пьером никакой власти. Он пробрался прямо через их несчастную беспомощность; эта поразительная правда в нем пронзала, как жуков, всех, кто спекулировал на собственной лжи. Он видел, что человеческая жизнь действительно исходит из того, что все люди согласно упоминают слово «Бог», и что одновременно они согласны с неразгаданной непостижимостью Бога. С безошибочным предчувствием он видел, что не всегда мрачное начало жизни завершается в радости; что свадебные колокола не всегда звонят в последней сцене пятого акта жизни; что бесчисленные племена общеизвестных

романов старательно прядут завесы из тайны только для того, чтобы под конец их с удовлетворением убрать, и в то же время бесчисленное племя общеизвестных драм только и делает, что повторяет то же самое все с теми же более насыщенными флюидами человеческого разума, предназначенными проиллюстрировать всё то, что в силах человека узнать о человеческой жизни; они никогда не распутывают своей собственной запутанности, и нет у них достойных окончаний, но в своем несовершенстве, неожиданных и неутешительных продолжениях, как расщеплённые пни, они спешат слиться с вечными потоками времени и судьбы.

Таким образом, Пьер отказывался от всех мыслей, которые Изабель исподволь приоткрыла перед ним. Её свет исходил из-под крышки, и крышка была закрыта. Но от этого он испытывал острую боль. Порывшись среди воспоминаний о своей семье и хитро опросив оставшихся родственников со стороны своего отца, он мог бы, возможно, получше разгрести маленькие зерна сомнений и большую часть неудовлетворительных ответов, которые только сильно затруднили бы ему исполнение плана и повредили бы его практической решимости. Он решил совсем

не раскрывать этот сакральный вопрос. Для него теперь тайна Изабель обладала всем очарованием таинственного ночного свода, более глубоким, чем глубокая тьма, околдовывающая человека.

Река мыслей все еще текла в нем, и теперь она несла уже другие идеи.

Хотя письмо от Изабель изливало всю священную тоску сестры по объятиям своего брата и в самых безудержных терминах описывало её мучение от пожизненного от него отчуждения, и хотя, в действительности, она клялась в том, что без его постоянной любви и сочувствия дальнейшая жизнь её была бы брошена в ближайшую бездонную яму или мчащийся поток, — всё же, когда брат и сестра встретились, согласно обозначенной договоренности, то со стороны каждого из них никакой пылкости не проявилось. Она больше, чем трижды возблагодарила Бога и наиболее искренне благословила себя за то, что теперь он пришел к ней в её одиночестве, хоть и без каких-либо общепринятых жестов и обычных сестринских привязанностей. Нет, разве она противилась его объятиям? не поцеловала ли его однажды; и разве при этом он не поцеловал ее, кроме того случая, когда это потребовалось исключительно при приветствии.

Теперь Пьер начинал видеть тайны, состоящие из тайн, и тайны, уводящие от тайн, и начал, как ему казалось, видеть простые воображаемые образы этих допустимых твердых принципов человеческих ассоциаций. Судьба распорядилась ими. Судьба отделяла брата и сестру до того момента, пока они не увидели друг друга. Сестры не сжимаются от поцелуев своего брата. И Пьер почувствовал, что никогда, никогда не был бы в состоянии заключить Изабель в простые братские объятия, в то время как мысль о какой-то иной нежности, которая держалась где-то внутри, находилась совершенно в стороне от его незапятнанной души, никак туда сознательно не проникая.

Поскольку он был навсегда лишен сестры из-за ударов судьбы и, по-видимому, навсегда и вдвойне удален от самой малой возможности той любви, которая материализовалась для него в его Люси — объекта, всё ещё воспламеняющего его самые глубокие душевные эмоции, — то для него Изабель полностью вылетела из сферы смерти и преображенной предстала в самых высоких сферах непорочной Любви.

Книга VIII

Вторая беседа в сельском доме и вторая часть истории Изабель и их прямое воздействие на Пьера

I

Его вторая беседа с Изабель получилась более убедительной, но не менее таинственной и воздействующей, чем первая, хотя в начале, к его немалому удивлению, она выглядела намного более странной и смущающей.

Как и прежде, сама Изабель впустила его в сельский дом и не начинала разговор до тех пор, пока они оба не уселись в комнате с двойной оконной створкой, и пока он первым не обратился к ней. Если у Пьера и был какой-либо определенный ориентир, как вести себя в данный момент, то он должен был проявиться в некоем внешнем символе предельной привязанность к своей сестре, но её увлечение тишиной и этой неземной атмосферой, которые окутывали ее, теперь приковало его к месту; его руки отказывались

раскрываться, его губы отказывались встречаться в братском поцелуе, в то время как все время его сердце было переполнено самой глубокой любовью, и он очень хорошо знал, что девушка была невыразимо благодарна за его присутствие. Никогда любовь и уважение так глубоко не взаимодействовали и не сливались; никогда жалость так не соединялась с красотой в обаятельных мечущихся движениях его тела и не мешала его самообладанию.

После нескольких смущенных слов Пьера, краткого ответа и последовавшей паузы послышалось не только медленное, мягкое движение наверху, какое было с паузами накануне ночью, но также и некий слабый домашний шум, доносившийся из соседней комнаты; и, заметив подсознательно вопрошающее выражение лица Пьера, Изабель сказала ему следующее:

«Я чувствую, мой брат, что тебе действительно дороги подробности и тайна моей жизни, и, следовательно, я спокойна относительно возможности твоего неверного истолкования любого из моих действий. Когда люди отказываются допускать необычность некоторых людей и обстоятельств, их окружающих, то это подпитывает неверные представления о них, и их чувствам причиняется

боль. Брат мой, если я когда-нибудь покажусь сдержанной и не обниму тебя, то ты всё же должен будешь всегда доверять сердцу Изабель и без сомнений разрешать встречаться с тобой. Мой брат, звуки из той комнаты, которые ты просто случайно подслушал, порождают в тебе интересные вопросы, касающиеся меня. Молчи, я со всей страстью понимаю тебя. Я расскажу тебе про то, на каких правах я живу здесь, и как получилось, что мне, наемному работнику, позволяют принять тебя в этом приличествующем уединении: ведь ты вполне готов понять, что эта комната не моя собственная. И это также напоминает о том, что мне еще, помимо нескольких пустяков, хочется рассказать тебе об обстоятельствах, которые закончились такой наградой, как мой ангелоподобный брат»

«Я не могу воспринять такие слова», — сказал Пьер с глубокой важностью, немного приблизившись к ней, — «правда здесь принадлежит только тебе»

«Мой брат, я теперь продолжу и скажу тебе всё, что думаю, что ты желал бы узнать в дополнение к тому, что так смутно пересказано в последнюю ночь. Приблизительно три месяца назад жители отдаленного сельского дома, где я тогда остава-

лась, бросили свое хозяйство и уехали куда-то на Запад. Когда это случилось, не оказалось ни одного места, где бы требовались мои услуги, но я была гостеприимно принята у очага старого соседа и весьма доброжелательно приглашена остановиться там, пока мне будет предоставлена какая-либо работа. Но я не ждала возможной помощи: мои запросы закончились выяснением печальной истории Делли Алвер, и из-за судьбы, которая настигла ее, ее пожилые родители не только погрузились в самую тяжелую скорбь, но и были лишены внутренней поддержки единственной дочери, обстоятельства, глубокая тяжесть которого не может быть легко преодолена людьми, которые всегда нуждаются в уходе. Хотя, действительно, на мое естественное настроение — если я могу назвать его так, из-за отсутствия лучшего термина, — необычайно повлияли размышления, что страдания Делли стали мотивом расположения ко мне, — все же это практически не повлияло на меня, так как в большинстве случаев самые сокровенные и истинные мысли появляются редко, — и поэтому я приехала сюда, и мои руки будут свидетельством того, что я приехала совсем не без цели. Теперь, брат мой, так как ты действительно вчера

оставил меня, я не ничуть не удивилась, что ты тогда не опросил меня, как и когда я приехала, чтобы изучить семейство Глендиннинг, каким-то образом тесно связанное со мной; и как я узнала о Оседланных Лугах как о фамильном гнезде; и как я, наконец, после решила обратиться к тебе, Пьер, и больше ни к кому другому; и о том, что может быть приписано той весьма памятной сцене в кружке кройки и шитья у мисс Пеннис»

«Я про себя размышлял, что мыслей об этом до настоящего времени в моем уме совсем не было», — ответил Пьер, — «но, действительно, Изабель, твои пышные волосы ниспадают на меня с таким очарованием, которое уводит меня от всякого обычного мышления и оставляет мне только ощущение нубийской силы в твоих глазах. Но продолжай и расскажи мне все и обо всем. Я желаю знать все, Изабель, и все же ничего из того, что ты, потеряв присутствие духа, не в состоянии раскрыть. Я чувствую, что уже знаю суть всего; что я уже чувствую в тебе предел всего; и это, независимо от того, что мне остается сказать тебе, можно и подтверждать и не подтверждать. Поэтому, продолжай, моя драгоценная, — да, моя единственная сестра»

Изабель долго, взволнованно и пристально

смотрела на него своими замечательными глазами, затем внезапно встала и быстро, почти вплотную, подошла к нему, но вдруг внезапно остановилась и повторно села в тишине, продолжив сидеть так какое-то время, отвернув от него голову и безмолвно опираясь на свою руку, пристально глядя через открытую оконную створку на слабые, иногда вспыхивавшие вдали, зарницы.

Вскоре она продолжила свой рассказ.

II

«Мой брат, ты слабо помнишь, что определенная часть моей истории относится к моим ранним детским годам, проведенным вдали отсюда, и к появившемуся джентльмену …моему, … да, …нашему… отцу, Пьер. Я, действительно, не могу описать тебе, я сама не понимаю, как это происходило, хотя в то время я иногда называла его моим отцом, и люди в доме тоже называли его так, иногда рассказывая мне о нем; все же — частично, я полагаю, что из-за особенной уединенности моей предыдущей жизни — я тогда не понимала своим умом слово „отец“, всех тех особенных ассоциаций, которые этот термин обычно внушает детям. Слово „отец“ только казалось словом общей

любви и привязанности ко мне — всего лишь или нечто большее; оно, казалось, не включало в себя, так или иначе, каких-либо требований. Я не спросила имя своего отца, поскольку, возможно, не имела какого-либо повода узнать его, кроме как обозначить человека, который был столь необычайно добр ко мне; и он уже был так охарактеризован, и с тех пор мы обычно называли его „джентльмен“, а иногда — „мой отец“. Ведь у меня не было причины полагать, что тогда или позже, если я опрошу людей в доме относительно более конкретного имени моего отца, они вообще раскроют его; и действительно, я теперь по вполне определенным причинам убеждена, что еще с той поры ответ на данный вопрос они обещали хранить в тайне; я не знаю, смогла бы я узнать имя моего отца, — и впоследствии получить малейшую тень знаний о тебе, Пьер, или о ком-нибудь из твоей семьи — если бы не простое маленькое происшествие, которое досрочно открыло его мне, хотя в данный момент я ещё не осознавала ценности этого знания. В последний раз мой отец, посещая дом, случайно оставил за собой свой носовой платок. Тут оказалась жена фермера, которая первой обнаружила его. Она взяла его и неловко, как будто быстро исследовав

углы, бросила его мне, сказав, „Здесь, Изабель, носовой платок доброго джентльмена; оставь его у себя, пока он не приедет, чтобы снова увидеть Маленького Колокольчика[7]“ (. Я с удовольствием поймала носовой платок и спрятала его на своей груди. Он был белый, и после близкого осмотра в его середине я обнаружила маленькую размытую желтоватую надпись. В то время я не могла прочитать что-либо напечатанное или написанное, поэтому я ничего тогда не узнала; но, тем не менее, некий тайный инстинкт подсказал мне, что женщина не просто так дала мне носовой платок, зная, что на нем была какая-то надпись. Я воздержалась от вопросов к ней на этот счет; я ждала, когда мой отец вернется, чтобы тайно опросить его. Носовой платок запылился, лежа на не покрытом коврами полу. Я взяла его к ручью и постирала, и разложила его на траве, где никто случайно не смог бы пройти, и разгладила под моим маленьким передником так, чтобы он не смог привлечь чьего-либо внимания, и никто бы не смог увидеть его снова. Но мой отец так никогда и не вернулся, а потому в моем горе носовой платок стал вызывать у меня всё большую

7 Примечания: 7
Bell (англ.) — колокольчик (прим. пер.).

и большую любовь; он поглотил множество тайных слез, которые я выплакала, вспоминая своего дорогого покойного друга, которого тогда в моем искреннем невежестве одинаково называла как „моим отцом“, так и „джентльменом“. Но когда впечатление от его смерти утвердилось во мне, тогда я снова выстирала, высушила и погладила драгоценную память о нем, и убрала его туда, где никто не должен был найти его; но я решила, что никогда не запятнаю его моими слезами, и свернула его так, чтобы имени не было видно и оно было скрыто в самом его центре, и это было похоже на открытие книги и перелистывание множества чистых страниц прежде, чем я пришла к таинственной надписи, про которую я знала, что она должна быть однажды прочитана без прямой помощи от кого-либо. Тогда я решила изучить мою надпись и научиться читать, чтобы самой понять значение тех вылинявших знаков. Никакой другой цели, кроме этой единственной, в изучении чтения у меня потом не было. Я легко убедила женщину дать мне небольшие уроки, и получила их необыкновенно быстро, и кроме того, очень стремясь учиться, я скоро справилась с алфавитом и перешла к правописанию, а после и к чтению, и, наконец, к полной

расшифровке служащего талисманом слова — Глендиннинг. Я не все еще хорошо понимала. Глендиннинг, думала я, что это? Это кажется похожим на „джентльмен“, — Глен-дин-нинг, — столько же слогов, сколько в слове „джентльмен“; и — „Г[8]“ — оно начинается с той же самой буквы; да, это должно означать „мой отец“. Я теперь буду называть его про себя тем же словом; — я буду думать не „джентльмен“, а Глендиннинг… Когда, наконец, я удалилась из этого дома и пошла к другому, и снова к другому, и когда я продолжала расти и больше думать про себя, то это слово постоянно жужжало в моей голове, и я рассматривала его только ключом к чему-то большему. Но я подавила все неуместное любопытство, если что-то подобное когда-то наполняло мою грудь. Я никого не спрашивала, кем он был, кем был Глендиннинг, где он жил, называли ли его отцом когда-либо какая-либо другая девочка или мальчик, как я. Я решила проявить чистое терпение, так или иначе, будучи мистически уверенной, что Судьба наконец раскроется передо мной, и сделает это в подходящее время, независимо от того, какие знания она решила передать мне.

---

8 Примечания: 8
Изабель говорит о совпадении начальных букв (прим. пер.)

Но теперь, мой брат, я должна на мгновенье немного отойти в сторону. — Подай мне гитару»

Пьер, удивленный и обрадованный к тому времени непредвиденной новизной, сладкой ясностью и простотой повествования Изабель по сравнению с неясными и чудесными открытиями предыдущей ночи, и из-за общего нетерпения от продолжения её истории в той же самой туманной манере, но вспомнивший, в какой совершенный шум и неземное настроение мелодия её гитары ранее бросила его, теперь, вручая инструмент Изабель, не смог полностью удержаться от частичного сожаления, сопровождаемого довольно странной и нежной иронической улыбкой. Это не осталось незамеченным его сестрой, которая, получив гитару, изучила его лицо с выражением, почти лукавым и игривым, если бы не тень от ее бесконечных волос, неизменно отбрасываемая на загадочные глаза и вторящий ей ответ от них.

«Не тревожься, мой брат, и не улыбайся мне; сегодня вечером я не иду играть тебе „Тайну Изабель“. Подойди теперь и держи свет поближе ко мне»

Сказав так, она ослабила несколько колков из слоновой кости на гитаре, чтобы открыть и за-

глянуть прямо в её внутренность.

«Теперь держи её вот так, мой брат; так; и рассмотри то, что с трудом видно; но подожди одну секунду, пока я не возьму лампу». Говоря это, пока Пьер держал инструмент перед собой, как было указано, Изабель взяла лампу так, что её свет проник через круглое звуковое отверстие в сердце гитары.

«Сейчас, Пьер, сейчас».

Пьер нетерпеливо сделал то, что было предложено, но, так или иначе, почувствовал себя разочарованным, и все же удивленным тем, что увидел. Он видел слово «Изабель», вполне четкое, но все же блеклое, вызолоченное на той внутренней части, где проходил изгиб.

«Очень любопытное место ты выбрала, Изабель, для того, чтобы выгравировать имя хозяина. Как туда добирался человек, чтобы сделать это, хотел бы я знать?»

Девушка на мгновенье взглянула на него, затем взяла у него инструмент и сама изучила его. Она положила его и продолжила.

«Я вижу, мой брат, что ты не понял. Когда кто-то знает все о какой-либо тайне, тот слишком склонен предположить, что малейшего намека будет достаточно, чтобы вполне определенно

приоткрыть её для любого другого человека… Не я нанесла там золоченое имя, брат мой»

«Как?» — вскричал Пьер.

«Имя там было вызолочено уже тогда, когда я впервые получила гитару, хотя в ту пору я не знала этого. Гитара, должно быть, была явно сделана для кого-то по имени Изабель, потому что надпись, возможно, была размещена там прежде, чем гитара была собрана»

«Продолжай — не тяни», — сказал Пьер.

«Да, однажды, уже после того, как я долгое время владела ей, у меня появилась странная прихоть. Ты знаешь, что нет ничего необычного для детей ломать их самые дорогие игрушки, чтобы удовлетворить полубезумное любопытство, узнавая о том, что находится в их скрытой сердцевине. Так иногда бывает с детьми. И, Пьер, я всегда чувствовала и чувствую, что всегда продолжаю оставаться ребенком, хотя должна была вырасти еще до четких тринадцати лет. Охваченная этой внезапной прихотью, я отвинтила первую часть, которую показала тебе, заглянула внутрь и увидела „Изабель“. Теперь я еще не сказала тебе, что со столь раннего времени, как себя помню, я почти всегда отзывалась на имя Белл. И в определенное время, о котором я теперь

говорю, мои знания об общих и тривиальных вопросах достаточно продвинулись, и мне стало вполне знакомо понятие, что слово „Белл“ часто бывает уменьшительным от Изабеллы или Изабель. Ничего нет странного в том, что, рассматривая свой возраст и другие связанные в то время обстоятельства, я должна была инстинктивно связать слово Изабель, найденное на гитаре, с моим собственным сокращенным именем, и поэтому пуститься во всевозможные фантазии. Теперь они возвращаются ко мне. Пока не говори со мной»

Она наклонилась в сторону к иногда освещаемой, как и предыдущей ночью, оконной створке и в течение нескольких мгновений, казалось, боролась с некоторым диким замешательством. Но тотчас же внезапно обернулась и удивительным образом полностью развернула перед Пьером свое замечательное лицо.

«Меня называют женщиной, а тебя мужчиной, Пьер; но тут между нами нет ни мужчин, ни женщин. Почему я не должна высказаться тебе? Наша безупречность не разделяется по полу. Пьер, спрятанное имя в гитаре даже сейчас до предела волнует меня. Пьер, подумай! подумай! О, может, ты не осознал? видишь это? — то,

что я имею в виду, Пьер? Скрытое в гитаре имя волнует меня, заставляет меня дрожать, кружит меня, кружит меня; такое скрытое, совершенно скрытое, и все же постоянно носимое в ней; невидимое, незаметное, всегда дрожащее от глубоко скрытых чувств — струн — разорванного сердца — струн; о, моя мать, моя мать, моя мать!»

Дикие жалобы Изабель, глубоко проникнув в его грудь, принесли с собой первое подозрение о необычном воображении, весьма неопределенном и временами исчезающем, на которое намекали её пока ещё не полностью разборчивые слова.

Она подняла на него сухие, окаймленные огнем глаза.

«Пьер — у меня нет ни малейшего доказательства — но это была… её гитара, я знаю, я чувствую это. Скажи, не я ли вчера вечером говорила тебе, как я впервые спела для себя на кровати, и она ответила мне без какого-либо моего касания? И как она всегда напевала мне и отвечала мне, и успокаивала, и любила меня. — Теперь прислушайся, ты должен услышать дух моей матери»

Она внимательно просмотрела струны и тщательно настроила их, затем поставила гитару на скамью у оконной створки, встала перед ней

на колени и низким, сладким и меняющимся голосом, слышимым настолько плохо, что Пьер склонился, чтобы уловить его, выдохнула слова «мама, мама, мама!» Какое-то время стояла глубокая тишина, когда внезапно на самое тихое и наименее слышимое слово из всех волшебная нетронутая гитара ответила быстрой искоркой звука, который в последующей тишине долго вибрировал и, затихая, со звоном прошел через комнату; в то время как к своему возросшему удивлению, он сейчас же заметил продольное дрожание металлических гитарных струн и несколько мелких всполохов, по-видимому, пойманных из-за близкого расположения инструмента к иногда освещаемому окну.

Девушка все еще продолжала стоять на коленях, но внезапно лицо её помрачнело. Она бросила быстрый взгляд на Пьера, и затем от единственного движения её руки распущенные локоны разом свалились так, что шатром накрыли её всю, стоявшую на коленях, до полу, и даже частично закрыли пол своим диким излишком. Даже платье-сайе на девочке в Лиме в тусклой массе собора Святого Доминика не удалось бы столь плотно закрыть человеческую фигуру. Глубокий дубовый переплет

двойной оконной створки, перед которой Изабель становилась на колени, казался теперь Пьеру непосредственным преддверием некой ужасной святыни, мистически и смутно демонстрируемой через открытое окно, которая иногда и ненадолго мягко освещалась слабыми зарницами и земными молниями, волшебным образом вплетавшиеся снаружи в непостижимый воздух, состоящий из теплой темноты и безмолвия летней ночи.

Некое непроизносимое слово вертелось на языке у Пьера, но внезапный голос из-за завесы предложил ему промолчать.

«Мама — мама — мама!»

Снова, после начавшейся тишины, как и прежде гитара ответила волшебством; искры пробежали вдоль её дрожащих струн; и снова Пьер почувствовал непосредственное присутствие духа.

«Буду ли я жить, мама? — В силах ли ты ответить? Сможешь ли ты сказать мне? — Сейчас? Сейчас?»

Эти слова были так же тихо и сладко проговорены, как и слово «мама», различаясь лишь по модуляциям, пока в последний момент волшебная гитара не ответила снова, и девушка

быстро потянула её к себе под темную кровлю своих волос. При этом действии, как только длинные завитки пронеслись по гитарным струнам, странные искры, все еще дрожавшие там, ухватились за эти притягательные локоны; вся оконная створка внезапно оказалась узорчато освещенной; затем свет снова ослаб, и в тот же момент в последующем полумраке наброшенные холмистые волны и валы локонов Изабель повсюду замерцали, словно фосфоресцирующий полуночный морской путь, и одновременно все четыре ветра мира мелодий вырвались на свободу; и снова, как и предыдущей ночью, только еще более тонко и совершенно необъяснимо, Пьер почувствовал, что окружен десятью тысячами эльфов и гномов, и что всю его душу раскачивали и подбрасывали сверхъестественные буруны; и он снова услышал поразительное переплетение песенных слов:

«Тайна! Тайна!
Тайна Изабель!
Тайна! Тайна!
Изабель и тайна!
Тайна!»

III

Почти лишенный сознания от бросившейся к нему чудесной девушки, Пьер бессознательно и пристально смотрел куда-то далеко в сторону от нее, как в пустоту; и когда, наконец, спокойствие снова вернулось в комнату — всё, кроме шагов — к нему вернулось самообладание, он обернулся, чтобы посмотреть, где он теперь находится, и с удивлением увидел Изабель, спокойно, хотя и отвлеченно, сидевшую на скамье, её длинные и густые локоны теперь уже немерцающих волос, отброшенные назад, и гитару, спокойно прислоненную в углу.

Он собирался обсудить с ней некий нерассмотренный вопрос, но она наполовину предвосхитила его предложение в спокойном, но, тем не менее, почти авторитетном тоне, чтобы не делать какого-либо намека на сцену, которую он только что увидел.

Он сделал паузу, глубоко задумавшись, и теперь уже почувствовал уверенность, что вся сцена, начиная с первой музыкальной мольбы гитары, должна была исходить от непреднамеренного внезапного импульса девушки, вдохновленной особенным настроем, к которому при таких обстоятельствах ее неодержимо привели предыдущий разговор и, в особенности, обработка

гитары.

Но что-то определенно сверхъестественное содержалось в сцене, от которой он не мог избавить свое сознание: если можно так выразиться, произвольный и всецело немыслимый живой отклик гитары — её необычно сверкающие струны — так же внезапно засияла голова Изабель; в целом, увиденное не показалось в то время абсолютным созданием обычных и естественных причин. В раскрытое сознание Пьера Изабель, казалось, вплывала, окруженная электричеством; яркая полоса её лба казалась магнитной пластиной. Этой ночью Пьер впервые осознал, что из-за своей суеверной восторженности он не мог не поддержать веру в удивительный физический магнетизм Изабель. И — поскольку он исходил из чудесного свойства, приписанному ей, — то он теперь впервые неясно осознал факт ещё более чудесной власти девушки над ним самим и над большей частью его внутренних мыслей и движений, — силы, настолько поколебавшей границы невидимого мира, что она казалась более верной для этого пути, чем другая, — силы, которая не только, казалось, непреодолимо тянула его к Изабель, но и уводила его далеко от другой — своенравно, и все же довольно слепо

и непреднамеренно, и, кроме того, без принятия во внимания, по всей видимости, каких-либо последствий, — опять-таки, лишь под прикрытием привлечения его к ней. И на всем этом, смешанном со сверкающим электричеством, в котором она, казалось, плавала, лежал уже надвинувшийся и уплотнившийся туман двусмысленностей. Часто, в будущем он вспоминал эту первую магнетическую ночь с нею и, казалось, видел, что она тогда связала его с собою необычной атмосферой — и физически и духовно — которую впредь для него оказалось невозможным разорвать, но чью абсолютную власть он никогда не признавал, пока гораздо позже не подпал под её влияние. Это очарование казалось слитым воедино с той пантеистической основой, которая вечно хранится в тайне, и во вселенском молчаливом подчинении, связанном с физическим электричеством Изабель, казалось, взаимодействовало с зарницами и земными ночными молниями, которые впервые предстали перед Пьером. Она казалась сотканной из огня и воздуха и оживленной в некой гальванической груде грозовых туч, нагроможденных в августовском закате.

Непосредственная сладкая простота, невинность и скромность ее истории; её часто без-

мятежный и открытый облик; укоренившаяся в ней, но, в основном, тихая, незаметная печаль и трогательное пристрастие к интонации и атмосфере; — они делали еще более заметной и контрастной её подчеркнутую первооснову, её тончайшую и мистическую суть. Особенно это почувствовал Пьер, когда после другой паузы она продолжила свою историю в столь нежном доверчивом тоне, почти крестьянской простоте и в соприкосновении со столь мало возвышенными деталями, что казалось совсем почти невозможным, что эта скромная девица может быть одновременно мрачной и царственной, такой, которая властным тоном предложит Пьеру помолчать, и вокруг поразительных башен которой играло странное электрическое сияние. Все же она продолжала вести себя так же простодушно не очень долго, а только лишь пока от нее исходили уже более слабые вспышки её электричества, сопровождаемые трогательными, человеческими и совсем женскими особенностями, вызывающими мягкость и восторженные слезы в сочувствующих, но пока ещё сухих глазах Пьера.

IV

«Ты помнишь, мой брат, как я говорила тебе вчера вечером, и ты… ты… знаешь, что я имею в виду — что… там..,» — обернувшись и обращаясь к гитаре. — «Ты помнишь, как она стала моей. Но возможно, я не передала тебе слова коробейника о том, что он выменял её у слуг в большом доме, расположенном поблизости от того места, где я тогда жила»

Пьер молча согласился, и Изабель продолжала:

«И тогда, пусть и в долгие, но определенные периоды, этот человек включил сельский дом в свой торговый маршрут между малыми городами и деревнями. Когда я обнаружила золочение в гитаре, то стала наблюдать за ним — хотя я действительно была убеждена, что Судьба приоткрывает свои тайны в подходящее для неё время — и ещё почувствовала убежденность в том, что в некоторых случаях Судьба посылает нам один небольшой намек, оставляя возможность нашим собственным умам прочитать его так, что мы уже сами можем подобраться к великой скрытой тайне. Поэтому я постаралась выделить для него время, и в следующий раз, когда он остановился вообще безо всякого разрешения, чтобы узнать мои потребности, я умудрилась выведать, что представляет из себя

большой дом, откуда происходит гитара. И, брат мой, это был особняк в Оседланных Лугах»

Пьер привстал, и девушка продолжала:

«Да, мой брат, в Оседланных Лугах, в поместье старого генерала Глендиннинга», — сказала она, — «но старый герой уже давно умер, и — большая жалость — это же случилось и с молодым генералом, его сыном, давно умершим; но тогда остаётся еще молодой генерал-внук; в этой семье всегда передается звание и имя; да, даже имя — Пьер. Пьер Глендиннинг было имя старого генерала с седыми волосами, который участвовал в прошлых войнах с французами и индейцами; и Пьер Глендиннинг — собственное имя молодого правнука. Поэтому хорошенько посмотри на меня, брат мой, — да, он имел в виду тебя, тебя, брат мой»

«Но гитара — гитара!» — вскричал Пьер — «как гитара появилась в Оседланных Лугах, и как её выменяли у слуг? Расскажи мне об этом, Изабель!»

«Не задавай мне таких резких вопросов, Пьер; ты уже знаешь, что раньше, может быть, время для меня было плохое. Я не могу точно и сознательно ответить тебе. Я могу лишь предположить — но какова ценность предположений?

О, Пьер, тайны в миллион раз лучше и намного слаще, чем предположения: пусть тайна и может быть непостижимой, но эта непостижимость происходит из-за её величия; но предположение — оно слишком мелко и бессодержательно»

«Но это — самое необъяснимое из всего. Скажи мне, Изабель; конечно, ты, должно быть, как-то думала об этой вещице»

«Очень много, Пьер, очень много; но только об её тайне — больше ни о чём. Не могла я достоверно сказать, как гитара оказалась в Оседланных Лугах, и как слуги обменяли её. Достаточно того, что она узнала меня, пришла ко мне и говорила со мной, и пела мне, и успокаивала меня, и стала для меня всем»

Она на мгновение остановилась, и в это время сам Пьер рассеянно вернулся к тайне этого странного открытия; но теперь он снова внимал продолжавшемуся рассказу Изабель.

«Теперь, мой брат, я, задумавшись, держала клубок в своей руке. Но я не стала немедленно следовать за ним. Мне в моем одиночестве было достаточно того, что я знала, где искать семью моего отца. Тогда ещё ни малейшего желания когда-либо раскрыться не приходило мне в голову. И я была застрахована от того, что по очевидным

причинам никто из его живых родственников, скорей всего, не смог бы узнать меня, даже если бы они меня увидели, поскольку в качестве той, кем я действительно была, я чувствовала себя в безопасности при случайной встрече с кем-либо из них. Но вследствие моих неизбежных перемещений и миграций от одного дома другому я, наконец, оказалась в двенадцати милях от Оседланных Лугов. Я начала чувствовать в себе страстную тоску, но бок о бок появилась и состязающаяся с ней гордость, — да, гордость, Пьер. Мои глаза загораются? Если нет, то они противоречат мне. Но это не простая гордость, Пьер; ведь что есть у Изабель в этом мире, чем можно гордиться? Она — гордость — тоже слишком страстное желание, любящее сердце, Пьер — гордость за долгое страдание и горе, мой брат! Да, я заполучила большую тоску с еще более сильной гордостью, Пьер, и поэтому меня бы теперь здесь не было, в этой комнате, — и ты никогда не сидел бы рядом со мной и, по всей житейской вероятности, не услышал бы так много о той, кого называют Изабель Бэнфорд, если бы я не услышала про Уолтера Алвера, живущего всего лишь в трёх милях от особняка в Оседланных Лугах, и бедная Белл не нашла бы весьма любезных

людей, готовых заплатить ей за её труды. Почувствуй мою руку, мой брат»

«Дорогая божественная девочка, моя собственная благородная Изабель!» — вскричал Пьер, ловя протянутую руку с необузданным возбуждением, — «как жаль, что такая необычная жёсткость и эта еще более странная мелочность оказываются сосредоточены в каждой человеческой руке. Но жёсткость и мелочность по противоположной аналогии намекают на большое великодушное сердце, которое по твердой и божественной воле оказалось подчиненным твоей великой незаслуженной и мучительной судьбе. Пусть, Изабель, мои поцелуи на твоей руке дойдут до самого сердца и посеют там семена вечной радости и покоя»

Он вскочил на ноги и встал перед нею с таким горячим богоподобным величием, исполненном любви и нежности, что девушка пристально посмотрела на него, как будто он был единственной милосердной звездой в важнейшей для неё ночи.

«Изабель», — вскричал Пьер, — «Я несу сладкое покаяние за своего отца, ты — за свою мать. Нашими искупительными земными деяниями мы будем благословлять обе их неизменных судьбы, мы будем любить друг друга чистой и прекрас-

ной любовью ангела к ангелу. Если когда-нибудь Пьер оторвется от тебя, дорогая Изабель, то тогда, возможно, он оторвется от самого себя, отступив навсегда в пустоту небытия и ночи!»

«Брат мой, брат мой, не говори так со мной; это слишком; ты, до сегодняшнего дня непривыкший к какой-либо любви, такой божественный и огромный, оторвавшись, сокрушишь меня! Такую любовь почти невозможно сменить на ненависть. Не двигайся; не говори со мной»

Они оба какое-то время помолчали, затем она продолжила.

«Да, мой брат, теперь Судьба поселила меня в трех милях от тебя; и — так я прямо и пойду и скажу тебе всё, Пьер? всё? Всё, что есть? В состоянии ли ты в такой божественности, о которой я могу прямо говорить, проникнуть во все мои беспечно текущие мысли и сообщить, что они могут принести мне?»

«Прямоту и бесстрашие», — сказал Пьер.

«Я случайно видела твою мать, Пьер, и при тех обстоятельствах.., при которых я узнала.., что она твоя мать; и — но я продолжу?»

«Прямо сейчас, моя Изабель; ты действительно видела мою мать — не так ли?»

«И когда я увидела её, — хотя не я не заговорила

с ней, ни она со мной, — мое сердце немедленно почуяло, что она не полюбила бы меня»

«Твое сердце говорило правду», — пробормотал Пьер про себя, — «продолжай»

«Я повторно поклялась, что никогда не покажусь твоей матери»

«Клятва, к месту принесённая», — снова пробормотал он, — «продолжай»

«Но я увидела… тебя.., Пьер; и, более чем когда твой отец привлек мою мать, ты, Пьер тогда смутил меня. Я сразу же поняла, что если я когда-то откроюсь тебе, тогда твоя великодушная любовь откроется для меня»

«И снова твоё сердце сказало правду», — пробормотал он, — «продолжай — и ты поклялась снова?»

«Нет, Пьер; но… да, так и случилось. Я поклялась, что ты и есть мой брат; в любви и гордости я поклялась, что молодой и благородный Пьер Глендиннинг — мой брат!»

«И только в этом?»

«Больше ни в чём, Пьер; даже не тебе, я вообще никогда не думала открыться кому-либо»

«Как же так? Ты же… нашла силы… открыться мне»

«Да; но великий Бог сделал это, Пьер, но не бед-

ная Белл. Слушай.

«Мне здесь очень тоскливо; бедная, дорогая Делли, — ты, должно быть, слышал что-то про неё — это самый мрачный дом, Пьер. Прислушайся! Это ее почти непрекращающиеся шаги доносятся сверху. Вот так она постоянно продолжает шагать, шагать, шагать; от её шагов, Пьер, вытоптаны все коврики в её комнате. Её отец не смотрит на неё; мать послала ей проклятия прямо в лицо. В этой комнате, Пьер, на данный момент Делли не спала четыре недели и больше, никогда не ложилась на свою кровать; в последний раз это было пять недель назад; только шаги, шаги, шаги всю ночь, до двенадцати часов, и затем она просто сидит на своем стуле. Я часто пыталась прийти к ней, чтобы успокоить ее, но она говорит мне через дверь „Нет, нет, нет“, говорит мне „Нет, нет, нет“ и только „нет“ через запертую три недели назад дверь — когда я хитростью забрала от неё мертвого ребенка и этими пальцами одна ночью выкопала яму и, вторя милосердному удару самих небес, похоронила этот сладкий, крошечный символ её весьма простительного позора, вдали от безжалостной ноги человека — да, запертая три недели назад, ни разу не отпираемая с тех пор; её еду я должна

просовывать через маленькое оконце в её шкафу. Пьер, она едва ли пару горстей съела за неделю»

«Проклятия, подобные осам, сойдутся вместе на этом злодее, Неде, и зажалят его до смерти!» — вскричал Пьер, сраженный этим весьма печальным рассказом. — «Что можно сделать для нее, милая Изабель; Пьер что-то может сделать?»

«Если ты или я не сделаем, то тогда гостеприимная могила скоро станет её убежищем, Пьер. И отец, и мать для неё хуже, чем приходящие к ней мертвецы. Я думаю, что они могут и дальше отвращать её от себя, но по моему собственному скромному мнению, такое отношение они считают своей помощью ей!»

Глубокое беспокойство Пьера теперь мгновенно уступило место мыслям о благом деле.

«Изабель, только что ко мне пришла мысль о помощи Делли, но я пока не решил, как тут лучше всего действовать. Я подумаю, как ей помочь. Ты пока всё же подержи её здесь некоторое время под своим ласковым присмотром, пока не созрели мои дальнейшие планы. Теперь продолжай свою историю и тем самым отвлеки меня от шагов, — каждый её шаг отпечатывается на моей душе»

«У твоего благородного сердца есть много па-

лат, Пьер; свидетельства о таком богатстве, как я вижу, не упомянуты в книге бедствий Изабель, мой брат. Ты, Пьер, — зримый символ незримого ангельского духа, которому мы действительно иногда в самые тяжёлые моменты нашей жизни не доверяем. Доктрина твоих действий идет очень далеко, мой брат. Вот были бы все мужчины похожи на тебя, и если б не было таких вовсе — человечество угасло бы среди серафимов!»

«Похвали их для начала, сестра моя, ловко прельстив их нашим достойным игнорированием её болезни и нашими комплиментами. Поэтому не заставляй поникать мою голову, милая Изабель. Не хвали меня. Продолжай теперь свой рассказ»

«Я сказала тебе, мой брат, какую тоску я нашла здесь, и с самого сначала. Обычно вся моя жизнь сводится к печали — если это так — в этом доме ещё остаётся такое пронзительное общее горе, такая безнадежность и отчаяние от любого проявления пренебрежения — что даже бедная Белл была не способна выносить его, не прислонившись к противоположной сцене. Поэтому я уходила дальше в красивые места, только чтобы можно было вернуться и с большей готовностью

служить в обителях скорби. Постоянная жизнь на одном месте навлекает горькое оцепенение и превращает нас в подобие мертвецов. Поэтому я вовремя уходила дальше, посещая соседние дома, где стоял детский гомон, и где не было ни одного свободного места на светлых скамейках. Таким образом, наконец, я случайно услышала о Кружке кройки и шитья, устроенном у мисс Пеннис, и о том, что этот кружок стремился вовлечь в свою благотворительность всех девушек в округе. В разных домах меня умоляли присоединиться к нему и постепенно убедили меня; не то, чтобы я естественно противилась этому и нуждалась в таких просьбах, но сперва я чувствовала большой страх из-за того, что на такой сцене я могла бы лицом к лицу столкнуться с кем-то из Глендиннингов, и эта невыраженная мысль тогда отталкивала меня. Но окольными путями я узнала, что леди в кружке не состояла, — это оказалось неправдой — но я пошла, и все остальное ты знаешь»

«Я слушаю, милая Изабель, но ты должна закончить рассказ, а все твои переживания оставить в нём»

V

«Пусть прошел один день, мой брат, с тех пор как мы встретились в первый раз в жизни, все же в тебе есть такой небесный магнит, который влечет к тебе все содержимое моей души. Я продолжу. — Из-за ожидания соседского фургона я приехала в швейный кружок уже поздно. Когда я вошла, две смежные комнаты были весьма многолюдны. С фермерскими девочками, нашими соседями, я прошла в дальний угол, где ты действительно увидел меня; и, как только я прошла, несколько голов повернулись, и я услышала слабый шепот — „Она — новенькая помощница у бедняги Уолтера Алвера — странная девочка-служанка, — она себя считает „удивительно симпатичной, которая проводит границы“, — но никто не знает ее — О, какая скромная! — но не абсолютно, как я полагаю, — я не могу быть ею, но мне кажется, что она — такая же падшая, как Делли, сбежавшая, — распутница!“ Это было в первый раз, когда бедная Белл оказалась в такой разнообразной переполненной компании и мало знала или же совсем ничего не знала о таких вещах; я думала, что на встречах, посвященных любви и благотворительности, чему-либо противоположному места быть не может; но нет сомнения, что это было сказано по простой

неосмотрительности, а не по злому умыслу. Однако при моей печали это причинило мне сердечную боль, из-за чего я тогда очень остро почувствовала страх и подозрение во взглядах, которые странное и одинокое горе обычно привлекает к себе, как будто не достаточно ни самого горя, ни невиновности, как-то защищавшей меня, — должно быть только презрение и ледяной позор! Я тогда заполучила отстраненность от несчастной — даже посреди ярко разодетых девушек и зрелых женщин, я тогда почувствовала отстраненность от несчастной, изумившись жестокости, о которой уже рассказывала в моей более ранней истории. Но Пьер, благословенный Пьер, не смотри на меня так печально и наполовину укоризненно. Пусть одинокая и потерянная, но я люблю свой облик; и для меня милосердно и разумно пожалеть тех, кто по жестокости и невежеству злится и презирает меня. И от тебя, …тебя…, хранимый Богом брат, просияло множество мрачных мест в моей душе, и ты научил меня раз и навсегда понимать, что моя природа одарена тем же, чем славны ангелы. Поэтому отведи взгляд от меня, дорогой Пьер, пока ты не придал своему взгляду больше значения, чем обычно»

«Они для меня теперь — лживые аспидные доски, милая Изабель. Каким был мой взгляд, я не могу сказать, но мое сердце лишь помрачнело от плохо сдержанной укоризны в адрес небес, которые могли без жалости смотреть на то, как страдает такая невинность. Продолжай свой трогательный рассказ»

«Я спокойно сидела там и шила, но оказалась недостаточно смелой, чтобы глядеть на всех и возблагодарить свою счастливую звезду, которая привела меня к самому дальнему укромному уголку; я спокойно сидела там, зашивая фланелевую рубашку, и с каждым стежком просила Бога, чтобы фланель, независимо от сердца, которое она укрывает, можно было считать действительно теплой и не пропускающей всемирный холод, который я сама чувствовала, и который ни одна фланель или же самый толстый мех, или какой-либо огонь не смогут удержать вдали от меня; я спокойно сидела там и шила, когда услышала объявление — о, как же глубоко и неизгладимо оставшиеся в памяти! — «Ах, дамы, дамы, мадам Глендиннинг, — господин Пьер Глендиннинг». Моментально моя острая игла ушла в мою сторону и прошила мне сердце, фланель выпала из моих рук, ты услышал мой вопль. Но хорошие

люди, взяв под руки, перевели меня поближе к оконной створке и настежь открыли её; и дыхание самого Бога обдало меня, и я собралась с силами и сказала, что это был какой-то простейший прогон — он теперь полностью закончен — я освоила его — меня поблагодарили от всего сердца — но пусть они теперь оставят мне только то, что было бы удобней продолжать, — и я продолжила бы шитье. И так все прошло и закончилось; и снова сидела я, зашивая фланель, надеясь, что нежданные гости или скоро отбудут, или же некий дух унесёт меня оттуда; я сидела, продолжала шить — пока, Пьер! Пьер! — не поднимая глаз — то, чего я не осмеливалась делать всё время тем вечером — только однажды — не поднимая глаз и не зная ни о чем, кроме как о фланели на моем колене и ощущении иглы в моем сердце, — пока Пьер не почувствует мой магнетический взгляд. Я долго и робко пыталась развернуться, чтобы встретить его, но не смогла, пока некий дух помощи не охватил меня и всю мою душу и не обратил нас обоих лицом к лицу. Этого было довольно. Это был судьбоносный момент. Вся моя одинокая жизнь, вся моя наполненная тоской душа теперь разлились надо мной. Я оказалась где-то невдалеке от них. Тогда я впер-

вые почувствовала полную плачевность своего состояния, и это в то время, когда у тебя, мой брат, были мать и армия теток, кузенов и многочисленных друзей в городе и в стране, — я, я, Изабель, дочь твоего собственного отца, была вытеснена из ворот всех сердец и дрожала, как на морозе. Но это сущие пустяки. Но бедная Белл может рассказать тебе обо всех чувствах бедной Белл или о том, какие чувства она испытывала вначале. Это был целый водоворот старых и новых недоумений, смешанных и ведомых безумием. Но это была большая сладость — твое любознательное, с сердечным интересом лицо, — совсем такое же, как у твоего отца, такого же одного единственного существа, которое я изначально любила — это было большое смешение, подобное разрушительному шторму внутри меня; ведь большую часть жизни я пребывала в огромной тоске по кому-то одной со мной крови, кто должен был знать обо мне и распоряжаться мной, пусть и однажды, и пусть находясь вдалеке. О, мой дорогой брат — Пьер! Пьер! — если бы ты мог вынуть мое сердце и посмотреть на него, лежащее в твоей руке, тогда бы ты обнаружил все, что написано, и этот путь, и то, с чем он пересекался, снова, и ещё раз снова, и непрерывную

линию тоски, которая не нашла конца, но внезапно воззвала к тебе. Позови его! Позови его! Он придёт! — так кричало мне моё сердце, так кричали мне листья и звёзды, когда я той ночью пошла домой. Но восстала гордость — та самая гордость от моей собственной тоски, — и когда одна рука тянется, другая — удерживает. Поэтому я остановилась и не позвала тебя. Но Судьба есть Судьба, и она предопределена. Однажды встретив твой остановившийся внимательный взгляд, однажды увидев в тебе абсолютное подобие ангела, вся моя душа открылась перед тобой, вся моя гордость исчезла на корню и вскоре показала своё губительное воздействие на подрастающую девочку и своё глубокое проникновение во всё её существо, пока я не осознала, что дальше меня ждут полный распад и смерть, если гордость не позволит мне подойти; и я при помощи маленькой трубчатой ручки протрубила свой сердечный пронзительный призыв к дорогому мне Пьеру. Моя душа была полна, и как только мои умоляющие чернила начали расписывать страницу, так мои слезы впились в них клещами и создали необычный сплав. Какое же это блаженство — чувствовать, что последняя глубина моего мучения — мои столь горько смешанные

со слезами чернила — никогда не была бы столь явно известна тебе, не высохни они на странице, и всё пошло бы по новой, если бы залитое таким раствором письмо не привлекло бы твой взгляд.

«Ах, ты в этом не обманулась, бедная Изабель», — импульсивно вскричал Пьер, — «твои слёзы высохли не обычно, а высохли до красноты, почти кровавой, и ничто так не подвигло сокровенную суть моей души, как их трагический вид»

«Как? как? Пьер, мой брат? Высохли до красноты? О, ужас! Магия! Больше, чем сказка!»

«Но, чернила — чернила! Какая-то химия в них поменяла твои реальные слёзы на подобие крови, — именно так, сестра моя»

«О, Пьер! Это так замечательно, что — так мне кажется — наши собственные сердца никогда не узнают конца наших собственных страданий; иногда мы истекаем кровью, а думаем, что это лишь вода. Для оценки наших страданий, как и наших талантов, другие люди иногда — лучшие судьи. Но останови меня! вынуди меня вернуться к моей истории! Всё же мне кажется, что теперь ты узнал всё, — нет, не полностью. Ты не знаешь того, что заставило и что стало поводом написать тебе письмо; и при этом несчастная

Белл не знает этого, поскольку несчастная Белл была слишком безумна, чтобы составить план и потом найти повод. Импульс во мне позвал тебя, но не несчастная Белл. Бог позвал тебя, Пьер, но не несчастная Белл. Даже сейчас, когда я осталась одна ночью после того, как увидела тебя и выслушала всё о твоей абсолютной любви и милосердии, даже сейчас я стою, словно разом очарованная, и не чувствую того, что может прийти ко мне, или того, что теперь случится со мной, когда я так опрометчиво потребовала тебя, мой Пьер, сейчас, …сейчас…, сейчас неясное мучение переполняет меня. Скажи мне, во имя любви ко мне, во имя обладания мной, публично или тайно, — скажи мне, может ли это принести тебе какой-либо существенный вред? Скажи не таясь, говори честно, как я с тобой! Скажи сейчас, Пьер, и скажи мне всё!»

«Любовь — вред? Правда может вызвать боль? Милая Изабель, ну как может боль привести к Богу? Теперь, когда я знаю о тебе всё, смогу ли я забыть тебя, не признавать тебя и не любить тебя на виду у всего огромного открытого бесстыдного мира — могу ли я так поступать; и можешь ли ты тогда задать свой вопрос обоснованно и сказать — Ответь мне, Пьер, исключит ли для тебя

бесконечное страдание игнорирование тобой священных требований несчастной Белл? И моя правдивая душа отзовется эхом — Бесконечное страдание! Нет, нет, нет. Ты воистину моя сестра и я — твой брат; и та часть мира, что известна мне, признает тебя, или же божьими силами я поставлю презрительный мир на колени перед тобой, моя милая Изабель!»

«Угрозы в твоих глазах — для меня они дороже восхищения; мой рост приближается к твоему великолепному росту, и в тебе, моем брате, я вижу возмущенного божьего посланника, говорящего — поднимайся выше, выше, Изабель, и не принимай условностей обычного мира, но предъяви ему свои требования и жёстко выбей из него свои права! Твои взгляды благородны, как для мужчин, так и для женщин, мой брат; и теперь я знаю, что происходит в самый возвышенный момент, когда женщина не чувствует больше двойную мягкость своей груди, но чувствует трепещущую там кольчугу!»

Её изменившаяся от красивой дерзости стать, её вызывающе длинные волосы, развевающееся как знамя; ее замечательно преобразившиеся глаза, в которых, казалось, играли метеоры, — все это теперь казалось Пьеру работой невидимого

чародея. Она стояла перед ним преображенная, и Пьер, низко склонившись перед ней, обладал тем независимым, устремленным величием человечества, которое может быть огромным и грозным как в женщине, как в мужчине.

Но к Изабель, наконец, вернулась ее нежнейшая чувственность, и она тихо уселась в оконном проеме, глядя на мягкие наземные молнии электрической летней ночи.

VI

Печально улыбаясь, Пьер нарушил тишину.

«Моя сестра, ты столь богата, что должна одарить меня милостыней; я очень голоден; я забыл про еду и пока лишь позавтракал, — и теперь ты должна принести мне хлеба и чашку воды, Изабель, прежде чем я уйду от тебя. Вчера вечером я порылся в кладовой, словно вор в пекарне, но сегодня вечером мы с тобой должны поужинать вместе, Изабель, а поскольку впредь мы можем жить вместе, то давай начнем немедленно трапезничать в компании»

Изабель посмотрела на него с внезапным и глубоким чувством, затем со сладким согласием со всем, и тихо покинула комнату. Когда она вернулась, Пьер, бросив свой взгляд на потолок,

сказал — «Она теперь затихла, шаги полностью прекратились»

«Не совсем; отдыхают её ноги, но не её неустанное сердце. Брат мой, она сейчас не успокоилась; тишина для нее — движение, поэтому вернувшаяся неподвижность этой ночи для неё — шумное безумие»

«Дай мне перо или карандаш и какую-нибудь бумагу, Изабель»

Она положила свою буханку, тарелку и нож и принесла ему перо, чернила и бумагу. Пьер взял перо.

«Она там одна, дорогая Изабель?»

«Одна, мой брат; на этой жалкой койке никого другого нет»

Он пристально вгляделся в неё. Затем, обернувшись к столу, не прерываясь, написал следующие строки:

«Для Делли Алвер от Пьера Глендиннинга: с глубоким и истинным вниманием и сочувствием.

«Ваша печальная история — частично известная прежде — дошла до меня сейчас более подробно благодаря той, кто искренне сопереживала вам и передала мне свою собственную искренность. Вы желаете оставить эти места

и оказаться в тишине, и пришли к выводу, что некая работа в уединении подойдет вашему полу и возрасту. Её поисками я теперь займусь сам, и гарантирую её вам, насколько далеко смогут зайти мои возможности. Поэтому — если утешение не полностью отвергнуто вашим большим горем, которое случается слишком часто, пусть и без сочувствия большому горькому безумию, — здесь два ваших истинных друга воистину молят вас принять небольшой кусочек от их сердец и подумать о том, что вся ваша жизнь еще не прожита, и что само Время это постоянный и надежный целительный бальзам. Проявите терпение ещё некоторое время, пока ваша будущая судьба не определится посредством нашей доброй помощи, и знайте, что я и Изабель — ваши настоящие друзья и искренние доброжелатели»

Он вручил записку Изабель. Она молча прочитала её, сложила и, протянув к нему обе руки, одним движением подняла свои глаза к Делли и к Богу.

«Ты думаешь, что это не причинит ей боль, когда она прочитает записку, Изабель? Тебе это известно лучше всего. Я думаю, что прежде чем наша помощь действительно достигнет её, обещание помочь уже может принести небольшую

пользу. Но держи её и сделай так, как считаешь верным»

«Тогда я немедленно отдам её, мой брат», — сказала Изабель, оставив его.

Неподвижная тишина в течении ночи уже вытолкнула длинную заклёпку и быстро вбила её на другой стороне мира. И, снова оставшись в такой час один, Пьер не мог не прислушаться. Он услышал шаги Изабель на лестнице, потом они приблизились к нему поверху; затем он услышал лёгкий стук и мысленно — шелест бумаги, скользящей по дверному порогу. Затем другое движение, и шаги навстречу дрожащей Изабель; и после оба обладателя шагов отступили друг от друга, и вскоре Изабель вернулась к нему.

«Ты постучала и положила её под дверь?»

«Да, и она теперь у неё. Прислушайся! рыдание! Слава Богу, долгое засушливое горе нашло, наконец, слезу. Жалость и сочувствие сотворили это. — Пьер, за твое дело тебя уже при жизни канонизируют!»

«Разве святые голодают, Изабель?» — сказал Пьер, стремясь отвлечь её от этого. «Ну, дай же мне буханку; но ты должна помочь мне, моя сестра. — Благодарю тебя, — этот хлеб вдвойне слаще. — Он твоей собственной выпечки, Иза-

бель?»

«Моей собственной выпечки, брат мой»

«Подай мне чашку; вручи её мне своей собственной рукой. Итак, Изабель, моё сердце и душа теперь полны самого глубокого почтения; я всё же посмею назвать это реальное причастие ужином. — Поешь со мной»

Они поели вместе без единого слова; и без единого слова Пьер поднялся и поцеловал её чистый и безупречный лоб и без единого слова покинул место.

VII

Мы не знаем мыслей Пьера Глендиннинга, когда он добрался до деревни и прошел под густой кроной деревьев, не видя зажжённого света и не слыша чьих-либо звуков, разве что иногда замечая у своих ног мягкие земные молнии, что подобно змее, играли среди стеблей травы, а между деревьями улавливая далекий тусклый свет с небес и доносящийся издалека со всех сторон обычный гул спящей, но все ещё дышащей земли.

Он остановился перед отдельно стоящим красивым домом, окруженным густым кустарником. Вошел в портик и отчетливо постучал там, по-

добно деревенским часам, отбивающим время. Он стучал, но никакого ответа не следовало. Он постучал снова и вскоре услышал, как оконная рама поднялась на второй уровень, и удивленный голос спросил, кто там?

«Это — Пьер Глендиннинг, и он желает немедленно переговорить с Преподобным г-ном Фэлсгрэйвом»

«Я правильно расслышал? — чёрт возьми, что у вас за вопрос, молодой джентльмен?»

«Любая вещь — вопрос; весь мир — вопрос. Вы впустите меня, сэр?»

«Конечно — но я умоляю вас — нет, останьтесь, я впущу вас»

Гораздо скорей, чем это, возможно, ожидалось, г-н Фэлсгрэйв лично открыл дверь Пьеру, держа свечу и укутавшись в свой очень приличествующий данному случаю студенческий халат из шотландского пледа.

«Ради Бога, что за вопрос, г-н Глендиннинг?»

«Небо и земля — вопрос, сэр! мы подойдём к его рассмотрению?»

«Конечно, но — но…»

«Ну, тогда идёмте дальше».

Они пошли наверх и скоро оказались в покоях священнослужителя, где оба присели; поражен-

ный хозяин все еще держал свечу в своей руке и с опасливым выражением лица внимательно следил за Пьером.

«Божий слуга, сэр, я верую»

«Я? Я? Я? честное слово, г-н Глендиннинг!»

«Да, сэр, в миру вас так называют. И что теперь вы, Божий слуга, решили с моей матерью относительно Делли Алвер?»

«Делли Алвер! почему, почему — что может значить это безумие?»

«Это значит, сэр, что вы и моя мать приняли решение относительно Делли Алвер»

«Она? — Делли Алвер? Она должна уехать отсюда; почему нет, если её собственные родители хотят этого»

«…Как… она должна уехать? …Кто… должен взять её? …Вы… готовы… принять её? …Куда… она должна пойти? Кто… будет… кормить её? …Кто… будет защищать её от той грязи, которая каждый день сознательно усиливает всемирную отвратительную жестокость и бессердечие?»

«Г-н Глендиннинг», — сказал священнослужитель, уже несколько спокойно поставив свечу и с достоинством завернувшись в свое платье, — «г-н Глендиннинг, я сейчас не упоминаю о своем естественном удивлении при этом самом необыч-

ном требовании в самое необычное время. Вас кое-что интересовало, и я рассказал ее вам всё, что мне было известно. Что же касается всех ваших последующих и дополнительных вопросов, то я принимаю решение на них не отвечать. Сам я буду рад видеть вас в любое другое время, но пока вы должны извинить меня. Доброй ночи, сэр»

Но Пьер сидел совершенно неподвижно, и священник не мог не ждать его стоя.

«Я всё отлично понял, сэр. Делли Алвер, значит, должна быть выселена, чтобы голодать или погибнуть, и это, вдобавок, при молчаливом согласии божьего слуги. Г-н Фэлсгрэйв, случай с Делли глубоко интересен мне только как предисловие к другому, ещё более для меня интересному, и касается того, что я когда-то лелеял некую слабую надежду, что вы с вашим христианским характером будете в состоянии дать мне искренний и честный совет. Но намек от небес уверяет меня теперь в том, что вы для меня советчик не серьёзный и презирающий мир. Я должен искать совет непосредственно у самого Бога, который, как я теперь знаю, никогда не посылает свои самые священные предупреждения. Но я не обвиняю вас; я думаю, что начинаю видеть, как ваша профессия фатальным образом переплелась со всеми

мирскими предрассудками и не может переместиться вместе со свободой благочестия в мир приходов. Я скорее сожалею, чем возмущаюсь. Простите меня за бóльшую часть моих невежливых требований и не считайте меня вашим врагом. Доброй ночи, сэр»

Книга IX

Более светлая, и мрачнеющая от этого света. более мрачная, и светлеющая от этого мрака

I

В этой Гиперборее, к которой восторженная Правда, Серьезность и Независимость неизменно приводят сознание, предназначенное природой для глубокой и бесстрашной мысли, все объекты видятся в сомнительном, неясном и преломленном свете. Рассматриваемые через эту разреженную атмосферу принятые с незапамятных времен человеком принципы начинают скользить и колебаться, и, наконец, просто переворачиваются; сами небеса оказываются весьма причастными к этому поразительному перевоплощению, так как эти замечательные миражи и на самих небесах главным образом и появляются.

Но примеры многих умов, навсегда потерянных среди таких предательских мест, как неподдающаяся обнаружению исследователей Арктика,

предупреждают нас о нашем полном удалении от них; и мы узнаем, что не стоит человеку следовать за правдой слишком далеко, отчего его голова полностью теряет ориентацию, подобно тому, как для прибывшего на Полюс становится бесполезна намагниченная игла, с уважением, одинаково и без различий относящаяся ко всем точкам горизонта.

Но даже менее отдаленные области мышления не существуют без своей исключительной сосредоточенности на самих себе. Едва ли какой-либо искренний человек, способный порождать идеи и приученный осуществить их вообще, будет поражен мыслью, что, в конце концов, то, что он с таким энтузиазмом приветствовал как марш ума, — проясняя значение нападения Правды на Ошибку, — всегда рассматривается полными надежд людьми как одна из наиболее серьезных молитвенных основ самого великого и возможного Католического благословения мира; ведь почти каждый думающий человек должен идти некоторое время и даже дальше, будучи охваченным идеей, в которой, в определенном отношении, может скрываться огромная ошибка, выражающаяся в том, что весь мир никогда не приближается к Правде, кроме

некоторых людей, которые, продвигаясь к ней, своевольно и навсегда отрезают остальных от сочувствия к себе и навсегда заставляют смотреть на себя с недоверием, неприязнью и часто, с прямо — хотя и временами — скрытыми страхом и ненавистью. Как же удивительно тогда то, что те просветленные умы, которым, несмотря на прогресс, всё ещё случается оставаться, с течением времени, болезненными, и которые время от времени бывают раздражены поворотами в актах экстравагантной агрессии на чувства и мнения, теперь навсегда остались позади. Бесспорно то, что на более ранних стадиях развития, особенно у юных умов, пока еще нет успокоенности при долгом привыкании к миру, неизбежном и вечном; эта агрессивность проявляется почти неизменно, и позже также неизменно вызывает у них сожаление.

Этот удивительный шок от практической правды, которая в продолжении всего нескольких дней и часов продвинулась так, что магическим образом переместила юный ум Пьера далеко за черту общепринятого умения что-либо распознавать, принёс совершенно невидимую за ним и достойную сожаления агрессивность, которую мы пытались отобразить ранее. Усту-

пая этому недопустимому настрою, он вторгся в глубокую полуночную дремоту преподобного г-на Фэлсгрейва и весьма неучтиво напал на этого действительно любезного и почтенного человека. Но поскольку ввиду силы необычных обстоятельств его прогресс в понимании этого оказался удивительно скор, то столь же скор оказался теперь его прогресс в своего рода мудрости и в доброжелательности; его заключительные слова г-ну Фэлсгрейву уже достаточно проявили это, и поэтому еще до отхода от обсуждения своей темы этим джентльменом он начал раскаиваться в своем появлении у него с такой миссией.

И поскольку он теперь шёл, погрузившись в глубокие раздумья, характерные для ночных часов, и поскольку всё, что было в нем, разметалось в разные стороны и сильно разожгло постоянный творческий огонь восторженной серьезности, то он полностью осознал существование множества вариантов обсуждения, которые, приди они в голову ранее, категорически исключили бы его импульсивное вторжение к почтенному священнослужителю.

Но злой земной воздух, будучи виновным в Безумии, делает так, что смертный человек во многих случаях достигает восприятия Смыс-

ла. Мышление должно навсегда освободить нас от поспешных проклятий в периоды иногда повторяющегося Безумия, поскольку с тех пор, как Безумие — наш учитель, то Смысл — урок, который она преподает; и если Безумие полностью покидает нас, то Дальнейший Смысл будет нашим компаньоном в полете, и мы окажемся на полпути к Мудрости. Ведь тут присутствует удивительное заблуждение человека, которое всегда убеждает его в том, что даже для богато одаренного ума приходит определенный земной период, когда он сам действительно может сказать, что пришел к Окончательному Человеческому Созерцательному Знанию, после чего в этой представленной точке он и будет пребывать. Внезапные начала новых истин нападают на него и опрокидывают его, как в свое время татары опрокинули Китай; и из-за того, что нет никакой китайской Стены, которую человек может построить в своей душе, и которая должна постоянно останавливать нашествия варварских орд, всегда питаемых из чресел Правды холодом, коим изобилует Север, то Империя Человеческих знаний никогда не сможет продолжаться в какой-либо одной династии, с тех времён как Правда продолжает дарить земле новых Импе-

раторов.

Но мысли, которые мы здесь приписываем Пьеру, должны быть очень тщательно отделены от того, что мы насочиняли относительно его самого. Не зная в то время о теории взаимного партнерства Безумия и Смысла в сотрудничестве с умственным и моральным ростом сознания, Пьер жестоко бранил свою неосмотрительность и начал сомневаться в своей душе, как не доверяющей тому радикальному изменению в его обычных чувствах, которое таким способом поторопило его войти в явную неуместность и безумие, и как не доверяющей самой себе — этому самому крайнему недоверию из всех существующих. Но этого прошлого недоверия в сердце не было, поэтому он чувствовал, что с самих небес имеет посвящение и благословение; однако присутствовало недоверие к его интеллекту, которое, неуправляемо поддерживая мужественную страстность его сердца, казалось, бросало упрек на саму её причину.

Но хотя у серьезного сердца всегда есть действенный бальзам для большинства прискорбных ошибок головы, всё же случается пауза, во время которой человек полностью погружается в несказанную меланхолию. Тогда начинает

казаться, будто самые великодушные и добродетельные решения бывают предназначены только для прекрасных духовных эмоций, но они не являются простыми прелюдиями к физическому переводу этих эмоций на практический путь, в попытке воплощения которого мы оказываемся несчастными растяпами, получая вслед за этим унизительный позор. Затем прибавляются никогда полностью не побеждаемые воинства Заурядности и Обыденности и тяжесть Всемирной благоразумной предусмотрительности, сильно давящие на трепетную душу, с бесчеловечными криками высмеивающие все его благородство как простую оригинальность, которую, конечно же, должны вылечить дальнейшие мудрость и опыт. Человек словно схвачен за руки и за ноги и судорожно тащится по своему пути с собственной нерешительностью и сомнениями. Становясь темнее над этими жестокими препирательствами, его знамя повисает и замирает от бездействия своих знаменосцев.

Как раз в подобном настроении, приблизительно в два часа ночи, Пьер, с поникшей головой, пересёк порог частного особняка в Оседланных Лугах.

II

В глубокой и тихой сердцевине дома, наполненном спящими слугами и служанками, Пьер сидел в своей комнате перед привычным ему круглым столом, всё ещё заваленном книгами и бумагами, который три дня назад он так внезапно покинул ради внезапно появившегося и более важного объекта. Лежащими сверху и самыми заметными среди книг были «Ад» Данте и «Гамлет» Шекспира.

Его сознание блуждало и расплывалось, его руки блуждали и расслабились. Вскоре он обнаружил открытый «Ад» в руке, и его глаза встретились со следующими строками, аллегорически расписывающими вход человеческих жизней в арки входа во чрево ада:

«Я проведу вас в город Горя,

Я проведу вас в вечную боль,

Средь навсегда потерянных людей я проведу вас

* * *

Оставь надежду, всяк сюда входящий»

Он выронил фатальный том из рук, опустив отчаявшуюся голову на грудь.

Его сознание блуждало и расплывалось; его руки блуждали и расслабились. Прошло немно-

го времени, и в его руке оказался открытый «Гамлет», а глаза встретились со следующими строками:

> *«Распалась связь времен; О, проклятая злость,*
>
> *На то, что я когда-то рожден был царствовать по праву!»*

Он выпустил слишком пророческую книгу из своей руки, его пораженное сердце глухо стучало в нём, словно булыжник, падающий в Каррисбрукский[9] колодец.

III

Как человек, Данте Алигьери получил от мира непростительные оскорбления и унижения, а как поэт, Данте Алигьери завещал миру свое бессмертное проклятие возвышению Ада. Пламенный язык, чьи политические вариации лишили его успокоения этого мира, нашел себе зловещего союзника в той музе огня, который навсегда отрезал бы большую часть человечества от какого-либо утешения во всех мирах. К счастью для дилетанта в Литературе, ужасные

---

9 Примечания: 9
Каррисбрук — замок в Англии (прим. пер.)

аллегорические понятия Ада лежат не на поверхности, но, к сожалению, для серьезных и юных правдоискателей эти ужасные значения, будучи впервые обнаруженными, отравляют ядом те уголки их сознания, что ранее были лишены того суверенного противоядия в виде чувства непобедимой безопасности, которым обладают только наиболее развитые и проницательные души.

Оцените тогда, вы, рассудительные, настроение Пьера, тронутого пассажем Данте.

Если среди глубоких понятий этой всепроникающей неопределенности и есть предусмотрительно скрытые от всех значения, — за исключением самых тонких, — а исполненная смысла трагедия Гамлета и передает какую-то конкретную мораль, вообще приспособленную к обычному использованию человека, то она, в первую очередь, такова: всякие размышления бесполезны, если они не призывают к действию, и человеку не годится стоять в ожидании в моменты ударов, идущих со всех сторон, и что в самый начальный период нападения пробужденный человек должен ударить и, если это возможно, ударить с точностью и силой удара молнии.

Пьер всегда был восхищенным почитателем

Гамлета, но ни его возраст, ни его сознательный опыт к настоящему времени не давали ему возможности уловить в безнадежном мраке проблеск его внутреннего смысла или извлечь из общей истории поверхностные и чисто случайные уроки, о которых с бóльшим удовольствием разглагольствовал бы дотошный моралист.

Яркий свет объяснения и откровения объединил, но не смог затенить прославления более глубоких истин в человеке, иногда проистекающих из его собственного глубокого мрака. Тогда его свет — чрезвычайная темнота, и по-кошачьи он отчетливо видит все объекты через среду, которая просто непроницаема для обычного видения. Почему же Мрак и Горе почитаются как старики, подобно тому, как избранные камергеры считаются приобщенными к познанию? Почему происходит так, что тот, кто не познал Мрак и Горе, не познал того, чему научился героический человек?

Свет этого мрака в руке Пьера перевернул перед ним душу Гамлета. Он не знал — по крайней мере, тогда он не чувствовал, что Гамлет, пусть и реально существовавший, был, в конце концов, лишь духом, вызванным своеобразной магией творческой руки, и также своеобразно был уда-

лен, наконец, в бесконечные пространства ада и ночи.

Эта не беспристрастно даруемая привилегия финального понимания одновременно показывает глубины, а также иногда — хотя и не столь отчетливо — некоторые вершины ответа. Но только на полпути вниз к заливу, когда его скалы полностью закрывают верх небесного свода, странник полагает, что на весь залив снизошла тьма.

Оцените вы тогда, вы, рассудительные, настроение Пьера, тронутого пассажем из «Гамлета»

IV

Разорванные на сто клочков печатные страницы Ада и Гамлета лежали у его ног, растоптанные им, в то время как их оторванные переплеты дразнили его своими уже опустошенными именами. Данте сделал его жестоким, а Гамлет намекнул на то, что он не сделал ни одного удара. Данте учил его, что у причины ссоры имеется горький вкус — Гамлет жестоко упрекал его в нерешимости драться. Тогда он снова начал проклинать свою судьбу, начиная в этот момент видеть то, что, в конце концов, он просто манипулировал собой и придерживал себя, в задумчивой сенти-

ментальности впустую тратя время, выделенное на мгновенные действия.

Прошло больше сорока восьми часов. Изабель уже была публично признана? Он уже выводил её под руку в общество? Кто ещё знал об Изабель, кроме Пьера? Как прячущийся трус, он пошел бродить днём по лесу и как прячущийся трус, он поймал её, преследуя ночью! Он сидел, как вор, запинался и бледнел перед своей матерью и, согласно Святому Праву разрешил женщине стать выше и запугивать его! Ах! Человеку легко думать, как герою, но человеку тяжело действовать в одиночку. Всякая воображаемая смелость легко входит в душу, но немногие смело идут дальше.

Он или не он реально не хотел делать этого? Было ли у него огромное желание сделать это, или его не было? Что за отсрочка? Что за испуг? Что получится, если отсрочить и отложить? Его решение было принято, но почему оно не было выполнено? Что ещё надо было узнать? Что ещё важного оставалось узнать для общественного признания Изабель после его первого взгляда на её первое письмо? Имелись сомнения в той личности, которую привел он, и в той, которая останется с ним? — Вообще никаких. На стене из густой тьмы тайны Изабель фосфоресцирую-

щим пальцем было написано о том факте, что Изабель — его сестра. Почему тогда? Как тогда? Почему тогда никаких действий? Он трепетал от мысли, что при первом объявлении его матери об Изабель и его решении иметь её и любить его гордая мать, отвергая мысли о его отце, аналогично отвергнет Пьера и Изабель и осудит и его, и её, и возненавидит их обоих, как неестественных сообщников, порочащих доброе имя самого чистого из мужей и родителей? Совсем нет. Такой мысли у него не было. Разве для себя он уже не решил, что его мать не должна ничего знать о существовании Изабель? — Но как теперь? Что дальше? Как Изабель должна быть признана миром, если его мать ничего не будет знать об этом признании? — Близорукий, несчастный хитрец и мелкий торгаш, ты играл в самую любимую и глупую игру с самим собой! Дурак и трус! Трус и дурак! Резко раскройся и прочитай там смущенную историю своего слепого ребячества! Два твоих великих решения — общественное признание Изабель и бескорыстная помощь на ее содержание от твоей собственной матери, — это невозможные дополнения. — Аналогично, твоя столь великодушная цель защитить благородную память твоего отца от упрека, и другое твое

намерение — открытая защита твоего родства с Изабель, — это также невозможные дополнения. И индивидуально принятые четыре таких решения, не чувствуя, что все они когда-то были едины, взаимно теряют свою силу; это невыразимое безумие, Пьер, клеймить свой лоб ради необъяснимого головокружения!

Хорошо же ты можешь не доверять себе и проклинать себя, и рвать своего Гамлета и свой Ад! О! дурак, слепой дурак, и миллион раз осёл! Иди, иди, ты, несчастный и слабый! Высокие дела не для такого слепого червя, как ты! Оставь Изабель и иди к Люси! Скромно попроси прощения у своей матери и после этого стань для неё ещё более послушным и хорошим мальчиком, Пьер — Пьер, Пьер, — сойди с ума!

Теперь невозможно будет не сказать, что весь беспорядок и смятение в душе Пьера, так же скоро, как и вышеупомянутая нелепость в его уме, впервые предстали перед ним сознательно объединившимися. Он бы охотно отринул свою память и ум, которые навлекли такой огромный позор на обычное для него здравомыслие. Теперь уже действительно все огненные потоки Ада и весь накативший на Гамлета мрак сразу задушили его в пламени и дыме. Тиски, сдавли-

вающие его душу, распались: он изрыгнул слепую ярость и подавленное безумие на стену и упал, захлебываясь от ненависти к самому себе.

Книга X

Беспрецедентное и окончательное решение Пьера

I

Да будет славен тот, кто впервые сказал, что самый глубокий мрак предшествует началу дня. Мы не заботимся о подтверждении высказывания в пределах сущего; достаточно того, что оно иногда соблюдается в пределах земных.

Следующим утром Пьер поднял с пола своей комнаты свое тело, измученное и изодранное в прошедшую ночь чрезвычайным страданием, но со стоически безмятежным душевным равновесием и с предвкушением того, что будущее казалось ему распланированным и прекрасным. Теперь он решил, что совершенно непредвиденный шторм, который столь ужасающе внезапно возник перед ним, все же возник перед ним ради его же пользы; из-за места, которое шторм в своем неведомом начале неясно занял в его душе, он казался ему теперь ясным небом, и весь его горизонт казался ему отчетливо видимым.

Его решение было странным и необычным, но именно поэтому с ним лучше было встретиться в странной и чрезвычайной ситуации. Но оно было не только странным и необычным в своей простой новизне — оно было удивительным в его несравненном отказе от самого себя.

Сначала, полный решимости при всех опасностях уберечь общеизвестную репутацию своего отца от чего бы то ни было, он решил поступить так же, защитив Изабель и распространив на нее предельную братскую преданность и любовь, одинаково исполнившись решимости не задевать прочный мир своей матери каким-либо бесполезным воздействием нежелательных фактов. И всё же он поклялся в глубине души неким способом представить Изабель всему миру и привести её к постоянному утешению и товарищеским отношениям; и, не найдя никакого другого возможного способа, совместно соединил все эти концы без какого-то единого благочестивого обмана, в отношении которого он посчитал, что все небеса оправдают его, так как он сам должен стать великой жертвой самоотказа. Поэтому здесь и сейчас присутствовала его твердая и неизменная цель, а именно: притвориться перед миром, что в тайне Пьер Глендиннинг уже

стал мужем Изабель Бенфорд — предположение, которое полностью гарантировало бы ему жизнь в её постоянной компании и на равных условиях, и свое появление вместе с ней там, где мир допустил бы это, — и в то же время исключило бы все злобные расследования, касающееся памяти его умершего родителя или какого-либо способа затронуть прочный мир его матери, неразрывно связанного со всем этим. Он, правда, изначально предвидел, что неординарное решение в другом отношении, косвенно, хотя и неизбежно, причинило бы самую острую боль сердцу его матери; но тогда это казалось ему частью неизбежной высокой цены за торжество его достоинства; и при таком настрое он скорее тайно причинил бы боль своей живой матери, рана которой могла бы быть излечима, нежели навлек бы всемирный и несмываемый позор — так ему казалось — на своего покойного отца.

Вероятно, никто другой, кроме как Изабель, возможно, не произвел бы на Пьера впечатление, достаточно сильное, чтобы завершить его окончательным решением, столь беспрецедентным, как вышеупомянутое. Но замечательная мелодичность её горя очевидным волшебством коснулась секретной гармонии в его груди, оказавшись

точным подобием тому, что двигало струнным языком её гитары, отвечающим на глубочайшие чувства её собственных меланхолических равнин. Голос глубокой сущности Изабель позвал его с огромных высот неба и воздуха, а на земле не оказалось какого-либо препятствия её небесному вызову.

В течение трёх дней, когда он лично узнал её и потому вошел с нею в магнетический контакт, прочие убеждения и следующие за этой прямотой возможности, увлечение её изумительными глазами и чудесными историями подсознательно произвели на него неизгладимое впечатление и, возможно, вследствие отсутствия у него осведомленности, способствовали, главным образом, его твердости. Она произвела на него такое впечатление, какое произвело бы великолепное дитя Гордости и Горя, и в чьем самообладании прослеживались самые божественные черты обоих её родителей. Гордость придала ей её несказанное благородство, Горе коснулось этого благородства с ангельской мягкостью; и снова эта мягкость погрузилась в самое благое смирение, которое было основой её самого высшего превосходства надо всеми.

Ни единым словом или буквой не предала Иза-

бель даже малейшую искру тех больших обычных эмоций и желаний, которые могли быть весьма обоснованно приписаны обычному человеку, оказавшемуся в аналогичных обстоятельствах. Даже пребывая почти в бедности, она не призвала денежную щедрость Пьера, и, хотя в целом она не заговаривала на эту тему, Пьер всё же не мог не быть необыкновенно чувствительным к чему-то в той, которая сочла ниже своего достоинства запросто рассчитывать на простую щедрость даже своего брата. Но, хотя она различными неописуемыми путями показала свое понимание того, чтобы была окружена чуждыми по духу и низшими существами, — в то время как при благородном происхождении и личности заслуживала более изысканного общества, к которому её мог бы приблизить открытый мир, — она, тем не менее, не потребовала от Пьера вырядить её в парчу, тем самым выделившись среди выдающихся и богатых местных леди и превзойти их. Но в то время, когда таким образом проявилась ее интуиция, при хорошем воспитании, благородстве и полной свободе от всех корыстных мотивов, не имея ничего из перечисленного, она слила все свои чувства в немного более сентиментальную сестринскую привязанность к своему

так внезапно обнаруженному брату, которая, не будь она по-женски естественно привлекательна, не была бы в целом интересна Пьеру. Нет. Та глубокая и неописуемая тоска, которую ее непоследовательное письмо лучше всего отразило, не происходила от какой-либо первоосновы, тщеславия или обычных причин вообще; то был неукротимый и несомненный крик божества, прошедший через ее душу и скомандовавший Пьеру лететь к ней и выполнять его самую высокую и самую славную обязанность в мире.

Но теперь, как временами казалось Пьеру, эта обязанность состояла в упрямом полете над мраморным лицом Прошлого и борьбе за полное изменение мнения, объявлявшего, что Изабель никогда не сможет до конца унаследовать все привилегии законного ребенка своего отца. И теперь он полностью ощущал, что в действительности само по себе вдвойне нелепо и жестоко обоим жить и умереть, что было так же совершенно нежелательно и для Изабель, которая пусть однажды и уступила мгновенному взрыву агрессивного энтузиазма, но в своем по большей части обычном печальном и сладостном настроении не решилась бы на такой отчаянный шаг. Теперь он полностью чувствовал, что Изабель

будет довольна жизнью в своем неосознанном отеческом родстве, пока не сможет каким-либо путем успокоить свою глубокую тоску по постоянной любви, сочувствию и близкому внутреннему контакту с кровным родственником. Поэтому тут Пьер не имел ни малейшего опасения, что после изучения характера его схемы она сочтет её далекой от ее естественных ожиданий; и хотя ее очевидная странность была затронута, — странность, возможно, непреодолимая для брезгливых и нудных женщин — здесь Пьер не видел препятствий в Изабель, поскольку всё её прошлое было странным, и странность, казалось, лучше всего подходила к её будущему.

Но сейчас Пьер, перечитывая вводный параграф её письма, смог весьма быстро получить сильный опережающий протест от своей сестры, которая скрыла от него свою собственную полную объективность. Хотя у Пьера были все основания полагать, что вследствие своей изоляции и скромной жизни Изабель пребывала в полном неведении о его отношениях с Люси Тартен — невежество, которое сначала косвенно и несознательно присутствовало у Изабель, неописуемым образом перешло к нему, — и хотя, конечно, он мудро и доброжелательно воздер-

живался от её просвещения на этот счёт, тем не менее, несмотря на всё это, он считал возможным, что любая искренняя благородная девушка, как Изабель, ради своей же пользы охотно согласится стать участником в акте, который в перспективе и навсегда поставит заслон благому счастью достигшей брачного возраста девушке в любви со столь же молодым и щедрым молодым человеком, как Пьер, и навечно свяжет его в фиктивном союзе, который, будучи в действительности воздушной паутиной, по своей мощи будет равен железной стене. И это могло бы стать самым сильным доводом, который мог бы вызвать мысль о формировании такого союза и потом навсегда исключил бы возможность молчаливого публичного противодействия и прекращение притворства, и за которым не следовало бы реальное бракосочетание Пьера с каким-либо другим существом в течение всей жизни Изабель.

Но согласно тому, какое представление вы получаете, это — или добрый, или злонамеренный подарок великих богов человеку на пороге совершенно нового и важного посвящения, в тысячу раз запутанного и рискованного, к которому он должен привести, и которое, в самом нача-

ле, в основном, скрыто из виду; и вот через его первобытную глушь проезжает Рыцарь Фортуны, одинаково неосведомленный о дворцах или ловушках в его сердцевине. В удивлении, помимо всех обычных убеждений, в этих странных оплошностях и несоответствиях внутри уникальных и чрезвычайно твердых молодых и необыкновенно горячих душах иногда зарождается восторженная медитация. Эта всё понимающая исключительность, эта спокойная представительность, которые достигаются устоявшимся философским сознанием, и тянут к себе, — туда, где эти объекты рассматриваются в своей коллективной полноте, — но это всё не относится к восторженной юности. Из-за этого рвения все объекты видятся в обманчивой перспективе; с его интенсивностью каждый объект рассматривается, как обособленный; поэтому, по существу и по отношению, каждая вещь проходит мимо. Мы уже обнажили прошедшую несообразность в Пьере, которая ввиду вышеназванной причины, что мы пытались отобразить, побудила его какое-то время заниматься четырьмя совместно невозможными проектами. И вот теперь мы созерцаем этого несчастного юношу, всё еще стремящегося участвовать в таком слож-

ном повороте Судьбы, что три ловких девицы едва ли самостоятельно могут распутать его, если сам он продолжает завязывать сложные узлы вокруг себя и Изабель.

Ах, ты, опрометчивый мальчик! Неужели не существует каких-нибудь посланцев в воздухе, чтобы издалека предупредить тебя об этих опасностях и указать тебе на те критские лабиринты, по которым ведет тебя шнур твоей жизни? Где теперь верхний уровень благодеяния? Куда сбежали милые ангелы, эти сомнительные опекуны человека?

Но как же тогда импульсивный Пьер полностью упустил всё, что угрожало ему в будущем, разыгрывая теперь свою уникальную твердость? Нет, нетерпеливо прочерчивая для себя перспективу, он не воспринял весь размер угроз, — ведь, воистину, так сильно теперь его манила сама цель, — которые увеличились перед его лицом не настолько, чтобы из-за них он отказался бы от своего самоотречения, в то время как всё, более связанное с его основным решением, было, несомненно, в какой-то мере, предсказано им и понято. Он, как, по крайней мере, казалось, отлично предвидел и понимал, что существующая надежда на Люси Тартэн должна быть удале-

на от его существа; это принесло бы ей ужасно острую боль, которая, естественным образом срикошетировав, удвоила бы его собственную; а для мира всё его геройство предстало бы одинаково необъяснимым и неожиданным, и поэтому мир осудил бы его как позорного лжеца для своей суженой, презревшего одну из наиболее обязывающих человеческих клятв, как тайного поклонника и поручителя неизвестной и загадочной девушки, как всецело отвергшего самые мудрые рекомендации любимой матери, как навлекшего давний позор на благородное имя, как опьяненного отказника от самого процветающего дома и крупного состояния, и, наконец, осудил бы за то, что теперь вся его жизнь в глазах всего человечества будет покрыта особым туманом зловещей тьмы, который невозможно развеять даже в последний смертный час.

Итак, ты, сын человеческий! В опасности и бедствии ты ругаешься на самого себе, даже когда по самой добродетельной причине ты перешагиваешь за те произвольные линии поведения, на которых, как бы то ни было, но покоится обычный мир и трусливо окружает тебя ради твоей же мирской пользы.

Часто бывает очень занимательно следить

за самыми редкими и глубокими явлениями и выводить их наиболее вероятное происхождение из чего-то чрезвычайно банального или тривиального. Насколько же странна и сложна человеческая душа, если она разворачивается в таком замешательстве, и столь значительные и разнообразные идеи приходят к ней извне; и поэтому она оказывается не в состоянии различить эти крайности и понять, что даже самый мудрый человек бывает опрометчив, решительно обозначая точное и начальное происхождение своих последних мыслей и действий. Как издали мы различаем родимые пятна, так видим мы и то, что жизнь человека только кажется реакцией на таинственные намеки, которые так или иначе подают нам сигнал, что надо сделать тем или иным способом. Несомненно, что ни один простой смертный, который глубоко погружен в себя, никогда не будет притворяться, что его малейшая мысль или действие происходят только в его собственной определенной идентичности. Эта преамбула не кажется совсем ненужной и приводит к странному суждению о том, что, возможно, подсознание Пьера предложило необычный способ выполнения его необычного решения — а именно, в номинальном перево-

площении сестры в жену — аналогично предыдущему диалоговому перевоплощению матери в сестру, отчего он приучил свой голос и манеры к определенному притворству в одной из самых ближайших и закрытых сторон жизни; и поскольку моральная структура человека очень пористая, тогда то, что принято на виду, наконец, сработало — следовательно, это внешнее привыкание к вышеназванному притворству спокойно приспособило его сознание к данной идее, пока ещё только невинной и привлекательной. Если, при любых условиях, это общепринятое мнение было таковым, тогда для Пьера времена веселости были так же насыщены часами серьезности, и в забаве он познал вкус горечи.

II

Если следующее по твердости желание по-братски помогать Изабель к настоящему времени определенно сложилось в Пьере как абсолютно неизменное и разделяющее святость и неразрывность самой торжественной клятвы, то существовало восторженное и, по-видимому, совершенно лишнее желание сохранить в неприкосновенности память о его отце, ни единому человеку в мире не показывавшему отцовство

Изабель. Безответный, давно ушедший из живого мира и снова возвратившийся к полной беспомощности, ушедший настолько же далеко, насколько ушел этот мир, его погибший отец, казалось, обращался к сознательности и милосердию Пьера в терминах, намного более живых, чем те, что исходили из его смертных уст. И пусть не из-за греха Пьера, а из-за греха его отца, эта добрая отцовская репутация теперь оказалась во власти сына, и могла быть сохранена только свободным сыновним пожертвованием всем земным счастьем, — что, если это было так? Этот, еще не тронутый высокий аккорд в груди и наполнял сына большим великодушием. Никогда еще великодушный Пьер не лелеял языческое мнение, что даже в обычном мире, Грех — выставленный напоказ объект, растянутый на самых жестоких стойках самодовольным Достоинством, и это самодовольное Достоинство может накормить его трусостью под соусом бледного грешного Мучения. Ведь прекрасное Достоинство не требует более громкого нашего одобрения, нежели Грех, в котором раскаиваются, и который в своем завершении действительно требует нашей предельной нежности и беспокойства. И столь же огромным, как Достоинство,

должно быть его одобрение, аналогично тому, что и к большему Греху должна быть бесконечна наша жалость. В некотором виде у Греха есть святость, не меньшая, чем сама святость. И большой Грех ищет большего великодушия, нежели маленькое Достоинство. Что это за человек, если он не выражает более живых и более щедрых эмоций по отношению к великому богу Греха — Сатане, — нежели к вон тому галантерейщику, который грешит только в малом и в совершенно благородном торговом деле?

Хотя Пьер глубоко вздрагивал в этом непроницаемом и одновременно мрачном многозначительном тумане, который дикая история Изабель напустила вокруг молодости его отца, однако, помня немую мучительную просьбу впустую сжатой пепельной руки, вздымаемой его отцом на смертном ложе, он весьма остро чувствовал, что какую бы неведомую тень не отбрасывала вина его отца, всё же в последний час смерти он с сожалением раскаялся в ней. И раскаяние оказалось более полным только из-за чрезвычайного отчаяния, от того, что это была тайна, снедающая его. Резонно спросить, какой была бы его семья, не умри его отец в бреду? Откуда взялся этот бред после настолько цветущей жизни? Откуда, если

не от самого жестокого раскаяния?

Тронутый этим, напрягшись всеми своими сухожилиями и нервами для защиты нетронутой памяти своего отца, Пьер развернулся своим решительным и бесстрашным лицом к Люси Тартэн и тихо поклялся, что даже она должна знать всё; нет, не знать меньше всех.

В высочайшем героизме есть неизбежная острая жестокость. Героизм означает для нас не только, не дрогнув, стоять с твердой решимостью в час страдания, — а стоять, не дрогнув, воедино с нашим собственным страданием и страданием любимого человека: в едином страдании, которое мы смогли бы уместить в мгновенье, восхищаясь причиной, по которой мы сами истекаем кровью, или же видя, как истекает кровью большая часть наших любимых. Если он не покажет позор своего отца обществу, чью благосклонность теперь презирает сам Пьер, то как тогда показать его женщине, которую он обожает? Ей, прежде всех остальных, теперь стоит раскрыть могилу своего отца и предложить ей созерцать, из какого мерзкого позора происходит он сам? Поэтому Пьер развернулся и разделил с Люси ту же самую долю, за которую должен был держаться, поскольку слишком отчетливо видел,

что несмотря ни на что, оба их сердца должны гореть.

Да, его твердость относительно памяти отца включала необходимость принятия Люси его брака с Изабель. Её он не мог объяснить даже самому себе, не то, что ей. Она усилила бы острые муки разрыва из-за появления в уме Люси совершенно необоснованного самовнушенного предположения и из-за её неприятия его идеи в самой отчаянной степени. Но относительно этого он всё ещё обоснованно верил, что не будь всего его разрыва сыновних связей, ему позволили бы некоторые незначительные намеки на увод сознания Люси от тёмных грёз, которые могли бы туда проникнуть; и если он не смог бы внушить ей совершенную истину, то смог бы хотя бы увести её от совершенной неправды.

Как и его мать, Пьер был более подготовлен. Он пытался уклониться от этой непостижимой установки, которую считал всего лишь глупостью, или избежать или отрицать её существование с тех пор, как почувствовал её глубокое давление на суть его души; от семьи Глендиннингов властно потребовали жертву богам Горя; одну, но великую жертву; и великой жертвой должна была стать его мать или он сам. Если бы он

раскрыл свою тайну миру, тогда его мать стала бы жертвой; если бы все опасности он принял на себя, то стал бы жертвой он сам. Жертвой из уважения к своей матери, потому что при особых обстоятельствах разглашение тайны навлекло бы на неё позор и бесчестие. Но он покорно с этим соглашался.

Еще одна вещь — и последняя, которую стоит здесь назвать, как наименее ощущаемую Пьером, — оставалась ещё одна угроза, несущая неизбежную погибель. Пока еще как смутный намек, пока ещё как предчувствие, она, должно быть, имела сильное влияние на Пьера, подготавливая его к худшему.

Последняя и фатальная болезнь внезапно охватила его отца. Возможно, что скрытое привлечение его сознания вместе с воспоминанием из его ранней жизни, пришедшее к нему в недобрый час, и последствия его умственных блужданий — всё это вместе с другими причинами воспрепятствовали появлению у него нового желания изменить то, что должно было произойти вскоре после его вступления в брак и перед рождением Пьера. Из-за этого он не оказался втянутым в законные суды, действующие по нормам общего права, и из-за этого в видении

г-жи Глендиннинг своей собственной безопасности и будущего блага любимого сына никогда и ничего подобного не возникало. И в дальнейшем он нерешительно, в целях лучшего и более соответствующего порядка вещей, предложил не обсуждать несущественные обстоятельства в период создания завещания, из-за чего вся собственность Глендиннингов была завещана его матери.

Остро чувствуя в себе эти пророчески намеки, которые, забегая вперед, описывали надменный характер его оскорбленной матери как всецело ожесточенный и презирающий сына, — когда-то бывшего объектом ее самой радостной гордости, но теперь ставшего глубоким укором не только как восставший против неё, но и как вопиющий позор перед миром, — Пьер отчетливо предвидел, что она никогда не разрешила бы Изабель Бэнфорд в её истинном качестве пересечь её порог, и при этом она и теперь не разрешила бы Изабель Бэнфорд пересекать её порог в любом другом замаскированном виде, тем более, как неизвестной и коварной девушке, которая исподволь лишила её сына чести и обрекла на позор. И допустить Изабель для Пьера теперь было невозможно. А по независящим от этого при-

чинам из-за своего раздражения мать могла выгнать его самого.

Но те же самые внутренние намеки, которые окрасили в должный цвет суть его матери, удержали его от наблюдения за всем её надменным сердцем, настолько неумолимо настроенным против него, что, одновременно закрыв свои двери и перед ним и перед его фиктивной женой, она также не захотела бы вносить ни одного медяка, чтобы поддержать их воображаемый союз, совершенно для неё неприемлемый. И хотя Пьер не был столь знаком с юриспруденцией для того, чтобы быть совершенно уверенным, что закон, обратись он к условиям завещания своего отца, на основании каких-либо возможных требований сына вынесет решение разделить с матерью недвижимость родителя, он все же предчувствовал неукротимое отвращение к перетаскиванию руки его умершего отца, заверяющей печати в открытом Суде и к схватке над ними со своей собственной матерью в качестве оппонента из-за обычных меркантильных соображений. Поэтому его безошибочное предчувствие тщательно прорисовало ему характер его матери, как властный и раскрывшийся во всех самых жестоких чертах, — до настоящего времени пребывав-

ший во временном бездействии из-за простой случайности и удачных обстоятельств — отчего он чувствовал уверенность, что её раздражение против него смогло бы даже породить раздоры со стороны юридического сообщества относительно принадлежности собственности Глендинингов. Действительно, оставшейся силы и мужественности в характере его матери во всех делах у Пьера было основание бояться. Кроме того, встал бы вопрос о том, что он, Пьер, в течение почти целых двух последующих лет все еще оставался бы несовершеннолетним, младенцем в глазах закона, неспособным из личных побуждений на какое-либо правовое притязание; и хотя он мог бы предъявить иск своему следующему другу, то кто стал бы его добровольным следующим другом, если четкое исполнение закона ради него уничтожило бы весь мир его друзей?

И, как теперь оказалось, ко всему этому и еще многому другому готовилась душа этого страстно увлеченного молодого подвижника.

III

В некоторых человеческих сердцах живет темная, безумная тайна, которая иногда, находясь под тиранией узурпаторского настроения, при-

нуждает их со всевозможным рвением отринуть самую пылкую любовную связь как помеху для достижения какой-либо необыкновенной цели, столь тиранически определяемой настроением узурпатора. Тогда любовная связь, как кажется, не приносит нам никакой существенной пользы; поднимаясь к высоким горам, мы можем полностью обойтись без долины, привязанности мы отвергаем, поцелуи для нас — ожоги, и, отказываясь от трепещущих форм смертной любви, мы впустую обхватываем безграничный и бестелесный воздух. Мы думаем, что мы не люди, мы становимся подобием бессмертных рыцарей и богов; но снова, как сами греческие боги, предрасположены к сошествию на землю, счастливы снова подчиниться супругу, счастливы скрыть эти богоподобные головы в телах, вылепленных из такой же обольстительной глины.

Постоянно утомленный сушей, беспокойный матрос отрывает оба рукава и кидает их в море, в бурную высь, обдувающую берег. Но в длинных ночных вахтах в краях антиподов, таких тяжёлых, что океанский мрак лежит на огромных тюках на палубе, он думает о том, как в этот очень важный момент в его пустом деревенском доме домашнее солнце стоит в вышине, и о мно-

жестве солнцеликих лучезарных полуденных дев. Он проклинает Судьбу, проклинает самого себя; это его собственное бессмысленное безумие, поскольку к тому, кто однажды познал эту сладость, а затем сбежал от неё, мстительная мечта прибудет к нему в его отсутствие.

Вот и Пьер был теперь таким же уязвимым богом, таким же укоряющим самого себя матросом, таким же мечтателем о мести. Хотя в некоторых делах он не жонглировал собой и силился следить за той перспективой, что открывалась впереди, все же, имея в виду отношения с Люси, в основе своей он все ещё оставался жонглером. Воистину, в его уникальную схему Люси была вплетена столь глубоко, что для него вообще казалось невозможным составить свое будущее без какой-либо возможности видеть это любящее сердце. Но, пока ещё не понимая её величину или боясь её определения, он, как алгебраист, для настоящей Люси в своих коварных мыслях отвел не место, но знак — некую пустую букву «„x“» — и в окончательном решении проблемы она всё ещё изображалась пустой буквой «„x“», но не как реальная Люси.

Но теперь, поднимаясь с пола комнаты и отходя от пока ещё глубокой прострации в своей

душе, Пьер думал, что всем горизонтом его темной судьбы командует он сам; все его решения были четко определены и твердо поставлены; теперь, наконец, на вершине всего в его сокровенное сердце внезапно проскользнул живой и благоухающий образ Люси. Его легкие разрывались, его глазные яблоки ярко разгорелись; из-за сладостного воображаемого образа, столь давно заживо погребенного в нем, она, казалось, скользила теперь к нему из могилы, и её легкие волосы развевались вслед за её саваном.

Затем, с течением времени все незначительные детали им были обдуманы: его мать, Изабель, весь широкий мир; и один единственный вопрос оставался у него — всеобъемлющий вопрос — Люси или Бог?

Но здесь мы опустим описание. Не всякую неназванную душевную борьбу можно описать, и не о всяком горе можно поведать. Позвольте неоднозначной череде событий самой показать их собственную двусмысленность.

Книга XI
Он переходит рубикон

I

Затянутый Мальстримом человек должен будет вращаться по кругу. Нанесите удар по одному концу самого длинного воображаемого ряда бильярдных шаров, стоящих впритык, и самый дальний шар стронется с места, в то время как все остальные остановятся; и это при том, что до последнего шара не дотрагивались вообще. Вот так сквозь длинный ряд предыдущих поколений, будь то рождение или намерение, Судьба наносит человеку удар. Он беззаботно отрицает воздействие удара, поскольку сам он удара не почувствовал, и в самом деле, его не получив. Но Пьер не судил Предопределение Судьбы и Добрую волю, теперь Предопределение Судьбы и Добрая воля судили его, и Предопределение Судьбы выигрывало дебаты.

Особенности тех аргументов, которые ночью и ранним утром после последней беседы с Изабель убедили Пьера принять окончательное

решение, теперь действительно неумолимо принуждали его к четким незамедлительным действиям, и даже прежде, чем он потерпит неудачу.

Без осознания того, что описанный путь через заключение брака между ним и ею, который Пьер теперь стремился воплотить, упреждал какие-либо возражения со стороны Изабель, и без соответствующего повода исполнение этого намерения должно было иметь полезное достоинство. Поскольку в столь простое решение, к сожалению, была вовлечена Люси, и её образ был тогда весьма различим в его сознании, то, следовательно, он решил не держать её более в напряжении, а в особой манере жестокого милосердия сразу объявить ей её судьбу; и первое из его утренних окончательных решений состояло в том, чтобы пойти к Люси. И этому, несомненно, способствовало такое пустяковое обстоятельство, как то, что она была к нему географически ближе, чем Изабель, и это, должно быть, сыграло некую дополнительную, хотя и случайную роль, в его настоящем роковом настрое.

В предыдущие лихорадочные дни Пьер старательно искал возможность скрыть свои эмоции от матери определенной заботой и тщательным

подбором своего платья. Но теперь, впервые с тех пор, как сама его душа была вынуждена носить маску, он перестал носить бесполезные болеутоляющие средства и скрывать свои чувства. Он пошел в дом Люси с расстроенной душой и изможденным лицом.

II

Она еще не поднялась с постели, а поэтому необычное властное нетерпение направило его прямо к двери её комнаты, и голосом милосердного победителя он потребовал немедленную аудиенцию для обсуждения неотложного вопроса.

Несказанно тронутую и встревоженную из-за своего возлюбленного, к этому моменту сорок восемь часов отсутствующего из-за неких таинственных и нераскрытых дел, Люси, при этом неожиданном вызове охватил внезапный ужас, и, забыв все обычные правила приличия, она ответила на требование Пьера немедленным согласием.

Открыв дверь, он медленно и осторожно приблизился к ней. Как только Люси поймала взглядом его явно обессиленную фигуру, она издала крик, добивающийся сострадания, не сознавая

остроты боли, которая его вызвала, и с дрожью приподнялась на своей постели, не произнося ни слова.

Пьер сел возле кровати и обратил всё своё внимание на её испуганное и непорочное лицо.

«В белоснежной одежде и с бледными щеками ты действительно создана для алтаря, но не для того, о котором мечтает твое любящее сердце, — для алтаря возлюбленной жертвы!»

«Пьер!»

«Эта последняя жестокость тиранов заставит их врагов убить друг друга»

«Сердце моё! Сердце моё!»

«Нет,…. Люси, я женат»

Девушка не стала более бледной, но стала белой как любой из прокаженных; постельному белью передалась скрытая дрожь всех её конечностей; одно мгновенье она сидела, рассеянно изучая безучастные глаза Пьера, а затем в обмороке припала к нему.

Быстрое безумие проникло в мозг Пьера; все прошлое показалось мечтой, и все настоящее — неясным ужасом. Он ухватил её, уложил неподвижное тело на кровать и постучал, чтобы позвать на помощь. В комнату прибежала девица Марта и, охватив взглядом две непонят-

ных фигуры, завопила и в ужасе отвернулась. Но повторный окрик Пьера отвлек Марту, и, бросившись вон из комнаты, она вернулась с сильным успокоительным средством, которое вскоре вернуло Люси к жизни.

«Марта! Марта!» — бормотала теперь Люси едва слышным шепотом, дрожа в таких же дрожащих руках девицы, — «скорей, скорей; иди ко мне — прогони его! разбуди меня! разбуди меня!»

«Нет, Богом молю, спи снова», — кричала Марта, склоняясь над нею, обнимая её и искоса бросая на Пьера взгляд, исполненный ненависти и негодования. «Во имя святого Бога, сэр, что это? Зачем вы пришли сюда; будьте вы прокляты!»

«Проклят? — это хорошо. Она снова стала самой собой, Марта?»

«Вы, так или иначе, убили ее; где тут „снова стала собой“? Моя нежно любимая! о, моя юная любимица! Скажи мне! скажи мне!» — и она низко согнулась над ней.

Пьер уже приблизился к кровати, подав знак девице оставить их, но как только Люси повторно поймала взглядом его измученную фигуру, она вскоре опять шепотом запричитала: «Марта! Марта! уведи его подальше! — туда — туда! его — его!» — и, закрыв свои глаза, с судорожным

отвращением вытянула руки.

«Чудовище! непостижимый злодей!» — снова закричала сраженная ужасом девушка. — «Уходите! Посмотрите! она замирает при виде вас — прочь! Вы опять хотите её убить? Прочь!»

Застывший и похолодевший от своей собственного душевного волнения, Пьер тихо развернулся и оставил комнату, и, с трудом спускаясь по лестнице, тяжкой поступью, — как человек, медленно несущий тяжелое бремя — прошел через длинный узкий проход к крылу в задней части дома, где, постучав в дверь мисс Лэниллин, вызвал её к Люси, которая, как он кратко объяснил, ослабела. Затем, не ожидая какого-либо ответа, покинул дом, и пошел прямо к особняку.

III

«Моя мать уже встала?» — спросил он Дейтса, которого встретил в зале.

«Еще нет, сэр; — о Боже, сэр! Вы, часом, не больны?»

«До смерти! Позволь мне пройти».

Поднимаясь к комнате своей матери, он услышал близкие шаги и встретил ее на большом среднем пролете лестницы, где во вполне просторной нише мраморная группа из оскверняю-

щих храм Лаокоона и двух его невинных детей, запутавшись в сложных клубках из змей, корчилась в вечном мучении.

«Мама, вернись со мной в свою комнату»

Она следила за его внезапным присутствием с тёмным, но подавленным предчувствием, стоя надменно и с отвращением, и дрожащими губами произнесла: «Пьер, ты сам отказал мне в доверии, и ты не в силах так же легко вернуть его мне. Говори! что теперь между тобой и мной?»

«Я женат, мама»

«Великий Боже! На ком?»

«Не на Люси Тартэн, мама»

«Поскольку ты запросто говоришь, что она не Люси, не говоря, кто она в действительности, то это — хорошее доказательство того, что она — какая-то дрянь. Люси знает о твоем браке?»

«Я только что от Люси»

К настоящему времени жесткость г-жи Глендиннинг медленно спадала. Теперь она сжала рукой балюстраду, над которой склонилась, и на мгновение дрогнула. Затем вся ее надменность вернулась и выстроилась перед Пьером в безразличном, непримиримом горе и презрении к нему.

«Моя тёмная душа пророчила что-то тёмное. Если ты ещё не нашёл другое жилище и другой стол, помимо этого, тогда ищи его прямо сейчас. Под моей крышей и за моим столом тому, кто когда-то был Пьером Глендиннингом, места больше нет»

Она отвернулась от него и, шатаясь, поднялась по витой лестнице и исчезла из виду; в то время пока Пьер держался за балюстраду, он, казалось, чувствовал, что внезапные острые конвульсии снисходят к нему от его матери.

Он посмотрел вокруг безумными глазами, на шатающийся под ним пол, на затихший покидаемый дом; но когда он пересекал его порог, его нога зацепилась за приподнятый уступ; он подался вперед к каменному портику и упал, увидев себя издевательски вышвырнутым из-под своей собственной наследственной крыши.

IV

Пройдя через заднюю калитку широкого внутреннего двора, Пьер закрыл её за собой, затем повернулся и оперся на неё. Его взгляд остановился на главном центральном дымоходе особняка, голубой дым из которого мягко завивался в утреннем воздухе.

«Каменная плита, которой ты сопротивляешься, никогда, чувствую нутром, не отдавит эти ноги. О, Боже, что ответишь ты на вопрос, отчего Пьер стал бродягой?»

Он медленно пошел вдаль и, проходя мимо окон Люси, поискал глазами и увидел плотно сдвинутые белые занавески, белый дом в глубокой тишине и белую верховую лошадь, привязанную у ворот.

«Я вошел бы, но снова начнутся её отвратительные вопли; что ещё я могу теперь сказать или сделать для неё? Я не в состоянии объяснить. Она знает всё, что я решился открыть. Да, но ты действительно внезапно и безжалостно возник перед нею; твоя порывистость, твоя внезапность убили её, Пьер! — Нет, нет, нет! — Жестокие новости, кого они не сомнут? Если суждено нанести неизбежный удар, то пусть это будет мгновенный удар кинжала! Эти занавески плотно закрывают её, поэтому позвольте мне изобразить её милый лик на занавеси моей души. Спи, спи, спи, спи, ангел! — не просыпайся больше ни для Пьера, ни для себя, моя Люси!»

Идя уже поспешно и вслепую, он столкнулся с каким-то встречным прохожим. Человек остановился пораженный и, подняв взгляд, Пьер

признал в нём слугу из Особняка. Та внезапность, которая теперь побуждала его ко всем его действиям, снова охватила его. Игнорируя тревожное состояние человека при таком столкновении с его молодым хозяином, Пьер приказал, чтобы тот следовал за ним. Подойдя прямо к «Чёрному лебедю», небольшой деревенской гостинице, он вошел в первую же свободную комнату и, предложив человеку присесть, нашёл содержателя дома и попросил перо и бумагу.

При удобном случае в час необычайного несчастья определенные характеры находят странную, истеричную разрядку в диком извращенном юморе, лучше всего отвлекающим их от всего неприемлемого в этот момент, хотя они редко проявляют эту черту в отношении с людьми, более вовлеченным в причину или последствия их страданий. Склонный к холодному осуждению простой философ назвал бы такое поведение не иначе как временным безумием; и, возможно, поэтому непреклонный и бесчеловечный взгляд с чисто простых позиций на всё наше горе или другое считает чистейшими глупостью и безумием.

Письмо, уже написанное, было следующим:

«Славному Старине Дейтсу._

«Дейтс, друг мой, сейчас же встряхнись. Пойди в мою комнату, Дейтс, и снеси мне вниз мой сейф из красного дерева и замок, покрытый синим ситцем; увяжи всё очень тщательно, мой дорогой Дейтс, это довольно тяжело, и поставь в стороне от задней двери. Затем пойди обратно и принеси мне мой письменный стол и поставь его также в стороне от задней двери. Затем ещё раз вернись и принеси мне старую раскладушку (посмотри, чтобы все части были на месте), и перевяжи поклажу хорошим шнуром. Затем зайди в левый угол малого ящика в моем гардеробе, где ты легко найдёшь мои визитные карточки. Прикрепи по одной на сейф, стол и на раскладушку. Затем собери всю мою одежду и упакуй её в чемоданы (не забудь два старых военных плаща, мой дорогой), и также прикрепи к ним карточки, мой добрый Дейтс. Затем три раза рассеянно обернись, мой хороший Дейтс, и сотри небольшой пот. И затем — позволь мне взглянуть — затем, мой хороший Дейтс — что ещё? Почему же, это важно. Забери все бумаги всех видов, которые могут лежать повсюду в моей комнате, и приглядди, как они сгорят. И затем — старика Белое Копыто впряги в самый легкий фургон с фермы

и отправь вещи, стол, раскладушку и чемоданы к «Чёрному лебедю», где я прибуду к ним, когда буду готов, и не прежде, милый Дейтс. Да благословит тебя Бог, мой прекрасный, старый, невозмутимый Дейтс, и прощай!

«Твой прежний молодой хозяин,
ПЬЕР

«Nota bene_ — хорошо бы, заметить, Дейтс. Если моя мать вдруг прервет тебя, то скажи, что это — моё поручение, и упомяни, что это я послал; но ни в коем случае не показывай этого своей любимице — ты слышал?

Ещё раз ПЬЕР»

Сложив это небрежно написанное письмо в произвольную форму, Пьер приказал человеку немедленно передать его Дейтсу. Но человек, полностью озадаченный, колебался, вертя кусочек бумаги в своей руке, пока Пьера громко и яростно не прогнал его прочь; но поскольку человек сразу же убежал в панике, Пьер окликнул его и отрекся от своих грубых слов; но так как слуга опять задержался, возможно, решив воспользоваться этим извинением Пьера, чтобы выразить ему какое-то сочувствие или протест, Пьер удалил его с большей силой и заклеймил вслед.

Объявив столь же озадаченному старому хозяи-

ну, что определенные вещи будут в течение этого утра доставлены для него, Пьера, в Гостиницу, а также пожелав, чтобы тот на эту ночь подготовил для себя и жены номер, — какие-нибудь апартаменты с просторной смежной комнатой, которая могла бы служить гардеробом, и аналогичной комнатой для слуги, Пьер отбыл с места, оставив старого хозяина, рассеянно смотрящего на него и молча удивлявшемуся некоему ужасному происшествию, вскружившему голову его прекрасному молодому любимому и старому товарищу по стрельбе, Господину Пьеру.

Скоро невысокий старик вышел без шапки на низкое крыльцо Гостиницы, спустился на одну ступень, прошёл к середине дороги и начал высматривать Пьера. И как только Пьер оказался в конце переулка, его изумление и его забота нашли свой выход в таких словах.

«Я учил его — да, старый Бочонок; — лучший стрелок во всей округе это Господин Пьер; — молю Бога, чтобы он не поразил теперь „бычий глаз“[10] на себе самом. — Женат? женат? и прибыл сюда? — Это досадно и странно!»

---

10 Примечания: 10
Центр мишени (прим. пер.)

Книга XII
Изабель, г-жа Глендиннинг, портрети Люси

I

Стоит упомянуть, что когда предыдущей ночью Пьер оставил сельский дом, где скрывалась Изабель, то ни час, ни ночь, ни день, ни какого-либо особого времени вообще не было назначено для последующей встречи. Тогда как сама Изабель по некой несомненно необходимой собственной причине назначила первую встречу на первые тёмные часы.

Когда на небесах сияло полуденное солнце, к фермерскому дому Алверов приблизился Пьер, заметив Изабель, стоящую в стороне от небольшой молочной пристройки и занятую установкой вертикального ряда из множества сверкающих, похожих на щиты, молочных кастрюль на длинной полке, где они могли своей чистотой встретиться с солнцем. К нему она была повернута спиной. Как только Пьер прошел через открытую калитку и пересек короткий мягкий

зеленый газон, он подсознательно приглушил свои шаги и теперь встал сразу же позади своей сестры, тронув её плечо и остановившись.

Она встала, задрожала, быстро повернулась к нему, издав низкий, странный крик, и затем пристально и умоляюще посмотрела на него.

«Я смотрю, что всё несколько необычно, милая Изабель, не так ли?» — сказал, наконец, Пьер с вымученной и болезненной улыбкой.

«Мой брат, мой благословенный брат! — скажи — скажи мне — что произошло — что ты сделал? О! О! Я должна была предупредить тебя прежде, Пьер, Пьер; это — моя ошибка — моя, моя!»

«Что именно — твоя ошибка, милая Изабель?»

«Ты показал Изабель своей матери, Пьер».

«Нет, Изабель. Г-жа Глендиннинг вообще не знает твою тайну»

«Г-жа Глендиннинг? … это, … это же — твоя собственная мать, Пьер! Во имя небес, мой брат, объяснись. Не знает мою тайну, и всё же ты здесь появляешься так неожиданно, и с таким фатальным видом? Ну, пойдём со мной в дом. Быстрее, Пьер, почему ты не шевелишься? О, мой Бог! Если я сама иногда бываю безумной, то я должна сделать безумным того, кто любит меня больше

всех, и кто, я боюсь, в некотором роде разорвётся ради меня; — тогда позволь мне больше не стоять на этом дерне, но упасть и скрыться под ним! «Скажи мне!» — ловя руки Пьера обеими своими безумными руками — «скажи мне, меня разрывает узнать, как я выгляжу? У меня лицо Горгоны?»

«Нет, милая Изабель, но оно имеет бо́льшую силу: то лицо обратилось в камень, твоё же способно обратить белый мрамор в молоко матери»

«Иди со мной — иди скорей».

Они прошли в молочное отделение и сели на скамью возле пахнущей медом оконной створки.

«Пьер, пусть навсегда будет проклят день, когда моё сердце страстно позвало тебя ко мне, если теперь, в самой весенней поре связующей нас любви ты искусно замыслил поиграть со мной в обман, даже при том, что ты воображаешь, будто это делается ради моей пользы. Говори со мной; о, говори со мной, мой брат!»

«Ты видишь спрятанный за пользой обман. Теперь предположи, милая Изабель, что ни в коем случае я бы не был настроен обманывать тебя, — ни в коем случае — зачем тебе желать нам обоим благочестиво обманывать других ради их и нашего общего блага? — Ты ничего не говоришь.

Теперь, значит, это мой поворот, милая Изабель, для того, чтобы предложить тебе поговорить со мной, о, поговорить со мной!»

«Эта неизвестность при приближении всегда выглядит плохо, брат мой, поскольку неискренние герольды идут впереди её. О, Пьер, дорогой, дорогой Пьер; будь очень осторожен со мной! Эта наша странная, таинственная, невероятная любовь делает меня абсолютно мягкой глиной в твоей руке. Будь очень осторожен со мной. Я мало знаю о том, что находится вне меня самой. Весь мир предстает передо мной неизвестной Индией. Смотри выше, смотри на меня, Пьер; скажи теперь, что тебе хочется быть очень осторожным; скажи так, скажи так, Пьер!»

«Подобно тому, как тщательно обрабатывает мастер самую изящную и хрупкую генуэзскую филигрань; подобно тому, как священная природа тщательно сворачивает, согревает и немыслимым всесторонним вниманием окружает своих мельчайших и чудесных эмбрионов, так и я, Изабель, как можно более тщательно и как можно более нежно устраиваю для тебя самую нежную судьбу! За исключением великого Бога, Изабель, нет никого, кто будет более осторожным с тобой, бесконечно внимательным и нежным»

«Самими глубинами моего сердца я верю тебе, Пьер. Ты всё же можешь быть очень деликатным в некоторых делах, где утонченность не составляет всю основу, и в короткий импульсивный час ты упускаешь свой интерес настолько, что беспечность оказывается весьма фатальной. Нет, нет, мой брат; отбели эти белоснежные замки, ты — солнце! — даже если у меня есть какая-то мысль, упрекающая тебя, Пьер, или порождающая недоверие к тебе. Но серьезность иногда должна казаться подозрительной, никак не иначе. Пьер, Пьер, весь твой облик красноречиво говорит об уже исполненном внезапно родившемся решении. С тех пор, как я в последний раз видела тебя, Пьер, ты совершил что-то необратимое. Моя душа жестка и равнодушна к этому; теперь скажи мне, что это за дело?»

«Ты, я и Делли Алвер завтра утром отбываем из этих мест и едем в далекий город. — Вот в чём дело»

«Больше ничего?»

«Этого недостаточно?»

«Что-то большее, Пьер»

«Ты ещё не ответила на вопрос, который я задал тебе, но только сделай это сейчас. Вспомни о себе, Изабель. Нам с тобой обманывать других в делах,

полностью имеющих к нам отношение, — для них и нашей общей пользы. Разве нет?»

«Я сделаю всё, что не приведет к потере твоего прочного положения, Пьер. Что, по-твоему, ты и я должны делать вместе? Я жду; я жду!»

«Давай войдем в комнату с двойной оконной створкой, моя сестра», — сказал Пьер, вставая.

«Нет, потом; если ты не можешь сказать об этом здесь, тогда я нигде не смогу этого узнать, брат мой; ведь это навредит тебе»

«Девочка!» — сурово вскричал Пьер, — «а если я буду для тебя потерян?» — но сдержался.

«Потерян? для меня? Тогда это будет настоящим мраком для меня. Пьер! Пьер!»

«Я был глуп, и искал способ, как не напугать тебя, сестра моя. Это было очень глупо. Теперь продолжай свою невинную работу здесь, и я приеду снова через несколько часов. Позволь мне сейчас уйти»

Пока он поворачивался, Изабель проскочила перед ним, обхватила его обеими руками и удерживала их так судорожно, что её волосы обмотались вокруг его тела и наполовину скрыли его.

«Пьер, если действительно моя душа накрыла тебя самой чёрной тенью, то тогда это всего

лишь мои волосы, наброшенные на тебя; если ты потерял что-то из-за меня, тогда навечно Изабель потеряна для Изабель, и Изабель не переживет это ночь. Если я действительно стану проклятием, то я не буду играть такую роль, — не обманывая свой дух, и умру от этого. Смотри: я позволяю тебе уйти во избежание малейшего яда. Я не знаю, как иначе очистить тебя от меня»

Она медленно свисала и трепетала из-за него. Но Пьер поймал ее и удержал.

«Глупый, глупый! Смотри, как в самом физическом проявлении чувств ты держишься за меня, ты действительно раскачиваешься и падаешь, — это неоспоримый символ обязательной сердечной стойкости, я твой, моя милая, милая Изабель! Пустая болтовня не приводит к расставанию»

«Что ты потерял из-за меня? Скажи мне!»

«Выгодная потеря, моя сестра!»

«Это простая риторика! Что ты потерял?»

«Ничего, что могла бы теперь вспомнить глубина моего сердца. Я купил сокровенную любовь и славу ценой, которую, будь она большая или маленькая, я теперь не вернул бы себе, а поэтому я должен вернуть купленную вещь»

«Тогда любовь это холод, и слава это бледность?

Твоя щека снежная, Пьер»

«Так и должно быть, и поскольку я доверяю божьим словам о моей чистоте, то позвольте миру думать, что так оно и есть»

«Что ты потерял?»

«Не тебя, не честь и не славу от постоянной любви к тебе и возможности всегда быть тебе братом, моя прекраснейшая сестра. Нет, почему ты теперь отворачиваешь своё лицо от меня?»

«При помощи красивых слов он подлизывается ко мне и уговаривает меня, чтобы я не узнала некую тайну. Иди, иди, Пьер, придёшь ко мне, когда захочешь. Я теперь тверда как сталь перед самым худшим, и перед самым последним. Я снова говорю тебе, что сделаю любую вещь — да, любую вещь, которую велит Пьер — хотя и внешне унижающую нас, но, тем не менее, соединенную с твоим глубоким желанием быть осторожным, очень бережным со мной, Пьер»

«Ты создана из того прекрасного, незыблемого материала, из которого Бог делает своих серафимов. Но твоя божественная преданность мне сближает меня с тобой. Хорошо, что ты можешь доверять мне, Изабель; и, каким бы странным не было доверие, я всё же могу сделать это предложение тебе, твоей вере, — разве она не под-

твердит мои слова? Конечно, тебя не смутит погружение, когда я погружусь первым — когда я уже погружён! теперь ты не можешь остаться на берегу. Слушай, слушай меня. — Я не стремлюсь теперь получить твое предшествующее согласие на то, что уже отменено; но я взываю к тебе сейчас, Изабель, из сути заранее принятого решения, одобрить его задним числом. Не смотри на меня так тяжко. Послушай. Я скажу все, Изабель, несмотря на всю твою боязнь ранить какое-либо живое существо и, меньше всего, своего брата. Тем не менее, твоё истинное сердце не знакомо с бесчисленными союзами и слияниями между людьми, бесконечными связями между всеми социумами, которые запрещают одной нити управлять общей тканью из-за неких новых обязательств, не позволяющих разорвать меня самого и не порвать с другими. Послушай. Из-за всего, что произошло до этого момента, и всего, что ещё может произойти, некое внезапное воодушевление теперь уверяет меня в неизбежности процесса, начавшегося в первый же час, когда я увидел тебя. Но возможно, что это так, а, может, иначе. Поэтому я чувствую, что у меня есть немного терпения. Послушай. Независимо от внешних вещей, способных повлиять на тебя,

независимо от самых ярких кажущихся благословений, жить сейчас неуспокоенным, без любви к тебе, Изабель, жить сейчас внутри страны вдали от тебя, так, чтобы только втихую и, в основном, при потворстве ночи, иметь возможность приезжать к тебе как твой кровный брат, — это было бы совсем невозможно. Укрывшаяся на моей груди гадюка, состоящая из собственного осуждения и собственного бесчестия, никогда не оставит след от своего жала. Послушай. Но без необоснованного позора на памяти, которая — правильно или нет — для меня всегда священна и нерушима, я не могу в открытую быть тебе братом, Изабель.

Но ты не хочешь открытости, поскольку ты не тоскуешь по номинально пустой, но житейской реальности; то, что ты хочешь, это не случайная открытость моей братской любви, а вера в её внутреннее постоянство. Разве я не говорил с тобой о сердечных тайнах? скажи, Изабель? Вот и хорошо, что ты всё ещё слушаешь меня. Один единственный путь лежит перед нами, самый необычный путь, Изабель; для мира, никогда не пульсировавшего для тебя любовью, по большому счёту, это обманчивый путь; но для всех это путь безопасный, настолько безопасный в своей сущности, Изабель, что, мне кажется, Пьер кон-

сультировался насчёт него с самими небесами, и сами небеса не сказали НЕТ. Однако, послушай меня; отметь это. Тебе известно, что ты теперь зачахнешь и умрешь без меня, как и я без тебя. Мы будем равны там; отметь это тоже, Изабель. Я не склоняюсь перед тобой, и ты не склоняешься передо мной; но мы оба достигаем одинаково великолепного идеала! Сейчас постоянство, скрытность так же, как и всегда составляют основу нашей любви. О чём нам лучше всего стоит подумать, чтобы никак не подвергнуть опасности священную память, на которую я намекнул? Один путь — один путь — только один! Странный путь, но самый чистый. Послушай. Готовься: здесь, позволь мне теперь удержать тебя, а затем нашептать его тебе, Изабель. Ну, я держу тебя, ты не сможешь упасть»

Он с трепетом держал её; она склонилась к нему; его рот дышал влагой в её ухо; он шептал ей.

Девушка не двигалась; дрожа всем телом, она прильнула к нему с невыразимой странностью глубочайшей любви, новой и необъяснимой. На лице Пьера отобразилось его собственное ужасное откровение; он повторно отпечатал на ней горячие поцелуи, сильно сжимая её руку

и не выпуская её из сладкой и ужасной покорности.

Затем они поменялись местами; слитые воедино, они, смущенные, молча продолжали стоять.

II

Г-жа Глендиннинг ходила по своей комнате; платье её было распущено.

«И эта проклятая мерзость должна была произойти от меня! Теперь язвительный мир скажет — Посмотрите на мерзкого мальчишку Мэри Глендиннинг! — Лживый! наполненный грехом там, где, как я полагала, было простодушие и самое искреннее послушание. Этого не произошло! Это уже не день! Если дела обстоят так, то я должна сойти с ума, запереться и не ходить здесь, где каждая дверь открыта для меня. — Мой собственный единственный сын женился на неизвестной — вот! Мой собственный единственный сын, прилюдно помолвленный, нарушил свою самую святую клятву, — и весь мир знает об этом! Он носит мое имя — Глендиннинг. Я не признаю его; если бы оно было платьем, я сорвала бы с себя свое имя и сожгла бы его дотла! — Пьер! Пьер! вернись, вернись и поклянись, что это не так! Этого не может быть! Погодите: я позвоню в зво-

нок и посмотрю, если это так»

Она с силой подергала звонок и вскоре услышала стук в ответ.

«Войди! — Нет, без колебаний»; (набросив на себя платок), — «войди. Стой там и скажи, если ты мне предан, что мой сын был в этом доме этим утром и встретил меня на лестнице. Ты все верно говоришь?»

Дейтс выглядел сбитым с толку из-за её столь непривычного вида.

«Скажи это! найди свой язык! Или я вырву его и брошу в тебя! Скажи это!»

«Моя дорогая госпожа!»

«Я не твоя госпожа! Но ты мой хозяин; из-за того, что ты будешь говорить так, ты доведешь меня до безумия. — О, мерзкий мальчик! — Прочь от меня!»

Она захлопнула дверь перед ним и быстро и встревоженно зашагала по своей комнате. Остановилась и опустила вниз занавески, закрыв солнечным лучам путь из обоих окон.

Другой, но не требовательный стук, раздался за дверью. Она открыла её.

«Моя госпожа, его Преподобие стоит внизу. Я не позвал бы вас, но он настаивал»

«Пусть он войдёт»

«Сюда? Немедленно?»

«Ты слышал меня? Пусть г-н Фелсгрэйв войдет».

Как будто внезапно оповещенный Дейтсом о бурном настроении г-жи Глендиннинг, священнослужитель вошел в открытую дверь её комнаты с великим извинением, но с откровенной неохотой и боязнью неизвестности.

«Присаживайтесь, сэр; стойте, закройте дверь и заприте её».

«Мадам!»

«Я сделаю это. Присаживайтесь. Вы видели его?»

«Кого, мадам? — Господина Пьера?»

«Его! — скорее!»

«Чтобы поговорить о нём, я и приехал, госпожа. Он нанес мне самый необычный визит вчера вечером — в полночь»

«И вы поженили его? — Будьте вы прокляты!»

«Нет, нет, нет, мадам; здесь что-то есть, я не знаю — я приехал рассказать вам новости, но у вас для меня есть нечто ошеломительное»

«Я не прошу о каком-либо прощении, но я могу сожалеть. Г-н Фелсгрэйв, мой сын, будучи публично помолвленным с Люси Тартэн, тайно женился на некой другой девушке — какой-то шлюхе!»

«Это невозможно!»

«Верно, как и то, что вы здесь. Вы тогда ничего не узнали от него?»

«Ничего, ничего — до сих пор ни крошки. Кто та, на ком он женился?»

«Какая-то шлюха, говорю я вам! — Я сейчас не леди, а что-то более серьезное, — я — женщина! — женщина оскорбленная и с отравленной гордостью!»

Она быстро отвернулась от него и снова зашагала по комнате, будучи в бешенстве, и абсолютно независимо от чьего-либо присутствия. В тщетном ожидании паузы г-н Фелсгрэйв осторожно приблизился к ней и с глубочайшим, почти раболепным, уважением сказал:

«Это — ваш час горя, и я признаю, что мое одеяние, к сожалению, не принесло вам утешения на некоторое время. Разрешите мне уйти от вас, оставив вам мои сильные мольбы о вас, и о том, что вы сможете познать некий мир, прежде чем зайдет скрывшееся сейчас солнце. Посылайте за мной всякий раз, когда будете нуждаться во мне. — Теперь я могу уйти?»

«Прочь! и позвольте мне не слышать ваш мягкий, жеманный голос, который позорит человека! Прочь, вы беспомощны и бесполезны!»

Она снова быстро зашагала по комнате, наскоро бормоча про себя. «Теперь, теперь, теперь, теперь я вижу его более ясно, более ясно — теперь уже ясно как день! Мое первое туманное подозрение указало на правду! — так оно и есть! Да — шитье! это было шитье! — Вопль! — Я увидела, как он пристально и в упор смотрел на неё. Он не сказал, что пойдет со мной домой. Я обвинила его в его молчании, он оттолкнул меня с ложью, ложью, ложью! Да, да, он женат на ней, на ней! — возможно, уже тогда был женат. И все же, — и все же, — как это может быть? — Люси, Люси — я видела его после этого, глядящего на ее так, как будто он был бы рад умереть за неё и идти ради неё в ад, где ему и место! — О! о! о! Так безжалостно всё оборвать, с такой грубостью, будучи законным наследником благородной фамилии! Смешение отборного вина с отвратительной водой из плебейского бассейна с чрезвычайно возросшим безразличием! — О, гадюка! был бы ты сейчас во мне, я с одним ударом превратилась бы в убийцу и самоубийцу!»

Раздался третий удар в дверь. Она открыла её.

«Моя госпожа, я думал, что это потревожит вас, — если что-то из вещей осталось наверху, —

так это потому, что я ещё не удалил их»

«Распутай свою тарабарщину! — о чем ты?»

«Прошу прощения, моя госпожа, я так или иначе думаю, что вы знали это, но вы не можете…»

«Что это за скомканное письмо в твоей руке? Дай его мне»

«Я обещал моему молодому хозяину не давать, моя госпожа»

«Тогда я схвачу его, и ты останешься невиноватым. — Что? что? что? — Он определенно безумен! — „Прекрасный старина Дейтс“ — что? что? — безумный и весёлый! — поклажа? — одежда? — багаж? — он хочет их? — Выброси их из его окна! — и если он стоит прямо внизу, сбрось их! Разбери всю эту комнату. Разорви ковер. Я клянусь, он не должен оставить не малейшей вещи в этом доме. — Здесь! Это как раз здесь — здесь, здесь, где я стою, он, возможно, стоял, — да, он связал здесь мой шнурок, это скользкий угорь! Дейтс!»

«Моя госпожа».

«Выполни его указания. Словно рикошетом он ославил меня во всем мире, и я тоже ославлю его. Послушай и не вводи самого себя в заблуждение, что я сошла с ума. Пойди вон туда в комнату (указывая вверх) и удали все его вещи, что им

описаны, и куда он предложил тебе снести сундук и чемоданы, туда и снеси все содержимое этой комнаты»

«Это должно стоять перед домом — этим домом!»

«Если бы этого там не было, я бы не приказала тебе сложить всё там. Остолоп! В мире должны знать, что я отрекаюсь и презираю его! Такова моя оценка! — Постой. Не трогай в комнате ничего, кроме того, что он просит»

«Да, моя госпожа»

Как только Дейтс оставил комнату, г-жа Глендиннинг снова быстро зашагала по ней и снова быстро забормотала: «Если бы я теперь была менее сильной и надменной женщиной, то приступ уже прошёл бы. Но глубокие вулканы пылают долго, они прожигают насквозь. — О, если бы мир был сделан из такого покорного материала, мы смогли бы безрассудно исполнить самое пламенное желание нашего сердца перед его лицом, и не колеблясь. Будь прокляты четыре слога, составляющие мерзкое слово Уместность. Это — цепь и звонок, связанные вместе, — связанные? Как это звучит? Всё связано — его багаж — путешественник — вынести. О, если бы я смогла так вытянуть мое сердце, как рыбаки — утоплен-

ника, то я смогла бы вытащить мое затонувшее счастье! Мальчик! мальчик! Для меня это хуже, чем истекающий каплями утопленник, — утонувший в ледяном позоре! О! о! о!»

Она бросилась на кровать, закрыла свое лицо, и лежала неподвижно.

Но внезапно снова встала и поспешно позвонила в звонок.

«Открой этот стол и вытяни для меня столешницу. Теперь подожди и возьми это для мисс Люси»

Карандашом она быстро вывела следующие строки: «Мое сердце кровоточит из-за тебя, милая Люси. Я не могу говорить — я знаю всё. Увидишь меня в первый же час, как только я приду в себя»

Она снова бросилась на кровать, и продолжила лежать без движения.

III

Этим же вечером на закате Пьер стоял в одной из трех комнат в «Чёрном лебеде» перед покрытой синим ситцем поклажей и письменным столом. Руками он нетерпеливо рылся в карманах.

«Ключ! ключ! Если его нет, тогда придется взламывать. Это тоже дурное предзнаменование.

Всё же, как здорово, что некоторые банкиры могут взломать свои собственные хранилища, когда другие средства становятся бесполезными. Но так всегда и происходит. Позвольте взглянуть, — да, щипцы там. Теперь уже ради сладкого вида золота и серебра. Я никогда не любил это до сего дня. Сколько же времени это копилось: небольшими символическими частями, годами, от тёток, дядей, неисчислимых кузенов, и от… — но не буду упоминать их, умерших перед моим появлением! Уверен, ещё будет премия за такое древнее золото. Есть несколько больших кусков, пришедших по частям ко мне — я не называю их — больше, чем полвека назад. Ну, хорошо, я никогда не думал отбросить их назад в противные круговороты, откуда они прибыли. Но если они должны быть потрачены, то сейчас самое время, в этом последняя необходимость, и в этом священная причина. «В этом наибольшая глупость, дуболом. Хой! так! ах, теперь к нему — змеиному гнезду!»

Внезапно и с силой откинувшись назад, крышка сундука столь же внезапно открыла ему портрет на стуле, лежащий поверху всего остального, и который он спрятал несколько дней назад. Подняв взгляд, он встретился с его мол-

чаливой, нечем неописуемой и неоднозначной, неизменной улыбкой. Теперь первое отвращение усилилось абсолютно новой эмоцией. Эта конкретная потаённая черта лица в портрете, которая при странном перемещении смешалась с совсем другой, более милой и более благородной, была заметна в выражении лица Изабель; теперь же эта черта лица в портрете была, так или иначе, отвратительна, нет, невыразимо отвратительна для Пьера. Он не спорил с собой, поскольку всё так и было; он чувствовал только это, и весьма остро.

Опуская самую тонкую часть исследования этой деликатной темы, будет достаточно намекнуть, что, возможно, одним из источников этого нового отвращения стало простое и бессознательное возвышение одной из тех глубоких идей, которые время от времени воздушным путем и, в самом деле, самостоятельно проникают даже в весьма обычные умы. В странном родстве, привязанности и схожести между портретом давно почившего отца и лицом живой дочери, Пьеру, казалось, виделись отражения, слившиеся в очевидных и покорных тирании символов Времени и Судьбы. Написанный прежде, чем дочь была зачата и рождена, словно немой провидец, порт-

рет всё ещё казался указующим пророческим перстом в той пустоте, из которой, наконец, действительно появилась Изабель. Там, на картине, казалось, пряталось некое мистическое послание и энергия; потому что, с тех пор как он помнил своего отца, Пьер не мог вспомнить какую-либо отличительную черту его лица, передавшуюся Изабель, но неопределенно разглядел таковую в портрете; поэтому не родитель Пьера как-то припоминался ему, а сам написанный портрет казался настоящим отцом Изабель; и из-за того, что все чувства обострились, в Изабель проявилась одна специфическая черта, никому, кроме как ему, не приписываемая.

И если его отец теперь стремился покинуть его сознание, как великая горечь, оказавшаяся там, то Изабель стала для него предметом горячей и тревожной любви; поэтому ему был отвратителен он, этот улыбающийся и загадочный портрет, и поэтому его сладкое жалкое изображение стало зловещим, угрюмым, несочетаемым и уродующим его самого.

Когда прошёл первый шок, а потом закончилась пауза, он поднял портрет обеими руками и отодвинул него.

«Он не должен жить. До сего момента я тайно

хранил сувениры и памятники из прошлого, был адептом всех семейных реликвий, влюбленным регистратором писем из далека, волосяных локонов, отрезков лент, цветов и тысячи и одной мелочей, насчет которых любовь и память полагают, что они священны, — но сейчас с этим покончено навсегда! Если моей памяти и будет впредь что-то дорого, то я не буду мумией в этом принимающих посетителей мемориале, собирающей каждую пылинку для проходящего нищего. Музей любви тщетен и глуп, как катакомбы, где забальзамированы усмехающиеся обезьяны и презренные ящерицы, как, воистину, символы некоего воображаемого очарования. Это говорит просто о распаде, смерти и чём-то большем; распаде и смерти неисчислимых бесконечных поколений, слепленных из земли по одному лекалу. Как неживое может быть пригодным для памятника жизни? — По сию пору это случается из-за самой сладости сувениров. Что до остального — теперь я знаю, что в самых обычных хрониках сумеречный факт смерти неким таинственным путем сначала раскрывает все двусмысленности ушедших вещей или человека; косвенно она подбрасывает намеки и создает основу для предположений и вечной

неспособности к очищению. Повелением Господа Всемогущего Смерть должна быть последней сценой последнего акта человеческой пьесы — пьесы, которая начинается, как обычно, в виде фарса или комедии, и всегда сводится к своему трагическому концу; занавес неизбежно падает на труп.

Поэтому я никогда не буду играть мерзкого пигмея и при помощи маленьких посмертных памятников пытаться полностью изменить декрет о смерти при помощи плохого увековечивания изображения оригинала. Позвольте всем умереть и заново смешаться! Что касается этого — этого! — почему я должен и дальше хранить его? Зачем хранить то, на что не может смотреть больной? Если я решил оставить его в общественной памяти неосквернённым, — тогда я уничтожу эту вещь только из-за одного этого великого и бескорыстного доказательства обвинения, мистика которого ведет меня к безумию. — Со старых эллинских времен, прежде чем мозг человека попадал в плен любовного безумия, отбеленные и перемолотые в Бэконовских жерновах его четыре конечности теряли свой варварский загар и красоту. Когда-то весь мир кругом был новым, розовым и пряным, как только что сорванное

яблоко, — теперь всё поникло! — в дерзновенные времена великих мертвых не укладывали, подобно индейке, в ямки и не подавали с гарниром в виде земли для насыщения такого проклятого каннибала, как Циклоп; но побуждаемая благородным духом соперничества Жизнь обманывала прожорливого червя и великолепно сожженный труп, потому что этот дух указывал вверх и явно раскалывал небеса!

«Итак, теперь я послужу тебе. Хотя та солидность, с которой написана несолидная копия, долго шла к своему отвратительному кладбищенскому месту, — и пусть Бог знает! но для одной твоей составляющей это, пожалуй, вполне подходящая ревизия, — пожалуй, теперь я второй раз увижу твои похороны, твое сожжение и урну твою в большой воздушной вазе! Теперь уходи!»

Чтобы прогреть долго стоявшую запертой комнату в очаге был разожжен небольшой дровяной огонь; теперь он уменьшился до маленькой четкой кучки пылающих и тлеющих угольков. Отделив и расчленив позолоченную, но запятнанную раму, Пьер положил четыре её части на угли и, как только их сухость поймала искры, он скатал холст обратно в свиток, связал его и предал теперь уже трескучему, шумному

пламени. Пьер стойко следил за первым хрустом и почернением написанного холста, но привстал, когда тот внезапно развернулся из-за сожженной бечевки, которая его связывала, и в течение одного краткого мгновения, сквозь пламя и дым разглядел портрет, который в неописуемой муке и ужасе с мольбой уставился на него, а затем, превратившись в одну широкую огненную полосу из горящего масла, исчез навсегда.

Уступая внезапному своевольному импульсу, Пьер сунул было руку в середину огня, чтобы спасти умоляющее лицо, но так же быстро одернул её, ничем не защищенную и уже опаленную. Его рука была обожжена и почернела, но он не заметил этого.

Он отбежал к сундуку и, снова схватив связки с семейными письмами и всевозможными газетными вырезками, по очереди побросал их в огонь.

«Вот так, вот так и вот так! на твою гриву я бросаю новые останки; вылить всю мою память одним махом! — Вот так, вот так и вот так — вниз, вниз, вниз; теперь всё сделано, и всё — пепел! Впредь бросьте Пьера, не имеющего отцовства и прошлого; и с этих пор будущее — один чистый лист для всего; поэтому дважды лишенный на-

следства Пьер не сдерживает свою способность быть вездесущим! — он вправе творить своё собственное своеволие и вообразить для себя какой угодно конец!»

IV

На закате того же дня Люси лежала в своей комнате. Раздался стук в дверь, и открывшую её Марту встретило самоуверенное и решительное лицо г-жи Глендиннинг.

«Как чувствует себя твоя молодая госпожа, Марта? Могу я войти?»

Но, не дожидаясь ответа, она на одном дыхании прошла мимо девушки и решительно вошла в комнату.

Она села у кровати и увидела открытый взгляд, но сомкнутые и бледные губы Люси. Одно мгновенье она пристально и с любопытством смотрела, затем быстро перевела ошеломленный взгляд на Марту, как будто ища оправдание для некой трепещущей мысли.

«Мисс Люси» — сказала Марта — «это… вас… это — г-жа Глендиннинг. Поговорите с ней, мисс Люси»

Как будто оставленная в последней беспомощной позе из-за некоего истощившего и согнувше-

го её горя, Люси лежала в постели не в обычном положении, а наполовину поперёк, со стопкой подушек, поддерживавшей её бесцветное тело, прикрытое только одной простыней, как будто нагрузка на её сердце была столь велика, что белое тело не могло выдержать даже лишнего перышка. И подобно тому как у любой белоснежной мраморной статуи драпировка цепляется за её конечности, так и оказавшееся здесь плотное, тонкое, очерчивающее тело полотно окутывало Люси.

«Это — г-жа Глендиннинг. Вы будете говорить с нею, мисс Люси?»

Тонкие губы пошевелились и на мгновение задрожали, затем снова стали неподвижны, и усилившаяся бледность покрыла её.

Марта принесла взбадривающее средство и, когда всё стало как прежде, она подала леди знак, что уходит, и шёпотом сказала: «Она ни с кем не будет говорить; она не говорит со мной. Доктор только что уехал — с утра он был здесь пять раз — и говорит, что она должна быть в полном покое» — Затем, указывая на поднос, добавила, — «Вы видите то, что он оставил — простое восстанавливающее. Покой теперь — её лучшее лекарство, говорит он. Тихо, тихо, тихо! О, слад-

кая тишина, когда вы теперь придёте?»

«Г-жа Тартэн может написать?» — прошептала леди. Марта кивнула.

Затем леди поднялась, чтобы оставить комнату, сказав, что раз в два часа она будет посылать узнать, как поживает Люси.

«Но где, где её тётя, Марта?» — воскликнула она, почтительно остановившись в дверях и с внезапным удивлением оглядывая комнату, — «конечно, конечно, г-жа Лэниллин…»

«Бедная, бедная старая леди», — сквозь слезы прошептала Марта, — «она заразилась горем от милой Люси; она спешила сюда, мельком увидела её в этой кровати и упала как мёртвая на пол. У доктора теперь два пациента, леди», — глядя на кровать и внимательно наблюдая за грудью Люси, чтобы заметить, если та начнёт вздыматься; «Увы! Увы! о, змея! змея! — что смогла ужалить столь нежную грудь! огонь был бы слишком холодным для него — проклятый!»

«Твой собственный язык поганит твой же рот!» — вскричала г-жа Глендиннинг наполовину подавленным шепотом. — «Не тебе, наемной служанке, поносить моего сына, будь он даже Люцифером, варящимся в Аду! Поменяй свои манеры, дерзкая девчонка!»

И она покинула палату, раздвинувшуюся от её несокрушимой гордости, оставив Марту, ошеломлённую той злобой, что обнаружилась под внешней красотой.

Книга XIII
Они покидают луга

I

Настал уже полный сумрак, когда Пьер приехал к сельскому дому Алверов в фургоне, принадлежащем «Черному лебедю». Он встретил свою сестру, надевшую шаль и капот, на крыльце.

«Сейчас уже всё готово, Изабель? Где Делли? Я вижу две совсем маленьких и незаметных сумки. Это крошечный багаж, в котором уложен скарб непризнанных людей! Фургон ждет, Изабель. Уже всё готово? и ничего не оставлено?»

«Ничего, Пьер; в результате — ничего — но я не буду думать об этом; все предопределено»

«Делли! где она? Давай займёмся ею», — сказал Пьер, ловя руку Изабель и быстро оборачиваясь. Как только он наполовину вывел её из слабо освещенного входа и затем отпустил её, дотронувшись до засова внутренней двери, Изабель остановила его, как будто удерживая и упреждая его действия относительно Делли; но внезапно она сделала шаг и мгновенно с нетерпением

указала на его правую руку, оказавшуюся почти полусогнутой.

«Это пустяки. Я не ранен; легкий ожог — простейший и случайный ожог этим утром. Но что это?» — добавил он, подняв свою руку повыше, — «дым! сажа! это произошло из-за движения в темноте; при солнечном свете я увидел бы его. Но я не запачкал тебя, Изабель?»

Изабель подняла руку и показала пятно. — «Но оно от тебя, брат мой, а я готова заразиться от тебя хоть чумой, чтобы она не разделила нас. Почисти свою руку; позволь мне самой»

«Делли! Делли!» — прокричал Пьер — «почему я не могу прийти к ней, или, может, привести её силой?»

Приложив палец к своей губе, Изабель аккуратно открыла дверь и показала интересующую его особу, сидевшую на стуле, закутавшуюся и повернувшуюся спиной.

«Не говори с нею, мой брат», — прошептала Изабель, — «и пока ещё не пытайся увидеть её лицо. Это уже проходит, ждать недолго, я верю. Ну, мы пойдем теперь? Поддержи Делли, но не говори с нею. Я предлагаю всем попрощаться; старики находятся вон в той комнате сзади; я довольна, что они приняли решение не выходить,

уделив внимание нашему дальнейшему движению. Поедем сейчас, как можно быстрее, Пьер; это — время суток, которое я не люблю; пусть оно пройдёт быстрее»

Вскоре все трое вошли в гостиницу. Зажегши огни, Пьер проследовал вперед и наверх и проводил обеих своих компаньонок в одну из двух наиболее удаленных комнат в номере, состоящем из трех смежных помещений, подготовленных для всех.

«Взгляните», — обратился он к немой и всё ещё отвернувшейся фигуре Делли, — «взгляните, это — ваша комната, мисс Алвер; Изабель рассказала вам всё; вы знаете о нашем пока ещё тайном браке; она теперь останется с вами, пока я не вернусь после небольшого дела внизу на улице. Завтра, как вы знаете, мы выступаем очень рано. Я могу не увидеть вас сегодня снова, поэтому будьте тверды и немного приободритесь, мисс Алвер, и спокойной ночи. Всё будет хорошо»

II

Следующим утром, на рассвете, в четыре часа, четыре быстрых лошади перевоплотились в четырех нетерпеливых лошадей, которые трясли своими сбруями под окнами гостиницы. Три фи-

гуры появились в прохладном тумане и заняли свои места в повозке.

Когда старый хозяин с молчаливым и подавленным видом пожал руку Пьеру, самовлюбленный кучер уже сидел на своей коробке, вращением устанавливая четыре узды между пальцами своих перчаток из оленьей кожи, а обычная немногочисленная компания из восхищенных конюхов и других ранних зрителей собралась у подъезда, тогда, — по мнению его компаньонов — целиком стремясь сократить какую-либо тщетную задержку в таком мучительном кризисе, Пьер резким криком велел кучеру ехать. Через мгновение четыре молодых вскормленных лугами лошади рванулись вперед своими собственными благородными корпусами, и четыре послушных колеса стали описывать собой полные круги, в то время как позади, выписывая широкие завитки своим кнутом, ликующий кучер уже казался бравым героем, ставящим свою показную прощальную роспись в воздушной пустоте. И вот, в туманном рассвете — и с вызывающим треском этого длинного и свистящего кнута, троица навсегда исчезла со сладких полей Оседланных Лугов.

Старый низкорослый хозяин какое-то время

пристально смотрел вслед кучеру, а затем, вернувшись в гостиницу, погладил свою седую бороду и пробормотал про себя: «Я содержу этот дом уже тридцать три года, и множество свадебных вечеринок приходит и уходит; в их длинных вереницах из фургонов, развалюх, детских колясок, концертов — весёлые и хохочущие процессии — Ха! — тут прямо-таки каламбур[11]! выскочило, как пробка. — Да, бывало и в тележках, запряженных волами, со всеми гирляндами; да, и однажды весёлая невеста была уложена спать на копне душистого свежескошенного клевера. Но такой свадебный приём как этим утром — почему-то столь же печален, как похороны. И славный господин Пьер Глендиннинг — жених! Ну, хорошо, это всё — чудеса. Я думал, что задавался этим вопросом, когда прошел пятидесятилетний рубеж, но всё ещё продолжаю об этом думать. Ах, так или иначе, но теперь я чувствую, как будто только что пришёл с церемонии опускания какого-нибудь старого друга ниже уровня дёрна, и всё ещё чувствую на своих ладонях раздражающие следы от шнура. — Рановато, но я выпью. Давайте посмотрим: сидр — кружка сидра — он резкий

---

11 Примечания: 11
Игра слов (англ.): Gig — концерт и Gigg — двуколка (прим. пер.)

и колет, как шпора бойцового петуха, сидр — напиток в горький час. О, Боже! эти толстяки должны быть такими ранимыми и страдающими из-за чистой симпатии к другим. Ранимый, худой человек так не страдает, потому что у него не так много материала из-за покрывающей его тонкой кожи. Ну, хорошо, ну, в общем, хорошо, хорошо; из всех видов колик упаси меня от меланхолических; зелёные арбузы это самые зелёные вещи на свете!»

Книга XIV
Поездка и брошюра

I

Всем глубоким мыслям и их эмоциональным проявлениям предшествует Тишина, они же в ней и существуют. Это та самая тишина, которая предшествует ответу «Да» бледной невесты на торжественный вопрос священника «Берете ли вы мужья этого человека?» Также в тишине сжимаются супружеские руки. Да, младенец Христос появился на свет в тишине. Тишина — всеобщая святыня вселенной. Тишина — невидимое наложение рук Божественного Понтифика на мир. Тишина — одновременно самое безопасное и самое ужасное свойство природы. Она говорит о Скрытых Силах Судьбы. Тишина — единственный Голос нашего Бога.

Но не такова Тишина в августе, ограниченная большими и влияющими напрямую событиями. Как и воздух, Тишина проникает во всё сущее и создает магическую силу точно также, как во время того специфического настроя, который

в начале поездки преобладает в окружающей уединенного путешественника обстановке, подобной той, где в невообразимое время, прежде чем появился мир, Тишина была погружена в раздумья над зеркалом вод.

Ни одного слова не произнесли обитатели повозки, пока она несла нашего молодого Энтузиаста, Пьера, и его скорбная вечеринка также неслась дальше через туманный рассвет в глубокой полночи, которая все еще охватывала, не отторгая, сердца старых лесов, прорезаемых дорогой уже весьма вскоре после отъезда из деревни.

Входя в экипаж первым, Пьер, чтобы удержаться на своем пути, оперся рукой на уютное место и пальцы его встретились с некими мятыми листами бумаги. Он инстинктивно сжал их; и тот же самый странный, охвативший его душевный настрой, который инстинктивно заставил его это сделать, также настоял на том, чтобы теперь заставить сохранить мятую бумагу в своей руке в течение часа и более в той замечательной напряженной тишине, которую быстрый экипаж проносил через сердцевину всеобщей неподвижной утренней тишины полей и лесов.

Его мысли были очень мрачными и дики-

ми из-за того, что в его душе бушевали бунт, ужасная анархия и неверие. Этот современный настрой мог быть лучше всего уподоблен тому настрою, который — согласно необыкновенной истории, однажды рассказанной с кафедры божьим проповедником — вторгся в сердце доброго священника. В облачный воскресный полдень посреди торжественного собора этот священник занимался публичной раздачей причащенного хлеба к ужину, когда Первобытное Зло внезапно предоставило ему возможность запросто обсуждать Христианскую Религию. Вот таким сейчас было настроение Пьера: ему Первобытное Зло предложило обсудить возможность отказаться от своего Энтузиазма. Зло кричало на него и называло дураком. Но ревностной и серьезной молитвой — закрыв оба глаза, всё ещё держа обеими руками священный хлеб — набожный священник победил нечестивого дьявола. Но с Пьером дела обстояли не так. Нерушимый памятник его святой Католической церкви, нетленные библейские тексты, неизменная проницательность изначальных христианских истин, — они были неразрушимыми якорями, при помощи которых священник всё ещё держался за свою непоколебимую Судьбоносную скалу,

когда внезапный шторм, поднятый Первобытным Злом, обрушился на него. Но Пьер — где мог он найти церковь, памятник, Библию, которые недвусмысленно сказали бы ему — «Продолжай; ты в Праве; я поддерживаю тебя на всем пути; продолжай» Поэтому различие между Священником и Пьером было таковым: у священника стоял вопрос, верны или неверны были определённые бестелесные мысли о нём, а у Пьера стоял вопрос, были ли правильными или неправильными определенные действия в его жизни. В этом небольшом орехе, подобно зародышу, лежало возможное решение некоторых головоломок, а также открытие дополнительных и еще более глубоких проблем, вытекающих из решения первых. Эта истина находит своё подтверждение в прошлом, когда некоторые люди отказывались разрешать какой-либо существующий вопрос из-за страха создания для себя ещё больших трудностей на пути его решения.

Теперь, когда Пьер думал о волшебном, жалобном письме от Изабель, он вспоминал божественное вдохновение того часа, когда героические слова вырывались из его сердца — «Успокоит тебя, поддержит тебя и бороться за тебя будет твой внезапно признанный брат!» Эти воспоминания

сами собой развернулись в его душе с гордым ликованием, и из-за вида таких великолепных знамен Достоинства, косолапое Первобытное Зло, испытывая тревогу, плелось вдалеке. Но теперь к нему пришел страх из-за фатального разрыва с матерью; он снова услышал запретные для сердца слова — «Под моей крышей и за моим столом тот, кто был когда-то Пьером Глендиннингом, никогда более не появится», и вспомнил упавшую в обморок в своей белоснежной постели безжизненную Люси, лежащую перед ним, словно обернутую отраженным эхом своего собственного мучительного вопля: «Моё сердце! моё сердце!» Затем такое же быстрое возвращение к Изабель и неописуемый ужас от всё ещё недостаточно хорошо осознанной, заново нарождающейся смеси эмоций, обращенных к этому таинственному существу. «Ло! Я оставляю трупы везде, где хожу!» — стонал про себя Пьер — «Может ли тогда моё поведение быть правильным? Ло! Из-за своего поведения я, возможно, кажусь совсем ненормальным и проклятым, и столь ненормальным, которому, как говорит Священное писание, возможно, никогда не будет прощения. Если трупы позади меня, а последний грех впереди, то как тогда моё поведение можно считать

правильным?»

В таком настроении тишина сопровождала его, и первые видимые лучи утреннего солнца обнаружили его в этом том же самом настроении и поприветствовали. Волнение и бессонная ночь уже прошли, и необычное успокоение от тихого, оставшегося позади мучения, сладкая неподвижность воздуха и монотонное, подобное качающейся колыбели, движение экипажа по дороге воздействовали как бодрящий и освежающий ночной душ; они оказали нужное влияние на Изабель и Делли — крепко спящие, с закрытыми лицами, сидели они, склонившись перед взором Пьера. Крепко спящие — так и не осознавшие, о нежная Изабель, о несчастная Делли, что ваши скорые судьбы я несу в своей собственной!

Внезапно его печальный взгляд, падавший все ниже и ниже при разглядывании этих магически застывших людей, упал на его собственную сжатую руку и остановился на его колене. Небольшой кусочек бумаги высовывался из-под ладони. Он не знал, что это, или откуда он взялся, хотя сам закрыл его собственной рукой. Он поднял руку и, медленно убрав пальцы и расправив бумагу, развернул её и тщательно разгладил, чтобы посмотреть, что она из себя представляет.

Это была тонкая, изодранная, похожая на вяленую рыбу вещица, со стёршимся текстом на непрочной, среднего качества, бумаге. Она оказалась вводными страницами некой погубленной старой брошюры, содержащей примерно одну главу неких очень пространных исследований. Окончание шло дальше. Она, должно быть, была случайно оставлена неким предыдущим путешественником, который, возможно, вытягивая свой носовой платок, по неосведомленности извлек свою макулатуру.

У большинства людей имеется исключительно безумное пристрастие, которое проявляется у них в странные моменты, прерывающие их обычные занятия. Оказавшись в полном одиночестве в некоем тихом месте или укромном уголке, они выражают необъяснимые нежные чувства самому простому клочку старой печатной бумаги — возможно, некоему клочку давно изорванной рекламы — прочитанном ими и исследованном ими, и перечитанном ими, и детально изученном ими, и довольно измученном ими самими — этому несчастному, запущенному бумажному клочку, до которого в любое другое время или в любом другом месте они едва бы дотронулись длинными щипцами

Святого Дунстана. Так теперь случилось и с Пьером. Но, несмотря на это, он, как и большинство других людей с разными мнениями относительно странного вышеупомянутого видения, увидев первый проблеск названия похожего на вяленую рыбу обрывка, имеющего форму брошюры, действительно почти заставил себя выбросить его из окна. Каково же было настроение у благоразумного и обычного смертного, если он обладал терпением, необходимым в течение значительного периода времени осознано держать своей чувствительной рукой напечатанный документ (и к тому же с очень стертыми буквами и на очень плохой бумаге) под метафизическим и невыносимым названием «Хронометраж и работа по режиму»?

Несомненно, это было что-то весьма глубокое; но такой вывод следовал из следующего наблюдения: когда человек находится в действительно подавленном настроении, тогда все простые произнесенные или написанные глубокие мысли невыразимым образом отторгаются им и кажутся совершенно ребяческими. Тем не менее, тишина все еще продолжала стоять, дорога бежала по почти целинной и необжитой местности, сони всё ещё дремали перед ним, а злость для

него становилась почти совсем невыносимой; поэтому, по большей части ради того, чтобы отдалить свое сознание от мрачной реальности, чем по какой-либо иной причине, Пьер, в конце концов, постарался изо всех сил самостоятельно погрузиться в содержание брошюры.

II

Рано или поздно в этой жизни серьёзные и восторженные молодые люди приходят к осознанию малого или большого потрясения из-на нарушения общепринятой морали. Главное условие признания Бога требует от всех христиан отказаться от этого мира, но из-за множества разногласий большая часть поклонников Маммоны в этом мире — в Европе и Америке — показывает, что христианские народы рады чем-либо владеть, для чего, как кажется, имеется некая причина.

Эта нарушение общепринятых правил однажды ярко и практически становится очевидным, и тогда появляется серьёзная ориентация на Евангелие, на сильный эгоцентризм в самом большом реальном чуде из всех религий — Нагорной проповеди. С этой божественной горы для всех серьезно любящих молодых людей льётся неистощимый расплавляющий душу по-

ток нежности и заботы, и они, ликуя, прыгают на своих ногах, думая, что основатель их святой религии высказал истины, столь же бесконечно сладостные и успокоительные, как те сентенции, которые воплощают всю любовь к Прошлому и всю любовь, которую только можно предвидеть в каком-либо мыслимом Будущем. Эта Проповедь порождает в сердце восторг; происхождение таких эмоций все юные сердца отказываются приписывать человечеству. Это идёт от Бога! Так кричит сердце, и в том крике — конец всех исканий. Теперь, с проповедью, по-новому прочитанной в его душе, юношество снова пристально разглядывает то, что лежит за границами миров. Немедленно, усугубляя прежнюю ошибку, непреодолимое ощущение откровенной и самоуверенной всемирной фальши проходит к нему; мир кажется насыщенным и пропитанным ложью. Понятие это столь поглощающее, что сначала молодёжь решает отказаться от свидетельства своих собственных чувств: если для неё очевидно движение солнца на небесах, которое она видит своими собственными глазами вращающимся вокруг света, то на основании авторитетного мнения других людей — астрономов, последователей Коперника, которых она

никогда не видела, — она полагает, что не солнце идёт вокруг света, а мир вращается вокруг него. Именно так они и слышат то, что искренне говорят хорошие и мудрые люди: Этот мир всего лишь видение, которое будет впитывать ложь насыщаться ею, но в действительности он не столь пропитан и насыщен ложью; наряду с какой-то ложью в этом мире есть и настоящая правда. Но они снова обращаются к своей Библии и вполне явственно вычитывают там, что этот мир безоговорочно развращен и проклят, и что из-за всех опасностей люди должны уйти из него. Но зачем уходить из него, если это Мир Истины, а не Мир Лжи? Тогда, конечно же, этот мир лжив.

И тогда вследствие этого в душе молодого энтузиаста две армии приходят в шок; и если он не оказывается трусливым, или если он не оказывается легковерным, или если он не может найти служащую талисманом тайну, чтобы уравновесить этот мир с его собственной душой, тогда для него в этой жизни нет не только какого-либо мира, но и малейшего перемирия. Тогда без сомнения этот Тайный талисман никогда не будет найден, и человеческой природе кажется, что его не может быть. Отдельные философы снова

и снова претендуют на право найти его; но если они, в конце концов, не обнаруживают своё собственное заблуждение, то другие люди скоро обнаруживают его для себя, и, таким образом, эти философы и их тщетная философия позволяют соскользнуть далеко в практическое забвение. Платон, Спиноза, Гёте и еще многие принадлежат к этой гильдии самозванцев вместе с нелепой толпой шотландских поклонников Магглтона и янки, чьим отвратительным акцентом пока ещё сильно исполосованы греческие или немецкие оригиналы «Неоплатоники». В отношении глубокой Тишины, этого единственного Голоса нашего Бога, о котором я прежде говорил, — в отношении этой неназванной божественности эти самозваные философы притворно заявляют, что у них, так или иначе, но есть ответ, который абсурден в своей аналогии — если человек не может получить воду из камня, то как тогда он может услышать голос тишины?

Конечно, все, кто признаёт, что любая из сторон возможного согласия этого мира с нашими собственными душами обладает потенциальным специфическим интересом, тот был Пьером Глендиннингом в описанный нами период. Поскольку, повинуясь самой высокой воле его

души, он совершил определенные жизненные поступки, которые уже лишили его мирского счастья и которые, как он чувствовал, должны были, в конце концов, косвенным путём что-то принести и освободить от горьких мыслей.

Уже вскоре после первичного неприятия мистического названия и после начала чтения, и просто для того, чтобы занять себя, Пьер наконец начал получать смутное представление о глубоком замысле автора изорванной брошюры и почувствовал пробуждение большого интереса к ней. Чем больше он читал и перечитывал, чем больше углублялся, тем больше понимал свою неспособность постичь написанное. У него, кажется, появилась некая общая неопределенная догадка относительно него, но он не мог прояснить основную мысль. Причину этого нелегко было установить, видя, что её, порожденную умом и сердцем человека, не так легко разъяснить их собственной органикой. Однако, что-то, более или менее близкое к этому пункту можно будет здесь высказать.

Если человек находится в неопределенном скрытом сомнении относительно внутренней верности и превосходства своей общей жизненной идеи и практического жизненного

направления, тогда он имеет возможность загореться от какого-либо другого человека или какого-либо небольшого трактата или проповеди, которые непреднамеренно, но на самом деле, весьма ощутимо иллюстрируют внутреннюю несостоятельность и несовершенство как теории, так и практики его жизни. Тогда этот человек будет — более или менее подсознательно — очень стараться удержать себя от допуска к пониманию мысли, которая его осуждает. Поскольку в этом случае, чтобы такое постичь, нужно осудить самого себя, что для человека всегда очень трудно и неприятно. И ещё раз об этом. Если человеку говорят о чём-то совершенно новом, тогда — во время первого объявления об этом — ему совершенно невозможно это постичь. Из-за чего — это может показаться абсурдным — людей пока только заставляют понять то, что они постигли прежде, начиная с момента рождения. Заставить их постигать новое невозможно, если просто говорить с ними об этом. Правда, иногда они симулируют понимание; своими собственными сердцами они действительно полагают, что действительно осознают, смотрясь внешне так, как будто осознали, понимающе трясут своими густыми волосами; но для всех это означает,

что они не поняли. Возможно, они смогут прийти к этой новой идее позже, самостоятельно, вдохнув её из окружающего воздуха и таким образом прийти к её постижению, но никак не иначе. Будет видно, что ни один из пунктов вышеупомянутых предположений, сделанных нами в установленные сроки, не приписывает связи Пьера с порванной брошюрой. Возможно, что и то, и другое верно; возможно, что и нет. Бесспорно, однако, следующее — что в это время, в своём собственном сердце он, кажется, решил, что не полностью постиг мысль странного писателя во всех её деталях. Все же это самомнение было, по-видимому, одним из самых простых в мире; настолько естественным, что могло быть порождено почти ребенком. Тем не менее, мысль была настолько глубока, что Джуггулариус не дотянул бы до её авторства, и, опять-таки, столь тривиальна, что её мог бы устыдиться Джуггулариус юный.

Теперь заметим, что эта любопытная бумажка озадачила Пьера, предвидя то, что Пьер не мог, в конце концов, быть совершенно непредвзятым в своем отношении к порванной брошюре, пока впоследствии, возможно, другим путем не пришёл бы к её пониманию и не узнал бы, что

он, в первую очередь, сделает. Учтём также, что ему была известна репутация автора, хотя Пьер никогда не говорил с ним, а тот воздействовал на его душу простым отдаленным удивительным и чарующим сиянием, исходящим с его лица. Все эти причины я считаю вполне извинительными за вставку в следующие главы начальной части того, что мне показалось очень причудливой и мистической, но не философской Лекцией, из которой я, признаюсь, сам не мог сделать выводы, которые всегда соответствуют тем особенным движениям в моей душе, к которым эта Лекция, как кажется, обращается наиболее внимательно. Мне это кажется превосходной иллюстрацией повторного изложения проблемы, нежели решением самой проблемы. Но простые иллюстрации почти универсально принимаются для решений (и, возможно, они — единственно возможные гуманные решения), поэтому они могут помочь появлению временного спокойствия в некоторых пытливых умах и не окажутся полностью бесполезными. В худшем случае каждый человек может сейчас сделать пропуск или прочитать, а потом ругаться на самого себя.

III

«ПРИВОЖУ ПРИМЕР»

ПЛОТИНУС ПЛИНЛИММОН
(В трёхстах тридцати трёх лекциях)

ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ.

ХРОНОМЕТРАЖ[12] И РИТМ,
(Это не совсем Портал, а часть временных подмостей к Порталу новой Философии.)

«Немногие из нас сомневаются в том, господа, что человеческая жизнь на этой земле всего лишь этап испытательного срока, который среди прочего подразумевает, как следует из изложенного далее, что, мы, смертные, относим себя только к понятиям временным. По аналогии с этим я придерживаюсь той мысли, что вся наша так называемая мудрость не относится к какому-либо времени.

«Это была преамбула, я начинаю.

«Мне в моих видениях кажется, что существует весьма редкая определенная категория человеческих душ, которые будут готовы почти всегда и везде изложить собственную, тщательно хра-

---

12 Примечания: 12
Хронометрия — соответствие времени и регулярности, ритму, последовательности (прим. пер.)

нимую в теле Правду Небес, но с некоторыми маленькими крупинками отличий. Из-за особенного божественного происхождения, единственного источника этой небесной правды, большого Гринвичского холма и башни, от которой вселенские меридианы уходят вдаль, отсчитывая бесконечность, такие души кажутся морскими лондонскими хронометрами (от греческого «хронос» — время), которые на лондонских суднах, плывущих мимо Гринвича вниз по Темзе, точно настроены на Гринвичское время; и если за его ходом следят, то оно останется тем же самым, даже на Азорских островах. Правда, почти для всех случаев долгих и дальних путешествий — скажем, в Китай, — хронометры делают лучше, и с ними обращаются весьма аккуратно из-за постепенного большего или меньшего отличия от Гринвичского времени и из-за отсутствия возможности скорректировать ошибку прямым сравнением с их главным эталоном. Но квалифицированные и благоговейные наблюдения за звездами при помощи секстанта существенно уменьшают такие ошибки. И, кроме того, существует такая вещь, как точность хронометра; то есть, установив степень его органической погрешности, даже незначительной, все последу-

ющие хронометрические вычисления, которые установили потерю или прибавку, можно будет далее добавить или удалить, в зависимости от обстоятельств. С другой стороны, в этих долгих путешествиях хронометр может быть выверен при сравнении его показаний с хронометром некоего другого морского судна, вышедшего из дома позже.

«Теперь в таком искусственном мире, как наш, душа человека отстоит от своего Бога и Небесной Правды дальше, чем хронометр, привезенный из Гринвича в Китай. И, как только этот же хронометр, если считать его точным, объявит о 12-часовом полдне, то местные китайские часы, возможно, скажут, что сейчас — 12-часовая полночь; поэтому душа хронометра, если она окажется в этом мире, верном для его главного Гринвича в другой, всегда будет, так сказать, интуитивно права и не права, противореча простым местным стандартам и мозгам часовой мастерской этой территории.

«Мозг Бэкона был простым мозгом часовой мастерской, но Христос был хронометром, наиболее точно отрегулированным и исполнительным, и наименее тронутым всеми земными раздражителями, которые когда-либо приходили к нам.

И причина, по которой его учение казалось евреям безумием, состояла в том, что он принес Небесное время в Иерусалим, в то время как евреи жили там по иерусалимскому времени. Он не сказал отчетливо — Разве моя мудрость (время) не от этого мира? Но независимо от этого, из-за действительно странной своей мудрости Христос сегодня кажется точно тем же самым безумцем, как и 1850 лет назад. Поэтому, всю эту эпоху завещанный им хронометр всё ещё хранит своё изначальное небесное время и всеобщий Иерусалим этого мира аналогичным образом тщательно сохранил свое собственное.

«Но из того, что хронометр, который попал из Гринвича в Китай, действительно должен показать в Китае, каким в данный момент может быть время в Гринвиче, и оно, таким образом, должно обязательно противоречить китайскому времени, ни в коем случае не следует, что относительно Китая Китай не видит всего, что существует на его пути. Как раз наоборот. Из-за этого факта этого различия предположим, что относительно Китая китайские часы должны быть в порядке, и, следовательно, если китайские часы правильны в Китае, то и гринвичские хронометры должны быть неверными относительно

китайских. Кроме того, как китайцу пользоваться гринвичским хронометром, придерживаясь гринвичского времени? Он должен будет, таким образом, отрегулировать свои ежедневные действия, иначе он станет выглядеть абсурдно: скажем, уходя спать в полдень, когда его соседи садятся обедать. И если земная мудрость человека это безумие для божьих небес, то с другой стороны, небесная мудрость Бога это безумие для земного человека. Буквально говоря, так оно и есть. Но божественный небесный Гринвич ждёт, что обыкновенные люди будут хранить гринвичскую мудрость в далеком от нас китайском мире, потому что она для них здесь ведет к убытку; и, действительно, фальсифицируя само себя, как в этом случае, китайское время стало бы идентичным гринвичскому времени, что сделало бы гринвичское время неверным.

«Но почему тогда Бог время от времени посылает небесный хронометр (как метеорит) в мир, казалось бы, без какой-либо пользы сея ложь среди всех хронометристов в мире? Потому, что он не желает покидать человека без какого-либо случайного свидетельства своего существования: думающий человек с китайским мировоззрением может ответить здесь довольно чётко, что

нет универсально применяемых средств, и что из центрального Гринвича, в котором обитает Он, исходит несколько различных путей в этот мир. И всё же это следует не из того, что правда Бога — одно, а правда человека — другое, а из-за того, — как мы уже намекали, и как далее будет объяснено в последующих лекциях — что из-за своих острых противоречий они вынуждены общаться между собой.

«Из этого также следует вывод, что тот, кто признал в себе свою душу хронометрической, стремится практически призвать это небесное время на землю, в попытке чего он никогда не сможет добиться абсолютного и существенного успеха. И относительно самого себя: если он стремится упорядочить свое собственное ежедневное поведение, он не будет настраивать против себя всех земных хронометристов, зарабатывая самому себе таким способом горе и смерть. Оба этих устремления явно проявились в характере и судьбе Христа и прошлом и текущем состоянии принесенной им религии. Но кое-что здесь особенно примечательно. Хотя Христос столкнулся с горем, как в учении, так и в практике своего хронометража, он всё же не остался совсем без безумия или греха. Принимая во вни-

мание, что почти обязательно низшие существа, увлеченные абсолютной тягой жить в этом мире согласно строгим указаниям хронометража, так или иначе, в конечном счете, оказываются вовлечены, в странное, необычайное безумие и грехи, прежде невообразимые. Это — аллегорическая трактовка истории вдовы из Эфеса[13]

«Для любого серьезного человека, способного понимать и правильно рассматривать идеи, касающиеся ХРОНОМЕТРАЖА и РИТМА, будет полезно на время пожертвовать менее непонятными вещами из тех идей, что по сей день мучают добродетельных людей всех возрастов. Разве тот человек, что несёт в себе небесную душу, не стонет от такого чувства: что, если он не предаст своеобразной погибели прозаические атрибуты этого мира, то он никогда не сможет надеяться привести свое земное поведение в соответствие с той же самой небесной душой? И всё же безошибочным инстинктом он понимает, что это наставление не может быть не верным по своей сути.

«И где там серьезный и справедливый философ, господа, который глядит направо и налево,

---

13 Примечания: 13
См. пьесу В. Шекспира «Комедия ошибок» (прим. пер.)

и вверх, и вниз, сквозь все мировые эпохи, включая настоящую, и где там тот, кто едва ли не на тысячи времён поражён своеобразной ложной идеей, что какой бы Бог потусторонних миров не был Хозяином, он этому миру не Хозяин, а иначе этот мир уличил бы Его во лжи. Таким образом, эти пути кажутся совершенно неприемлемыми по сравнению с изначально известными небесными путями. Но это не так, и не может быть таковым; не будет тот, кто считает это хронометрическую концепцию верной, ещё сильнее ощущать эту ужасную идею. Поскольку тогда он увидит или ему будет казаться, что эта всемирная кажущаяся несовместимость с Богом есть абсолютный результат высочайшего к нему обращения.

«Это хронометрическое воззрение ни в коем случае не включает оправдание всех действий, которые могут совершать злые люди. Поскольку в своей злости совсем злые люди грешат против своих собственных часов точно так же, как и против небесного хронометра. Это проявляется в том, что их спонтанная склонность к раскаянию проявляется действительно отчетливо. Нет, такое самомнение запросто идёт доказывать, что для массы людей самая высокая абстрактная

небесная справедливость не только невозможна, но и совершенно неуместна, и категорически неверна в этом мире. Подставлять левую щеку, если ударили по правой, соответствует хронометражу; следовательно, ни один из обыкновенных сынов человеческих никогда такого не сделает. Отдать всё, что у вас есть, бедным, также соответствует х ронометражу; следовательно, ни один из обыкновенных сынов человеческих никогда такого не сделает. Тем не менее, если человек отдает с собственной определенной обдуманной щедростью бедным, воздерживается от откровенного принесения зла какому-либо человеку, заботится обо всей его родне, окружает трогательной любовью свою жену и детей, родственников и друзей, абсолютно терпим ко всем другим человеческим мнениям, независимо от того, какими они бывают, если он честный коммерсант, честный гражданин и всё это вместе, и, более всего, если он полагает, что есть Бог для неверных, а также для верующих, и действует на основе этого убеждения, — тогда, хотя такой человек оказывается на бесконечно малом расстоянии от хронометрического стандарта, даже если все его действия полностью ритмичны, — он всё же никогда не должен надолго унывать, потому что

иногда оказывается виновен в некоем незначительном проступке — поспешных словах, импульсивном отражении удара, приступах внутренней раздражительности, эгоистичном наслаждении от выпитого стакана вина, в то же время осознавая, что вокруг него есть те, кому не хватает буханки хлеба. Я говорю, что он никогда не должен надолго унывать из-за своей вечной ответственности за всё, потому что дело не в том, чтобы быть таким, как ангел или как хронометр, а принимать во внимание то, что он — человек и отбивает время.

«Все же сами часы учат тому, что все обязательства нужно максимально сдерживать, хотя бесспорно, что они никогда до конца не исчезнут. Их нужно всего лишь сдерживать, потому что если их совершенно не сдерживать, они, в конце концов, столкнуться с чрезвычайным эгоизмом и человеческим демонизмом, который, как мы прежде намекали, никакими часами не оправдать.

«Короче говоря, это концепция ХРОНОМЕТРАЖА И РИТМА, в сумме, кажется, учит следующему: В делах земных (ритмических), человек не должен быть управляем астрономическими (хронометрическими) идеями, и его собственный

простой инстинкт будет учить его прибегать к отдельным маленьким самоотречениям в этой жизни ради его собственного ежедневного общего благополучия, но он не должен какими-либо способами полностью и безоговорочно жертвовать собой во имя любого другого существа, любой иной причины или какого-либо тщеславия. (Кто ещё полностью и безоговорочно пожертвует собой радии него? Само божье солнце ни на одну капельку не уменьшает своего тепла в июле, однако на солнце вы падаете в обморок из-за его тепла. И если оно уменьшит подачу своего тепла на вас, тогда пшеница и рожь не созреют, и поэтому из-за разовой выгоды одного человека пострадает всё население.)

«Целесообразная Добродетель тогда кажется высочайшим желаемым или достижимым земным идеалом для массы людей, и только такой земной идеал определен для них Создателем. Когда они уйдут в небеса, они будут совсем другими. Там они могут свободно развернуть левую щёку, потому что там правая щека никогда не будет поражена. Там они смогут свободно отдать всё бедным, поскольку там.., там не будет что-то выпрашивающих бедняков. Соответствующее признание этого вопроса принесет пользу чело-

веку. Учитывая, что к настоящему времени его догматические учителя авторитетно проповедовали, что человек, пока он находится на земле, должен стремиться к небесам и достичь их, а также во всех своих земных делах страшиться извечного гнева, я нахожу по опыту, что это совершенно невозможно; в своём отчаянии он слишком стремиться убежать прямо к разным формам морального падения, самообману и лицемерию (представленным, однако, главным образом, в виде самой уважительной преданности); или же он открыто убежит, как бешеная собака, в атеизм. Примем во внимание, что, позволяя людям проповедовать Хронометраж и Ритм и продолжая сохранять каждый стимул здравого смысла, достойный быть реальным и желательным, а также усиливая эти стимулы осознанием сил, позволяющих достигнуть их отметки, мы приближаемся к тому фатальному отчаянию от внедрения всей этой доброты, которая при преподавании человечеству до настоящего времени чистых хронометрических доктрин слишком часто приводит многие умы к противоположному результату. Но если какой-либо человек сказал бы, что такая доктрина, как та, что я установил, ложная и нечестивая, то я милосердно

отослал бы этого человека к 1800-летней истории христианского мира и спросил бы его, — разве, несмотря на все принципы Христа, эта история не слишком наполнена кровью, насилием, неправдой и несправедливостью всех видов, как и любая другая часть предшествующей ей всемирной истории? Поэтому выходит, — в чисто земной оценке касаясь столь удаленных практических результатов — что единственная великая оригинальная моральная доктрина христианства (как, например, хронометрически безвозмездный ответ добром на зло, в отличие от постоянного прощения обид, к чему призывала часть языческих философов) была сочтена (хронометрически) ложной, поскольку после 1800 лет прозелитизма, исходившего с десятков тысяч богословских кафедр, она оказалась абсолютно неосуществимой.

«Я, далее, не кладу в основу то, что действительно ежедневно практикуют лучшие из смертных, и от чего весьма далеки все действительно злые люди. Я предоставляю утешение серьезному человеку, который среди всех его человеческих слабостей всё ещё мучительно ощущает красоту хронометрического превосходства. Я с достоинством удерживаюсь от порока и не вмешиваюсь

в вечную истину, которая гласит, что, рано или поздно, во всех случаях, откровенный порок это настоящее горе.

«Кроме того: если…»

Но здесь брошюра обрывается и приходит к самому неряшливому завершению.

Книга XV
Кузены

I

Даже решив полностью отвернуться от всего прошлого и будучи в необычайном отчаянии, Пьер не направился бы в город без нескольких разумных планов, помня и о существующих обстоятельствах, и о секретных условиях.

В городе проживал его кузен Стенли Глендиннинг, более известный в их роду как Глен Стэнли, а Пьеру, как Кузен Глен. Как и Пьер, он был единственным сыном у своих родителей, умерших, когда он был ребенком, и в этом году в возрасте двадцати одного года он вернулся из длительного пребывания в Европе, чтобы войти в абсолютное владение знатной собственностью, которая накопилась, в основном, в руках верных опекунов.

В их детстве и более ранней юности отношения между Пьером и Гленом значили намного больше, чем их родство. В возрасте десяти лет они предоставляли собой пример того, как чистосердечная дружба благородных мальчиков,

выросших среди романтического комфорта и утонченной жизни, иногда превышает границы простого ребячества и некоторое время упивается эфиром любви, которая заканчивается перед самыми сладкими и чувственными отношениями между разными полами. Но эта мальчишеская любовь без случайных щелчков и острот, время от времени, очевидно, ослабевая, увеличивает постоянное восхищение теми зашедшими дальше влюбленными, что любят подножие пояса Венеры. Ревнивцы чувствительны. Вид другого парня, слишком много общающегося с объектом любви юноши, наполняет его эмоциями, аналогичными эмоциям Отелло, заключающимся в ослаблении или уменьшение повседневных признаков тёплых чувств, и будет побуждать его к горькой укоризне и упрекам, или же погрузит его в дурные капризы, которым приятно только мрачное одиночество.

Но письма от приверженцев Афродиты более наполнены безудержными клятвами и заявлениями, больше перечеркнуты и наполнены сбивчивыми сантиментами, неуклонно отправляемыми два раза в неделю или даже ежедневно, в зависимости от обстоятельств, нежели официальные письма связанных дружеской симпатией

молодых людей. Среди тех связок бумаг, которые Пьер в горький час столь отчаянно уничтожал в гостиничном номере, были две больших связки писем, убористо написанных, и во многих случаях наискось надписанных красными чернилами прямо поверх чёрных, потому что любовь в тех письмах была вдвойне глубока, и одного пера и одного цвета было недостаточно для её описания. Первый пакет содержал письма от Глена к Пьеру, другой — от Пьера к Глену, которые прямо перед отъездом Глена в Европу Пьер получил от него, чтобы перечитать их в его отсутствие, и тем самым больше укрепить свою привязанность, заново ссылаясь на молодые, горячие часы самых ранних её проявлений.

Но подобно тому, как сам созревающий плод вытесняет красивый бутон, так и во многих случаях возможная любовь к противоположному полу навсегда затмевает предыдущую дружескую привязанность мальчиков. Простая открытая дружба может в определенной степени — большей или меньшей — выжить, но исключительная любовь в ней оказывается преходящей.

Если в глазах несгибаемой действительности и правды сердце земного человека действительно когда-нибудь остановится на какой-либо

женщине, поклонником которой он будет вечно и впредь, без малейшей тени опасений за свою веру, и которая для него действительно станет отличным воплощением самой прекрасной, самой высокой мечты о женском очаровании, — если это действительно так и будет — и, может быть, Небеса даруют это, — то, тем не менее, у столичных жителей любовь среди большинства прямолинейных влюбленных почти неизменно является не чем иным, как окончательным результатом неисчислимых блуждающих взглядов по какой-то конкретной цели, — поскольку убеждение в том, что удивительный масштаб и разнообразие женского очарования, воздействующие достаточно долго для того, чтобы поколебать нашу твёрдость, должны будут, в конце концов, спутать все соображения выбора. Дипломированный холостяк — в Америке, по крайней мере, — скорее и чаще станет жертвой слишком глубокой оценки бесконечного женского очарования, как только создаст уединенную жизнь в законной империи холодного и безвкусного характера.

Хотя особенная сердечная тоска, имеющая отношение к его возрасту, получила, наконец, пылающий ответ в груди Люси, всё же в течение

какого-то предыдущего периода Пьер не стоял в стороне от различных страстных побуждений. Поэтому, прежде чем он стал воплощением влюбленного человека, Любовь уже сделала его своим обычным приверженцем, и только потом постепенно начало происходить охлаждение того горячего чувства, которое он в ранние годы лелеял к Глену.

Повсюду вокруг всемирная ложь, как сидящий в засаде снайпер, поражает красивые иллюзии юности безжалостными винтовочными выстрелами возрастных реалий. Если обычная любовь к женщинам, владевшая Пьером, с пользой изменила его особое чувство к Глену, то ни одна из тысячных долей неописуемого восхищения от тогдашнего ослепительного рая Франции и Италии, не оказалась способной повлиять на многие предыдущие чувства Глена. Подобно тому как наилучшее положение в жизни не существует без некоторой зависти со стороны, так и среди отрицательных эффектов от долгого зарубежного путешествия есть то, что в молодых и нетвердых умах смещает некоторые самые прекрасные чувства, вызванные местной природой, заменяя их изощренным высокомерием, которое, как и мнимый фанатичный Федерализм

прежних времен, станет — согласно политической легенде — размалывать свой ежедневный кофе на какой-нибудь кофемолке, оберегая его от европейской обработки, и, как насмешливо говорится, не позволит думать об импорте европейского воздуха для внутреннего потребления. Взаимно сократившаяся, ослабевшая, надолго прервавшаяся и, наконец, в целом прекратившаяся переписка Пьера и Глена стала печальным свидетельством того факта, который, возможно, ни один из них не принял очень близко к сердцу, поскольку таковой задачи они друг перед другом и не ставили.

В более ранние периоды этого странного перехода от бурной юношеской импульсивности к осторожной взрослой предусмотрительности обычно вмешивается краткая пауза из неприятной переоценки, когда, считая себя всесторонне разбирающимся в этих формах собственной непринужденности, душе не хочется полностью соглашаться с эгоизмом, — ведь блуждания это больше чем раскаяния, — хотя всё это не преходящее, — и снова несомый быстрым течением жизни юноша с отзывчивым сердцем едва ли скорее должен быть признан зрелым человеком, — он весьма постепенно начинает осознавать себя,

даже осматриваться в любви и анализировать благочестие. Во время влияния этого особенного периода юноша пока ещё должен будет прилагать некоторые усилия, чтобы восстановится после спонтанного изменения своего мировоззрения; но получается такой сплав усилий с начальной стадией эгоизма, что лучше было бы обойтись без него вообще, поскольку с тех пор оно слишком часто предстает только в виде пустых и вводящих его самого в заблуждение реплик или, что ещё хуже, простых лицемерных предположений.

По возвращению Глена из-за границы его родственник, не сказать, что очень близкий, в рамках приличий побудил Пьера пригласить его домой в письме, которое, будучи не слишком длинным и не столь восторженным, всё же вдохнуло всепроникающую атмосферу родства и доброты, затронувшую тогдашний естественно откровенный и притягательный для всех характер Пьера. На него менее серьёзный и теперь европеизированный Глен ответил письмом, где с внезапной всевозможной учтивостью в напряженной артистической простоте сокрушался об очевидном угасании их дружбы, но все же искренне верил, что теперь, несмотря на их долгую разлуку, она возродится с возросшей

симпатией. Всё же после случайной остановки его взгляда на обращение в этом тонком официальном письме Пьер уверенно почувствовал, что некое обязательное, но совершенно не замаскированное рукописными символами обращение «Мой самый драгоценный Пьер», с которого письмо, казалось бы, следовало начать, было первоначально написано как «Дорогой Пьер»; но когда всё было завершено, и была поставлена подпись Глена, тогда теплые слова «Мой самый» были предварительно приписаны к пересмотренному «Драгоценному Пьеру». Это случайное предположение, возможно, пусть и неосновательно, но сдержало некую теплоту в ответе Пьера и настолько существенно, что его щедрое пламя не охватило выставленное напоказ перо. Но была ли эта идея в целом сильна, когда при вторичном её принятии в уже наполовину деловом письме от Глена (в котором смешались почти все виды более поздних писем), он заметил, что «Мой самый драгоценный Пьер» уже сократился до «Моего дорогого Пьера», а в третьем случае, до «Дорогого Пьера», а в четвертом, с усилием и большей душевностью поднялся до «Моего самого дорогого Пьера»? Все эти колебания, ничего определенно хорошего для этой любви

не предсказывающие, посвященные всего одному приглашению, смогли бы, однако, заставить подняться и приплыть флаги всех стран. Не мог он теперь не приветствовать ещё одно последующее письмо от Глена, который резко, и с почти очевидной некорректностью при данных обстоятельствах поднял дружескую напряженность вообще без какой-либо приветственной увертюры; как будто, наконец, вследствие своей большой утонченности и совершенной безнадежности точного определения природы их мистической любви, Глен принял решение поскорее оставить такое точное определение для близкого по духу, сердцу и образу Пьера, в то время как внутри себя он сохранил бы обычное отношение за множеством сладких сентенций о разнообразии этой преданности. Ему, опытному Глену, здесь, скорее, было немного любопытно для сравнения и ради смеха отказаться от этой м*а*стерской, но все же не до конца успешной и неопределенной тактики безостановочного потока «… Возлюбленный Пьер..», который не только переливался за обычный край всех его более ранних писем, но, тут и там, пройдя через подземный канал, вспыхивал яркими полосами во всех последующих линиях. Не случайное воспоминание обо всём удержа-

ло опрометчивую руку Пьера, когда он бросил целый пакет из писем, и новых и старых, в этот самый честный и финальный из всех элементов, который не уважает людей, — а требовательный критик, в чьей манере сжигать написанное, и сама окончательная Правда, для которой огонь — красноречивый символ, поглощающий всё, и только поглощающий.

Когда обручение Пьера с Люси стало общепризнанным, изысканный Глен, помимо обычных поздравлений с этим событием, не упустил соответствующей возможности повторно предложить своему кузену все ранее предложенные сосуды с мёдом и патокой в придачу к коробкам с засахаренными цитронами и сливами. Пьер его любезно поблагодарил, но с некоторым неизменным хитроумным подтекстом попросил, ссылаясь на пресыщение, забрать назад безусловно бóльшую часть приложений к его подарку, незначительность которой была аллегорически отражена в содержании самого письма, предварительно оплаченного и отправленного обычной почтой.

Настоящая любовь, как все знают, всегда будет противостоять множеству напоров, пусть даже грубых. Но была ли тут любовь, или про-

сто вежливость Глена в этом случае оказалась неукротимой, — вопрос, который мы обсуждать не будем. Бесспорным было то, что довольно бесстрашный Глен благородно ответил на посыл и в очень быстром и неожиданном ответе распространил на Пьера все знаки внимания всего города и все знаки гостеприимства в виде пяти роскошных палат, которые он и его любящее роскошь окружение номинально решили занять в самом модном частном отеле очень богатого города. Но Глен на этом не остановился, а, как Наполеон, уже принявший решение сражаться, бросил все свои полки в наступление и на завладение этим пунктом невзирая на все опасности. Услышав за столом от своих родственников о том, что определен день бракосочетания Пьера, Глен приложил весь свой парижский образ к своему розовому листу и при помощи душистых чернил и золотого пера сочинил абсолютно блестящее и благоуханное письмо, которое, после призыва всех благословений от Аполлона, Венеры, Девяти муз и Кардинальных Добродетелей на ближайшее событие, завершил под конец действительно великолепным свидетельством своей любви.

Согласно этому письму, среди прочей своей

недвижимости в городе Глен унаследовал весьма очаровательный маленький старый дом, полностью обставленный в стиле прошлого века в той части города, которая теперь была не столь ослепительно модной как в былые времена, но всё ещё пребывала в тихом уединении, оставаясь весьма привлекательной для удалившихся на пенсию или для воркования в медовый месяц. Действительно теперь он просил воспользоваться его курией, и если бы после своей свадебной прогулки Пьер соизволил бы посетить город со своей невестой с пребыванием в течение месяца или двух, то курия была бы очень рада предоставить ему гавань. Его милому кузену не стоило ничего опасаться. Вследствие отсутствия какого-либо подходящего для него претендента, дом уже долго стоял без арендатора, оберегаемый старым доверенным — одиноким служащим его отца, который за номинальную арендную плату и скорее ради сохранности дома, чем ради чего-то ещё, пока продолжал вешать свою хорошо очищенную шляпу в его зале. Этот любезный старый слуга не замедлил бы снять своего бобра при первом же намеке на новых жильцов. Глен готов был заняться предварительным обеспечением дома надлежащей свитой

из слуг, устройством освещения в бесконечных и пустых комнатах; почтенные, гротескные, из старого красного дерева и мрамора, зеркала и лепные украшения нужно было скорее почистить и отполировать; в кухне было достаточно необходимой посуды для приготовления еды; крепкий ящик из старого серебра, с незапамятных времен имеющий отношение к особняку, можно было без труда привезти из банковского хранилища по соседству, в то время как корзины со старым фарфором, всё ещё хранившимся в доме, можно было запросто распаковать так, чтобы серебро и фарфор вскоре смогли бы стоять в соответствующих шкафах; при повороте крана в подвале лучшая вода в городе не подвела бы подставленный стакан от негуса прежде, чем гости уединятся в первую же ночь по их прибытии.

Излишняя разборчивость некоторых болезненно критических умов, а также моральное малодушие других, одинаково запрещает принятие необходимой и существенной помощи от людей, мотив предложения которых не полностью ясен и безупречен, и кто, возможно, выказывал прежде некую прохладу или безразличие. Но когда принятие такой помощи бывает действительно

удобно и желательно одной стороне и абсолютно не влечет какого-либо серьезного бедствия для другой, то, кажется, что нет какого-либо разумного возражения для непосредственного принятия предложенного. И когда получатель оказывается в среде и в обычном состоянии предлагающего, например, как его начальник, то любая любезность, которую он получает, может быть с лихвой возвращена в естественном ходе будущих событий, и тогда все побуждения отклонить её весьма существенно уменьшаются. И что касается тысячи немыслимых разбираемых маленьких достоинств и недостатков в воображаемом соответствии их правилам приличия и последовательностей, то, слава Богу, в час сердечного здоровья ни одно из таких колебаний никогда не помешает поступательному движению вперед настроенного на блеф человека. Он принимает этот мир таким, какой он есть, и небрежно приспосабливается к причудливым шуткам, никогда не ощущая какого-либо раскаяния при получении самой большой пользы от тех, кто в состоянии как предоставить её, так и свободно даровать. Он сам вознагражден случаем, да так, что, в основном, обычное милосердие диктует важность и необходимость всех возможных пред-

ложений; отмечая, что принятие должно лишь больше обогатить его, косвенным образом, ради собственных новых и больших, благодеяний.

И если говорить о тех, кто никоим образом не стремится прикрывать свое собственное поведение маской подлинной благосклонности, и к кому такие учтивые предложения приходят от людей, которых они считают тайными врагами, то для таких умов не только их собственная мирская тактика сразу же запретит невежливый чистый отказ от таких предложений; но если те в тайне также злы, как и равнодушны, или если они вообще способны полностью удовлетворить чувство скрытого превосходства и мастерства (которое у людей весьма невелико), то как же восхитительно будет для таких людей под маской простого молчаливого согласия при их собственной непроизвольной любезности элегантно использовать своего противника. Разве не бывает так, что врагами можно воспользоваться? В варварское время люди выслеживали и убивали копьем тигра потому, что они ненавидели его как злобного дикого зверя; но в эти просвещенные времена, хотя мы любим тигра так же мало, как всегда, мы, тем не менее, в основном, охотимся на него ради его шкуры. Мудрец тогда

будет носить своего тигра, каждое утро одевая своего тигра как одежду, чтобы сберечь свое тепло и украсить себя. С этой точки зрения противники намного более желательны, чем друзья; ну, кто бы стал охотиться на собственную верную нежную собаку и убил бы её ради её шкуры? И разве шкура собаки столь же ценна как тигровая? Этот случай весьма показателен в качестве образца настоящего искусства настраивать против себя некоторых добропорядочных людей. Это ложь, когда, говоря о политике, заявляют, что человек никогда не должен наживать врагов. Как доброжелатели некоторые люди могут быть не только безвредными, но и стать определенными препятствиями для ваших особенных планов; но как противников вы можете сделать их частью вашей обычной обстановки.

Но в такие скрытые тонкости прохладного тосканского политеса Пьера пока еще никогда не вовлекали; его переживания к настоящему времени не обладали разнообразием и он был вполне готов к этому; кроме того, у него было в целом слишком много благородной крови в сердце. Тем не менее, после этого, даже при ещё не созревшем сердце, неспособном практиковать вышеупомянутые принципы, мозг всё же

оказывается в состоянии полностью постичь их суть, что не всегда имеет место. И обычно, в общепринятом мнении, люди будут отрицать всякое одностороннее понимание, которое практически не показывает повседневную внешнюю жизнь. Это — очень распространенная ошибка некоторых по недоброму настроенных неверующих, эгоистичных, беспринципных людей или совершенных мошенников, предполагающих, что верующие люди, люди с добрым сердцем или хорошие люди не в состоянии понять, как можно быть злобным эгоистом, и не знать, насколько бессовестными бывают плуты. И таким образом — спасибо миру! — есть множество шпионов во всемирном лагере, которых принимают за странствующих простаков. И эти странствующие простаки, кажется, реагируют на принцип, что определенным вещам мы так и не учимся, показывая нам, что мы уже заранее разбираемся во всем, предпочитая наоборот представляться неосведомленными. Но здесь мы упираемся в границы такой мудрости, которую очень хорошо знать, но не стоит показывать, что она вам известна. Однако, есть люди, которые относятся к миру со всем его простым мирским содержанием столь равнодушно, что почти не заботятся

о простом мирском неблагоразумии, в котором их могут обвинить.

Теперь, если это не были сознательные соображения, действительно доброжелательные или нейтральные, о которых мы ранее упоминали, то были они, конечно, чем-то сродни тому, что побудило Пьера ответить прямо и мужественно, и всецело одобрить предложенное его кузеном жильё, поблагодарить его снова и снова за его чересчур большую доброту относительно предварительного участия слуг и прочих работников и приведения в порядок серебра и фарфора, но напоминая ему, тем не менее, о том, чтобы тот не пропустил все особые упоминания о винах, и просил его сохранить корзины с несколькими славными сортами. Он был бы в ответ признателен, если бы тот лично купил у определенного знаменитого бакалейщика маленький мешочек несравненного кофе-мокко; но Глену не нужно приказывать его жарить или молоть, потому что Пьер предпочел бы обе эти важные и решающие ароматические операции выполнить за мгновенье до заключительного кипения и подачи на стол. Но он не сказал, что заплатит за вина и Мокко; он удовольствовался простым заявлением о невнимательности со стороны своего кузена

и нашел лучший способ её исправить.

Он завершил свое письмо сообщением, что хотя, по слухам, день для его бракосочетания и близок, но он был выбран неудачно, и не без обоснования, — но он всё же не считал бы щедрое предложение Глена просто основанным на этом предположении и, следовательно, отпадающим одновременно с ним, а, наоборот, считал его вполне полезным в течение любого периода времени, определенного Пьером. Он без сомнения был помолвлен и надеялся быть женатыми до конца своих дней. Между тем Глен далее обязывался представить доверенному служащему окончательное уведомление о выезде.

Даже будучи сначала сильно пораженным этим письмом, — ибо действительно, его предложение, возможно, тоже проистекало из хвастовства, как и любое другое, и при этом он не мечтал о таком решительном его принятии, — кузен Пьер был слишком рано развившимся молодым человеком мира, открыто принимающем его не иначе, как весьма дружелюбное, родственное, радостное и всё же прагматичное, что явно проявилось в ответе гораздо более искреннем и всесторонне доверяющем его сердцу и уму, нежели какое-либо иное письмо, написанное Пьеру со времени их

детства. И такая открытая и, в какой-то степени, безжалостная прямота Пьера этим весьма притворным юношей была удачно перенаправлена на акт впечатляющей доброты, оказавшись вынужденной снять уже пустую хвастливую маску и выставить неизменные сердечные особенности подлинного лица. И именно такие люди существуют в мире, что будут дразнить случайной показной добротой, когда вся скромность и холодность, всё негодование и все торжественные проповеди обречены на неудачу.

II

Но пока мы мало-помалу постигали особые отношения между Пьером и Гленом, — отношения, которые под конец привели к самым серьезным последствиям, — всем двусмысленностям, что были там, но не здесь, предшествовала другая и более развернутая двусмысленность, которая должна была поглотить всё само по себе незначительное и тем самым создать еще одну всепроникающую двусмысленность, дающую единственно возможное объяснение всем неоднозначным деталям.

Пьер давно предполагал, что ещё до появления его отношений с Люси лощеный Глен не был

совершенно равнодушен к её удивительному очарованию. Однако он с самого начала не знал, как это предположение обосновать. Конечно, его кузен никогда не подавал ни малейшего мыслимого намека на предательство, а что касается Люси, то интуитивно та же самая деликатность, которая навсегда запретила Пьеру задавать ей этот вопрос, одинаково закрывала и её своевольные губы. На крышку этой тайны между Пьером и Люси деликатность наложила свою священную печать, которая, словно воск исполнителя на столе, пусть и оказалась способной к тому, чтобы расплавиться от самой маленькой свечи, но все же стала почтительным препятствием, достойным крепости пластин и болтов.

Если Пьер невнимательно оценивал отношение Глена к нему, то он не мог найти какого-либо реального доказательства подозрению. Ревновать, столь благожелательно улыбаться и предлагать свой дом невесте? Однако, с другой стороны, следует оставить простую поверхность поведения Глена и проникнуть под его парчовое одеяние, где Пьер иногда, казалось, видел давнюю, тайную и все же неизлеченную рану от великой терзающей неудовлетворенности отвергнутого влюбленного и вытеснения его кон-

курентом, еще более углубляемую их прежней дружбой и попыткой восстановления близкого родства между ними. Теперь, рассматривая в свете этого главного решения все необъяснимые загадки в Глене, его капризность в эпистолярном вопросе — «Дорогой Пьер» и» Драгоценный Пьер», было подобным падению ртутного столбика с отметки горячей лихорадочной сердечности до отрицательных показателей безразличия, а потом обратным возвращением к лихорадочному жару, и, прежде всего, его решительной избыточной преданности, появившейся в тот момент, когда подчеркнутая поддержка им Пьера оказалась в точке завершения; таким способом изученные, все эти загадки, по-видимому, обрели свое хитроумное объяснение. Глубина, которую некоторые люди тайно и остро ощущают, противоречит вышележащей поверхности. Дружеское поведение Глена уже тогда нужно было рассматривать в прямой пропорции к его копившей ненависти, и кульминационный момент этой ненависти проявился в открытии своего дома невесте. Всё же, если у ненависти была абстрактная причина, то ненависть не могла стать непосредственной причиной поведения Глена. Действительно ли ненависть так гостеприимна?

Тогда непосредственный мотив Глена должен был состоять в сильном желании скрыть от света факт молчаливого оскорбления его обшитой золотым галуном надменной душе: это фактическое желание исходило из глубины его сердца, откуда Пьер так победно вытеснил его. Все же в поведении Глена присутствовала столь великая утонченность, под конец искренне напущенная на него им же самим, что идеально ловким поведением он первым навязал Пьеру предположение о том, что его кузен весьма увлеченно исполнился решимости предоставить ему невозможное. Следовательно, мы видим здесь, что путь отрицания какого-либо тайного сильного чувства для любого человека так же чрезвычайно тяжёл, как и его долгое удержание в собственной груди; поэтому одно из множеств бесплодных обязательств в мире состоит в стремлении продемонстрировать людям эмоции, абсолютно противоположные вашим. А потому окончательный мудрый совет таков: если у вас есть нечто, что вы желаете сохранить в тайне от самого себя, то следуйте наставлениям квитизма и вообще ничего не говорите об этом. Поскольку из всех зол это наименьшее. Претензии и замены — это всего лишь обращение за помощью к изучаю-

щим науку о мире, науку, в которой на своей собственной земле мой лорд Честерфилд — самый худой наставник. Самый первый инстинкт ребенка и самый зрелый опыт взрослого объединяются в убеждении, что простота это самая истинная и глубинная составляющая человека. Аналогичным образом эта простота, как правило, столь универсальна и всеобъемлюща для человеческой жизни, что самый утонченно скверный человек и самый чистейший человек так же хорошо, как проницательный мудрец, воистину, все как один, предстают той стороной, которой они обычно повернуты к любопытному и невнимательному миру.

III

Теперь, пока вопрос о доме определенно остается в статусе затянувшегося затруднительного положении, вернемся ко времени великой жизненной революции Пьера, получившего письмо от Изабель. И хотя, действительно, Пьер, естественно, не мог не колебаться, спокойно принимая жильё в пользование, при той широте различных обстоятельств, среди которых он теперь обнаружил себя; и хотя сначала наиболее возможные сильные спонтанные возражения, по-

рожденные личной независимостью, гордостью и обычным презрением, все разом высказались в его груди против такого курса, — то всё же, под конец, сама эта самоуспокоенность, всегда приспособленная к его своеобразному восприятию значения слов, побудила его, в конце концов, сдержать данное им обещание. Это сразу оберегло бы его от всех обязательных проблем простого пансиона, а предоставленное ему на неопределенный срок жильё позволило бы лучше взглянуть на себя и определить то, что ещё предстояло сделать в дальнейшем для постоянного комфорта тех, кого Судьба вверила его заботе.

Независимо, как казалось, от общего главного пробуждения его первоосновы появилась последовательная совокупность необычайных испытаний, с которыми он столкнулся в последнее время: ему пришла в голову возмутительная мысль о том, что мир должен быть действительно органически презренным, если он, не удержавшись от того предположения, принятого, как лишнее, в период достатка, теперь отклонит его, находясь в острой необходимости. И вообще, не приписывая какую-либо особенность доброжелательной озабоченности своего кузена, его ни на мгновение не заинтересовал вопрос: а при

изменившемся характере дел Глен, по крайней мере, не притворялся ли с бóльшим нетерпением, приветствуя его в доме, когда уже простая очевидная любезность переродилась в некое подобие определенной и насущной потребности. Когда Пьер полагал, что не только он сам был заинтересован в этом, но вместе с ним и две совсем беспомощных спутницы, одна из которых изначально была связана с ним самыми священными связями и крайним эмоциональным воодушевлением, с которым было передано всё человеческое прошлое в сумбурном и мистическом выражении; — эти дополнительные соображения полностью уничтожили в Пьере все оставшиеся диктаты его неясной гордости и ложной независимости, если таковые действительно когда-то имелись у него.

Хотя в интервале времени, пролегавшим между его решением отбыть с своими компаньонками в город и его фактическим началом путешествия в экипаже, он не смог получить от своего кузена какое-либо слово в ответ, и, хотя он знал о помощи, на которую мог бы рассчитывать, Пьер всё же послал Глену предупредительное письмо и не сомневался, что этот шаг окажется вполне благоразумным.

В умных по природе мужчинах, даже молодых и неопытных в некоторых делах, эти серьезные и внезапные чрезвычайные ситуации, не порождают робость и слабость, а только служат вызову всей их скрытой щедрости, и учат тому, что вдохновение и необычные принципы поведения, нашедшие отражение в других людях, являются только результатом долгого, по-разному применённого жизненного усердия. Один из этих принципов таков: когда вследствие какой-либо причины мы внезапно после исчезновения богатства оказываемся в нужде или теряем добрую славу и остаемся с дурной, тогда немедленно становится необходимым не противоречить тому, — до тех пор, по крайней мере, пока такая ситуация не изменится, — кто ранее был обычно расположен к нам, и от кого мы теперь испрашиваем некую подлинную помощь, иначе все объяснения или дворцы необходимо презирать; быстрота, смелость, безоговорочное стремление идти в бой и вызывающая непокорность должны будут характеризовать каждый слог, который мы выговариваем, и каждую линию, которую мы прослеживаем.

Предупредительное письмо от Пьера Глену, погружающее сразу в саму суть дела, и было,

возможно, самым кратким письмом, которое он когда-либо писал ему. Хотя ни в коем случае постоянные особенности таких писем не характеризуют обычного настроения или обычной предрасположенности к человеку (ведь такие случайности, как оцепенелый палец или плохое перо, или бледные чернила, или мятая бумага, или хрупкий стол способны по-разному повлиять на их внешний вид), однако в имеющемся случае с почерком Пьера явно случилось то, что засвидетельствовало и подтвердило настрой его сообщения. Лист был большим, но слова были размещены на нём в увесистых, хотя и быстрых строках, всего лишь шести или восьми на странице. И как лакей надменного посетителя — некоего графа или герцога — объявляет о колеснице своего господина громовым ударом при входе, так и Глен в широкой, стремительной и потрясающей надписи на своем письме предупреждал Пьера о характере человека, стоявшего у него на пути.

В момент сильного волнения замечательное сосредоточение обостряет язык и перо, а поэтому такие идеи, изложенные далее с точностью и быстротой небольшого ружья, в какой-либо иной час добродушия или спокойствия требуют

продолжительного времени и устного напоминания о проблеме.

Но здесь и сейчас мы можем изложить точное содержание письма Пьера, без тавтологии, не отдавая должное самим идеям. И хотя, действительно, страх тавтологии бывает непрерывным мучением некоторых серьезных умов и, как таковой, является, конечно, их слабостью, и хотя ни один мудрец не помыслит, оказавшись в нужде, со смертельным нетерпением сжечь добросовестного Вергилия ради чудовищной кучи бесполезного изобилия, — всё же отсутствие боязни тавтологии время от времени обнаруживается только у абсолютных глупцов, которых по всей земле небеспристрастный Бог благословил вместе с их неистощимым тщеславным самообогащением, безумием и слепым самодовольством.

Некий слух о разрыве его помолвки с Люси Тартэн, о его уже состоявшемся бракосочетании с бедной и одинокой сиротой, о реакции его матери на эти события — о таких слухах Пьер теперь написал своему кузену, которые, — что весьма вероятно, — в апартаментах его городских родственников и знакомых, могли появиться перед его прибытием в город. Но он не намекнул

и словом о каком-либо возможном комментарии относительно этих вестей. Он просто продолжил, что теперь, из-за каприза жизни, — который был всего лишь, согласно поговорке, непрочной военной удачей — он пока полностью полагается на свои собственные ресурсы для с поддержки себя самого и своей жены, а также для временного содержания девушки, которую по недавно появившейся серьезной причине он решил взять под особую опеку. Он рассчитывал на постоянное место жительства в городе не без неких почти четких планов относительно получения соответствующего дохода и без какой-либо скрытой опоры на какого-либо из его богатых и многочисленных родственников. Дом, так красиво и заранее предложенный Гленом, был ему теперь вдвойне и втройне желателен. Но слуги, загодя занятые и старым фарфором, и старым серебром, и старыми винами, и мокко, теперь стали в целом не нужны. Пьер просто занял бы место — на короткий период — достойного старого клерка и, — насколько Глен был в этом заинтересован, — просто занялся бы заботами о жилье, пока его планы не определились. Его кузен оригинально проиграл свою самую щедрую увертюру, чтобы пригласить предполагаемую невесту Пьера, и,

хотя другая леди теперь заняла её место у алтаря, Пьер всё же продолжает относиться к предложению Глена как безличному в этом отношении и имеющему равную ссылку на любую девушку, которая будет способна доказать свое притязание на руку Пьера.

Поскольку с тех пор не появилось какого-либо универсального сложившегося мнения в таких вопросах, Глен, руководствуясь общепринятыми правилами, не сможет считать настоящую г-жу Глендиннинг в целом столь подходящей и достойной Пьера, как он, возможно, полагал, держа на примете других многочисленных молодых леди. Тем не менее, Глену стоит обращаться с ней со всей прямотой своего родства и вниманием. В заключение Пьер сказал, что он и его половина размышляют о срочном отъезде, и очень вероятно, что они прибудут в город спустя сорок восемь часов после отправки по почте настоящего письма. Поэтому он попросил Глена посмотреть перед их прибытием за небольшим комплектом наиболее важной домашней утвари для собственных нужд, проветрить и обеспечить освещением комнаты, а также предупредить доверенного клерка о том, к чему ему стоит готовиться. Затем без какого-либо тонкого и длинного продолже-

ния, состоящего из — «...Твой, самый настоящий и искренний, мой дорогой Кузен Глен...", — он закончил письмо резкой и отдельно поставленной подписью — «PIERRE».

Книга XVI
Первая ночь по их прибытии в город

I

Путь был пройден.

Проселочная дорога, по которой они ехали, входила в город через удивительно широкую и извилистую улицу, служившую главным проездом для его не очень богатых жителей. На небе совсем не было луны, только несколько звезд. Начинались первые ночные часы, когда магазины уже закрываются, а силуэт почти любого странника, как только он проходил через неровный свет, отраженный от окна, говорил о том, что человек спешит не из дому, а домой. Проезд был извилистым, но все же чистым, что не создавало значительного препятствия для взгляда на его уходящий вдаль внушительный вид; поэтому, когда кучер достиг вершины длинного и очень пологого склона, бегущего к неясному сердцу города открывающейся мерцающей перспективой из двух длинных и параллельных рядов

фонарей — фонарей, которые, казалось, предназначались не для того, чтобы рассеять общий мрак, а показать некий неясный путь, ведущий через него во мрак ещё более глубокий — когда кучер достиг этой весьма важной точки, то весь широкий треугольник города, казалось, на мгновение, смутно и подавлено предстал перед глазами.

И теперь, прежде чем спуститься по пологому склону, уже находясь на вершине, пассажиры, вследствие долгой тяжёлой болезненной трясски и утомительной, тянущейся езды, внезапно ощутили некое большое изменение в характере дороги. Кучер, казалось, переворачивал пушечные ядра всех калибров. Схватив руку Пьера, Изабель с нетерпением и дурным предчувствием спросила, что стало причиной такого весьма странного и неприятного превращения.

«Мостовые, Изабель; это — город».

Изабель промолчала.

Но в первый раз за много недель по своей воле заговорила Делли:

«Тут не столь мягко, как на зеленом газоне, господин Пьер».

«Нет, мисс Алвер», — сказал Пьер, очень ожесточенно, — «похороненные сердца неких умерших

граждан, возможно, вылезли на поверхность»

«Сэр?» — сказала Делли.

«И они здесь действительно столь жестокосердны?» — спросила Изабель.

«Спроси вон те мостовые, Изабель. Молоко, пролившееся из банки молочника в декабре, замерзает на этих камнях не быстрее, чем белоснежная девственность, оказавшаяся в нужде и, возможно, попавшая на эти улицы»

«Тогда помоги, Боже, в моей тяжелой судьбе, господин Пьер», — всплакнула Делли. — «Почему вы тянете сюда такого бедного изгоя, как я?»

«Простите меня, мисс Алвер», — воскликнул Пьер с внезапной теплотой и одновременно с подчеркнутым уважением, — «простите меня; никогда ещё я не въезжал в город ночью, но, так или иначе, это заставило меня почувствовать как горечь, так и грусть. Ну, будьте веселей, мы скоро удобно разместимся и насладимся комфортом; старый клерк, о котором я говорил вам, теперь, несомненно, с сожалением следит за своей шляпой на вешалке. Ну, приободрись, Изабель, — эта поездка долгая, но мы, наконец, здесь. Едем! Тут уже не очень далеко до нашего радушного приема»

«Я слышу странный шорох и гром», — с дрожью

сказала Делли.

«Мне не кажется, что сейчас как раз светло», — сказала Изабель.

«Да», — ответил Пьер, — «это — запираемые ставни магазина; это запираемые, стягиваемые болтами и укрепляемые окна и двери; городские жители идут на отдых»

«Помоги им, Боже, обрести его!» — вздохнула Делли.

«Они запирают и укрепляют, и тогда они успокаиваются, Пьер?» — сказала Изабель.

«Да, и ты думаешь, что это не служит хорошим предзнаменованием в качестве приветствия, о котором я говорил»

«Ты прочитал всю мою душу; да, я думала об этом. Но куда ведут эти длинные, узкие, унылые и мрачные улицы, которые мы пересекаем время от времени? Что они из себя представляют? Они кажутся ужасно тихими. Я с трудом различаю на них кого-либо; — всё сейчас сейчас выглядит по-иному. Посмотри, как дико смотрятся эти фонари, крест-накрест стоящие и удаленные друг от друга. — Что это за мрачные улицы, дорогой Пьер; куда они ведут?»

«Они, эти проезды, где мы находимся, милая Изабель, — узкие притоки великого Ориноко, и,

как истинные притоки, они исходят из далеких и скрытых мест, из-под темных нависающих тайн раствора и камня, из долгих травянистых болот подлости и множества пересаженных сучков, на которых висят несчастные»

«Я ничего не знаю об этом, Пьер. Но мне не нравится город. Думаешь ли ты, Пьер, что когда-нибудь настанет время, когда вся земля будет замощена?»

«Слава Богу, этого никогда не случится!»

«Этот тихое мрачное место ужасно, — смотри! Мне кажется, что не ради мира я возвращаюсь в него»

Почти в тот же момент переднее колесо резко заскрипело под телом кучера.

«Смелее!» — вскричал Пьер, — «мы в карете! — Оно, к тому же, не такое уж и уединенное — сюда прибывает путешественник»

«Послушайте, что это?» — сказала Делли, — «этот резкий железный звон? Он сейчас прошел мимо нас»

«Увлеченный путешественник», — сказал Пьер, — " на пятах его ботинок — стальные набойки; это какой-нибудь старший сын с нежной душой, как я полагаю»

«Пьер», — сказала Изабель, — «эта тишина

неестественная, она страшит. Леса никогда такими не бывают»

«Это потому, что кирпич и раствор хранят более глубокие тайны, чем древесина или срубленный лес, милая Изабель. Но здесь мы снова поворачиваем; теперь, если я угадал, ещё два поворота приведут нас к двери. Смелее, все будет хорошо; несомненно, он приготовил славный ужин. Смелее, Изабель. Ну, это будет чай или кофе? Немного хлеба или свежий тост? У нас также будут яйца и, возможно, какая-нибудь холодная курица.» — Затем, бормоча про себя, — «Я также надеюсь, что все не так, никаких холодных закусок! слишком много холода выложено здесь этими булыжниками, словно еда для голодающих нищих. Нет. Я не буду есть холодную курицу». Затем вслух — «Но здесь мы поворачиваем снова; да, так я и думал. Хо, кучер!» (толкая его голову из окна) «направо! направо! он должен быть справа! первый дом со светом справа!»

«Всё то же: никаких огней, кроме уличных», — ответил неприветливый голос кучера.

«Глупец! он проехал его — да, да — он проехал! Хо! хо! Остановитесь, вернитесь. Разве вы не проезжали освещенные окна?»

«Никаких огней, кроме уличных», — раздался

грубый ответ. «Какой номер? номер? Не заставляйте меня метаться здесь всю ночь! Номер, я сказал!»

«Я не знаю его», — ответил Пьер, — «но я хорошо знаю дом; вы, должно быть, проехали его, я повторяю. Вы должны вернуться. Разве вы не проезжали освещённые окна?»

«Тогда их лампы должны гореть черным светом; на улице совсем нет освещённых окон; я знаю город; здесь живут старые девы, и все они ушли спать; наша остановка это склады»

«Вы остановите экипаж или нет?» — вскричал Пьер, уже рассерженный его угрюмостью при продолжении пути.

«Я повинуюсь приказам: первый дом со светом; и „будьте внимательны“ — хотя, будьте уверены, что я не знаю ничего о городе, где родился и прожил всю свою жизнь — нет, я вообще ничего не знаю о нём — „будьте внимательны“, первый же дом с часами на этой улице — да, это там — отлично! Вы сняли дешёвое жилье — чтобы ничего не платить, и при этом столоваться»

Для определенных характеров, особенно, прежде взволнованных некими глубокими чувствами, нет, возможно, ничего более невыносимого и разом взрывающего всё их самообладание,

чем грубая, глумливая дерзость носильщика, кэбмена или развязного кучера. Позорных слуг и перевозчиков в плохом городе больше; они профессионально знакомы с большинством падших и преследуемых; в самом сердце страданий среди всех виновных они ведут себя наиболее меркантильно. Дремлющие и бездельничающие днем на своих медлительных ящиках под солнечном светом и по-кошачьи бодрствующие и видящие в темноте; большинство из них приучено шагать только по полуночным улицам, крадясь как грабители, распутницы и распутники, часто фактически потакая лиге самых отвратительных клоак; они таковы, что одинаково внимательны и подозрительны в отношениях с каждым клиентом, с которым сталкиваются в темноте, оказываясь распутниками или плутами; это отвратительное племя людоедов, Харонов-перевозчиков к смерти и разложению, натурально проникнуто наиболее практической кальвинистской точкой зрения человечества и считает каждого человека, в основе своей, подходящим объектом для самой грубейшей грубости и шутки; только прекрасные пальто и полные карманы смогут отхлестать таких паршивых гончих до благопристойного состояния. Небольшое нетерпение, какая-либо

характерная суетливость, острое выразительное слово протеста от клиента в захудалом пальто или с каким-либо иным признаком бедности, даже сиюминутным и косвенным (из-за того, что в уважении к достатку они — наиболее проницательны и точны среди всех осуждающих людей), почти наверняка в таких случаях вызывает, как минимум, непереносимое пренебрежение.

Возможно, кучеру несознательно передалась некая идея, теперь побудившая весьма раздраженного Пьера к действию, от которого, в более благоприятный час его оградила бы более разумная мысль.

Он не видел света, к которому направился кучер, и, внезапно разгневавшись, не обратил внимания на то, что теперь кучер медленно двигался в этом направлении. Прежде чем Изабель смогла опередить его, он рывком открыл дверь и, спрыгнув на мостовую, оказался впереди лошадей, яростно сдерживая в узде головы их лидеров. Кучер уже схватил свой кнут для четверки лошадей, чтобы с залпом проклятий хлестнуть им вдаль, и раскрутил плеть для удара по Пьеру, когда его рука была схвачена полицейским, который, внезапно подскочив к остановившемуся кучеру, приказал тому успокоиться.

«Говори! Что здесь за проблема? Успокойтесь, леди, ничего серьезного не произошло. Говорите вы!»

«Пьер! Пьер!» — закричала встревоженная Изабель. Пьер немедленно оказался со стороны её окна и, сейчас же обратившись к офицеру, объяснил ему, что кучер упорствовал в стремлении пройти мимо дома, у которого ему было приказано остановиться.

«Тогда он должен был повернуть с вами направо, сэр, — и вдвойне быстрее; вы слышите? Я довольно хорошо знаю вас, мошенников. Разворачивайся, любезный, и отвези джентльмена туда, куда он велел»

Запуганный кучер завел долгие и последовательные обвинительные объяснения, когда, обращаясь к Пьеру, полицейский спокойно предложил ему повторно провести кучера; он хотел бы увидеть его в безопасности в месте назначения; и затем, сев возле кучера на ящик, приказал тому назвать номер, сообщённый ему господином.

«Он совсем не знает номера — не знает, я сказал, он не знает — это — то, что меня и взбесило»

«Пока постой», — сказал офицер. — «Сэр» — развернувшись и обратившись к Пьеру, — «куда вы

хотите приехать?»

«Я не знаю номера, но он на этой улице; мы проехали его; это, я полагаю, четвертый или пятый дом по этой стороне с последнего угла, на котором мы повернули. Он также должен быть освещён. Это — маленькое старомодное жилье с каменными львиными головами над окнами. Но если мы развернёмся и будем медленно двигаться, то я скоро укажу на него»

«Невозможно разглядеть львов в темноте» — прорычал кучер, — «львы; ха! ха! Ослы, это более вероятно!»

«Смотри у меня», — заявил офицер, — «Я уже вижу, как ты наглухо будешь закрыт этой ночью, мой добрый друг, если не прекратишь свою болтовню. Сэр», — добавил он и возобновил разговор с Пьером, — «я уверен, что тут какая-то ошибка. Я уже отлично понимаю, какой дом вы имеете в виду. Я проходил мимо него полчаса назад; в нем всё так же тихо, как всегда. Я полагаю, что никто там не живёт; я никогда не видел там света. Тогда нет ли здесь какой-нибудь ошибки?»

Пьер сделал паузу от недоумения и предчувствия. Действительно ли было возможно, что Глен абсолютно и преднамеренно пренебрёг его письмом? Невозможно. Совсем не возможно.

Но оно могло не попасть ему в руки; почта иногда задерживалась. Тогда опять же, без всяких вопросов, дом должен был быть для них подготовлен, в конце концов, даже при отсутствии каких-либо внешних признаков. Но это было невероятно. Во всяком случае, кучер лишь возразил, что его четыре лошади и громыхающий экипаж не смогут развернуться на этой улице, и, если он должен вернуться и таким способом восстановить свой путь, то это можно сделать, только двигаясь дальше и огибая квартал. И после такого процесса, с его стороны последовавшего за подтвержденным сочувствием относительно дома, кучер, казалось бы, оправдался в минимальных проявлениях своей невоспитанности. А поскольку Пьер полностью возненавидел злодея, то, чтобы не рисковать, он внезапно сориентировался в создавшемся положении.

«Я очень обязан вам, моей добрый друг», — сказал он офицеру, — «за вашу своевременную помощь. Если быть откровенным, то вы только что действительно посоветовали мне немного подумать насчет места, где я предложил остановиться. Нет ли какого-либо отеля в этом районе, где я мог бы оставить этих леди, пока я ищу своего друга?»

Будучи привыкшим ко всем способам обмана и задавшись запросом, который неизбежно создает подозрение на основе простых явлений, — пусть и показное, но честное, — добросердечный офицер уже смотрел на Пьера в свете сомнения, неприязненно изучая его, и, отбросив обращение «Сэр», с ощутимо изменившимся тоном своего голоса ответил: «В этом районе нет отелей, и ещё он далёк от оживленных улиц»

«Поехали! Поехали!» — вскричал кучер, уже снова осмелев — «пусть вы и офицер, но я-то для всех — гражданин. У вас сейчас нет больше права не допускать меня в мою кровать. Он не знает, куда идти, поскольку нет такого места, куда не пойдешь; поэтому я просто свалю его здесь, и вы меня не остановите»

«Не стоит сейчас дерзить», — сказал офицер, но уже не так серьезно, как прежде.

«Однако я воспользуюсь своими правами, так и знайте! Отпустите мою руку, чёрт побери, выйдите из салона; сейчас это моё законное право. Я говорю, сэр, идите бродяжничать, вот ваш багаж», — и, сказав это, он протянул ему с вершины помоста лёгкий узел.

«Сейчас же попридержи язык», — заявил офицер — «и не устраивай столь великую спеш-

ку», — затем обращаясь к Пьеру, который теперь повторно отошел от кучера — «ну, так не может продолжаться; что вы намерены делать?»

«Во всяком случае, не ехать дальше с этим человеком», — сказал Пьер. — «Я пока остановлюсь прямо здесь»

«Он! он!» — рассмеялся кучер, — «он! он! Лабиринт теперь услужлив — мы уже подтянулись, мы… остановились прямо перед домом с часами — он! он! — это забавно!»

«Тогда долой багаж, кучер», — сказал полицейский — " передай сюда маленький чемодан и там, позади, подержи привязь»

Во время всей этой сцены Делли оставалась совершенно тихой из-за дрожи и обычной тревоги, в то время как Изабель изредка кричала Пьеру, безуспешно умоляя о каком-то объяснении. Но хотя полное незнание городской жизни заставило обеих компаньонок Пьера относиться к настоящей сцене со слишком большим трепетом, всё же теперь, когда во мраке ночи и в самом центре странного города Пьер вывел их из экипажа на пустую улицу, и они увидели свой багаж сложенным около белого дома с часами, — то вследствие этого же самого своеобразного неведения их взгляд на него полностью поменялся. Ведь

они едва ли бы могли предположить, при каких действительно неблагоприятных и неудачных обстоятельствах они впервые соприкоснуться с лицом города.

Как только кучер, громыхая, уехал прочь и скрылся в необъятной тьме, Пьер заговорил с офицером.

«Это — довольно странный случай, я признаюсь, мой друг, но странные случаи ещё будут иногда происходить»

«В лучших из семей», — добавил другой немного иронично.

Теперь я не должен ссориться с этим человеком, подумал Пьер про себя, уязвленный тоном офицера. Затем сказал: «Кто-нибудь уже есть в вашем участке?»

«Пока ещё никого — не достаточно поздно».

«Тогда не будете ли вы так добры предложить там приют этим леди, пока я не поспешу предоставить им лучшее жилище? Отведите нас, если соизволите»

Человек, казалось, мгновенье колебался, но, наконец, согласился, и скоро они прошли под белым фонарем и вошли в большую, простую и по большей части отталкивающего вида комнату с разломанными деревянными скамьями

и койками, расставленными по сторонам, и перилами перед столом в одном из углов. Нынешний хранитель места спокойно читал газету под центральным длинным двойным газовым фонарем «летучая мышь», а три свободных от дежурства офицера, сидящих на скамье, клевали носами.

«Не самое свободное помещение», — спокойно сказал офицер, — «не всегда прекрасная компании, но мы пытаемся вести себя пристойно. Присаживайтесь, леди», — и вежливо пододвинул к ним маленькую скамейку.

«Привет, друзья мои», — сказал Пьер, приблизившись к кивающей троице и похлопав всех их по плечу — «Привет, я говорю! Вы окажете мне небольшую услугу? Поможете внести небольшую поклажу с улицы? Я отблагодарю вас за свои проблемы и, кроме того, буду очень признателен»

Немедленно три человека, клевавших носами, но привыкших к внезапным пробуждениям, открыли свои глаза и с трудом всмотрелись; затем, будучи взбодрены крыльями «летучей мыши» и осведомлены старшим офицером, внесли багаж столь же быстро, как то требовалось.

Пьер поспешно усадил Изабель и в нескольких словах дал ей понять, что теперь она оказалась в совершенно безопасном месте, хотя и непривет-

ливом, что офицеры в любом случае позаботятся о ней, в то время как он со всей возможной скоростью направится в дом и обязательно установит, в чём там дело. Он надеялся вернуться меньше, чем десять минут с хорошими новостями. Объяснив свое намерение первому офицеру и попросив его не оставлять девушек до своего возвращения, он немедленно отправился на улицу. Он быстро дошел до дом и сразу же узнал его. Но всё было погружено в глубокую тишину и темноту. Он позвонил в звонок, но никакого ответа не последовало; и достаточно долго прождав, дабы удостовериться в том, что дом действительно покинут или же старый клерк не в состоянии проснуться или отсутствует, — во всяком случае, уверившись, что к их прибытию не было сделано ни малейший подготовки, — Пьер, горько разочарованный, вернулся к Изабель с этой весьма неприятной новостью.

Тем не менее, нужно было что-то делать, и быстро. Обратившись к одному из офицеров, он попросил его найти контору по найму, чтобы вся компания смогла бы снять какое-нибудь приличное жилье. Но человек, а также его товарищи отказались от такого поручения, заявив, что не стоит их подталкивать, они стоят на своём

посту и ни при каких обстоятельствах не могут его оставить. Поэтому идти должен был сам Пьер. Ему ни в коем случае не нравилось оставлять Изабель и Делли снова, пока он будет в экспедиции, способной занять некоторое время. Но иных вариантов не было, а время уже сильно поджимало. Поэтому, сообщив о своём намерении Изабель, снова попросив офицера о прежних конкретных услугах и пообещав не оставить его без оплаты, Пьер снова ушёл. Он посмотрел вверх и вниз по улице и прислушался, но не услышал какого-либо звука от приближающегося экипажа. Он продолжил путь и, дойдя до первого угла, повернул свои быстрые шаги к самому большому и самому центральному проспекту города, который гарантировал, что там, если не где-нибудь ещё он найдет то, что хочет. Он находился на некотором расстоянии отсюда; и Пьер не терял надежды, что в пустой дом удастся войти прежде, чем он прибудет туда. Но несколько бродяг, с которыми он столкнулся, все просили денег. Он продолжил путь и, наконец, достиг широкой улицы. Ещё не привыкший к таким сценам Пьер на мгновение был удивлен, что в один момент с узкой, тёмной и смертельно спящей улицы, он внезапно попадет в среду непреходящего шума,

соперничества и всевозможных контрастов ночной жизни широкого проезда, переполненного и тесного днём, который даже сейчас, в этот поздний час, блестел от случайных огней и отзывался эхом на великое множество быстрых колёс и шагов.

II

«Я к вам обращаюсь, мой красавчик! Дорогой! Дорогой! молодой человек! О, моя любовь, вы сейчас в великой спешке, не так ли? Не можете ли вы сейчас ненадолго остановиться, мой дорогой: сделайте это — тут у вас есть милый друг»

Пьер повернулся, и в зловещих, мигающих, дьявольски пересекающихся лучах света, вырывающихся из аптечного окна, его взгляд поймал восхитительно красивую девушку с алыми щеками, вызывающе одетую, с фигурой, полной естественной грации, но неестественно оживленную. Вся её фигура, однако, была освещена ужасным зелёным и жёлтым светом из аптеки.

«Боже мой!» — задрожал Пьер, поспешно проходя мимо. — «Это первое приветствие молодёжи от города!»

Он сразу перешёл на другую обочину, противостоявшей той линии, где к нему приставали,

и когда его взгляд задержался на коротком, позолоченном названии, весьма сдержанно и аристократически присвоенном большому и очень красивому дому, вторая сторона которого была ярко освещена. Он поднял взгляд и понял, что в этом доме находится квартира Глена. Уступая внезапному импульсу, он сделал единственный шаг к двери и позвонил в звонок, на который быстро ответил весьма цивилизованного вида чернокожий малый.

Как только дверь открылась, изнутри до него донеслись отдаленные звуки музыки, танцев и веселья.

«Г-н Стэнли здесь?»

«Г-н Стэнли? Да, но он занят»

«Чем занят?»

«Он где-то в гостиных. Моя хозяйка устраивает вечер для квартирантов»

«Да? Скажите г-ну Стэнли, что я хочу увидеть его в этот самый момент, если пожелаете; именно в этот самый момент»

«Я не осмелюсь вызвать его, сэр. Он сказал, что возможно кто-то захочет вызвать его сегодня вечером — они вызывают каждую ночь г-на Стэнли — но я не должен кого-либо допускать по просьбе со стороны»

Мрачное и горькое подозрение сейчас же пронеслось через сознание Пьера, и, непослушно уступая ему и решившись без задержки удостовериться в нём или опровергнуть его, он сказал чернокожему:

«Моё дело поджимает. Я должен видеть г-на Стэнли»

«Я сожалею, сэр, но приказ есть приказ: я здесь — его наёмный слуга — тот, кто видит его светлый лик во все праздники. Я не могу не повиноваться ему. Я могу закрыть дверь, сэр? поскольку все так и обстоит, я не смогу допустить вас»

«Гостиные находятся на втором этаже, не так ли?» — сказал Пьер спокойно.

«Да», — сказал чернокожий после удивленной паузы, придерживая дверь.

«Вон там лестница, правильно?»

«Верно, сэр; но это ваше…", — и недоверчивый чернокожий уже почти с яростью закрыл вход перед Пьером, когда тот внезапно оттолкнул его в сторону, запрыгнул на длинную лестницу и самостоятельно нашел открытую дверь, откуда исходили порывы блеска и мелодий, будучи сам вдвойне смущённым одним лишь своим простым появлением с улицы. Но, изумлённый и полно-

стью лишённый рассудка, как ему на мгновение показалось, он немедленно вошёл туда и смутил пораженную компанию своей неснятой шляпой с помятыми полями, бледными щеками, всей пылью, осевшей на нём во время путешествия и свирепым обликом.

«Г-н Стэнли! где г-н Стэнли?» — крикнул он, двигаясь прямо через разлетевшуюся в сторону кадриль, в то время как музыка внезапно и полностью стихла, и взгляды всех присутствующих в смутном страхе уставились на него.

«Г-н Стэнли! Г-н Стэнли!» — закричало несколько льстивых голосов в дальнем конце уходящих в даль гостиных комнат, первая из которых была широко открыта. — «Вот самый удивительный человек после вас; может, он — дьявол?»

«Я думаю, что вижу его», — ответил необыкновенно прохладный, расчётливый и несколько растягивающий слова голос, однако очень серебристый и в основе своей, возможно, очень решительный. — «Я думаю, что вижу его; постойте в стороне, мой добрый друг, сделайте так; леди, удалитесь, удалитесь туда, между мной и вон той шляпой»

Вежливо расступившаяся компания, к которой он обращался, теперь открыла подошедшему

Пьеру высокую, крепкую фигуру удивительно приятного с виду молодого человека с каштановой бородкой, одетого для такого случая на удивление просто, почти скромно; но, хотя простота его платья на первый взгляд была не столь заметна, материя была прекрасна и превосходно подогнана. Он небрежно развалился на половине большого дивана и, казалось, что сейчас он просто прервал некую очень приятную беседу с миниатюрной, но оживлённой брюнеткой, сидевшей на другом конце. Денди и человек, сила и изнеженность, храбрость и леность были так странно переплетены в этом молодом человеке с прекрасными глазами, что на первый взгляд, казалось невозможным определить, есть ли вообще у него истинный характер, или нет.

Прошло несколько лет с момента последней встречи кузенов; годы сильно и почти немыслимо меняют обычный облик людей. Тем не менее, взгляд меняется редко. На мгновенье их взгляды встретились, они взаимно признали друг друга. Но оба промолчали об этом.

«Глен!» — вскрикнул Пьер и остановился в нескольких шагах от него.

Но тот лишь опустил благородный взгляд, устроившись в своей ленивой позе, медленно

вытащил из кармана своего жилета маленькие, простенькие очки без оправы и в упор, хотя и не столь оскорбительно, несмотря на обстоятельства, тщательно рассмотрел Пьера. Затем, поставив свой стакан, медленно повернулся к стоящим возле него господам и произнес своим несколько своеобразным, смешавшимся и, как и прежде, музыкальным голосом:

«Я не знаю его; всё это — ошибка; почему слуги не уведут его и не продолжат музыку?.. Как я говорил, мисс Клэр, статуи, которые вы видели в Лувре, не стоит упоминать вместе с теми, что стоят во Флоренции и Риме. Да ведь теперь появился тот, кто превознёс шедевр Сражающийся Гладиатор в Лувре…»

«Сражающийся Гладиатор здесь!» — выкрикнул Пьер, подскакивая к нему, словно Спартак. Но его дикий импульс сдержали встревоженные вопли женщин и дикая жестикуляция вокруг. Воспользовавшись создавшейся паузой, несколько джентльменов приблизились, чтобы связать его, но, отчаянно отбросив их, он выпрямился и, улучив мгновение, уставив свой взгляд на своего все ещё полуразвалившегося и, по-видимому, неподвижного кузена, сказал следующее: «Глендиннинг Стенли, ты отрёкся от Пьера с меньшим

омерзением, с каким Пьер отрёкся от тебя. Клянусь Богом, будь у меня нож, Глен, я заколол бы тебя на месте, слил бы всю твою кровь Гленднинга, а затем зашил бы мерзкие останки. Ты — негодяй и мерзкое пятно на всём человечестве!»

«Это весьма необычно: замечательный случай соединения обмана и безумия; но где слуги? почему этот чернокожий не двигается? Выведите его, мой добрый Доктор, выведите его. Осторожно, осторожно! стойте» — сунув руку в свой карман — «вот, возьмите это и выведите куда-нибудь этого беднягу»

Подавив в себе всю свою ярость из-за невозможности каким-либо способом удовлетворить её в таком месте, Пьер сейчас же повернулся, спрыгнул с лестницы и выбежал из дома.

III

«Карету, сэр? Карету, сэр? Карету, сэр?»

«Кэб, сэр? Кэб, сэр? Кэб, сэр?»

«Сюда, сэр! Сюда, сэр! Сюда, сэр!»

«Он — жулик! Не надо к нему! он — жулик!»

Пьер был окружен толпой спорящих извозчиков, все из которых держали в своих руках длинные кнуты, в то время как другие нетерпели-

во подзывали его со своих козел, приподнимаясь между двумя фонарями словно потертые, отвергнутые святые. Повсюду вокруг щелчки кнутов и рассказы о раскалывающих ударах плетью терзали его слух. Уже вырвавшемуся со сцены, настолько же раздражающей, как и его разговор с презрительным Гленом в великолепной гостиной, Пьеру это внезапное шумное окружение из стеблей кнутов н щелчков бичей напомнило начало злодейского наказания Ореста. Но, покончив с этим, схватив первую же попавшуюся металлическую дверную ручку и запрыгнув в карету, он криком велел тому, кто был её хранителем, немедленно сесть на козлы и гнать в заданном направлении.

Экипаж немного проехал вниз по широкой улице, потом остановился, и кучер спросил, куда дальше, в какое место?

«Дом с часами… Уорд», — крикнул Пьер.

«Привет! привет! Держитесь крепче, эй!» — усмехнулся парень про себя. — «Ну, это — своего рода сладость, как ни посмотри: лежать, вы, собаки! — молчать! уи! уа! — лежать!»

Зрелища и звуки, которые сразу же предстали перед Пьером при возвращении к дому с часами, наполнили его невыразимым ужасом и яростью.

Прежде достойное, сонливое место, теперь прямотаки с силой дышало всеми непристойностями. Едва ли возможно было сказать, какая мыслимая причина или случай оказались способны за сравнительно короткое отсутствие Пьера собрать такую основательную конгрегацию. Вокруг него в неописуемом беспорядке безумные, болезненного вида мужчины и женщины всех цветов кожи, со всем невообразимым щегольством, в вызывающих, гротескных и рванных платьях прыгали, вопили и выкрикивали проклятия. Порванные мадрасские шейные платки негритянок и красные платья жёлтокожых девушек, свисающие лохмотьями с их голых грудей, смешались с взятыми напрокат тёмно-красными платьями белых женщин и разошедшимися по швам пальто, пёстрыми жилетами и бледными торчащими рубашками, или с бакенбардами, или с бородами, или с усами всех стран, некоторые из которых казались согнанными с их кроватей, и другими, по-видимому, арестованными посреди некоего безумного и экстравагантного танца. Со всех сторон неслись голоса пьяных мужчин и женщин на английском, французском, испанском и португальском языках, сдабриваемых всегда и сейчас самым грязным из всех малопонятных

человеческих жаргонов, тем самым диалектом греха и смерти, известном как креольский, ирландский или воровской язык.

Двигаясь посреди этого объединенного столпотворения людей и голосов, несколько полисменов безуспешно пытались подавить шум; в то время как другие были заняты надеванием наручников на более отчаянных, тут и там обезумевшие негодяи, как мужчины, так и женщины, дали настоящий бой офицерам; и даже те из них, на которых уже были надеты наручники, набрасывались на полицейских со скованными железом руками. Между прочим, слова и фразы, непроизносимые при божьем солнечном свете и существование которых было совершенно неизвестно большинству людей, даже в фантазиях не появлялись в головах десятков тысяч достойных горожан; детали непристойностей и проклятий выкрикивались вдаль голосами, явно выдающими общий семейный дух своих хозяев. Воровские кварталы и все бордели, закрытые госпитали для безнадежно больных, больницы и дьявольский ад, казалось, появились разом, вывалившись на землю через мерзкий чёрный ход из некоего отвратительного подвала.

Хотя к настоящему времени случайно возникающие городские события плохо подготовили Пьера к полному постижению определенного смысла этого потрясающего зрелища, тем не менее, он достаточно хорошо знал по слухам о более печально известной жизни города, чтобы понимать, откуда и что это за субъекты оказались перед ним. Но все его сознание в то время было поглощено пугающими мыслями об Изабель и Делли, вынужденными столкнуться лицом к лицу с тем, что было едва ли терпимо для самого Пьера, и, возможно, втянутыми в шум и в замкнутый личный контакт с этой мерзостью. Стремительно двигаясь в толпе, не замечая случайных ударов и проклятий, Пьер повсюду разыскивал Изабель и скоро заметил её борьбу с безумной хваткой полуодетого качающегося пьянчуги. Сильнейшим ударом своего железного кулака он сбил хватающего Изабель гудящего негодяя, крикнув двум полисменам рядом очистить для него путь к двери. Они так и сделали. И через несколько минут задыхающаяся Изабель была в безопасности на открытом месте. Он бы остался с нею, но она заклинала его вернуться за Делли, оказавшейся в ситуации, более тяжёлой, чем она сама. Приблизившись к допол-

нительному отряду полицейских, Пьер передал её заботе одного из них и, позвав двух других с собой, уже повторно вошёл в комнату. В другой её части он увидел, как Делли схватили за обе руки две перепачканных в грязи и крови женщины, которые, жестоко гримасничая, иронически насмехались над её платьем с закрытой шеей и уже сорвали с неё шейный платок. Как только она увидела Пьера, то издала крик, состоящий из мучения и радости, и скоро они вместе успешно вернулся к Изабель.

Во время отсутствия Пьера в поисках извозчика и в то время как Изабель и Делли спокойно ждали его возвращения, дверь внезапно раскрылась настежь, и в отделение полиции ввели и отправили в клетку разнообразных ночных жителей печально известного публичного дома, которые были схвачены и уведены в разгар некой возмутительной оргии. Первый же взгляд на внутренность дома с часами и от того, что их всех так быстро запихали в четыре глухие стены, внезапно провело толпу в бешенство, да такое, что в течение некоторого времени, забыв обо всех других делах, все силы полиции были направлены на подавление внутреннего бунта, и поэтому Изабель и Делли временно остались

на милость толпы и были вынужденны защищаться самостоятельно.

У Пьера совсем не было времени для выражения своего негодования полицейским — даже если он мог бы теперь найти его — которые таким образом не выполнили условий договора по охране его ценностей, хотя первоначально согласились на них. Но уже не было времени беспокоиться о своём багаже, всё ещё где-то лежавшем. Оставив всё, он затолкал изумлённых и полуживых девушек в поджидавший экипаж, который, согласно его распоряжению, отвёз их в сторону от той стоянки, где Пьер его нанял.

Когда извозчик увёз их подальше от шума, Пьер остановил его и сказал, что желает быть в самом близком почтенном отеле или каком-нибудь пансионе, который тому известен. Но тот — учитывая события, произошедшие к настоящему времени — возразил Пьеру несколько неоднозначной и грубой шуткой. Но, вспомнив свою предыдущую опрометчивую ссору с кучером, Пьер оставил грубость без ответа и наставительным, спокойным, решительным тоном повторил своё требование.

Вопрос состоял в том, что после, из-за частично кругового движения они оказались в очень

солидном переулке перед большим респектабельным домом, освещённом двумя высокими белыми фонарями, обрамляющими его портик. Пьер не без удовольствия отметил некое небольшое оставшееся движение, злясь на сравнительно поздний час. Весьма задумчивого вида человек с непокрытой головой, аккуратно одетый, с платяной щёткой в руке, появившись перед ними, сразу же тщательно исследовал его, и весьма резко для начала; но как только Пьер приблизился к свету, и его облик стал различим, человек, приняв почтительный, но всё ещё немного озадаченный вид, пригласил всю компанию в тесную смежную комнату, чьи беспорядочные стулья и обычная пыль говорили о том, что после дневной активности они теперь ждут утреннего внимания горничных.

«Багаж, сэр?»

«Я оставил свой багаж в другом месте», — сказал Пьер, — «я пошлю за ним завтра»

«Ах!» — воскликнул весьма задумчивого вида человек, скорее с сомнением, — «тогда я отошлю извозчика?»

«Останьтесь», — сказал Пьер, вспомнив о том, что не стоит позволять человеку узнать, откуда они в последний раз прибыли, — «я сам отошлю

его, спасибо»

Поэтому, вернувшись на тротуар, он без обсуждения отдал непомерную плату за проезд извозчику, который, стремясь застраховать такую незаконную прибыль, превысившую все его надежды на возмещение расходов, быстро забрался на свою коробку и погнал галопом.

«Теперь вы войдёте в офис, сэр?» — сказал человек, легко обращаясь со своей щёткой — «вот сюда, сэр, пожалуйста»

Пьер последовал за ним в почти пустынную, слабо освещённую комнату со стойкой в ней. Зайдя за стойку, человек развернул перед ним большую, похожую на бухгалтерскую, книгу, плотно исписанную именами, как справочник, и предложил ему подготовленное перо, опущенное в чернила.

Понимая обычный намёк, хотя в тайне чем-то раздражённый манерой человека, Пьер придвинул книгу к себе и написал твердой рукой в нижней части вышеупомянутой колонки — «Г-н и г-жа Пьер Глендиннинг и мисс Алвер».

Человек вопросительно поглядел на запись и затем сказал: «Другая колонка, сэр — откуда вы»

«Верно», — сказал Пьер и написал «Оседлан-

ные Луга»

Очень задумчивого вида человек вновь исследовал страницу и затем медленно погладил свой выбритый подбородок всеми пальцами руки, словно двумя остриями вилки, сделанными из его большого пальца и четырёх других, сказав мягко и шепотом: «Где-то в этой стране, сэр?»

«Да, в стране», — уклончиво сказал Пьер, сдерживая свою ярость. — «Но теперь покажите мне две комнаты, будьте любезны; одну для меня и для жены, Я желаю, чтоб был проход в другую, третью; не берите в голову такую малость, но у меня должна быть гардеробная»

«Гардеробная», — повторил человек иронически созерцательным тоном — «Гардеробная, — гм! — Вы возьмете ваш багаж в гардеробную, так, я полагаю. — О, я забыл — ваш багаж пока не прибыл — ах, да, да, да — багаж прибывает завтра. — О, да, да, — конечно — завтра — конечно. Между прочим, сэр; мне не нравится казаться совсем невежливым, и я уверен, что вы не будете считать меня таким; но…»

«Хорошо», — сказал Пьер, собрав всю свою выдержку из-за появившейся дерзости.

«Когда весьма необычные господа появляются в этом доме без багажа, мы считаем своей обя-

занностью попросить их оплатить свои счета заранее, сэр; это всё, сэр»

«Я останусь здесь сегодня вечером и, во всяком случае, весь завтрашний день», — прибавил Пьер, благодарный за то, что это действительно всё, — «сколько всего?» — и достал свой кошелёк.

Взгляд человека напряженно устремился на кошелёк, затем он перевёл его на лицо того, кто его держал, после чего наступил момент нерешительности, потом взгляд прояснился, и он сказал с внезапной учтивостью — «Неважно сэр, неважно, сэр; хотя жулики иногда бывают благородными, настоящий джентльмен никогда не выезжает без своих документов. Их документы — их друзья; и их единственные друзья — их доллары; у вас полный кошелёк друзей. — У нас есть номера, сэр, которые точно подойдут вам, так я полагаю. Приведите ваших леди, и я покажу вам их немедленно». Сказав это и уронив свою щётку, весьма задумчивого вида человек зажёг одну лампу и, взяв две незажженных другой рукой, последовал через покрытый свинцовым сумраком зал; Пьер последовал за ним вместе с Изабель и Делли.

Книга XVII
Молодая Америка в литературе

I

Среди различных противоречивых способов написания истории, могут оказаться два таких великих практически различных и великих, под которыми все остальные должны выстраиваться по рангу. Согласно одному способу, все одновременно происходящие обстоятельства, факты и события должны быть записаны одновременно; согласно другому, они должны быть учтены настолько, насколько это диктуется основным ходом рассказа из-за вопросов, которые могут быть весьма неуместны сами по себе. Я не выбрал ни один из них; я пренебрегаю каждым; оба чувствуют себя достаточно хорошо в своем деле; я пишу так, как мне нравится.

В более ранних главах этой книги где-то мимоходом сообщалось, что Пьер был не только читателем поэтов и других состоявшихся писателей, но, аналогично — в чём и состояло главное отличие одного от другого — совершенно аллего-

рически понимал их, глубоко и эмоционально им сочувствуя; другими словами, сам Пьер обладал поэтическим даром, самом по себе абсолютным, пусть, не тайно и изменчиво, но одержимым каждой йотой воображаемого богатства, которым он так восхищался, когда, собрав безбрежное усердие и все мучительно неутолённые образы, преобразовывал их в написанную страницу. Не то, чтобы к его пока ещё молодой и к незрелой душе обращались Прекрасные Немые и через просторные залы Тихой Правды препровождали в наполненный, тайный, вечно неприкосновенный Синендрион, где Поэтические Волхвы на великолепной тарабарщине обсуждают Альфу и Омегу Вселенной. Но среди красивых грёз второй и третьей ступени поэтов он расположился вполне свободно и осознанно.

Но ещё остается сказать, что сам Пьер написал много проходных произведений, которые принесли ему не только широкое уважение и поздравления от его наиболее близких знакомых, но и никак не меньшее отдельное восхищение у всегда интеллектуального и чрезвычайно разборчивого общества. Короче говоря, Пьер часто делал то, что делали многие другие юноши — публиковался. Но он публиковал не внушительные

по форме тома, а более скромные случайные работы в журналах и других уважаемых периодических изданиях. Его великолепный и победный дебют воплотился в восхитительном любовном сонете, названном «Тропическое Лето». Не только общественность приветствовала его небольшие драгоценные зарисовки дум и фантазий, будь то поэзия или проза, но высокий и могущественный кэмпбелловский клан всевозможных редакторов наградил его такими щедрыми комплиментами, один взгляд на которые немедленно воспринимался, как необходимость отдать должное. Они говорили в высоких терминах об его удивительном владении языком, они выражали свое удивление по поводу его благозвучного построения предложений, они с почтением рассматривали сбалансированную проницательность его общего стиля. Но, даже проведя это глубокое проникновение в достоинства Пьера, они всмотрелись в бесконечную даль и признались в своей полной неспособности ограничить своё неподдельное восхищение очень рассудительной плавностью, благородством чувств и выразительностью фантазий. «Этот писатель», — сказал один из них в непослушном взрыве яростного восхищения, — " отличается

Прекрасным Вкусом во всем». Другой, после одобрительного цитирования мудрого, подавленного принципа доктора Голдсмита, утверждавшего, что все новое — фальшиво, и продолжавшего применять его к великолепным произведениям перед собой, заключил следующее: «Он превратил невозмутимого джентльмена из гостиной в обыкновенный вал из букв; он никогда не разрешает себя удивлять, никогда не соблазняется вещами грубыми или новыми, как гарантией того, что удивительное должно быть вульгарным, а новое должно быть свежим. Да, в этом и есть слава этого замечательного молодого автора, где вульгарность и сила — два неотделимых свойства — одинаково далеки от него»

Одна треть, проникаясь длинным и красиво написанным обзором, смело, потрясая основы, объявляла: «Этот писатель, бесспорно, весьма уважаемый молодой человек»

Но оказались и такие редакторы различных духовных и религиозных периодических изданий, кто вынужден был дать оценку более серьезную и более завистливую, вследствие более осторожного одобрения. Известный редактор еженедельного клерикального и филологического издания, чьё удивительное знание греческого,

древнееврейского и халдейского языков, которому он посвятил, безусловно, большую часть своей жизни, особенно посодействовал ему, решительно высказав следующее безошибочное суждение по работам о стиле в английском языке: «Он безупречен в нравах и везде выглядит невинным» Другой смело рекомендовал читать его излияния в семейном кругу. Третий, не зная, что сказать, заявил, что самые важные черты и цели этого автора были по-евангельски благочестивы.

Ум, по природе менее сильный, чем у Пьера, возможно, мог бы вполне впасть в безбрежное самодовольство от такой хвалебной речи, тем более, при исключении любого возможного сомнения в необратимости объявленного редакторами примитивного вердикта, весьма устойчивого до прихода нового Тысячелетия, которое смогло бы различить династические предпочтения и, возможно, низвергнуть редакторов. Верным было то, что в представлении об общей практической неопределённости этих панегириков и с учётом того, что, в сущности, все они, так или иначе, были благоразумно осторожными, и что все они были панегириками и ничем иным, как панегириками, без какого-либо анализа, — то пожилые приятели из литературных

кругов осмеливались говорить нашему герою: «Пьер, это — очень высокая похвала, по моему предоставлению, и вы — на удивление молодой автор, который получил её; но я пока ещё не вижу критических замечаний»

«Критических замечаний?» — вскричал Пьер в изумлении, — «Зачем, сэр, они все — критические замечания! Я — идол критиков!»

«Ах!» — вздохнул пожилой друг, как будто внезапно вспомнив, что это, в конце концов, верно, — «Ах!» — и продолжил курить свою безобидную, ни к чему не обязывающую сигару.

Тем не менее, благодаря редакторам, в литературном энтузиазме сделавшим, наконец, имя Пьера таким популярным, два молодых человека, недавно отказавшихся от презренного занятия кройкой ради более благородной торговли изданиями (вероятно, ради использования в книжном производстве полотен и хлопковых клочков, отрезанных на прилавке, после чего подвергнутых переработке на бумажной фабрике), обратились к нему с письмом на самой тонкой, обрамлённой зубчиками бумаге, в самой искусной и утонченной форме и в следующих терминах, общий стиль которого довольно хорошо всё это прояснит; хотя — благодаря производителю — их

полотняные и хлопковые клочки могли быть полностью переработаны в бумагу, если бы их собственные резаки были бы уже доставлены с перерабатывающей фабрики.

«Благ. Пьеру Глендиннингу,
«Уважаемый Сэр,

«Чистый покрой, продуманная подгонка Ваших произведений наполняет нас изумлением. Ткань превосходна — самое прекрасное тонкое сукно от гения. Мы только что открыли производство. Ваши панталоны — мы имеем в виду произведения — ещё никогда не были собраны. Они должны быть изданы в форме Собрания сочинений. Портные — мы имеем в виду библиотекарей — требуют этого. Ваша настоящая известность это самый прекрасный сон. Сейчас — прежде чем блеск исчезнет — пришло время для библиотечных форм. Мы недавно получили счёт на ~~замшу~~ русскую кожу. Библиотечная форма должна быть формой долговечной. Мы почтительно предлагаем переплести ваши удивительные произведения в форме собрания сочинений. Если Вы разрешите, мы передадим Вам образец ~~ткани,~~ мы имеем в виду типовую страницу с образцом кожи. Мы готовы уступить Вам

одну десятую цены (это максимальная скидка) как привилегию для облачения замечательных произведений в библиотечную форму: ~~Вы оплачиваете работу по пошиву~~ счета печатаются и выставляются в день публикации. Мы будем весьма признательны, если ответите нам как можно скорее, —

«Сэр, Ваши самые покорные слуги,

«УАНДЕР & УЭН»

«P. S. — Мы почтительно представляем вложенный ~~блок~~ лист, как выражение серьезности наших намерений изготовить любую вещь под Вашим именем, пригодную к продаже в любой торговой фирме.

«N. B. — Если список не включает ~~весь Ваш прославленный гардероб~~ все Ваши прославленные работы, то мы будем чрезвычайно сожалеть об этом. Мы провели поиски по всем ~~составителям~~ журналам.

«~~Образец~~ ~~пальто~~ Названия работ Глендиннинга:

СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ГЛЕНДИННИНГА, АВТОРА

…Этого всемирно известного произведения…, «…Тропическое Лето: Сонет…»

«…Погода: мысли» «…Жизнь: импровизация…»

«…Покойный преподобный Марк Грэсемен: Некролог…» «…Честь: строфа…» «…Красота: акростих…» «…Эдгар:

Анаграмма…» «…Пиппин[14]*параграф…»*

…&. &c. &c. &c.

&c. &c. &c.

&c. &c.

*&c. …«***

От художника Пьер получил следующее:

«Сэр: я приближаюсь к Вам с искренним трепетом. Хотя Вы и молоды, Ваши способности давно известны. Я не могу не выразить своего горячего восхищения Вашими работами, но не могу глубоко не сожалеть о том, что произведения такой графически изобразительной силы нельзя лишать сопровождения весьма скромными иллюстративными трудами художника. В этом отношении я полностью в Вашем распоряжении. Мне не нужно говорить, насколько я должен быть горд, если этот намёк с моей стороны, даже в качестве предположения, побудит Вас ответить в выражениях, в которых я смог бы

---

14 Примечания: 14

Сын Карла Великого (прим. пер.) **Перечисление условий договора (прим. пер.)

обнаружить надежду удостоить меня и мою профессию несколькими проектами для работ прославленного Глендиннинга. Но поверхностное упоминание Вашего имени наполняет меня здесь такими эмоциями, что я не могу сказать ничего больше. Я только добавил бы, однако, что моё занятие, не имеющее ничего общего с Торговлей, к сожалению, вынуждает меня брать наличную оплату при сдаче заказчику каждого рисунка, на чём основаны все мои профессиональные соглашения. Ваша благородная душа, однако, сочла бы ниже своего достоинства предположить, что эта неприятная необходимость посреди моих простых деловых забот может когда-нибудь ослабеть…

«С глубоким личным почтением и восхищением,

охватывающем меня,

Великий и прославленный Глендиннинг,

Ваш почитатель,
ПИТЕР ПЕНС»

II

Это были волнующие письма. Собрание сочинений! Иллюстрированный Выпуск! Всё его сердце переполнилось.

Но, к сожалению, Пьеру пришло в голову, что

всё, им написанное, было не только мимолётным и преходящим, но и небольшим по объёму. Собранные вместе сочинения уместились бы в книге совсем маленького формата в двенадцатую часть листа; поэтому выпуск Собрания сочинений казался несколько преждевременным и, возможно, в какой-то степени, нелепым. После того, как собрание, в основном, сложилось из небольших сонетов, кратких задумчивых стихов и нравоучительных эссе, материал для художника избег риска оказаться скудным. По своей неопытности он не знал, что великое высокое изобразительное искусство было таково, что определенные представители этой профессии ходят в именитые издательства с предложениями для иллюстрированного выпуска журнала «Кола в Литтлетоне». Даже Городской Справочник был красиво иллюстрирован изящными гравюрами, изображавшими кирпичи, щипцы и утюги.

Что касается наброска для титульного листа, то нужно признаться, что при виде внушительного перечисления его титулов — длинных и великолепных, подобно тем, что предшествуют провозглашениям какого-нибудь немецкого принца («Наследный Господин заднего двора Кранца Якоби, Абсолютный Сюзерен Конфис-

кованного остова кровати покойной Вдовы Ван Лорн, Прямой наследник Разорившейся пекарни Флетца и Флитца, Последний наследник конфискованных карманных денег Покойной вдовы Данкер; &c. &c. &c…»), Пьер не мог полностью подавить кратковременное чувство восторга. Он низко склонился под своим собственным весом, как автор столь тяжёлого воза литературы. Это породило у него некоторые небольшие опасения, однако, потом он уже решил, что на его восемнадцатом году его титульный лист должен превзойти в общем объёме простую страницу, которая в его отцовской редакции предварялась солидными предположениями Платона. Однако он успокоил себя мыслью, что, поскольку он не мог вмешаться в работу расклейщиков афиш журнала «Газель», которые каждый месяц покрывали стены города гигантскими объявлениями с его именем среди других афиш, то и теперь не сможет — при малой вероятности заключения договора с господами Уандером и Уэном — вмешаться в работу их отдела расклейки; поскольку, одно дело, это просто почтить титульный лист, но другое — лишенная окон стена, бесконечно более доступная, чем большинство стен, и бывшая, по крайней мере, единственным местом

в городе, на которое ни один конкурент расклейщиков афиш не смеет посягнуть. Тем не менее, решив, что он должен позволить всем этим расклейщикам афиш выполнять всё самим, он благоразумно и с некоторой долей застенчивости обратился к скромному приёму некоторых деликатных и изысканных авторов, которые, презирая вульгарность громкого парада, удовлетворяются простым написанием своего имени на титульном листе, будучи уверенными, что это достаточная гарантия уведомления о полноте истинного и благородного вкуса. Это для мелких немецких принцев произносились их длинные цветистые титулы. Русскому царю достаточно было начертать простое слово «НИКОЛАЙ» на своих самых главных законах.

Этот ход мыслей завершился, наконец, различными соображениями на предмет анонимности в авторстве. Он сожалел, что не начал свою писательскую карьеру под маской. Теперь уже это могло быть поздно: уже целая вселенная знала его, и напрасно было в конце дня пытаться скрыться от известности самостоятельно. Но когда он разглядел существенное достоинство, уместность и надежность всех моментов анонимности, то не смог не согласиться самым

искренним образом с теми неудачниками, которые не только естественно противились любому виду публичности, но со временем начинали стыдиться своих собственных последующих произведений — написанных, в основном, просто ради денег — безжалостно вынудив самих себя создавать звучные титульные листы от разнообразных пекарен и списки погибших ради других финансовых соображений, поскольку вид титульного листа, несомненно, должен был помочь издателю в его продажах.

Но возможно, что направленный, хотя и в целом несознательный мотив Пьера в окончательном отказе — как он потом и сделал — от услуг господ Уандера и Уэна — этих нетерпеливых претендентов на привилегию распространения и укрепления его известности — стал результатом идеи, не очень далеко забегающей вперед в это время, о том, что, вероятно, его будущие произведения могли бы, по крайней мере, сравняться, если не превзойти, в некоторой небольшой степени, то, что уже явлено миру. Он решил ждать своей литературной канонизация, пока не сможет, по крайней мере, перерасти невежественное толкование Закона, который, с исключительной аффектацией доброты, объяв-

лял его «ребенком». Его скромность закрывала от него то обстоятельство, что самые великие начитанные знаменитости в своё время смогли благодаря божественной силе гения стать полными бакалаврами Университета Известности, в то время как такие же юридически несовершеннолетние подростки вынуждены были ходить к своим мамам ради пенсов, с помощью которых подкармливали себя орехами.

Нередко светское спокойствие Пьера нарушалось вежливыми просьбами от девушек о том, что они будут рады украсить свои Альбомы некой милой песенкой. Мы скажем, что здесь его светское спокойствие прерывалось, поскольку истинное очарование приятного общественной гостиной состоит в том, что там вы теряете свою собственную отчетливую индивидуальность и становитесь чарующе слитыми в мягкий общественный Пантеизм или розовое сплетение всех воедино. Так иногда происходит в гостиных, которые мирно и очаровывающе начинают противоречить своему собственному наименованию оттого, что там никто не вытягивает меч своей собственной индивидуальности, но все оставляют столь ужасное оружие — как в старину — вместе со своими шляпами и тростями в зале. Было

очень неудобно уклоняться от альбомов, но для Пьера, так или иначе, было ещё более неприятно исполнять эти просьбы. Если здраво рассуждать, то, по-видимому, вы, возможно, назовёте это его слабостью или особенностью его характера. Он призвал всю свою учтивость и отказался. И отказ Пьера — по словам мисс Анджелики Амабилии Эмблсайд — был более милым, чем согласие других. Но тогда — ещё до предложения её альбома — находясь в роще в Эмблсайде, Пьер из галантной прихоти в собственном присутствии леди добровольно вырезал инициалы мисс Анджелики на коре красивого клена. Но не все девушки это мисс Анджелика. Вежливо отвергнутые в гостиной, они добивались отпирающегося Пьера в процессе приобретения знаний. Они посылали Пьеру свои альбомы в прекрасных конвертах, не забыв капнуть немного розового масла на ладонь слугам, которые носили их. В то время как Пьер — прижатый к стене в своей любезности — не решался что-либо делать, количество ожидавших альбомов умножалось, и вскоре они оккупировали все полки в его комнате, да так, что пока их объединенные декоративные крепления прямо-таки слепили его глаза, от их чрезмерного благоухания он почти ослаб, хотя

в действительности, сдерживаясь, он был весьма неравнодушен к духам. Поэтому, в такие действительно холодные дни он всё же обязался опустить верхние слои на несколько дюймов.

Самым простым из всего было написать в женский альбом. Но кому это будет приятно? Что это за дефект в напечатанном тексте, если нужно возвращаться в монашеские времена и писать женские книги от руки? Что ещё собственно мог написать Пьер на тему Любви или чего-либо иного, что превзошло бы то, что написал божественный Хафиз столь много долгих веков назад? Разве не был Анакреонт, как и Катулл с Овидием, — все они — переведены и уже доступны? И тогда — благословите все их души! — разве нет дорогих творений забытого Тома Мура? Но подпись, Пьер! — они хотят видеть твою руку. Хорошо, решил Пьер, непосредственное ощущение лучше, чем переданное, во все века. Я дам им фактическое ощущение руки, как они того и хотели. И ощущение губ, что ещё лучше, чем руки. Позвольте мне послать им сладость своего лица, и я запечатлею поцелуй отныне и навсегда. Это было удачной идеей. Он позвал Дейтса и снёс полные корзины альбомов вниз в столовую. Он раскрыл их все и там же разложил на раз-

движном столе; затем, воображая себя Папой Римским — когда Его Святейшество совокупно благословляет длинные ящики с чётками — он развеял один сердечный поцелуй на альбомы и, вызвав троих слуг, разослал все альбомы по домам со своими наилучшими пожеланиями, сопроводив сладким поцелуем каждый альбом, завернутый в самую невесомую ткань. С разных частей земли, из городов и стран, и особенно в преддверии осеннего сезона, Пьер принимал разные неотложные приглашения прочитать лекции перед Лицеями, Молодёжными Ассоциациями и другими Литературными и Научными Обществами. Письма, передающие эти приглашения, содержали вполне внушительную и глубокую лесть в адрес бесхитростного Пьера. В каждом из них было следующее:

«…Клуб Уркхартиан[15] *с целью Непосредственного Расширения Пределов всех Знаний, Человеческих и Божественных….*

«ЗАДОКПРАТТСВИЛЛ
«11-е… июня, 18….
«…Автор «Тропического Лета», &c…

---

15 Примечания: 15
Уркхарт — известный замок в Шотландии (прим. пер.)

«ПОЧЕТНЫЙ И ДОРОГОЙ СЭР: —

«Официальная обязанность и личное расположение в настоящий момент слилось с великим восхищением. То, что было горячим желанием моего сердца, воплотилось теперь в работу... Комитета по Лекциям... стало моей профессиональной обязанностью. Как председатель нашего ...Комитета по Лекциям..., я настоящим письмом прошу Вас привилегии оказать честь этому Обществу, прочитав ему лекции по любому избранному Вами предмету и в любой самый удобный для Вас день. Мы с почтением предложили бы тему Человеческой Судьбы, однако, без всякого желания воспрепятствовать Вам в Вашем собственном беспристрастном выборе.

«Если Вы почтите нас, приняв это приглашение, то мы гарантируем, сэр, что Комитет по Лекциям проявит всестороннюю заботу о Вас в течение всего Вашего пребывания и приложит все усилия, чтобы у Вас осталось приятное впечатление о ЗАДОКПРАТТСВИЛЛЕ. Вам во время исполнения служебных обязанностей на сцене будет предоставлен экипаж, чтобы перевозить Вас и багаж в Гостиницу под полным эскортом ...Комитета по Лекциям..., с председателем во главе.

«Разрешите мне присоединить свое отдельное

уважение

К моему высокому официальному к Вам вниманию

И подписаться.

Ваш покорнейший слуга,
ДОНАЛЬД ДАНДОНАЛД.»

III

Но приходили и особенные приглашения на Лекции от почтенных, седоголовых столичных Обществ, и сочиненные почтенными седовласыми секретарями, далекими от восторгов, наполнившие юного Пьера самым искренним понятием скромности. Лекция? лекция? Такой подросток, как я, читаю лекции пятидесяти скамьям с десятью седыми головами на каждой? Всем пятистам седым головам! Моя, бедная, неопытная голова планирует излагать на лекции законы для пятисот умудрённых жизнью голов? Это выглядит слишком абсурдно. Всё же эти пять сотен через своего представителя добровольно послали ему это особое приглашение. Или, в противном случае, Пьером уже овладевал зарождающийся тимонизм[16], если рассматривать все позорные выводы, вытекающие из подобного

---

16 Примечания: 16
Форма мизантропии (прим. пер.)

факта. Он взывал к сознанию, как когда-то давно, во время его посещения города, обращался к полиции, подавляющий зловещий бунт, выдавая горячие новости большой прессе и внося раздоры из-за места для первой лекции прославленного парня девятнадцати лет, автора «Недели в Кони-Айленде».

Само собой разумеется, что Пьер как можно более добросовестно и почтительно отклонял все вежливые инициативы подобного рода.

Подобные разочарования, ставшие результатами его трезвых рассуждений также лишали поклонников полного наслаждения несколькими другими столь же заметными проявлениями его литературной известности. Просьбы об автографе сыпались на него, но иногда, шутливо удовлетворяя наиболее настоятельные просьбы этих своеобразных людей, Пьер не мог не чувствовать муки сожаления от того, что вследствие очень юного и не вполне сформировавшегося характера его почерк, как и его подпись не обладали той неизменной однородностью, которая — по простым разумным причинам, если не более, — должна была всегда отмечать руку выдающихся людей. Его сердце трепетало от мучительного сочувствия потомству, которое

несомненно оказалось бы безнадежно озадаченным таким количеством противоречивых написаний одного выдающегося имени. Увы! потомство, несомненно, пришло бы к заключению, что все они были подделками, а совсем не рукописными святынями возвышенного поэта Глендиннинга, дожившего до их несчастных времён.

От владельцев журналов, страницы которых прославились излияниями в его адрес, он получил весьма настоятельные эпистолярные ходатайства на ссуды, предназначенные для покупки его написанного маслом портрета и изготовления с него гравюры для фронтисписа к их изданиям. Но здесь снова навязывались весьма печальные соображения. Всегда одним из наименьших устремлений Пьера было носить ниспадающую бороду, которую он считал наиболее благородной материальной отметиной для человека, не говоря уж о прославленном авторе. Но пока еще он был безбородым, и никакой хитрый парфюмерный состав «Роулэнда и Сына» не мог взрастить бороду, которая должна была пробиться для фронтисписа в зрелости в некое соответствующее время. Кроме того, его ребяческие особенности и общий облик ежедневно

изменялось. Разве мог он предоставить свой авторитет для такого беспринципного обмана Потомства? Честь не позволяла.

Эти эпистолярные прошения обычно выражались в продуманно почтительном стиле, тем самым сообщая, что его глубоко почитаемый портрет должен быть обработан, поскольку это совершенно обязательно для получения с него выгравированной копии, о которой они и умоляли. Но один или двое из людей, которые случайно запросили у него гравировку его портрета, оказались менее внимательными к врожденному уважению к портрету любого другого человека, нежели к столь заметному гению, каким стал Пьер. Они, казалось, даже не помнили, что портрет любого человека обычно получает и действительно вызывает больше почтения, чем сам оригинал; так как знаменитого друга можно свободно хлопнуть по плечу, хотя ни в коем случае его нос на его портрете не ущипнёшь. Причина этого может заключаться в следующем: портрет скорее наделен правом почитания, нежели человек, поскольку какое-либо унижение портрета представить невозможно, тогда как многие неизбежно унижающие действия можно представить отнесенными к человеку.

Однажды он случайно столкнулся со знакомым литератором — соредактором «Ежемесячника Капитана Кидда " — который внезапно бросился на него из-за угла, поразив Пьера быстротой — «Доброе утро, доброе утро, … вы тот, кто мне нужен: … пройдемте один кружок со мной, я взял ваш дагерротип, … его уже выгравировали в мгновение ока, … он мне нужен для следующего выпуска»

Сказав это, этот главный помощник капитана Кидда схватил Пьера за руку, и в самой энергичной манере повёл его прочь, как полицейский карманника, когда Пьер вежливо сказал: «Умоляю, сэр, заметьте, пожалуйста, я ничего такого не сделал» — «Фу, фу — должно что-то иметься — общественная собственность — идёмте дальше — осталось уже только дверь или две» — «Общественная собственность!» — присоединил Пьер. — «Это может быть очень хорошо для „Ежемесячника капитана Кидла“; — это — точно капитан Киддиш, если он так говорит. Но я повторяю, что у меня нет намерения соглашаться» — «Нет? Действительно?» — кричал другой, поражено раскрывая Пьеру полноту самообладания, — «почему же, благослови, господи, вашу душу, …мой… портрет издан — давно издан!» —

«Не могу помочь этому, сэр», — сказал Пьер. «О! идёмте, идёмте», — и старший помощник снова схватил его за руки с самой бесстыдной фамильярностью. Хотя юноша и обладал самым мягким нравом в мире, но при недостойном обхождении в нём иногда появлялся уродливый дьявол, весьма желающий быть вызванным из-за персональных непристойностей джентльменов литературной школы капитана Кида. «Взгляните, мой добрый малый», — сказал он, предоставив своей беспристрастной инспекции оба решительных кулака, — «отпустите сейчас же мою руку — и я отпущу вас. К дьяволу вас и ваш дагерротип!»

Этот инцидент, наводящий на размышления уже в то время, в дальнейшем удивительным образом повлиял на Пьера. Ведь теперь он видел, с какой беспредельной скоростью самый достоверный портрет любого человека мог быть взят с дагерротипа, тогда как в старину достоверные портреты имелись только у могущественной финансовой или духовной аристократии. Тогда вполне естественен вывод, что если в прежние времена портрет увековечивал гения, то теперь он всего лишь идеализирует болвана. Кроме того, когда каждый может отпечатать портрет, то

истинных отличий у вашего портрета не будет вообще. Поскольку, если вы изданы наряду с Томом, Диком, и Гарри и носите пальто такого же, как у них, покроя, то как тогда вас отличить от Тома, Дика и Гарри? Поэтому, несмотря на всё это, такой неприятный мотив, как прямое личное тщеславие, помог оказать в этом вопросе влияние на Пьера.

Некоторые рьяные любители основной литературы эпохи, а также самопровозглашенные приверженцы его собственного великого гения часто подавали ему прошение относительно сведений, необходимых для написания его биографии. Они уверили его, что жизнь это самое недолговечное явление из всего сущего. Он мог бы чувствовать себя гораздо старшим, время могло пройти для него легко; но при любой внезапной и фатальной болезни сколько же его прошедших часов было бы занято фантазией, в которую он отбывал навсегда, оставив мир в крайнем неведении относительно того, какими были точная структура и цвет первых панталон, которые он носил. Эти видения, действительно, затрагивали его очень нежные чувства, заранее неизвестные наставляющим Пьера. Но когда Пьер решил, что вследствие его чрезвычайной юности его собственные

воспоминания о прошлом вскоре слились во всевозможные фрагментарные реминисценции и общие неопределенности, то не смог не обнаружить, что не в его духе предоставлять такие материалы нетерпеливым биографам, тем более, что его руководящие проверенные авторитеты в этих вопросах из его прошлой карьеры теперь навечно отбыли за грань всякого человеческого общения. Его прекрасная матрона Кларисса была мертва уже больше четырёх лет. Напрасно молодой литературный друг, известный автор двух справочников и одной Эпопеи, — которого, если уж так случилось, стоит упомянуть, — горячо поддержал мотивы несчастных биографов, сказав, что, хотя это и неприятно, но нужно платить за известность; отступать было бесполезно, и все завершилось взятием с верхушки его шляпы корректурных оттисков его собственной биографии, которые, исходя из самых разумных соображений, были вскоре изданы для масс в форме брошюры, ценой всего лишь в шиллинг.

Для него было изумлением и огорчением, когда уже другие и менее деликатные претенденты присылали ему свои регулярно печатающиеся справочно-биографические циркуляры с его именем, вписанным чернилами, прося его удостоить

их самих и весь мир скромным эссе о своей жизни, включая критические пометки на его собственных письмах; отпечатанный циркуляр огульно утверждал, что, несомненно, он сам знает больше о его собственной жизни, чем кто-либо другой из живых людей; и только он, собравший большие работы Глендиннинга, настолько высоко сведущ, чтобы проанализировать их и выдать окончательное суждение по их замечательному строению.

Теперь он находился под влиянием оскорбительных эмоций, порожденных вышеупомянутым факторами; такое преследование со стороны издателей, граверов, редакторов, критиков, коллекционеров автографов, знатоков портретов, биографов, просящих и протестующих литературных друзей всех видов привело к тому, что в юную душу Пьера проникли печальные предчувствия чрезвычайной неудовлетворительности от общественной известности, начиная с самых горячих предложений наиболее мучительной демонстрации его имени, — из-за них он с горечью был вынужден вернуться далеко назад.

И можно вполне поверить тому, что после замечательного всемирного жизненного открытия,

так внезапно сделанного Пьером в Лугах, — открытия, которое в некоторые определенные моменты совершенно тимонизировало его, — ему удалось скомкать с особо нервным отвращением и презрением этот весьма плотный пакет, содержащий письма от его биографов и других неразумных корреспондентов, который, в менее тяжёлый час, он отнес бы к любопытству. И с почти адской усмешкой видя эту реальную кучу мусора, навечно уничтожаемого в огне, и чувствуя, как огонь поглощает его прямо перед его глазами, он в своей душе навсегда убивал последний и мельчайший неразвившийся микроскопический зародыш того великого презренного тщеславия, к которому эти забавные отправители решили обратиться.

Книга XVIII

Пересматривая Пьера, как молодого писателя

I

Поскольку различными косвенными и более чем обычными намеками Пьер был сочтен природным гением, то могло показаться странным, что к настоящему времени только самые простые журналы должны были оказаться единственными оформителями его мыслей. Но нужно добавить, что при самом трезвом взгляде бумаги не содержали ничего необычного; действительно — если сейчас полностью опустить всю иронию, то к настоящему времени к любым подобным вещам относились снисходительно — эти беглые произведения господина Пьера оказались весьма банальными.

Как я говорил задолго до этого, истиной было то, что Природа в Оседланных Лугах с самого начала благословляла Пьера — трубила ему горном с синих холмов и шептала ему мелодичные тайны своих стремнин и лесов. Но хотя природа

издавна и в изобилии кормит нас, она весьма запаздывает с преподаванием нам надлежащей диетической методики. Или, как пример, — чтобы изменить метафору, — существуют огромные карьеры прекрасного мрамора; но как вывезти его; как высечь его; как построить какой-либо храм? Должна полностью пройти юность, затем работа на некоторое время; и потом не только идти дальше и использовать инструменты в карьере, но нужно пойти и полностью изучить архитектуру. Теперь исследователь карьера приходит раньше резчика по камню, а резчик по камню стоит впереди архитектора; и архитектор появляется до появления храма, поскольку храм — корона мира. Да, Пьер был не только очень далек от архитектуры в то время, но, воистину, в то время Пьер был ещё и очень молод. И часто бывает видно, что в шахтах при добыче драгоценных металлов большое количество пустой породы сначала должно быть серьезно переработано и выброшено; аналогичным образом, при откапывании в душе гения чистого золота изначально обнаруживается много бессодержательности и банальности. Оказывается счастьем, если сам человек обладает неким сосудом для своего собственного подобного мусора:

но он похож на обитателя жилья, мусор которого нельзя сваливать в его собственный подвал, а необходимо складывать на улице перед его собственной дверью, перекладывая заботу о мусоре на общественных функционеров. Ни от одной банальности, в сущности, никогда не получается избавиться, кроме как по существу не сбросив её саму в книгу, не поймав однажды в книжную ловушку; затем книгу можно будет бросить в огонь, и всё будет хорошо. Но их не всегда бросают в огонь, и количество таких несчастных книг весьма превышает их положительные качества. Но один абсолютно искренний человек, которым и является автор, никогда не будет опрометчивым в точном определении периода, когда ему нужно будет полностью и самостоятельно избавиться от своего мусора и достичь скрытого в его шахте золота. Это в любом случае — истина, тем более, что мудрый человек в определенные моменты больше опасается за то, что у него хранится.

Довольно хорошо известно, что все лучшие произведения самых лучших человеческих умов обычно рассматриваются этими же умами как простые незрелые свежие упражнения, совершенно бесполезные сами по себе, если не считать

их стремлением поступить после смерти в великий Божий Университет. Бесспорно и то, что, если какие-либо выводы могут быть извлечены из наблюдений за жизнью знакомых людей самого высокого уровня, самому прекрасному в них, то они, те, кто становится бессмысленной славой мира, не только очень жалки и не заслуживают внимания к себе самим, но часто решительно неприемлемы; у них в комнате нет даже книг. В умах сравнительно приземленных по сравнению с вышеупомянутыми эти составляющие свойства столь мрачны и нездоровы, что они начинают относиться с пренебрежением к тому, что они пишут; подходя к своим столам с недовольством и оставаясь там — как жертвы головной боли и болей в спине — только под тяжким принуждением некой социальной необходимости. Работы, созданные ими, одинаково несерьезны и презренны; порожденные отвращением и счетом от пекаря, рахитичные потомки родителей, пренебрегающих самой жизнью и безответственных в отношении к порожденной им жизни. Не позволяйте близорукому миру на мгновение вообразить, что какая-то тщета скрывается в таких умах, нанятых только для того, чтобы появиться на сцене, из-под силы требуя

внимания общественности; их беспредельный жизненный румянец и жар — всего лишь помада, тайно смываемая самыми горькими слезами; их смех зв́о́нок только потому, что он пустой, и ответный смех для них не смешон.

Не существует ничего столь же обманчиво-очаровывающего как печаль; мы становимся грустными на первом же месте при отсутствии на нём чего-либо способного шевелиться, и мы продолжаем оставаться там, потому что, наконец, нашли здесь аккуратный диван. Несмотря на всё это, возможно, что появление этого небольшого тихого ретроспективного эпизода в карьере моего героя — этакого мелководного роскошного резного моста Теппен Зи на другом моём глубоком и бурном Гудзоне — связано с тем, что я тоже начинаю нетерпеливо разворачивать и натирать воском безопасности печаль и сантименты.

Теперь то, что до настоящего времени было представлено в отношении Пьера в качестве мусора, как и в некоторых случаях появления первых неизбежных плодов гения, безумно противоречило тому факту, что первые изданные работы многих хвалёных авторов стали зрелыми символами гения — ведь мы не знаем, как они много ранее сотворили для огня или

издали приватно в своих собственных мозгах и по-быстрому там растоптали. И в более простых случаях непосредственного литературного успеха очень молодых писателей почти неизменно отмечается, что этим моментом успеха они были в основном обязаны определённому богатому и специфическому жизненному опыту, воплощенному в книге, которая по той же самой причине содержала ту же самую оригинальную тему. И этого самого автора, поверьте, нужно считать оригинальным; таким образом, множество оригинальных книг оказались продуктами весьма заурядных умов. Действительно, человек должен быть в немалой степени осмотрительным и последней тряпкой отгонять подальше мух своего тщеславия. Мир всегда впустую болтал об оригинальности, но никогда ещё не было особенного человека, заранее предназначенного для этого мира; самый первый человек — тот, кто, по словам раввинов, был также самым первым автором — не был изначальным; единственный изначальный автор это Бог. Имей Мильтон частичку Каспара Хаузера[17], он был бы так же свободен, как и Хаузер. Хотя нагая душа человека,

17 Примечания: 17

Человек загадочного происхождения в Германии в начале 19 века (прим. пер.)

конечно же, содержит один скрытый элемент интеллектуальной продуктивности, однако никогда ещё не было ребенка, произошедшего только от одного родителя; видимый мир переживаний, производящий то, что оплодотворяет музу, обоюдно и с успехом соединяет два противоположных качества, и это не выдумка.

В мире существует бесконечное количество глупых мнений по всем этим вопросам; следовательно, не обвиняйте меня, если я добавлю к ним свою лепту. По всей видимости, невозможно рассказать о себе или описать самого себя, не оказавшись резко и беспомощно открытым; Неуязвимый Рыцарь носит свое забрало. Однако, болтовня приятна, поскольку занимает время перед тем, как мы походим к нашим кроватям; и речь разливается, когда мы получаем плату за наше дыхание, словно прогуливающиеся итальянские импровизаторы. И мы оказывается весьма благодарными, когда зевки аудитории отпускают нас с несколькими дукатами, которые мы заработали.

II

Как, возможно, было предсказано заранее, планы Пьера относительно его финансовой

независимости в городе были основаны на его предполагаемых литературных способностях. А чем ещё он мог заниматься? У него не было какой-либо профессии или какого-либо дела. Теперь он был бы счастлив, если бы Судьба сделала его кузнецом, а не джентльменом, Глендиннингом и гением. Но здесь он был непростительно опрометчив, пусть не абсолютно, а в определенной степени, на своем собственном личном опыте убедившись в том факте, что в целом у журнала молодой американской литературы невозможно выменять несколько пенсов за свои вирши. Такие случаи навечно вписываются в летописи, и отказываться от денег было бы и безумием, и неблагодарностью.

Но с самого начала прекрасное социальное положение и благородное наследство оказалось Пьеру в целом ненужным, чтобы заработать в мире минимум собственных фартингов, руками или умом. Это может оказаться желательным для того, чтобы здесь немного объяснить, куда и как мы идём. Мы так и сделаем, но обязательно в целости. И это преамбула.

Иногда каждый возможный принцип или мысль кажутся устаревшими, и всё же среди старых вещей в этом никогда не наполняю-

щемся запасе никогда не приходит мысль, что какая бы ситуация не сложилась, пусть даже процветание и счастье, человек из-за неё всё же будет пребывать в раздражении и будет выходить из себя и сейчас, и даже потом, из-за любых сложившихся обстоятельств. В то время, когда множество бедных, чернильных галерных рабов работало тяжёлым веслом из птичьего пера ради получения каких-то средств для противостояния силам природы, Пьер в часы своих болезненных самоупреков относительно несерьезности его заработка считал его неизбежным позором. И в то время, когда чернильный галерный раб прыгал при этом от восхищения — не заботясь о слабых швах своих панталон — хозяин всего земельного дохода (в самой отдаленной перспективе наследования обширных ферм в Оседланных Лугах), навсегда освобожденный от ношения на своих руках этих предательских пятен бедности — а именно, пятен от чернил — сам Пьер был бесспорным и фактическим обладателем материй, с безнадежно тоской желаемых другими людьми. И тогда вершиной мирского устремления Пьера стала способность похвалиться, что он написал о таких материях, за которые издатели что-то готовы были заплатить, как при простой

сделке, которая, как они полагали, окажется прибыльной. Все же, в целом, нерешительность и простодушие, которые можно было разглядеть в Пьере, заранее позволяют нам немного далее продвинуться в исследованиях и увидеть, так ли это на самом деле.

Пьер был горд, а гордый человек горд той разновидностью гордости, которую он подразумевает, и всегда держится на легкости тех предметов, пусть даже легко приобретенных, которыми он сам себя обеспечил. Это была та гордость, приводящая к закономерному выводу, что человек не ест хлеба, семена для которого он не сам бросил в землю, и без абсолютного унижения от того, что эти же семена были одолжены у некоего предыдущего плантатора. Гордому человеку нравится чувствовать себя в самом себе, а не отображением в других. Ему нравится быть не только своей собственной Альфой и омегой, но и отчетливо ощущать все промежуточные градации, а затем сойти прочь со своего собственного пути в бесконечный неощутимый эфир. Какой же восторг испытал Пьер, когда впервые в обеих его благородных руках зазвенела плата за его труд! При разговоре о барабанах и дудочке эхо от звонасвоим трудом заработан-

ных монет вдохновляет больше, чем все трубы Спарты. С каким же презрением следил он теперь за великолепием своих наследственных залов — драпировкой, картинами и хвастливыми историческими гербовниками и баннерами славы Глендиннингов, будучи уверенным, что если появится потребность, он не окажется вынужденным воскрешать прошлое и раскапывать могилу своего дедушки — индейского вождя — из-за наследственных меча и щита, самым позорным образом заложенных ради его жизни! Он может жить самостоятельно. О, Пьер теперь был дважды благословлен ощущением своих практических способностей.

У механика или поденщика есть только один источник существования: его тело должно кормить само себя. Но только вот Пьер не мог заниматься тем же; он мог заняться чем-то иным и, позволив своему телу лениво развалиться дома, послать свою душу трудиться, после чего его душа должна была честно вернуться назад и отдать его телу заслуженное вознаграждение. Так например, некоторые не имеющие профессии господа с аристократического Юга, кому случилось владеть рабами, дают этим рабам свободу, чтобы те пошли и искали работу,

и каждую ночь возвращались с заработком, составляющим доход этих неработающих господ. Вдвое способней и вчетверо сильней тот человек, у которого в теле поденщика живет трудящаяся днём душа. Все-таки никому не позволяйте быть таким самонадеянным. Наш Бог — бог-ревнитель — не завещал того, что любой человек должен постоянно носить хотя бы малейший оттенок его собственных признаков. Обузданные и впряженные в плуг тело и душа, как одно, так и другое, в конце концов, должны обязательно попасть в борозду. Если будете хранить ваше тело чрезмерно чувствительным к труду, то ваша душа укрепится усердием, или, если вы оставите вашу душу чувствительной к труду, то тогда усердием укрепится ваше тело. Выбирайте! Они оба долго не пробудут запряженными в одном хомуте. Поэтому, согласно самому решительному и возвышенному сравнению, украдкой пришедшему в облаке Правды, даже шестидесятидвухфунтовый снаряд, выстреленный вверх, оказывается в конце концов на земле; как бы мы не старались, мы не можем сойти с орбиты Земли и встретиться с красотами других планет, поскольку закон земного тяготения простирается дальше собственной земной атмосферы.

По действующему мнению об этом мире, человек, который уже полностью снабжён тем, что для него необходимо, желает иметь больше; в то время как тот, кто с прискорбием лишен того же самого, должен отнять у него даже то, что тот желает. Всё же мир клянется, что это — очень простое, совершенно реальное, скучное, человеческое свойство мира. Он руководствуется только самыми простыми принципами и презирает все двусмысленности, все трансцендентальности и все способы манипулирования. Теперь некоторые вообразившие себя еретиками люди часто восхищенно галдят обо всех своих преднамеренно перевёрнутых здравых понятиях, своих абсурдных и всё вытесняющих трансцендентальностях, говоря, что три равно четырём, а два и два составляют десять. Но если самый выдающийся жонглёр всегда защищен простыми словами доктрины, тысячная часть которой смешна и противоречит всему практическому смыслу, и эта доктрина, которую мир реально и вечно практикует, предоставляет тому, у кого есть уже более чем достаточно, ещё больше излишеств, и отнимает у того, у кого вообще ничего нет, даже то, что он желал бы иметь, — тогда это книга истин в мире лжи.

Ведь мы видим, что так называемые трансценденталисты не единственное люди, которые имеют дело с Трансцендетальностью. Наоборот, мы, кажется, видим, что прагматики — самые заурядные люди в мире — намного превосходят этих низких по положению трансцеденталистов своими собственными непостижимыми мирскими принципами. И — что ещё больше — с одной стороны, их Трансцендетальность — слишком теоретическая и бездействующая, а потому безопасная; тогда как с другой стороны, они на самом деле втянуты в живые дела.

Высоко выложенная доктрина и практика мира, ранее процитированная, в некоторой небольшой степени проявилась в случае с Пьером. Он предусмотрительно собрал взнос с нескольких сотен ферм, разбросанных на части двух смежных округов, и теперь владелец популярного периодического журнала «Газель» послал ему несколько дополнительных долларов за его сонеты. Этот владелец (хотя, по правде говоря, он никогда не читал сонеты, но отправлял их своему профессиональному консультанту и был не осведомлен, что задолго до времени, предшествующему началу издания, он настоял на изменении с «ж» на «з» написания слова «Газель», а именно с «Га-

жель», подчеркивая, что в варианте «Газель», «з» было простым самозванцем, и что «ж» было мягким; ведь он был сторонником мягкости, и мог говорить на основе опыта); этот издатель был, несомненно, трансценденталистом — разве он не отреагировал на ранее сформулированную «Необыкновенную доктрину»?

Теперь доллары, полученные за свои стихи, Пьер всегда вкладывал в покупку сигар: так, чтобы затяжки, которые косвенно принесли ему его доллары, снова возвращались, но как ароматные затяжки от сладостного ароматного гаванского листа. Поэтому этот высоко почитаемый и всемирно известный Пьер — великий автор — подобного ему мир никогда не видел (разве он неоднократно не отвергал своё сходство?), этот известный поэт и философ, автор сонета «… Тропическое Лето…", против жизни которого плели чёрный заговор несколько отчаянных людей (биографы клялись, что так оно и было!), эта высочайшая знаменитость — сидел там, курил и курил, размякнув и украсившись дымом как туманная гора. Это выглядело совсем естественно и взаимно умиротворяюще. Его сигары были зажжены двумя путями: от продажи его сонетов и от самостоятельного их печатания.

Даже в то раннее время своей авторской жизни, Пьер, как бы он не жаждал своей известности, нисколько не гордился своими бумагами. Он разве что не пускал на растопку свои сонеты, что были уже изданы, но очень небрежно относился к своим рукописям, на которые получал отказ; их можно было найти, лежащими повсюду вокруг дома, создающими большие проблемы горничным при уборке, идущими на разведение огня и навсегда выпархивающими из окна с подоконников в лица людей, проходящих мимо поместного особняка. Этим опрометчивым, равнодушным способом сам Пьер превратил себя в своего рода издателя. Верным было то, что его самые близкие поклонники часто искренне выражали ему протест против такой непочтительности к примитивному одеянию его бессмертных произведений, говоря, что как бы то ни было, но острота его могучего пера отныне будет священна, как губы, которые когда-то целовали большой палец ноги Папы Римского. Но поддержанный в ту пору такими дружескими осуждениями, Пьер никогда не запрещал столь высокую оценку «Слёз» тому, кто, найдя маленький фрагмент оригинальной рукописи, содержащей точку (слезу) над i (глазом),

счёл столь значительное событие провидением и испросил заветного разрешение вставить её в брошь. И удалил миниатюрную голову Гомера, чтобы заменить её на более дорогой камень. Он стал безутешным, когда застигнутая дождём точка (слеза) над i (глазом) исчезла; ведь необычность и привлекательность сонета всё ещё были заметны; из-за этого, пусть и минимального, фрагмента он мог плакать во время засухи; теперь же он остался без каких-либо слёз в душе́.

Но этот равнодушный и надменный дилетант — остался глухим к восхищению миром. Это же загадочно весёлый и известный автор «Слёз», гордость журнала «Газель», на чьей щегольской обложке его имя фигурировало выше всех меценатов — тоже совсем не мелких людей! Все их жизни были по-братски друг другом описаны, и все они были объединены и были обязаны своим сходством совокупной работой, и печатались на бумаге, купленной в одном магазине. — И у этого же высоко-признанного Пьера будущая популярность и плодовитость поразительно основывались на том, что он уже написал, отчего известные дельцы приехали в Луга, чтобы посмотреть его водные ресурсы, если таковые имеются, с расчетом основать там бумажную

фабрику как раз для великого автора и таким образом монополизировать его канцелярские дела. Всё настолько широко говорило о простом страхе перед всеми юными кандидатами в знаменитости, что нивелировало возраст Пьера. Перед ним старый джентльмен шестидесяти пяти лет, ранее служивший библиотекарем в Конгрессе, приведённый к нему издателями Журнала, искренне снял свою шляпу и продолжал держать её, оставаясь стоять, хотя Пьер в социальном отношении и был ростом с эту самую шляпу, — этот замечательный, презрительный гений — но только пока ещё живой — как писатель-любитель — уже должен был скоро появиться в недоступно сложном одеянии. Он будет теперь учиться, и очень серьезно заучит, что, хотя всемирная вера в Посредственность и Банальность обладают своим огнём и мечом для всего современного Великолепия, которое, клянясь, что отчаянно атакует Лицемерие, всё же не всегда закрывает уши перед Искренностью.

И хотя такое положение дел, объединённое со всегда умножающимся паводком из новых книг, кажется, неизбежно указывает на приближающееся время, когда масса человечества снизойдёт до единого уровня слепого обожания,

а авторов уже будет немного, столько же, сколько сегодня алхимиков, и печатный станок будут считать маленьким вымыслом, — всё-таки даже сейчас, в предвкушении этого момента, позвольте нам обнять друг друга, о, мой Аврелиан! И если время авторов должно будет пройти, то часы серьёзности должны будут остаться!

Книга XIX
Церковь Апостолов

i

В более низкой старомодной части города, на узкой улице — почти переулке — когда-то застроенном скромным на вид жильем, а теперь, в основном, огромными высокими складами иностранных импортеров, и недалеко от того угла, где переулок пересекался с весьма широким, но выделенным проездом для продавцов, их клерков, кучеров и носильщиков, стояло в те времена довольно своеобразное и древнее здание, наследие более простого времени. Материалом для него служил сероватый камень, грубо обтёсанный и уложенный в удивительной толщины и прочности стены, две боковых из которых были разделены на множество рядов из арочных и величественных окон. Просторная, квадратная и полностью лишённая украшений башня возвышалась впереди, вдвое превышая по высоте саму церковь; три стороны этой башни прорезали маленькие и узкие проёмы. К насто-

ящему времени внешний вид здания — теперь уже более, чем столетнего возраста, — достаточно свидетельствовал о том, для какой цели оно было построено изначально. У его задней части стояла большая и высокая простая кирпичная конструкция, обращенная фасадом к задней части этой же улицы, но между ней и задним концом церкви оставалось маленькое, выложенное плитами четырехугольное пространство. По сторонам этого четырехугольника три яруса невзрачной кирпичной колоннады обеспечивали крытый проход между древней церковью и его менее старой пристройкой. Разобранные, проржавевшие и оставленные старые перила железного ограждения в небольшом внутреннем дворе перед задней постройкой, казалось, намекали, что они самыми последними узурпировали это свободное, ранее освященное место, в качестве ограды старого церковного захоронения. Такое мнение было совершенно верно. У старой церкви Апостолов, построенной в ту пору, когда эта часть города была отдана частным резиденциям, а не складам и офисам как теперь, бывали свои дни освящения и благодати, но поток перемен и прогресса прокатился прямо через широкий проход и проходы по сторонам и смёл часть этой конгрегации

вдаль на две или три мили к верхнему городу. Некоторые упрямые и пожилые торговцы и бухгалтеры, задерживались на некоторое время среди его пыльных церковных скамей, чтобы послушать увещевания старого, преданного вере пастора, который, держась за свой пост при таком бегстве своей конгрегации, всё ещё опирал своё наполовину парализованное тело на изъеденную червём кафедру проповедника, и иногда стучал — хотя теперь уже менее энергичной рукой — по изъеденному молью покрытию его стола. Но так случилось, что этот старый добрый священнослужитель умер, и когда оставшиеся седоголовые и облысевшие продавцы и бухгалтеры сопровождали вынос гроба из широкого прохода, чтобы увидеть, как его почтительно предают земле, то это оказалось тем моментом, при котором старое здание стало свидетелем ухода привычного религиозного собрания из своих стен. Почтенные торговцы и бухгалтеры провели встречу, на которой было, наконец, решено, что нежелательно и уже бесполезно — поскольку это продиктовано необходимостью — маскировать тот факт, что здание не может дальше эффективно служить своей приземлённой цели. Оно должно быть разделено на ярусы, разделено

на конторы и отдано в распоряжение компании адвокатов. Этот замысел был исполнен, вплоть до создания контор высоко в башне, и столь успешно, что, в конечном счете, церковный двор был отдан для постройки дополнительного здания, также отданного в беспорядочную аренду своре юристов. Но это новое строительство весьма превзошло здание церкви по высоте. Оно состояло приблизительно из семи фрагментов — устрашающая груда колоссальных кирпичей, поднимающая свою черепичную крышу почти до уровня вершины священной башни.

В этой амбициозной постройке владельцы сделали несколько этажей, или, скорее, несколько ярусов, столь же длинных. Поскольку люди редко готовы пускаться в юридические разбирательства без адвокатов, то помощь в этом деле всегда оказывается очень востребованной; поэтому для удобства адвокатские конторы всегда располагают свои офисы с пологим выходом на улицу, на первом этаже и, если возможно, без единственной пологой идущей вверх лестницы, но, во всяком случае, не на седьмом этаже какого-либо дома, где их клиенты могли бы вообще воздержаться от их помощи, если только им уже не приходилось преодолевать семь длинных

лестничных пролетов, один за другим, с очень короткими площадками ради возвращения предварительно удержанных взносов. А потому с некоторого момента после одновременного открытия верхние этажи менее древнего пристроенного здания остались почти полностью без жителей, и горькое эхо их пустот прямо над головой преуспевающих на праве господ должно было — у немногих из них, по крайней мере, — вызывать неприятную аллегорию, отсылающую к сравнению их переполненных подвальных карманов с печальным состоянием их чердаков; — увы! полные кошельки и пустые головы! Это печальное положение дел, всё же, наконец, весьма изменилось к лучшему при постепенном заполнении свободных комнат наверху множеством разнообразных недоедающих авантюристов и невзрачных лиц неопределенных занятий в очень благородном, но потёртом чёрном одеянии, и неопределённого происхождения иностранцев в синих очках, которые, ранее выбравшись из неведомых уголков мира, как аисты в Голландии, белеют на карнизах и на чердаках высоких старых зданий в самых больших приморских портовых городах. Здесь они сидели и разговаривали как сороки или, спускаясь

в поисках неправдоподобных обедов, обнаруживались стоящими в шеренге перед оградами столовых, словно ряды тощих и убитых горем пеликанов на пляже; с их карманами, свободными, отвисшими и дряблыми, словно мешочки пеликаньих клювов, туго набитые пойманной рыбой. Но эти бедные, безденежные дьяволы всё ещё стремились получить вполне достаточную компенсацию за свою физическую ущербность, решительно раскрываясь в области блаженных идеалов.

Они — главным образом, художники различных направлений: живописцы или скульпторы, или нищие студенты, или преподаватели языков, или поэты, или беглецы от французской политики или немецкие философы. Направления их размышлений, пусть, время от времени, и еретические, всё же, в целом, весьма прекрасны и высоко духовны, поскольку пустота их казны принуждает их отвергать грубый материализм Гоббса и склоняться к пустому возвеличиванию Философии университета в Беркли. Часто впустую ощупывая свои карманы, они не могут не признавать вихри Декарта, в то время как обилие досуга на их чердаках (физических и фигуральных), объединяется с досугом в их

животах, приспосабливая их к выдающейся полноте внимания, обязательного для надлежащего переваривания возвышенных Категорий Канта, тем более, что Кант не мог[18] не быть большим ощутимым фактом в их насквозь неощутимых жизнях. Эти великолепные нищие, от которых я узнаю об основных тайнах вещей, начиная с самого их существования, посреди таких ужасных сомнений относительно самых обычных средств поддержки, имеют представление о проблемах, которыми безуспешно занимается множество теоретических щелкунчиков. Всё же позвольте мне здесь приложить три локона моих волос к памяти обо всех этих великолепных нищих, которые жили и умерли в этом мире. Конечно, я воистину чествую их — часто, в основном, благородных людей — и по этой самой причине я осмеливаюсь шутить о них; поскольку там, где благородство имеет основу, и основа соответствующим образом почитается, веселье никогда не считается непочтительным. Только дураки и претенденты на человечество, самозванцы и бабуины среди богов, обижаются на шутку, в то время как боги и люди, права которых на извест-

---

18 Примечания: 18
Игра слов: Can't (англ) — не мог (прим. пер.).

ность стоят вне сомнения, редко волнуются из-за подстрекательской сплетни старой яблочницы и маленьких забавных резвящихся мальчиков на улице.

Когда материя исчезает, люди цепляются за тень. Места, однажды приспособленные для высоких целей, всё ещё хранят название этого благородства, даже когда они уже преобразованы для самого обычного служения. Кажется, что если бы в силах Судьбы было возможным принудить отказаться от действительной романтики и высоты, то люди в настоящем охотно пошли бы на компромисс, сохранив для себя некий чисто образный остаток. Любопытные эффекты этой тенденции чаще всего проявляются в тех почтенных странах старого трансатлантического мира, где один мост на Темзе всё ещё хранит монашеское течение Блэкфраерса, хотя ни один чёрный монах, кроме множества карманников, не стоял на этом берегу, начиная с добрых времен, последовавших за днями Королевы Бесс, и где пока ещё другие неисчислимые исторические аномалии сладостно и печально напоминают современному человеку о замечательной процессии, которая предшествовала его современному поколению. Но — хотя сравнительно недавние

из наших собственных сооружений на этих Колумбийских берегах исключают какое-либо значительное участие этих привлекательных аномалий, — мы, всё же, не все, в наших более старых городах, совершенно не касаемся их, как здесь, так и там. Подобным образом обстояло дело и с древней церковью Апостолов — лучше известной, даже в её первые дни, под аббревиатурой «Апостолы " — которая, пусть теперь и не служила своей особой цели, столь широко когда-то продекларированной, но всё же сохранила своё величественное имя. Адвокаты и художники, арендующие его палаты, в новом здании или же в старом, в ответ на вопрос, где они обосновались, неизменно отвечали: ««В Апостолах»» Но теперь в ходе неизбежных переселений представителей различных профессий в более известные окрестности процветающего и расширяющегося города это почтенное место не смогло предложить столь же веских побуждающих мотивов, прежде привлекавших господ юристов. И поэтому странные неописуемые авантюристы, художники и нищие философы всех видов втиснулись сюда с такой же скоростью, с какой другие покинули его. И поэтому, учитывая метафизическую странность их любопытных жителей,

следует отдать, в некотором роде, должное тому обстоятельству, что некоторые из их были известными Целеустремленными Теоретиками, Социальными Реформаторами и политическими пропагандистами всех разновидностей еретических принципов. И, возможно, из-за того, о чём я уже рассказал, и, частично, из-за некоторой небольшой шаловливости публики, незабвенное популярное название самой древней церкви участливо передалось тамошним обитателям. Поэтому, в повседневной жизни повелось, что те, у кого в старой церкви имелись комнаты, пользовались фамильярным названием ««Апостолы»»

Но поскольку любой результат — всего лишь следствие другого и предшествующего, и поскольку то, что теперь такое родство в целом оказалось неудачным, обитатели почтенной церкви начинают выходить вместе, каждый из своего логова, и стремиться к более тесному общению, привлекаемые друг к другу названием, характерным для всех. Вскоре, с этого места они идут далее; и постепенно, наконец-то, организовываются в специфическое сообщество, которое, пусть и чрезвычайно незаметное, и едва заметное в своих общественных демонстрациях, всё ещё тайно предполагает наличие некоего таин-

ственного скрытого объекта, неопределенным образом связанного с абсолютным опрокидыванием церкви и государства, и поспешным и преждевременным приходом некоего неведомого великого политического и религиозного Золотого века. Однако, хотя некоторые рьяные консерваторы и ревнители нравов, несколько раз отправляли в полицейское управление предупреждение не спускать глаз со старой церкви, и хотя, действительно, полисмен мог иногда вопросительно взглянуть на подозрительно узкие разрезы окон в высокой башне; всё же, по правде говоря, это было место, по всему своему внешнему виду, очень тихое и приличное, занимаемое компанией безобидных людей, заслуживающих самого большого упрека только из-за выцветшего пальто и шляп с треснувшей тульей, шелушащихся на солнце.

Хотя в середине дня множество узлов и коробок перевозилось вдоль магазинов перед Апостолами и вдоль критически узкого тротуара, продавцы время от времени спешили встретить их до момента на закрытия банков: всё-таки улица, главным образом, отданная для простого складирования, не использовалась в качестве общего проезда, и тут в любое время было несколько

тише и укромней. Но уже за час или два перед закатом и до десяти или одиннадцати часов следующего дня тут становилось необыкновенно тихо и безлюдно, кроме как в самих Апостолах, в то время как каждое воскресенье место имело вид удивительный и потрясающе неподвижный, показывая только лишь одну длинную перспективу в шесть или семь ярусов из несгибаемого железа, закрывающего путь по обе стороны. В значительной степени также обстояло и с другой улицей, которая, как прежде говорилось, пересекалась со складским переулком совсем недалеко от Апостолов. Поскольку эта улица действительно отличалась от последнего тем, что была наполнена дешевыми столовыми для клерков, иностранными ресторанами и другими местами коммерческого отдыха, то шум на ней был ограничен только деловыми часами; ночью её покидали все обитатели, кроме фонарных столбов, и в воскресенье проход по ней был похож на прогулку по аллее сфинксов.

Таково тогда было состояние древней церкви Апостолов, гудящей от нескольких медлительных, сомнительных адвокатов в подвале и густонаселённой всеми видами поэтов, живописцев, нищих и философов наверху. Таинственный пре-

подаватель игры на флейте взобрался на один из верхних ярусов башни, и часто в тихие, лунные ночи его высокие, мелодичные ноты лились дальше по крышам этих десяти тысяч складов вокруг — подобно звону колокола, в былое время раскатывающегося по внутренним фронтонам давно ушедших эпох.

II

На третий вечер после прибытия группы в город Пьер сидел в сумерках возле высокого окна в задней части Апостолов. Комната была бедна до убожества. Ковер на полу отсутствовал, картины на стене тоже; и только на полу стоял длинный и очень любопытный на вид остов единственной кровати, которая, возможно, могла бы служить койкой для нищего холостяка; большая, синяя, покрытая ситцем поклажа, ветхий, ревматический и весьма древний стул из красного дерева и широкие подмости из самого твёрдого виргинского дуба, приблизительно шести футов длиной, уложенные на две вертикально поставленных пустых мучных бочки с поставленной сверху большой бутылкой с чернилами, рассыпанной связкой перьев, перочинным ножом, папкой и уже развязанной

стопкой листов исписанной бумаги с многозначительными штампами «Исправления выделены синим цветом»

Там, перед третьей ночью, в сумерках, сидел Пьер возле высокого окна жалкой комнаты в задней части пристройки Апостолов. По всей видимости, он пребывал в абсолютном безделье; руки его были свободны, но, возможно, что-то лежало на сердце. Время от времени он твёрдо и пристально смотрел на любопытного вида ржавый старый остов кровати. Это казалось ему весьма символичным; да это и было символичным. Ведь это был древний разборный и переносной остов военной кровати его деда, несгибаемого защитника Форта, отважного капитана во многих изнурительных кампаниях. На этой сугубо военной кровати в своей полевой палатке спал славный старый генерал с сердцем воина и спокойными глазами и не вставал, пока не прикреплял пряжкой к поясу меч, превращающий его в рыцаря; поскольку быть убитым великим Пьером было по-рыцарски благородно; в потустороннем мире призраки его врагов хвалились его рукой, которая выдала им здешний паспорт.

Но как эту крепкую кровать для Войны пе-

редать в наследство мягкому телу Мира? Если в мирное время амбары полны, повсюду бьётся шум мира и земля полнится гулом мирной торговли, то внук двух генералов тоже должен быть воином? О, ради чего военное прошлое должно передаваться Пьеру в то время, что кажется мирным? Потому, что Пьер — тоже воин; его кампания это Жизнь и три жестоких союзника — Горе, Презрение и Нужда — его противники. Огромный мир объединился против него; из-за тебя! он придерживается принятого Закона и клянется Вечностью и Истиной! Но ах, Пьер, Пьер, когда ты подходишь к этой кровати, то какой же унизительной становится для тебя мысль, что сам твой рост совсем не шесть славных футов, четыре из которых происходят от твоего великого прародителя Джона Гентского! Уровень воина сводится на нет борьбой за славу. Для большинства реальней на поле брани свалить своего отважного противника, чем при конфликтах благородной души с трусливым миром преследовать мерзкого врага, который не появляется на фронте.

Там, тогда, на третью ночь, в сумерках, сидел Пьер в этой жалкой комнате с высоким окном в заднем здании Апостолов. Сейчас он пристально смотрел в окно. Но виден был только силуэт

главной старой серой башни, и ничего, кроме множества плиток, черепицы, гравия и кровельного железа, — заброшенные свисающие скопища плиток, черепицы, гравия и кровельного железа, чем мы, современные вавилоняне, заменяем прекрасные висячие сады прекрасных старых азиатских времен, когда королем был великолепный Навуходоносор.

Там он сидит, странное экзотическое растение, выкопанное из прелестного алькова старого поместного особняка для того, чтобы пустить корни в этой чахлой почве. Нет больше сладкого фиолетового воздуха холмов, окружающих зелёные поля Оседланных Лугов, овевающего его щёки и приводящего в чувство. Словно цветок, он чувствует перемену; его цветок исчез с его щёк; его щёки стали впалыми и бледными.

За кем так внимательно следил Пьер из высокого окна этой жалкой комнаты? Под ногами не было улицы; подобно глубокой чёрной бездне открытое четырёхугольное поле зияло под ним. Но за ним, в дальнем конце крутой крыши древней церкви вырисовывалась серая и великая старая башня, символизировавшая для Пьера непоколебимую силу духа, и которая, укоренившись в самом центре земли, бросала вызов всем

завываниям воздуха.

В комнате Пьера напротив окна имелась дверь: и вот оттуда послышался лёгкий стук, сопровождаемый нежным голосом, вопрошавшим, можно ли войти.

«Да, всегда, милая Изабель», — ответил Пьер, поднявшись и приблизившись к двери, — «сюда: давай вытащим старую раскладушку в качестве дивана; подойди, теперь присядь, моя сестра, и вообрази себя где угодно, когда расслабишься»

«Тогда, мой брат, давай представим себя в атмосфере постоянных сумерек и мире, где не поднимается яркое солнце, потому что чёрная ночь всегда — мой преследователь. Сумерки и мир, мой брат, сумерки и мир!»

«Сейчас сумерки, сестра моя; и, конечно, эта часть города, как минимум, пока видна»

«Сейчас сумерки, но скоро ночь; затем недолгое солнце, а затем другая долгая ночь. Сейчас тишина, но скоро сон и небытие, а затем тяжёлая работа для тебя, мой брат, до снова пришедших сладких сумерек»

«Давай зажжём свечу, моя сестра; тьма сгущается».

«Для кого зажигать свечу, дорогой Пьер? — Сядь ближе ко мне, брат мой»

Он придвинулся к ней ещё ближе и обнял одной рукой; своей головой она нежно прислонилась к его груди; каждый почувствовал пульсацию другого.

«О, мой дорогой Пьер, почему мы должны всегда жаждать тишины, а затем приходить в раздражение из-за того, что она наступила? Скажи мне, мой брат! Не ты ли два часа назад желал сумерек, а теперь ты хочешь свечой поторопить пришедшие сумерки уйти прочь»

Но Пьер, казалось, этого не слышал; его рука ещё плотнее обхватила её; всё его тело незримо дрожало. Затем внезапно низким голосом и необыкновенно напряженно он выдохнул:

«Изабель! Изабель!»

Она обхватила его одной рукой так же, как он обхватил её; дрожь перебежала от него к ней; оба сидели в молчании.

Он поднялся и зашагал по комнате.

«Ну, Пьер, ты пришёл сюда, чтобы уладить свои дела, так ты говорил. Теперь что ты будешь делать? Ну, теперь мы зажжём свечу»

Свеча была зажжена, и их разговор продолжился.

«Как насчёт бумаг, мой брат? Ты считаешь каждую работу исправленной? Ты решил, что

издать сначала, пока ты пишешь новую вещь, на которую намекал?»

«Посмотри на эту поклажу, сестра моя. Ты видишь, что шнуры уже развязаны?»

«Значит, ты пока ещё вообще не залезал в неё?»

«Не совсем так, Изабель. За десять дней я прожил десять тысяч лет. Зная о мусоре в этой поклаже, я не могу заставить сердце открыть её. Мусор! Отбросы! Грязь!»

«Пьер! Пьер! Что за перемена? Разве ты не говорил мне, прежде чем мы прибыли сюда, что в твоём багаже есть не только немного серебра и золота, но также и намного более дорогие вещи, всегда готовые превратиться в золото и серебро? Ах, Пьер, ты действительно клялся, что нам нечего бояться!»

«Если я когда-либо преднамеренно обманывал тебя, Изабель, то высшие боги, способные подвергнуть испытанию Бенедикта Арнольда, могут заставить меня поменять веру и перейти к дьяволам, выставленным сейчас против меня! Но по неосведомленности обмануть нас обоих разом, Изабель, это — совсем другое дело. О, что за мерзкий жонглёр и жулик — человек! Изабель, в этом багаже лежат произведения, на которые,

как я думал в момент сборов, сами небеса загляделись через окно, подивившись их красоте и силе. Затем, позже, когда дни остудили меня, и я снова поднял их и просмотрел, то проникся некими подспудными сомнениями; но когда под открытым небом я вспомнил о новых, неописанных образах в неуклюже написанных работах, то снова почувствовал оживление и триумф, как будто бы то идеальное вспоминание, что было со мной, я реально воплотил в прекрасный идеал в отчаянной попытке его описать. Этот настрой у меня остался. Поэтому позже я говорил тебе о замечательных вещах, созданных мною; мои золото и серебро гораздо раньше были потрачены на тебя и меня, кто никогда не придёт к нужде тела или ума. Всё же всё это время у меня было скрытое подозрение в безумии; но я не допустил бы его; я запер свою душу, как дверью, этим лицом. И вот теперь десять тысяч вселенских откровений клеймят мой лоб словом „глупец!“, и, как опротестованные бумаги от банкиров, все эти мои рукописи насквозь и насквозь вконец искромсаны молотом Правды! — О, я болен, болен, болен!»

«Позволь рукам, которые никогда никого, кроме тебя не обнимали, увлечь тебя, Пьер, снова

назад, в мир сумерек, даже при том, что там сплошной туман!»

Она задула свет и заставила Пьера сесть рядом с нею; их руки переплелись.

«Скажи, твои мучения уже ушли, мой брат?»

«Но вернулись, баю-баю-бай… О, Боже, Изабель, отпусти меня!» — вскричал Пьер, вставая. «К вам, небеса, что спрятались под чёрным капотом ночи, — я взываю к вам! Если следовать за Достоинством в его самой отдалённой перспективе, куда обычные души никогда не следуют; если оно удерживает меня в аду, то само величайшее Достоинство, в конце концов, докажет, что не измена потворствует чудовищному пороку, — и тогда вы, каменные стены, окружите и сокрушите меня, и позволите всем вместе рухнуть в одну бездну!»

«Брат мой! это — некий непостижимый бред», — рассмеялась Изабель, обвив его обеими руками, — «мой брат, мой брат!»

«Прислушайся к са́мой глубине своей души» — взволнованно задрожал твёрдый голос Пьера. «Больше не называй меня братом! Как ты узнала, что я — твой брат? Твоя мать говорила тебе? Мой отец говорил так мне? — Я Пьер, и ты, Изабель, повсюду брат и сестра среди обычных людей, —

не более. В остальном позволь богам смотреть за своим собственным огнём. Если они заложили в меня пороховые бочки — пусть они глядят за ними! пусть они глядят за ними! Ах! теперь я мельком увидел и, кажется, вполглаза вижу, что, так или иначе, предельный идеал морального совершенства в человеке оказался шире отмеченного. Полубоги топчут мусор, а Достоинство с Пороком и есть мусор! Изабель, я напишу такие произведения — я снова буду проповедовать миру и открою ему более глубокие тайны, чем Апокалипсис! — Я напишу их, я напишу их!»

«Пьер, я — бедная девочка, родившаяся посреди тайны, зачатая в тайне, и всё ещё живущая в тайне. Я сама настолько таинственна, что воздух и земля неописуемы для меня; у меня нет слов, чтобы выразить их. Но это окружающие тайны; твои слова, твои мысли открыли мне другие удивительные миры, куда я побоялась бы идти одна. Но поверь мне, Пьер. С тобой, с тобой я смело поплыла бы в беззвездное море, и стала бы там тебе буем, когда ты, сильный пловец, ослабеешь. Ты, Пьер, говоришь о Достоинстве и Пороке; отделённая от жизни Изабель не знает ни того, ни другого, кроме как по слухам. Каковы они, в их реальности, Пьер? Скажи мне сначала, что

такое Достоинство, — говори!»

«Если боги при этом вопросе немеют, то что должен сказать пигмей? Спроси у воздуха!»

«Тогда Достоинство — ничто».

«Не то, чтобы!»

«Тогда Порок?»

«Посмотри: ничто есть субстанция, оно отбрасывает одну тень на один путь, а другую — на другой путь; и обе эти тени отброшены одним ничем; они кажутся мне Достоинством и Пороком»

«Тогда зачем так мучать себя, мой дорогой Пьер?»

«Это — закон»

«Что?»

«То, что ничто не может мучить ничто; поскольку я не ничто. Это — всё мечта — мы мечтаем о том, чтобы мечтать о том, о чём мечтаем»

«Пьер, когда ты просто оказался на краю, ты стал загадкой для меня; но теперь то, что ты погружаешься в глубины души, — теперь, когда ты противоречишь мудрецам, — возможно, — что теперь ты заставляешь бедную невежественную Изабель начать постигать тебя. Твоё чувство долго было моим, Пьер. Долгое одиночество и мучения открыли для меня чудо. Да, в этом вся мечта!»

Он быстро схватил её своими руками: — «Из ничего и выйдет ничего, Изабель! Как можно грешить в мечте?»

«Для начала: что такое грех, Пьер?»

«Другое название другого названия, Изабель»

«Для Достоинства, Пьер?»

«Нет, для Порока»

«Давай снова присядем, брат мой»

«Я — Пьер»

«Давай снова присядем, Пьер; сядь ближе; твою руку!»

И вот так, третьей ночью, когда сумерки закончились, и ни одна лампа ещё не светила, в жалкой комнате с высоким окном сидели успокоившиеся Пьер и Изабель.

Книга XX
Чарли Миллторп

I

Пьер был вынужден взять комнаты в Апостолах из-за того, что одним из тамошних жителей оказался его старый знакомый и уроженец Оседланных Лугов.

Миллторп был сыном очень почтенного фермера — уже умершего — более чем среднего ума, чьи сутулые плечи и невзрачная одежда увенчивались головой, годящейся для греческого философа, и чертами лица, столь прекрасными и правильными, что они с успехом украсили бы состоятельного джентльмена. Политическое и социальное уравнивание и смешение разнообразных людей в Америке произвело множество поразительных человеческих аномалий, неизвестных в других землях. Пьер хорошо помнил старого фермера Миллторпа — солидного, меланхоличного, спокойного и молчаливого старика, в чьём лице — чистейшего природного благородства вместе с грубым загаром и истощением

от многодневной и долгой битвы за урожай — простота и классицизм были необычным образом объединены. Утонченный профиль его лица указывал на самую высшую аристократию, его корявые и костлявые руки напоминали нищего.

Хотя несколько поколений Миллторпов жили на земле Глендиннингов, они без почитания и без хвастовства вели своё происхождение от эмигрировавшего английского Рыцаря, который пересек море во времена старого Карла[19]. Но бедность, которая побудила рыцаря оставить свою изысканную страну ради воинственных диких мест, была единственным предметом наследования, остававшимся у его бедуинских потомков в четвертом и пятом поколении. С того времени, как Пьер впервые увидел этого интересного человека, тот за год или за два до того оставил вполне достойную ферму вследствие абсолютной неспособности выплачивать поместную ренту и занял весьма бесплодный и узкий участок, на котором стоял небольшой и наполовину разрушенный дом. И там он встал на якорь со своей женой, — очень нежной и застенчивой, — тремя своими маленькими дочерями и единственным сыном,

---

19 Примечания: 19
Короля Карла I (прим. пер.)

ровесником Пьера. Наследственная красота и юношеское цветение этого мальчика, мягкость его характера и нечто вроде естественной утонченности, противопоставленной невыносимой грубости и, зачастую, убожеству его соседей, — всё это рано привлекло сочувствующее, непосредственное расположение Пьера. Они завели привычку часто устраивать совместные мальчишеские прогулки, и даже весьма критически настроенная г-жа Глендиннинг, всегда привередливо и осторожно относившаяся к компаньонам Пьера, никогда не возражала против его близости с таким располагающим к себе и солидным крестьянином как Чарльз.

У мальчиков часто очень быстро и чётко формируется мнение о характере. Ребята дружили недолго, прежде чем Пьер заключил, что, хотя лицо его и прекрасно, а характер мягок, молодой Миллторп обладает не слишком быстрым умом; соединение постоянного определенного невежества и самомнения, которые, однако, не подпитывались ничем, кроме как едой и картофелем его отца, и его собственного, по существу, робкого человеческого расположения просто представляло собой забавную и безвредную, хотя и неизлечимую, аномальную особенность его

характера, нисколько не наносившую вреда доброте и общительности Пьера; ведь даже в своем детстве Пьер обладал неподдельным милосердием, с которым мог беспечно относиться ко всем незначительным порокам у тех, кто был ниже его по статусу, — случайно или подумав, удовлетворяясь и радуясь, делая добро каждый раз, когда это представлялось возможным, и независимо от того, с чем это было связано. Поэтому в юности мы подсознательно реагируем на характерные принципы, которые существуют в сознании и выражаются словами, и будут систематически влиять на нас в зрелые годы. И это факт, который ярко иллюстрирует неизбежную зависимость наших жизней и их подчинение не нам, но Судьбе.

Если взрослый мужчина обладает вкусом, способным при взгляде на естественный пейзаж найти его живописным, то он также обладает и острым восприятием того, что на нём недостаточно проработано, а именно бедность в социальном пейзаже. В таком, как этот, доме, написанном Гейнсборо, но с соломой более живописно и заметно развороченной, чем спутанные временем и хаотично распушенные локоны нищего, бедность разносторонне раздвигает те аккуратные небольшие кабинетные картины

мира, которые, тонко лакированные и обрамлённые, развешены в мудрёных гостиных знатоков человеческих вкусов и любезных философов из школы «Компенсация» или же из школы «Оптимист». Они отрицают, что в мире существует какое-либо страдание, за исключением простого элемента бедности, вброшенного в его общую картину. Подите прочь! У Бога есть наличные в Банке для наших благородных нужд; он щедро осчастливливает мир летним ковром зелёного цвета. Прочь, Гераклит! Жалобы на дождь не дадут нам наших радуг!

Не то, чтобы Пьер двусмысленно намекал на бедность старого фермера Миллторпа. Однако человек не может полностью избегнуть влияния окружающей его среды. Подсознательно г-жа Глендиннинг всегда старалась заиметь одного из таких любопытных Оптимистов, и в своем отрочестве Пьер не полностью избежал материнского влияния. Бывало, что иногда, неким ранним зимним утром, заходя к старому фермеру за Чарльзом, он встречал крайне смущенное, истощенное, бледное лицо г-жи Миллторп и по-серьёзному любопытные и наполовину отчаявшиеся завистливые взгляды трёх маленьких девочек; и, встав на пороге, Пьер слышал низкие,

старческие стоны от утомительной жизни, доносившиеся из невидимой со стороны двери ниши; тогда у Пьера появлялись некие ребяческие подозрения о существовании чего-то ещё, помимо простой бедности посреди бедности: некие подозрения относительно того, каково быть старым и бедным, и потёртым, и ревматическим, с почти приблизившейся смертельной дрожью, и представлял саму эту жизнь, но унылой и холодной! Думая о том, как это будет происходить с ним, кто в юности живо спрыгивал со своей кровати в нетерпении от встречи с самим ранним солнцем и не замечал мягкого течения своей жизни, Пьер теперь ненавидел лучи солнца, некогда столь нежно любимые; он поворачивался в своей постели к стене, чтобы отстраниться от них, лишь отставив ногу, которая должна была вернуть его в мрачный день, когда солнце не золотого цвета, а медного, и небо не синее, но серое, а кровь в венах, как рейнское вино, слишком долго не иссушаемое Смертью, всё жиже и кислее.

Пьер не забыл, что бросающаяся в глаза бедность Миллторпа в то время, которое мы теперь рассматриваем в ретроспективе, серьезно изучалась сплетничающими завсегдатаями отеля «Чёрный лебедь», вплоть до предположений

об аморальном поведении фермера. «Старик слишком часто слегка наклоняет локоть», — так сказал в присутствии Пьера старый почитатель бутылки, повторив аналогичное действие рукой с наполовину осушенным стаканом. Но хотя тело старого Миллторпа была согнуто, его лицо, даже печальное и худое, не намекало ни на малейший признак алкоголика, в прошлом или настоящем. Он, что было публично известно, нечасто посещал гостиницу, и редко со своим сыном оставлял несколько акров необработанными. И даже, увы, будучи довольно бедным, он всё же был до пунктуальности честен в оплате своих небольших долгов за бакалею, состоящих из шиллингов и пенсов. И хотя, Бог свидетель, у него было много возможностей заработать, Пьер все же помнил, что когда каждой осенью старик поставлял кабана для украшения зала в Особняке, то никогда не требовал свои денег до середины следующей зимы и затем, нетерпеливо сжимая дрожащими пальцами серебро, неуверенно говорил, «Мне теперь не на что его потратить; пожалуй, так оно и есть». И тогда, случайно услышав это, г-жа Глендиннинг любезно и благосклонно посмотрела на старика, заинтересовавшись его бедностью, и пробормотала: «Ах! Старый английский Рыцарь

ещё живёт у него в крови. Браво, старик!»

Однажды на глазах у Пьера девять тихих фигур вышли из двери старого Миллторпа; гроб был погружен в фургон с соседской фермы, и процессия, приблизительно в тридцать футов длиной, включая удлиненное дышло и ящик в фургоне, потянулась вдоль Оседланных Лугов к холму, где, наконец, старого Миллторпа уложили в постель, в которую восходящее солнце больше не способно было заглянуть. О, мягчайшее и изысканнейшее из голландских полотен, мать-земля! Там, под величественным балдахином бесконечного неба, как императоры и короли, спят в великой стране бедные и нищие жители земли! Я радуюсь тому, что Смерть — это демократ, и упорство всех каких-либо реальных и постоянных демократий состоит в том, чтобы всё ещё придерживаться мысли: если в жизни некоторые головы увенчаны золотом, а некоторые обвиты шипами, то они все, так или иначе, высечены подобно надгробным камням.

Этот в некотором роде фрагментарный взгляд отца на молодого Миллторпа будет лучше объяснён большей зрелостью и характером сына, на плечи которого легли заботы о его матери и сёстрах. Но, несмотря на это, сын фермера,

Чарльз выступал больше обычного против тяжёлого труда. Было решительно невозможно, в конечном счёте, тяжёлым трудом преуспеть в том, чтобы создать своей семье намного более комфортные условия, чем он когда-то знал. Но это не было столь фатальным; благосклонное государство в своей великой мудрости решило иначе.

В деревне Оседланные Луга находилось учреждение, наполовину обычная школа и наполовину академия, в основном, поддерживаемое государством, как законодательно, так и финансами. Здесь получали не только основное английское образование, но, аналогично, некое прикосновение к прекрасным стилям и композиции, и к знаниям о том, что великий американский вал и калибр — ораторское искусство. На высоко поднятой сценической платформе Академии Оседланных Лугов сыновья большинства неимущих подёнщиков взяли в привычку протяжно декламировать пламенную революционную риторику Патрика Генри и активно жестикулировать под мягкие интонации дрейковского «Калприта Фэя». Тогда чему было удивляться, что по субботам, когда не преподавались ораторское искусство и поэзия, эти мальчики должны были

взращивать меланхолию и презрение к тяжёлым и скучным рукояткам навозных вил и мотыг?

В возрасте пятнадцати лет стремление Чарльза Миллторпа состояло в том, чтобы стать или оратором, или поэтом; во всяком случае, великим гением одного или другого вида. Он вспомнил наследственного Рыцаря, и с негодованием отверг плуг. Обнаружив в нём первый зародыш этой склонности, старый Миллторп очень серьезно поговорил со своим сыном, пытаясь оградить его от злостных заблуждений. Подобные устремления годились для бесспорного гения, богатых мальчиков или бедных мальчиков, оказавшихся в мире совершенно одинокими, без единой для себя опоры. Чарльз лучше видел ситуацию; его отец был стар и слаб, он не мог продержаться очень долго, он не мог оставить ничего после себя, кроме своего плуга и своей мотыги; его мать была больна, его сёстры — бледны и хрупки, и, наконец, в жизни присутствовал факт: зимы в этой части страны были чрезвычайно жестокими и длинными. Семь месяцев из двенадцати пастбища пустовали, и все коровы должны были питаться в сараях. Но Чарльз уже был подростком; совет часто оказывается не стоящим человеческого вздоха, если человек не возьмёт

на себя мудрость доверять ему; что, возможно, хорошо, поскольку такая мудрость бесполезна; мы должны найти для себя истинную драгоценность, и поэтому мы идём вслепую и на ощупь много и много дней.

Всё же был Чарльз Миллторп любящим и почтительным мальчиком, что всегда было предметом его гордости, и не знал того, что обладает намного более прекрасной и ангельской чертой характера, а именно щедрым сердцем. Его отец умер; своей семье он теперь решил быть вторым отцом и надёжным кормильцем. Но не путём постоянного тяжёлого труда своих рук, а более тонкими практиками своего ума. Он уже прочитал много книг — история, поэзия, романы, эссе, и так далее. Поместные книжные полки часто удостаивались его визитов, и Пьер любезно был его библиотекарем. Но в дальнейшем, в возрасте семнадцати лет Чарльз продал лошадь, корову, свинью, плуг, мотыгу и почти все движимые вещи в доме и, обратив всё в наличные деньги, отбыл со своей матерью и сёстрами в город, основывая ожидания своего успеха на неких неопределенных предложениях жившего там родственника-аптекаря. Как и он, его мать и сёстры добивались этого; как они тосковали

и оставались некоторое время полуголодными; как они брались за шитьё, а Чарльз занимался копированием, будучи не в состоянии добыть достаточные средства для существования, — всё это можно легко представить. Но некое тайное и невидимое расположение Судьбы к нему до сей поры не только удерживало Чарльза от Богадельни, но действительно двигало его вперёд. Во всяком случае, эта определённо безвредная самонадеянность и невинное самомнение, на которые прежде обращали внимание, как на составляющую часть основы его характера, ни в коем случае не сдерживали его, как это часто наблюдается у более поверхностных людей, всегда готовых отчаяться. Это — слава пузыря, которого ничто не в состоянии утопить; это — упрёк ящику с сокровищами, что однажды должен будет свалиться за борт.

II

Когда они прибыли в город и столкнулись с бессердечным предательством Глена, Пьер, оглядевшись в поисках того, к кому можно будет обратиться в этом трудном положении, вспомнил о своём друге-компаньоне Чарли, пошёл искать его, и, наконец, нашёл; он увидел его — высокого,

возмужавшего, но, скорее, худого и бледного, и всё же поразительно красивого молодого человека двадцати двух лет, занятого в небольшой пыльной адвокатской конторе на третьем этаже более старого здания Апостолов, решившегося заниматься очень большим и ежечасно растущим делом среди пустых ящиков и непосредственно под присмотром нераскрытой бутылки с чернилами. Его мать и сёстры жили в квартире наверху, а сам он следовал не только правилам материальной жизни, но, более того, был связан с особой тайной теологической политико-социальной системой масонского ордена в потрепанных стенах Апостолов и исповедовал несколько сырую, трансцендентальную философию ради обоих восполняющих и поддерживающих элементов, а также ради потребления полноценной интеллектуальной пищи.

Сначала Пьер был несколько удивлён его чрезвычайно откровенной и фамильярной манерой; всё прежнее поместное уважение к Пьеру исчезло и ушло, хотя при их первой шокирующей встрече Чарли возможно, не знал, что Пьер уже стал изгоем.

«Ха, Пьер! рад видеть тебя, дружище! Послушай, в следующем месяце перед появлением ордена

Омеги в Апостолах я сообщу тебе адрес. Великий Мастер Плинлиммон будет там. Я слышал от видных авторитетов, что он когда-то сказал обо мне — „У юноши есть Изначальные Способности; ему предстоит удивить мир“. Поэтому, парень, я получил рецензии от Редакторов Спинозы, чтобы внести еженедельную колонку в их газетах, а ты знаешь, что очень немногие могут понять Спинозу; там не допустимо ничего, кроме Абсолютной трансцендентальности. Прислушайся теперь своими ушами; я думаю отбросить апостольскую личину и смело пойти в мир, Пьер! Я думаю об агитации по стране и о проповедовании нашей философии в массах. — Когда ты прибыл в город?»

Обозлившись из-за всех своих несчастий, Пьер всё же не смог сдержать улыбку в этом очень занимательном месте, но, хорошо зная юношу, он не заключил из этого смелого взрыва восторженного самомнения, что его сердце полностью разъедено, поскольку самомнение — это одно, а эгоизм — другое. Едва Пьер сообщил ему о своем положении, как Чарли немедленно, со всей серьезностью и практической добротой рекомендовал ему Апостолов как самое лучшее жилище, — дешёвое, аккуратное и удобное для

большинства общественных мест; он предложил предоставить тележку и самостоятельно проследить транспортировку багажа Пьера, но, наконец, решил, что лучше всего будет подняться по лестнице и показать тому свободные комнаты. Но когда, наконец, этот вопрос был улажен, то Чарли со всей жизнерадостностью и живостью отправился с Пьером в отель, чтобы помочь ему при переезде. Он схватил его руку в тот момент, когда они появились из большой арочной двери под башней Апостолов, и немедленно разразился своей забавной героикой, и напряженно продолжал, пока чемоданы находились в поле зрения.

«Господи! моя юриспруденция губит меня! Я должен отказать части своих клиентов; у меня должно быть свое призвание, и это постоянно растущее дело вступает со мной в противоречие. Кроме того, я в отношении чего-то возвышенного в долгу у основной части человечества; я должен заменить несколько своих резюме в моем метафизическом трактате. Я не могу впустую потратить все свои деньги на бонды и ипотеки. — Как я помню, ты говорил, что женился?»

Но, не останавливаясь, чтобы услышать какой-либо ответ, он продолжал болтать. «Ну, я, в конце концов, считаю это мудрым шагом. Это

дает человеку основу, сосредотачивает и поддерживает, так я слышал. — Но нет, это — моя собственная случайная мысль, это так! — Да, это проясняет мир; это удаляет его болезненный …субъ… ективизм и делает всё …объ… ективным; девять маленьких детей, например, можно считать целью. Женитьба, эй! — Прекрасная вещь, несомненно, несомненно: кругом — уютная — приятная — хорошая. Но я что-то должен принести миру, дружище! Будучи женатым, я смог бы пополнять население, но не уровень сознания. Все великие люди — холостяки, ты знаешь. Из их фамилий состоит вселенная: я должен сказать, что планета Сатурн — их старший сын, а Платон — их дядя. — Итак, ты женат?»

Но снова, не заботясь об ответе, Чарли продолжал. «Пьер, думай, дружище, — думай ради себя! Ты не говоришь об этом, но ты намекаешь на пустой кошелек. Теперь я помогу тебе наполнить его. — Поставим в тупик государство, стоящее на кантианской Философия! С долларом во главе, дружище! Передай по кругу своего бобра, и он вернётся к тебе. У меня есть полная уверенность в проницательности и великодушии людей! Пьер, слушай своими ушами: это — моё мнение, что в мире всё неправильно. Тише, я говорю, что

всё — заблуждение. Общество требует Реального воплощения — Маркуса Курция, дружище! прыгнувшего в огненную бездну, погибшего и спасшего целую человеческую империю! Пьер, я долго отказывался от соблазнов жизни и моды. Посмотри на моё пальто и увидишь, как я отвергаю их! Пьер! но, остановись, если у тебя всегда есть шиллинг! давай скоротаем холодное время здесь — это место недорогое; я иногда захожу сюда. Ну, давай, войдём»

Книга XXI

Пьер торопится создать и сдать зрелую работу. Новости с лугов. Плинлиммон

I

Теперь мы можем увидеть Пьера, постоянно поселившегося в трех смежных комнатах на верхних этажах Апостолов. И, проследовав немного дальше по времени, пропустим сто и одну внутреннюю деталь их быта: как бедная Делли, уже оставив острейшие муки своего горя, нашла облегчение, став служанкой у знакомого компаньона Изабель, что оказалось единственным практическим облегчением при воспоминаниях об её несчастном прошлом; как сама Изабель в часы, не занятые Пьером, проводила часть своего времени в освоении чистовой переписки чётким почерком его бессвязных рукописей с целью их подготовки для печати или спускалась по лестнице в комнаты Миллтропов к скромному и любезному обществу трёх девушек и их прекрасной матери, оказавшихся небольшим

утешением в отсутствие Пьера; или, когда его дневная работа была сделана, в сумерках садилась возле него и играла на своей мистической гитаре, пока Пьер не начинал чувствовать главу за главой, порожденные поразительной многозначительностью, но увы! вечно неподдающиеся возможности быть переведенными на слова, поскольку там, где заканчиваются самые глубокие слова, там начинается музыка с её излишней чувственностью и всеобщей путаницей из намеков.

Отрицая теперь всех предыдущие обращения своего ума и горького презрения даже к тем прекрасным плодам беззаботного воображения, что были написаны в Оседланных Лугах в сладкое легендарное время с Люси и их любви, он ревностно держался в стороне от издателя, считая слишком верным и правильным быть изданным; самостоятельно отказываясь от всех своих заранее принятых решений, Пьер был теперь занят кропотливой серьезной работой, к быстрому завершению которой его совместно вынуждали два важных повода: острое желание сообщить, что он мыслит по-новому, или, по крайней мере, желание открыть для мира Правду, которой прискорбно пренебрегают, и перспектива угрозы остаться абсолютно нищим даже если, продав

свои книги, он сможет выручить деньги. Будучи ослеплённым широтой, буйством и различной направленностью глубоких событий, которые в последнее время случились с ним, и беспрецедентной ситуацией, в которой он теперь оказался, и, исподволь чувствуя, что самые великие произведения самых светлых человеческих голов всегда строятся по кругу, — как атоллы (примитивные коралловые островки, которые, подобно трубе, поднимаются с глубокого морского дна к поверхности и предстают там в виде белого обруча из скал, всю внешнюю сторону которого стегает океан, при том, что в тихой лагуне какие-либо бури исключаются), что, способствуя своему пищеварению, включают весь круг того, что им может быть известно или может появиться, — Пьер решил дать миру книгу, которую тот должен будет приветствовать с удивлением и восхищением. Разный объём прочитанного, о котором мало подозревали его друзья, и беспорядочно нажитый, беспорядочный, но всё замечающий ум, в ходе многообразных, эпизодических, библиографических столкновений почти любого цивилизованного юноши, следующего за Истиной, — этот гигантский запас, скопившись, вылился в этот бездонный источник оригиналь-

ной мысли, который случайно и со временем прорвался бы сам. Теперь он поздравил самого себя со всеми своими поверхностными приобретениями данного вида, игнорируя тот факт, что для ума, склонного к созданию некоего вдумчивого и абсолютно правдивого произведения, любое простое чтение способно показать существующую реальность; но это препятствие тяжело было преодолеть, и не было возможности протолкнуть его вперёд.

Пока Пьер думал, что полностью переселился в новый и замечательный элемент Красоты и Силы, он на самом деле находился в одной из стадий этого перемещения. Количество этого окончательного элемента, однажды с лихвою полученного и следующего за книгами, не должно превышать необходимого количества бакенов для наших душ; наши собственные сильные конечности поддерживают нас, и мы, безнаказанно смеясь, плывём над целой бездонной бездной. Он не видел, — если он не видел — что всё ещё не может назвать истинную причину для себя, что уже в начале его работы тяжёлый неподатливый элемент простого книжного знания неподходяще соединён с широкой изменчивой и эфирной легкостью непосредственной творческой мысли. Он

поднялся на Парнас с грудой фолиантов за спиной. Он не видел, что для него не существовало ничего, что написали другие; что, если сам Платон был действительно необыкновенно великим человеком, он всё же не должен быть необыкновенно великим для него (Пьера), поскольку уже давно он (сам Пьер) тоже сделал что-то необыкновенно большое. Он не видел, что не существует какого-либо стандарта для творческого духа, что ни одну большую книгу нельзя никогда рассматривать отдельно и разрешать её собственной уникальности властвовать над творческим умом, но что все существующие большие работы должны быть объединены в воображении и потому должны рассматриваться как разнообразное и Пантеистическое целое; и тогда, — без какого-либо диктата в отношении к его собственному уму или неоправданного сбоя его с какого-либо пути, — таким образом объединённые, они просто показались бы ему забавными и раздражающими. Он не видел, что, даже когда все это оказывалось слитым, то оно выглядело всего лишь одной маленькой капелькой по сравнению со скрытой бесконечностью и неисчерпаемостью его самого; что все великие книги в мире, кроме искалеченных тёмными силами невиди-

мых и вечно невоплощённых образов в душе, таковы, что они всего лишь зеркала, искаженно отображающие нас самих. И не берите в голову, каковым может быть это зеркало, — ведь если мы можем видеть объект, то мы должны смотреть на сам этот объект, а не на его отражение.

Но для решившегося путешествовать по Швейцарии Альпы никогда не предстают в одном широком и всестороннем охвате, в один миг показывая свои полные ужаса перепады высот, — устрашающая перспектива пиков, теснимых пиками, чья высота внушает благоговейный страх, и зубья, склонённые друг к другу, и цепи, теснящиеся позади цепей, и всех их замечательные войсковые батальоны; поэтому небеса мудро предопределили, что при первом вступлении в Швейцарию душа человека не должна сразу же чувствовать её огромную необъятность, чтобы его дух, плохо подготовленный к такой встрече, не смог бы упасть и погибнуть в лежащих внизу снегах. Только делая продуманные шаги, означенные Богом, человек придёт, наконец, и достигнет своего Монблана и получит более высокое представление об этих Альпах; и потом это будет даже не десятая их часть, подобно тому, как далеко за необозримой Атлантикой не видимы

Скалистые горы и Анды. Душа человек ужасна! Лучше однажды быть выдворенным в реальные пространства за пределы орбиты нашего солнца, чем один раз почувствовать самого себя, удовлетворенно плывущим в самом себе!

Но сейчас, не рассматривая скрытое внутри себя, Пьер, хоть и необычным путём и очень недавно осознав множество прежде игнорируемых чудес в обычном мире, пока, тем не менее, не обеспечил себя такой волшебной палочкой души, которая, не касаясь самых скромных событий в жизни, немедленно всем приоткрывает глаза, каждый из которых начинает видеть бесконечный смысл. И ещё он не забросил свой уголок в роднике из своего детства, обнаружив, что там может быть рыба; ведь кто не мечтает найти рыбу в роднике? — бегущем потоке внешнего мира, где, несомненно, водятся золотой окунь и щучка! Десять миллионов вещей пока еще не раскрылись перед Пьером. Древнюю мумию заворачивали в материю за материей, отчего масса времени уходит на развертывание этого египетского короля. Однако теперь, не испытывая сомнений и начав смотреть сквозь внешнюю поверхность мира, Пьер наивно решил, что пришёл к не разделённой на слои субстанции.

Но любой геолог, спускающийся в мир, обнаружит, что тот состоит не только из того слоя, что стратифицирован поверху. До оси мира добраться можно только с поверхности. С превеликими трудами мы проникаем в пирамиду; ощупью и с ужасом мы приходим в центральную комнату, где радостно замечаем саркофаг; но мы снимаем крышку — а там нет тела! — лишь ужасающая свобода размером с широкую человеческую душу!

II

Несколько недель он был занят своей книгой, — согласно своему твёрдому плану избегать какого-либо контакта с кем-либо из своих городских знакомых или друзей, точно также, когда при разрыве Пьера с обществом они усердно старались не искать его — совсем не пытаясь двигаться в сторону почтовой конторы и не отправляя оттуда почту, хотя та находилась неподалеку, за углом от того дома, где он жил; и с тех пор, самостоятельно ничего не посылая, он тоже не ждал ничего; и вот так, отделившись от мира и намереваясь довести до конца своё литературное предприятие, Пьер провёл несколько недель, пока до него не дошли устные новости о трёх

весьма знаменательных событиях.

Во-первых: его мать была мертва.

Во-вторых: все Оседланные Луга стали собственностью Глена Стэнли.

В-третьих: Глен Стэнли, как полагали, добивался руки Люси, которая, перенеся почти смертельную болезнь, жила теперь в городском доме своей матери.

Это, в основном, были первые из упомянутых событий, которые ввергли Пьера в острые естественные муки. Никакого письма не приходило к нему, ни единого самого маленького кольца или записки не было ему послано, ни единого малейшего упоминания о нём не оказалось в завещании, и всё же сообщалось, что безутешное горе вызвало смертельную болезнь у его матери и постепенно ввергло её в безумие, которое внезапно закончилось смертью; и когда он впервые услышал об этом событии, она уже мёрзла в земле двадцать пять дней.

Как же отчётливо говорило всё это об одинаково огромных гордости и горе его когда-то величественной матери, и о том, с каким отчаянием всё это теперь намекало на смертельную рану, нанесённую любви к её единственному и обожаемому Пьеру! Напрасно он убеждал само-

го себя, напрасно увещевал самого себя, напрасно искал возможность выставить напоказ все свои стоические аргументы, чтобы прогнать натиск естественных страстей. Природа возобладала; и со слезами, которые горели как кислота и опаляли сразу же, как только вытекали, он рыдал, он бредил от горькой потери своего родителя, чьи глаза были закрыты чужими наемными руками, но чьё сердце было разбито и, что очень важно, разбито родными руками её же сына.

Какое-то время почти казалось, что его собственное сердце как будто огрызается, принижая его собственную вину. Невыносимо горе человека, когда его ударяет сама Смерть, а затем забирает всю ценность дальнейшего утешения. Поскольку ни помощь, ни молитва в могилу не проникают, и оттуда не исходит прощения, то каяться из-за этой печальной жертвы, лежащей в земле, так же бесполезно, как и вечно каяться из-за её гибели, и, наступи даже день Рождества во всём христианском мире, то для неё это будет день Ада и навечно съеденная печень.

С той же чудесной точностью и аккуратностью он теперь пробежался в уме по всем мельчайшим деталям своей прежней радостной жизни со матерью в Оседланных Лугах. Он начинал

день со своего утреннего туалета, затем следовала неторопливая прогулка по окрестностям, после — его радостное возвращение, чтобы поприветствовать свою маму в ее комнате; затем весёлый завтрак — и так далее, до конца сладостного дня, пока мать и сын не расцеловывались, и со светлыми, любящими сердцами не отдалялись к своим кроватям, чтобы подготовиться к приходу уже другого дня, ласкового и восхитительного. Это были воспоминания о невинности и радости в час, полный раскаяния и горя, это были раскалённые докрасна щипцы его слёз. Но в этом бреду своей души Пьер не мог определить, где пролегала та линия, которая отделяла естественное горе от потери родителя от того, другого горя, которое возникло от раскаяния. Он упорно старался найти её, но не смог. Он пытался обмануть свою веру в то, что всё его горе было слишком естественным, и — если в нём присутствовало что-либо иное, — в то, что оно должно было проистекать не от сознания того, что что-то, возможно, сделано неправильно, а из-за острой болезненной, страшной цены, заплаченной за высшее достоинство. И в этом старании он частично преуспел. Наконец, он упрятал память о своей матери в глубочайшее хранилище, где

до настоящего времени лежало тело его упавшей в обморок Люси. Но как иногда людей, находящихся в трансе, можно уложить в гроб, ошибочно приняв за мёртвых, то так же, по ошибке, можно похоронить в душе спящее горе, если это страдание уже лишено живучести. Теперь бессмертие может быть порождено только бессмертным. Это выглядело одной из почти аргументированных первооснов в пользу бесконечности существования человеческой души, которую во времени и пространстве невозможно убить каким-либо раскаянием, ставшим следствием безжалостного ранения своего покойного ближнего.

Прежде чем он, наконец, положил свою мать в глубокое хранилище своей души, ему принесло слабое облегчение одно обстоятельство, которое, как бы то ни было, рассматриваемое беспристрастно, казалось одинаково способным как на смягчение, так и усиление его горя. Им оказалось желание его матери, которая, совсем не упоминая его собственного имени, завещала часть наследства своим друзьям, в завершении оставляя все Оседланные Луга и доходы от сдачи их в аренду Глендиннингу Стэнли, что немедленно последовало в день его фатального объявления на сходе с лестницы о принятом

желании сочетаться браком с Изабель. На него отчётливо давили все неумолимые свидетельства того, что его умирающая мать была настроена против него, и единственным положительным свидетельством, так сказать, этого неприятия было желание опустить всякое упоминание о Пьере; поэтому — поскольку это длилось столь значительный период — самым разумным было заключить, что это диктовалось пока ещё не схлынувшим первым негодованием его матери. Но небольшое утешение пришло тогда, когда он взглянул на окончательное безумие своей матери; ведь откуда происходило это безумие, если не от неумолимой горькой ненависти, поскольку даже его отец, должно быть, стал безумным из-за горечи от непоправимого греха? Но разве эта примечательная и исполненная бед гибель обоих его родителей не повлияла на его сознание как предчувствие его собственной судьбы — в том, что здесь кроется его собственная наследственная ответственность за безумие. Предчувствие, я сказал; но что такое предчувствие? как вы сможете последовательно осознать предчувствие, или как выделить какую-либо мысль из того, что абсолютно ясно, если вы не говорите, что предчувствие не скрыто в суж-

дении? А если скрыто в суждении и ещё обладает сверхъестественным пророчеством, то как тогда вы избегните рокового заключения, из которого следует, что вас, беспомощного, держат на руках Три Сестры[20]? Ведь если вы всё ещё боитесь своей обречённости, то вы предвидите её. Ну как можно предвидеть и боятся одновременно, если с этой удивительной воображаемой силой предвидения вы принимаете фактическую подобострастную беспомощность за защиту?

То, что его кузен Глен Стэнли был выбран его матерью, чтобы унаследовать область Лугов, совсем не удивило Пьера. Глен всегда был в фаворе у его матери не только как прекрасный человек со схожими мирскими взглядами, но и потому, что за исключением самого Пьера, он был её самым близким кровным родственником и, кроме того, в его имени присутствовали наследственные слоги — Глен-дин-нинг. Поэтому, если кому-либо, кроме Пьера, и должны были достаться Луга, то Глен с учётом этих общих оснований выглядел вполне соответствующим наследником.

Но для человека не естественно никогда не думать, кем он может быть, не видеть, как благо-

---

20 Примечания: 20

Три сестры в индейской легенде помогли выжить маленькому мальчику (прим. пер.)

родное наследство, по закону принадлежащее ему, переходит к чужому, и этот чужой — его соперник в любви, а теперь и бессердечный, глумящийся враг; поэтому Пьер не мог теперь оспаривать Глена; человеку не естественно смотреть на такое без своеобразных эмоций, беспокойства и ненависти. Но у Пьера были подобные чувства, всецело подогретые новостями о том, что Глен снова стал проявлять внимание к Люси. Поскольку есть что-то в груди почти каждого мужчины, который в основном обижается на внимание любого другого мужчины, сделавшего предложение женщине, надеявшейся на любовь и брак, которой он сам смог отказать. Я был бы рад увидеть человека самолюбивого, с сердцем, подходящим ко всем, кто всегда и в любом случае признается в этом самому себе. Кроме того, в случае с Пьером это негодование было усилено прежним лицемерным поведением Глена. На данный момент все подозрения виделись ему абсолютно верными, и, сопоставляя все даты, он сделал вывод, что поездка Глена в Европу была предпринята только для того, чтобы смягчить муки отказа со стороны Люси, отказа, молчаливо последовавшего за признанием её помолвки с Пьером.

Но теперь, под маской глубокого сочувствия —

со временем превратившегося в любовь — к самой красивой девушке, по-разбойничьи брошенной её суженым, Глен мог себе позволить быть совершенно открытым в своём новом сватовстве, без всякой демонстрации миру своего старого шрама. Так, по крайней мере, теперь это виделось Пьеру. Кроме того, Глен мог теперь приблизиться к Люси под самым удобным предлогом — заботе о ней. Он мог приблизиться к ней, как весьма симпатизирующий друг, желающий полностью унять её горе, ничем пока не намекая на какое-либо эгоистичное супружеское намерение; делая это рассудительно и не торопясь, под видом этакого простого спокойного, беспристрастного, но нераздельно преданного человека, что не смогло не породить в уме Люси очень естественного сравнения Глена с Пьером, принижающего образ последнего. И потом, ни одна женщина — как это иногда кажется — ни одна женщина не оказывается крайне свободной от влияния принципиального общественного мнения о своём ухажёре, особенно, если он богат и молод. И Глен пришёл к ней теперь, как владелец двух огромных состояний и как добровольно признанный наследник — не только из-за близости по крови — наследственного знамённого зала

и широких поместных лугов Глендиннингов. И также потому дух собственной матери Пьера, казалось, способствовал сватовству Глена. Действительно, в создавшейся ситуации Глен мог казаться всем самой прекрасной частью Пьера, исключающей какой-либо позор последнего; он мог казаться почти самим Пьером — тем Пьером, который когда-то принадлежал Люси. Случается, что человек, который потерял милую жену и который долго отказывался от малейшего утешения, в конце концов находит исключительное утешение в товарищеских отношениях с сестрой своей жены, которая, оказывается, имеет особое фамильное сходство с покойной; и он, в конце концов, предлагает руку и сердце этой сестре просто из-за влияния этих чудесных ассоциаций. Поэтому не стоит полностью исключать предположение, что величавая мужественная красота Глена, обладающего сильным родственным сходством с Пьером, могла вызвать в сердце Люси ассоциации, которые принудили бы её, по крайней мере, искать — если она не могла найти — утешение из-за ухода того, кто теперь считался давно и навсегда для неё умершим, в другом, преданном, кто, несмотря ни на что, почти казался покойным, вернувшимся к жизни.

Глубоко, глубоко, и опять же глубоко и глубже должны мы идти, если хотим познать сердце человека; спускаясь по спиральной лестнице в шахте, без какого-либо конца, где эта бесконечность скрыта только спиральной формой лестницы и чернотой шахты.

Как только Пьер вызвал в воображении этот фантом Глена, преобразованный в кажущееся подобие его самого, как только вообразил, как тот приближается к Люси и с преданностью приподнимает её руку, так бесконечный неугасимый гнев и злость овладели им. Много смешанных чувств объединились для того, чтобы вызвать этот шторм. Но в основе его было некое странное, неопределенное отвращение, с которым относятся к любому самозванцу, посмевшему принять собственное имя и облик в каком-либо двусмысленном или постыдном деле; реакция значительно усиливается, если этот самозванец по своей сути оказывается известным злодеем, а также, благодаря игре природы, почти подлинной копией человека, чью идентичность он принял. Все эти мысли и масса других мучительных мыслей и негодований проносились теперь через душу Пьера. Все его порожденные верой, восторженные, изящные, стоические

и философские крепости были теперь разрушены внезапной природной бурей в его душе. Не оказалось ни веры, ни стоицизма, ни философии, которые смог бы призвать смертный человек, чтобы выдержать на себе финальное испытание реального пылающего начала Жизни и Страсти. После чего вся ясность философии и фантомов Веры, которые он поднял из тумана, уплыли вдаль и исчезли, как призраки на рассвете. Ведь если Вера и философия — воздух, то события это медь. Среди серых философствований Жизнь высветила человека, словно утро.

Во время прихода подобных мыслей Пьер проклинал себя как бессердечного злодея и слабоумного идиота, — бессердечного злодея, как убийцу своей матери, слабоумного идиота, как бросившего всё своё счастье, — потому что он, воистину, ради испорченной похлебки сам оставил свое благородное неотъемлемое право лукавой родне, которая теперь овладела всем, кроме золы в его устах.

Решив скрыть эти новости и — как это втайне казалось ему — достойные муки от Изабель, а также их причину, он оставил свою комнату, намереваясь подольше погулять в пригороде, чтобы смягчить своё острейшее горе, прежде чем

снова вернуться и предстать перед ней.

III

Когда Пьер, спешно выйдя из своего жилья, быстро проходил мимо одной из самых высоких кирпичных колоннад, соединяющих древнее здание с современным, то к нему там приблизился идущий тем же путём, очень простого вида собранный человек с мужественной фигурой и с лицом, как и любое другое, довольно бледным, но довольно ясным и без морщин. Хотя лоб и борода, твёрдая посадка головы и твёрдый шаг выдавали его зрелый возраст, неподвижный взгляд всё ещё синих, блестящих глаз поразительно контрастировал с ним. Этот взгляд, казалось, бережно хранил внутри себя весёлого бессмертного молодого Аполлона, в то время как на тронных бровях из слоновой кости сидел старый Сатурн со скрещенными ногами. Само лицо этого человека, весь его характер и облик отражали весёлое содержание. Весёлое — как слово прилагательное — для него было противопоставлением мраку; содержание — возможно, уступчивость — как слово существительное, поскольку в нём не было Счастья или Сладости. Но если взгляд и характер этого человека были

привлекательными, то в глазах отражалось что-то скрытое. Это что-то лучше всего можно было охарактеризовать как антипатия или неприязнь. Неприязнь кажется лучшим словом, поскольку тут не было ни злого умысла, ни враждебности, но что-то пассивное и недоброе. В довершении ко всему, определенная изменчивая атмосфера, казалось, изливалась и уходила вдаль вместе с этим человеком. Казалось, что отображением этой атмосферы в словах мог бы стать только термин «Непостижимость» Хотя одежда, которую носил этот человек, строго соответствовала общему стилю платья любого скромного джентльмена, всё же она, казалось, служила ему маскировкой. Ещё чуть-чуть, и можно было бы сказать, что само его лицо и, по-видимому, естественный взгляд самих его глаз служил для него маской. И вот этот человек, сознательно приблизившись к Пьеру, снял свою шляпу, изящно поклонился, мягко улыбнулся и пошёл дальше. Но Пьер оказался полностью сконфужен; он вспыхнул, посмотрел искоса, забывчиво потянулся рукой к своей шляпе, чтобы ответить на любезность; он казался полностью расстроенным этим простым подъёмом шляпы, изящным поклоном, мягкой улыбкой и удивительным хладнокровием недоб-

рого человека.

Теперь, кто был этот человек? Этим человеком был Плотинус Плинлиммон. Пьер читал его трактат в дилижансе, едущем в город, и слышал, что о нём часто упоминали Миллторп и другие, как о Гроссмейстере некоего мистического Общества а Апостолах. Откуда он приехал, никто не мог сказать. Его фамилия была валлийской, но родом он был из Теннесси. Он казалось, совсем не имел семьи или каких-либо кровных уз. Никто и никогда не знал, чем были заняты его руки: он никогда не писал своей рукой (он даже не смог бы написать письма), никто и никогда не видел его с открытой книгой. В его квартире совсем не было книг. Тем не менее, давно или недавно он, должно быть, читал книги, но то время казалось уже прошедшим; что же касается тонких трудов, которые выходили под его именем, то они были не чем иным, как его устными произведениями, случайно записанными и неуклюже приведёнными в систему его молодыми учениками. Обнаруженному им Плинлиммону, без книг, перьев, бумаги, и причисленному к подобию бедного, но весьма благородного, иностранного учёного, однажды, после случайной встречи была послана прекрасная партия

канцелярской бумаги с прекрасным набором томов — Кардана, Эпиктета, Книги мормона, Абрахама Такера, Кондорсе и Зенда-Веста. Но этот благородный иностранный учёный, заявил о себе на следующий день, — возможно, в ожидании некоего комплимента за его великую доброту — ошеломительно начавшегося с его собственного пакета, принесённого как раз от двери Плинлиммона со всеми нетронутыми печатями.

«Отсылая», — спокойно сказал Плотинус Плинлиммон, " — какие-то вещи, я надеялся, что такой благородный человек, как вы, выберет Кюрасао. Я буду очень счастлив, мой дорогой граф, если вы предпочтёте сделать несколько глотков Кюрасао»

«Я думал, что, общество, в котором вы — глава, исключает подобное питьё», — ответил граф.

«Это так, дорогой граф, но у Мохаммеда есть своё собственное разрешение»

«Ах! Я вижу», — лукаво сказал благородный ученик.

«Я боюсь, что вы не видите, дорогой граф», — сказал Плинлиммон, и немедленно перед глазами графа вокруг Плотинуса Плинлиммона завертелись вихри непостижимой атмосферы.

Их чисто случайное столкновение в коридоре

было первым, когда Пьер созерцал без посредника фигуру и лицо Плинлиммона. Сразу после начала аренды квартиры в Апостолах он поразился неподвижным наблюдающим голубоглазым лицом в одном из самых высоких окон старой серой башни, которые на противоположной стороне четырехугольного пространства заметно возвышались относительно его собственных окон. Только через два оконных стекла — его собственного и незнакомца — Пьер к настоящему времени разглядел, как удивительное лицо отдыхало, — отдыхало удивительно как для человека, так и для какой-либо вещи, составленной из того или другого — но отдыхало отдельно и обособленно — лицо отдыхало само по себе. Один соответствующий взгляд на это лицо передавал большинству философских наблюдателей понятие, прежде не включенное в их систему Вселенной. Относительно слабого солнца можно сказать, что ему стекло вообще не помеха, но оно передает через стекло свой свет и жизнь, даже несмотря на то, что через стекло Пьер передал лицу в башне свою странную тайну. Всё более и более интересуясь этим лицом, он высказал свои сомнения относительно него Миллторпу. «Слава Богу», — ответил Миллторп, — «что Плоти-

нус Плинлиммон! — наш гроссмейстер, Плотинус Плинлиммон! Ей-богу, ты должен узнать Плотинуса полностью, как я это уже давно сделал. Сейчас же идём со мной, и позволь мне тут же представить тебя Плотинусу Плинлиммону»

Но Пьер уклонился; и он не мог не подумать, что хотя по —человечески Плотинус хорошо понимал Миллторпа, всё же сам Миллторп едва ли мог разглядеть Плотинуса; — хотя действительно Плотинус — кто время от времени был способен к принятию очень пренебрежительного, доверительного и простого, самоуверенного вида — мог бы, по хорошо известным ему причинам, молчаливо притвориться при Миллторпе, что тот (Миллторп) сам полностью втёрся в самую внутреннюю суть его (Плотинуса) души.

Бывает, что человеку дарят книгу; и когда даритель повертывается спиной, книгу небрежно кладут в первом же углу; человек не встревожен, книга его не беспокоит. Но если вы лично покажите ему автора, то, десять к одному, что он вернётся в уголок, заберёт книгу, укроет её от пыли и очень внимательно прочитает эту бесценную работу. Никто не поверит в реальное существование человека, пока оба его собственных два глаза не увидят его. И если тогда, под

воздействием особых обстоятельств, Пьер, находясь в дороге, был уже вовлечен во внимательное прочтение работы «ХРОНОМЕТРАЖ И РИТМ», то его особый интерес усилился, когда он мельком увидев автора. Но при первом прочтении он оказался не способен — как он полагал — справиться с центральной идеей брошюры; и поскольку каждая не понятая идея не только приводила в недоумение, но и стала горьким упреком уму, то Пьер, наконец, прекратил её полное изучение, далее сознательно не тревожась о ней в оставшееся время поездки. Но, думая теперь, что брошюра, возможно, была машинально сохранена им, он обыскал все карманы своей одежды, но без успеха. Он попросил Миллторпа приложить все усилия для того, чтобы достать ему другой экземпляр, но найти его оказалось невозможным. И сам Плотинус не мог его предоставить. Помимо всего остального Пьер лично обратился к полуглухому хромому старику из книжного киоска, находившемуся неподалёку от Апостолов. «У вас есть…» Хронический»…, мой друг?» — забыв точное название.

«Очень плохо, очень плохо!» — сказал старик, потерев свою спину, — «у меня хронический ревматизм очень давно; что от него помогает?»

Чувствуя свою ошибку, Пьер ответил, что не знает какого-либо верного средства.

«Тсс! Теперь позвольте мне сказать вам, молодой человек», — сказал старый калека, хромая рядом с ним и подводя свой рот к уху Пьера — «Никогда их не подхватывайте его! — сейчас, пока вы молоды. — Никогда их не подхватывайте его!»

Вскоре голубоглазое, мистически спокойное лицо в верхнем окне старой серой башни стало крайне удивительным образом воздействовать на Пьера. Когда под причудливым воздействием своей особенной депрессии и отчаяния, при которых в его отвергнутом состоянии тёмные мысли овладевали им, и появлялись самые пагубные чёрные сомнения относительно целостности его беспрецедентного жизненного курса, когда мысли о славе его глубокой книги плавно изменялись, — тогда при взгляде на закрытое окно это мистически спокойное лицо встречало Пьера; любое из этих воздействий приносило удивительный эффект, и не было возможности подробно описать его в каких-либо словах.

«Тщетно! тщетно! тщетно!» — говорило ему лицо. «Глупец! глупец! глупец!» — говорило ему лицо. «Прочь! прочь! прочь!» — говорило ему

лицо. Но когда он мысленно спрашивал лицо, почему оно трижды сказало «Тщетно! Глупец! Прочь!» — то здесь ответа не следовало. Ведь это лицо не отвечало ни на что. Разве прежде я не говорил, что это лицо было чем-то отдельным и обособленным; лицо от него самого? Теперь любая вещь, которая подобным образом отделена, никогда отвечает за любую другую вещь. Если это принять, то каждый вправе расширять своё обособление, а если отрицать, то каждый должен его сокращать; тогда ответ это приостановка всякой изоляции. Хотя это лицо в башне было столь ясным и столь спокойным, хотя весёлого молодого Аполлона эти глаза лелеяли, а по-отечески старый Сатурн сидел, скрестив ноги на тронных бровях из слоновой кости, — всё же, так или иначе, для Пьера лицо, в конце концов, являлось носителем особого злокозненного хитрого взгляда, направленного на него. Но кантианцы могли бы заявить, что мнение об этом хитром взгляде на Пьера было субъективным. С любой точки, лицо, казалось, искоса смотрело на Пьера. И теперь оно говорило ему — …Гпупец! глупец! глупец!.. Это выражение лица было невыносимо. Он обрамил небольшим отрезом муслина своё приватное окно, что позволило занавешивать ли-

цо подобно портрету. Но от этого хитрый взгляд не поменялся. Пьер знал, что это лицо всё ещё продолжало искоса смотреть через муслин. Самая ужасная мысль состояла в том, что при помощи неких волшебных средств или чего-то иного лицо узнало его тайну. «Да», — трепетал Пьер, — «лицо знает, что Изабель не моя жена! И, кажется, что это та причина, почему он смотрит искоса»

Тогда все виды диких фантазий, проплывавших через его душу, и отдельные положения «ХРОНОМЕТРАЖА» вживую вернулись к нему — положения, прежде не достаточно хорошо постижимые, но теперь проливающие странный, зловещий свет на его особое состояние и решительно осуждающие его. Снова изо всех сил он старался раздобыть брошюру и тотчас же прочитать комментарии мистически спокойного лица; снова он обыскивал карманы своей одежды в поисках экземпляра из дилижанса, но тщетно.

И когда — в критический момент его ухода из квартиры этим утром после получения фатальных новостей — само лицо — сам человек — сам этот непостижимый Плотинус Плинлиммон — действительно столкнулся с ним в кирпичном коридоре, и весь трепет, всегда и прежде ощущаемый им от мистически спокойного облика

в окне башни, в нём теперь удвоился, да так, что прежде, чем произнести слово, он вспыхнул, искоса взглянул и замешкался с приветственным поднятием своей шляпы; а затем в нём снова разгорелось желание раздобыть брошюру. «Будь проклятая судьба, если мне случилось потерять её», — вскричал он, — «и более проклята потому, что она действительно когда-то была у меня, и я действительно её читал. Я был простофилей, если не смог её постичь, а теперь слишком поздно!»

И всё же — здесь этого следовало ожидать — когда годы спустя старый еврей-старьевщик порылся в сюртуке Пьера, который некими путями попал к нему в руки — его ловкие, как рысь, пальцы, как оказалось, почувствовали что-то инородное между тканью и тяжёлой стеганой подкладкой из бомбазина. Он разорвал открытую полу и обнаружил несколько страниц старой брошюры, которые стали мягкими и изношенными почти как салфетка, но пока ещё достаточно четкими, чтобы можно было разобрать название — «ХРОНОМЕТРАЖ И РИТМ». Пьер, должно быть, по неосведомленности затолкал её в свой карман в дороге, и она работала там и работала, очищая низ подкладки, и там же служила её дополнением. Поэтому всё то время, что он искал

эту брошюру, он сам был её носителем. Когда он проносился мимо Плинлиммона в кирпичном коридоре и чувствовал возвращение сильной тоски по брошюре, тогда его правая рука находилась от брошюры едва ли не в двух дюймах.

Возможно, что эти любопытные обстоятельства способны, в некотором роде, проиллюстрировать его воображаемое непонимание брошюры, впервые прочитанной им в пути. Мог ли он таким же образом нести в своем уме полное понимание книги и одновременно знать, что он неправильно понял её? Я думаю, что — рассматривая всё в одном свете — заключительная карьера Пьера покажет, что он понимал её. И здесь наугад можно предположить, в качестве безделицы, не думают ли люди, что они не знают некоторых идей из-за того, что полностью не постигают их; и кроме того, если можно так выразиться, даже, храня их в самих себе, утаивают их от самих себя? Мысли о Смерти таковыми и кажутся.

Книга XXII

Цветочный занавес поднялся перед тропическим автором с некоторыми замечаниями относительно необыкновенной философии банной щётки

I

Прошло несколько дней после получения фатальных новостей с Лугов, и вот, несколько оправившись от своих эмоций, Пьер снова сидит в своей комнате; как не горюй, он всё же должен работать. День сменяется днём, неделя следует за неделей, а Пьер всё ещё сидит в своей комнате. Длинные ряды остывших обожжённых кирпичей вокруг него едва ли знают о переменах, но с наследных поместных полей его великого прапрапрадеда Лето слетело как погостившая ласточка; вероломная негодница, Осень, заглянула в кленовые рощи и под предлогом их облачения в яркий красно-коричневый и золотой цвет лишила их, наконец, малейшей тряпицы, а затем, смеясь, убежала; пророческие сосульки свисают

с деревьев вокруг старого поместного особняка — теперь запертого и покинутого; и маленький, круглый, мраморный стол в увитой лозами беседке, где в июле он сидел по утрам, болтая и попивая негус[21] со своей радостной матерью, теперь покрыт салфеткой, дрожащей на морозе; глазурь из мокрого льда инкрустирует только могилу славной матери, готовя её к последней церемонии одевания в снежные ткани; дикое завывание ветра в лесах: это — Зима. Сладкое Лето прошло, и Осень прошла; но книгу, как горькая зима, всё же нужно закончить.

Пшеницу этого сезона убирали долго, Пьер; зрелые яблоки и виноград в этом сезоне уже собран; ни кустика, ни росточка, ни плода; весь урожай собран. О, горе тем запоздалым, застигнутым зимой растениям, которые летом не смогли достичь зрелости! Зимние снега медленно занесут их. Подумай, Пьер, не твоё ли растение принадлежит некой другой и тропической стране? Даже пересаженное в северный Мэн апельсиновое дерево из Флориды покроется листьями в это скудное лето и покажет несколько символических плодов, но и ноябрь не найдёт на нем золотых шаров;

---

21 Примечания: 21
Вид глинтвейна — (прим. пер.)

и влюбленный старик, задубевший Декабрь, очистит всё дерево, вывернет его прочь из земли и зашвырнёт, как вязанку, к какой-нибудь печи для обжига извести. Ах, Пьер, Пьер, поторопись! поторопись! Доставай свои плоды, пока зима не вынудила тебя это сделать.

Понаблюдайте вон за тем малышом, сколько времени он учится стоять самостоятельно! Сначала он визжит и просит, и не пытается стоять вообще, если и отец и мать не поддерживают его; затем, немного более осмелев, он уже меньше чувствует одну родительскую руку, но снова кричит и дрожит; долгое время, постепенно, этот ребенок учится стоять без какой-либо поддержки. Но вскоре, повзрослев, он должен будет оставить саму мать, что родила его, и отца, что зачал его, и пересечь моря или, возможно, поселиться в далеких Орегонских землях. Там теперь вы увидите душу. Зародыш со всех сторон плотно обернут миром как кожицей, окружающей нежнейшие фрукты; затем он выходит из мировой шелухи, но, оказавшись снаружи, всё ещё цепляется за неё, — всё ещё требует в мире поддержки своей матери и своего божественного отца. Но всё же он должен учиться стоять самостоятельно, хотя и не без множества горьких воплей и множества

неудачных падений.

Этот час жизни человека, когда первая помощь человечества оказывается для него бесполезной, а он узнаёт, что в его мраке и человеческой бедности живёт только его собака и нет людей, — этот час — тяжёлый, но не самый тяжёлый. В другой час, который последует за изучением первого со стороны его бесконечной относительной ничтожности и презренности, боги также с презрением отнесутся к нему и не признают за представителя их клана. Бог и человечество тогда одинаково пожелают, чтобы он умирал от голода на улице ради всех, кто не сделал этого ради него. И вот когда два жестоких человека — отец и мать — оба отпускают его руки, и маленькая душа начинает ходить, то тогда вы услышите его вопли и его стенания, и часто — его падение.

Когда в Оседланных Лугах в первые горькие часы, последовавшие за получением письма от Изабель, Пьер дрогнул и затрепетал, тогда человечество отпустило руку Пьера, и, как следствие, он закричал; но когда, наконец, приученный к этому Пьер уселся за свою книгу, пожелав человечеству оставить его, и когда он решил, что чувствует намного более высокую поддерж-

ку, — тогда, вскоре, он тоже начал чувствовать чрезвычайную потерю этой другой поддержки, где даже сами боги по отцовской линии оставили Пьера; малыш уже ковылял совершенно один, и не без крика.

Если человеку суждено сражаться, то пусть лучше это произойдет на голой равнине.

Три комнаты Пьера в Апостолах были соединены. Первая, с небольшой нишей, где спала Делли — использовалась строго для хозяйственных нужд — здесь они также принимали пищу; вторая была комнатой Изабель; третья была кабинетом Пьера. В первой — столовой, как они называли её, — стояла печь, на которой кипятили воду для их кофе и чая, и где Делли придумывала их лёгкие трапезы. Это был их единственный очаг, снова и снова призывающий экономить до предела, и не позволяющий Пьеру покупать какое-либо дополнительное тепло. Но при разумном подходе, очень небольшое тепло может пойти далёким путём. В данном случае оно уходило приблизительно на расстояние в сорок футов или больше. А горизонтальная труба после изгиба высоко над печью в столовой проходила через перегородку прямо через комнату Изабель и выходила в одном из углов

в кабинете Пьера, а затем резко исчезала в стене, где всё дальнейшее тепло — какое бы оно ни было — поднималось через дымоход в воздух, чтобы помочь нагреться декабрьскому солнцу. Сейчас большое расстояние между тепловым потоком у Пьера и его источником, к сожалению, ослабляло и замедляло этот поток. Он едва чуял запах тепла. Оно едва ли могло повлиять на оживление павшего духом самого подвижного термометра, и, конечно, не очень поднимало дух Пьера. Кроме того, этот небольшой поток тепла не тёк через комнату, а, только лишь войдя в неё, сразу же уходил, как проникают в сердце некоторые кокетливые девы; кроме того, он пролегал в самом дальнем углу от единственного места, где с разумным представлением об освещении удачно примостился стол Пьера из бочек и досок. Часто Изабель настаивала на том, чтобы он завёл у себя отдельную печь, но Пьер не хотел слушать об этом. Тогда Изабель предлагала ему свою собственную комнату, говоря, что днём она её совсем не использует — она могла легко проводить своё время в столовой, но Пьер не хотел слушать об этом; он не лишил бы её в уединении доступного комфорта; кроме того, он теперь уже привык к своей собственной комнате и должен

был сидеть у определённого окна и никакого другого. Тогда Изабель настаивала на оставлении смежной двери открытой, пока Пьер был занят за своим столом, чтобы, таким образом, тепло из её комнаты могло бы целиком прийти к нему, но Пьер не хотел слушать об этом, потому что хотел быть абсолютно заперт, пока работает; любовь и ненависть извне одинаково исключались. Напрасно Изабель обещала, что не произведёт ни малейшего шума и приглушит остриё используемой ею иглы. Всё напрасно. Тут Пьер не прогибался.

Да, он решил сопротивляться этому в своём собственном уединенном кабинете, хотя странное, необычное поведение одного из наиболее эксцентричных и непримиримых обитателей Апостолов, — кто также был в это время занят серьёзной работой выше по лестнице, и кто отказывал самому себе в полноценной еде ради того, чтобы сберечь большой огонь, — странное поведение этого апостольца, как я его называю, случайно передалось Пьеру через все царства Природы, — это тепло было великим вселенским создателем и животворцем и не могло быть по неразумению удалено с места, где проходил процесс создания великих книг; и поэтому он

(апостолец) ради одного этого решил посадить свою голову в парник с нагретым печью воздухом и вынудил свой мозг развиться и расцвести, и выпустить бутон, и успешно раскрыть венчальный, победный цветок, — хотя, действительно, это поведение, скорее, поражало Пьера, — поскольку, по правде говоря, там не было ни малейшей частицы вероятной аналогии с ним — ведь всего лишь одна мысль о его кошельке полностью удалила бы нежелательное посягательство на аналогию и укрепила бы его собственную прежнюю твёрдость.

Однако, высоко и великолепно движение звезд, не зависимо от того, какие астрономические мелодии они могут так породить; впрочем, астрономы уверяют нас, что они наиболее систематичны из всего сущего. Ни у одной старой домохозяйки, ежедневно обходящей свой дом, нет и миллионной части точности большой планеты Юпитер в её установленном и неизменном вращении. Он нашёл орбиту и остался на ней; она была определена им самостоятельно, и он придерживается её периодов. Так, в определенной степени, обстояло и с Пьером, вращающемся теперь по беспокойной орбите своей книги.

Пьер поднимался не очень рано, чтобы луч-

ше приучить себя к постоянному холоду своей комнаты, бросить вызов и смело противостоять лицом к лицу самому жестокому холоду извне; он мог бы — позади занавеси — сбросить вниз верхний пояс своего окна и на квадрате старого покрашенного холста, раньше обертывавшего некую кипу товаров у соседей, рассмотреть свои конечности, ранним декабрьским утрам обильно омываемые водой, сдобренной нарождающимся льдом. Но в этом стоическом занятии он был не одинок, — во всех этих множествах и множествах скромных апостольских комнат существовала компания людей, — но не по форме, а по сходству взглядов, — постоянно принимающих свою ежедневную ванну в декабре. Пьеру достаточно было поглядеть через своё стекло и оглядеть множество окон, прорезавших стены четырехугольника, чтобы уловить повсюду вокруг себя множество слабых проблесков тел тощих нагих философов, освежающих свои тонкие кости рваными полотенцами и холодной водой. «Играйте быстрее», — было их девизом, — «Подвижны наши локти, и наша худоба проворна абсолютно». О, мрачные повторяющиеся движения банных щёток, портящих опиливанием и полировкой самые простые рёбра! О, дре-

безжание плещущих ледяной водой вёдер над горячими головами, весьма знакомыми с болью! О, ревматические трески тронутых распадом суставов в воздухе Декабря, которому бросают вызов! перед каждым опускался широкий ледяной пояс, и нагую худобу каждого обхаживал шлейф!

Среди всех врожденных, подобных гиене, отвращений к восприятию любых изначальных форм духовного настроя и чистой архетипичной веры, существуют столь же мощные в своём скепсисе тенденции, как неизбежная извращенная несерьёзность, которая столь часто свойственна части людей с самыми прекрасными по существу и самыми благородными устремлениями, чувствующих отвращение к общеизвестному шарлатанству и отстаивающих среди запутавшегося светского общества некие недостаточно хорошо различимые, но небесные идеалы: идеалы, которые не только недостаточно хорошо различимы сами по себе, но и путь к которым столь плохо различим, что не найдётся двух умов, полностью согласных с ними.

Едва ли Апостол нового света, как никто иной, в дополнении к своей революционной схеме умов и человеческой философии будет продвигать некие безумные, еретические понятия

о жизни своего тела. Его душа, представленная благородным богам в божественном обществе практически отвергает самый разумный принцип человеческого мира, гласящий, что, заимев дружбу с какой-либо великой личностью, человек никогда не сделает её основой дополнительного знакомства со следующим другом, который, возможно, окажется каким-нибудь несчастным простофилей. Любишь меня — люби мою собаку, — эта пословица годится только для деревенских старух, нежно целующих своих коров. Боги любят человеческую душу; часто они будут открыто обращаться к ней, но они ненавидят его тело и всегда будут приводить его к смерти, и сейчас, и после. Поэтому, если вы желаете идти к богам, то оставьте собаку вашего тела позади. И наиболее бесполезны для вас старания ваших очищающих холодных ванн и ваше прилежное очищение тела щётками, которые будто бы готовят ваше тело для божественного алтаря. Ваши сидения на диете пифагорейцев и шеллианцев из яблочной шелухи, сушёного чернослива и крошек серо-жёлтого крекера готовят ваше тело к восхождению на небеса. Кормите всех подходящей едой — если еда доступна. Если еда вашей души лёгкая и космическая — тогда

накормите её светом и пространством. Но если еда вашего тела — шампанское и устрицы, то тогда подавайте духовную пищу на шампанском и устрицах, и тем засл́ужите радостное воскресение, если есть чему воскресать. Скажите, вы росли со впалыми щеками и хромым коленом? — Росли с мускулами на теле и большим королевским животом спереди; поэтому желаю вам в этот день требовать почтительного внимания. Знайте следующее: пока множество чахоточных сидело на диете, они не произвели для мира даже самых простых и напыщенных литературных произведений, а авторы, любящие выпить и закусить с друзьями, как раз смогли выдать крайне возвышенную мудрость и создали наименее грубые и наиболее эфирные формы. И люди, демонстрирующие мускулы и действия, считают верной королевскую эпитафию, которую Великий Кир повелел выбить на своей могиле — «Я смог выпить много вина, и оно принесло мне много радости». Ах, глупец! Думаете, что, моря ваше тело голодом, вы сможете откормить вашу душу! Разве вон тот вол разжирел потому, что вон та худая лиса голодает в зимнем лесу? И разве пустая болтовня не презренна для вашего тела, в то время как вы всё ещё сверкаете

своей банной щёткой! Самые прекрасные здания требуют самой большой заботы; внешние стены свободно подставлены под пыль и сажу. Поглотите оленину, и тогда остроумие выйдет из вас. Пока изготавливают одну вещь, другая — уже в мешке.

Теперь тут образовался замкнутый четырехугольный садок с теми несчастными апостольскими малыми, которые в этот период перемен и развития Пьера ввели его в заблуждение Философией Банной Щётки и почти подвели к Диалектике Яблочной Шелухи. Из-за неё все длинные комнаты, коридоры и многочисленные комнаты Апостолов были усеяны стеблями яблок, косточками от чернослива и скорлупками от арахиса. Они ходили, хрипло бормоча кантианские категории сквозь зубы и губы, ссохшиеся и пыльные, как у какого-нибудь мельника, с крошками Крекеров от Грэма. Стакан холодной воды был самым щедрым подношением в их комнате для приёмов; в великом воображаемом Синедрионе, контролируемом одним из представителей Плотинуса Плинлиммона, огромный кувшин с Пивом от Адама и корзина объёмом в бушель с Крекерами от Грэма были единственным пиршеством. Постоянно куски сыра выпадали из их

карманов, и всякий раз пергаменты со старыми солнечными яблоками по неосторожности появлялись на виду, когда они вытаскивали рукопись для прочтения. Некоторые интересовались датами производства вод, и в отношении стоящих перед ними в трёх стеклянных графинах Фурминта, Кротона, и Кочтуата[22] они придерживались мнения, что Кротон был самым крепким, Фурминт — нежно тонизирующим, а Кочтуат — самым лёгким и наименее пьянящим из всех. Возьмите еще немного Кротона, мой уважаемый сэр! Вас оживит Фурминт! Почему закончился этот Кочтуат? Вот так на их философских столах по кругу ходили их Портвейн, их Шерри и их Кларет.

Некоторые слишком современные люди отвергали простую воду в ванне, как элемент, в целом, слишком грубый, и поэтому посещали бани и там каждое утро томили свои тощие ребра. Пар, обволакивающий их головы и покрывавший их страницы, служил прототипом туманов, выходящих из-под их подоконников и из окон. Некоторые не могли присесть по утрам, сперва не закончив применять банные пары, а после полностью

---

22 Примечания: 22
Названия вод для питья (прим. пер.)

не ополоснут свои интерьеры пятью чашками холодного Кротона. Они воистину были наполненными пожарными ведрами и смогли бы, стоя в одной цепочке, последовательно передавать воду от одного к другому, от усердия в чем большой пожар 1835-го года не разошёлся бы столь широко и не имел бы катастрофических последствий.

Ах! Вы, тощие бедняки! Вы, несчастные, Впитывающие и Испаряющие! вашего скудного состояния не достаточно для того, чтобы ополоснуть вас — вот вы и сморщились; но вы всё ещё способны вытянуть шланг и вылить ещё более холодный Кротон на вас самих и на мир? Ах! приложите винт своего шланга к какому-нибудь прекрасному старому торцу бочки с Мадейры! накачайте нам немного игристого вина! глядите, глядите, двое из трёх, ранее впитавших от целой вечности, уже беспомощно лежат!

II

Со щеками, совсем бледными, а также губами, совсем синими, Пьер садится за свою доску.

Но разве этим утром Пьер отправляется в Санкт-Петербург? На его ботинках лежат его мокасины; на его повседневном пальто лежит его сюртук, и на нём — плащ Изабель. Теперь он

глядит прямо на доску, и по его намеку нежная Изабель мягко пододвигает свой стул поближе к нему, поскольку он так укутан, что едва ли может двинуться с места. Сейчас же входит Делли с кирпичами, нагретыми на печи, и затем Изабель и она бережно и заботливо заворачивают эти утешительные камни в складки старого синего военного плаща, оставшегося от дедушки Пьера, и нежно пристраивают у него под ногами, размещая горячую плиту пониже. Затем Делли приносит ещё один горячий кирпич, чтобы подложить под чернильницу и воспрепятствовать сгущению чернил. Тогда Изабель подтягивает к нему поближе остов военной кровати, на которой лежат две или три книги, возможно, случайно приложенные на этот день к булочке или двум, небольшому количеству воды, чистому полотенцу и тазику. После она прислоняет к доске возле локтя Пьера трость с крюкообразной рукояткой. Разве Пьер — пастух, епископ или калека? Нет, но в действительности он довёл себя до несчастного состояния последнего. Трость с крюкообразной рукояткой. Пьер не способен был встать, без грусти не ослабив свои многочисленные укрепления и не впустив холодный воздух в их самые дальние и укромные

уголки. Пьер, если в его одиночестве становится необходима какая-либо вещь, находящаяся вне досягаемости его руки, тростью с крюкообразной рукояткой подтягивает эту вещь к досягаемому для рук месту.

Пьер медленно оглядывается вокруг; все вещи видятся ему в порядке; он смотрит с благодарным, печальным удовлетворением на Изабель; слеза собирается в её глазу, но она прячет её от него, подходит очень близко к нему и, наклонившись, целует его лоб. «Её губы покинула тёплая влага, но не её слезы», — говорит она, цитируя Шекспира.

«Я полагаю, что должна теперь уйти, Пьер. Теперь такой недолгий, такой недолгий день. Я позову тебя в половине пятого. Ты не должен в сумерках напрягать свои глаза»

«Мы будем смотреть за этим», — говорит Пьер в печальной попытке незаметно поиграть словами. — «Ну, ты должна уйти. Оставь меня»

И он остался там.

Пьер молод; небеса дали ему самое божественное, самое молодое человеческое тело, зажгли свет в его глазах, огонь в его крови и вложили силы в его руки, и радостная, ликующая, переполняющая, пенящаяся, вселенская жизнь

кипит в нём повсюду. Теперь оглядите эту самую несчастную комнату и этого самого несчастного из всех загнанных людей, и скажите, то ли это место и то ли это занятие, к которым его предназначил Бог. Хрупкий стул, две полых бочки, доска, бумага, ручки и чертовски чёрные чернила, четыре закопчённых белых стены, никакого ковра, чашка воды и одна или две сухих булочки. О, я слышу прыжок техасского команча, словно дикий олень прорубающегося через зеленый подлесок; я слышу его великолепный, дикий, неукротимый и здоровый возглас, а затем заглядываю в Пьера. Разве физическое, практическое безумие сделало из него того дикаря, каков он есть? Цивилизация, Философия, Идеальная Добродетель! Смотрите на вашу жертву!

III

Прошло несколько часов. Давайте заглянем через плечо Пьера и посмотрим, что он пишет там, в этом большом мрачном кабинете. Здесь, рядом с ним, на самом верху сильно пахнущей груды лежит последний лист, вышедший из-под его руки, яростные чернила ещё не совсем высохли. Это почти наша цель, поскольку в этом листе он, кажется, занялся непосредственным воспро-

изведением произошедших с ним событий для того, чтобы наполнить характер своего очевидного автора-героя, Вивии, произносящего такой монолог: «В глубине моей души живёт невысказанная скорбь. Теперь я снимаю все маски весёлости и равнодушия и всю философскую претенциозность. Я брат тучи, дитя Первобытного Мрака. Безнадёжность и отчаяние слой за слоем окутывают меня. Прочь, болтливые подражатели невеждам Спинозе и Платону, однажды сделавшие всё, кроме как ввести меня в такое заблуждение, где ночь кажется днём, а боль всего лишь щекоткой. Прояснить этот мрак, изгнать этого дьявола вы не можете. Не говори мне, ты, немыслимый фат Гёте, что вселенная не может уберечь тебя, и твоё бессмертие продлится настолько же долго, насколько ты — как нанятый официант — делаешь самого себя „вообще полезным“ Вселенная вполне преуспеет без тебя и сможет сберечь ещё миллион точно таких же самых характеров. Разве у сообществ нет душ и твой Пантеизм таков и есть? Ты же не показная и бессердечная часть человека. Ло! Я держу тебя в этой руке, и раздавлю в ней как яйцо, из которого вытекло содержимое»

Вот записка с пола.

«Откуда исходят панегирические мелодии, летящие впереди марширующих героев? Не от звонкой меди и звенящих цимбалл!»

И вот вторая.

«Бросьте ваш взгляд туда, на Вивиа; скажите мне, зачем эти четыре конечности нужно упечь в мрачную тюрьму — изо дня в день — из недели в неделю — из месяца на месяц — и вот он сам — добровольный тюремщик! Это конец философии? Это великая и духовная жизнь? Это ваш хвалёный рай? Это всё из-за того, чтобы человек смог стать мудрым, отбросил бы своё превосходство и опорочил себя безрассудством?»

И вот третья.

«Бросьте ваш взгляд туда, на Вивиа; на того, кто показал стремление к высочайшему достоинству и правде лишь ценой побледневших щёк! Взвесь его сердце на своей руке, о, ты, зашнурованный золотом, виртуоз Гёте! и скажите мне, не превышает ли оно твой стандартный вес!»

И вот четвёртая.

«О, Боже, этот человек должен сгнить и заржаветь на стебле, ослабеть и быть сбитым, прежде чем появится урожай! И о, Боже, эти люди, что называют самих себя людьми, всё ещё настаивают на смехе! Я ненавижу мир и могу растоптать все

лёгкие человечества как виноград и вытоптать из них дух, думая о горе и лицемерии, — думая о Правде и Лжи! О! пусть будет благословен двадцать первый день декабря, и будь проклят двадцать первый день июня!»

Из-за этих случайных листков может показаться, что Пьер вполне осознавал многое из того, что так необычайно отяготило и отравило его жизнь, многое из того, что так темно и ужасно в его душе. И всё же это осознание его фатального положения не позволило ему это положение изменить или улучшить. Всё окончательно доказывало, что у него совсем не было власти над ситуацией. В чрезвычайно безвыходных положениях души человека похожи на тонущих людей: они довольно хорошо осознают, что находятся в опасности; они довольно хорошо осознают причины этой опасности, — тем не менее, море есть море, и эти тонущие люди тонут.

IV

С восьми часов утра до половины пятого вечера Пьер сидит там, в своей комнате, — восемь с половиной часов!

От трепещущих лент и качающихся дужек с весёлыми лошадиными сердечками исходит

звон сияющих бубенчиков, — но Пьер сидит там, в своей комнате; День благодарения приходит с своими счастливыми благодарностями и свежими индюшками, — но Пьер сидит там в своей комнате; по снегу мягко, на раскрашенных индейских мокасинах, крадясь, приходит Рождество Христово — но Пьер сидит там, в своей комнате; вот и Новый год, и, как вино из большой бутыли, большой город с пышным ликованием заливает все бордюры, причалы и пирсы, — но Пьер сидит там, в своей комнате. Ни звенящие бубенчики на трепещущих лентах и качающихся дужках, ни радостные благодарности и свежие индюшки Дня благодарения, ни раскрашенные индейские мокасины Рождества Христова, мягко крадущиеся по снегу, ни Новогодние бордюры, причалы и пирсы, переполненные кипящим ликованием, — ни звон бубенчиков, ни День благодарения, ни Рождество Христово, ни новогоднее ликование — ни Звона, ни Благодарения, ни Христа, ни Нового года, — ничего из этого для Пьера не существует. Посреди веселья среди превратностей Времени Пьер окружил себя Вечным горем. Пьер — несломленный пик в самом центре Времени, словно островной пик Пико, стоит непокоренный посреди волн.

К себе он не зовет; он не будет тревожиться. Иногда ухо Изабель намеренно прислушивается к тишине в соседней комнате, чередующейся с долгим унылым скрипом его пера. Как будто она слышит скрежет когтя какого-нибудь полуночного земляного крота. Иногда она слышит низкий кашель, а иногда — царапанье его трости с крюкообразной рукояткой.

Вот, воистину, удивительная неподвижность восьми с половиной часов, повторяющаяся день за днём. В самом сердце такой тишины, конечно же, идёт какая-то работа. Это — созидание или разрушение? Пьер в новой книге создает благородный мир? или же Изможденную Бледность, разрушающие его лёгкие и жизнь? — Невыносимо, если таким может быть человек!

Когда в полуденном разливе дня мы вспоминаем чёрную вершину ночи, то эта ночь кажется невозможной; кажется, что солнце никогда не сможет зайти. О, эта память о предельном мраке, испробованном уже вплоть до осадка, никак не может заставить опасаться его возвращения. Только однажды можно быть чувствительным к мраку, но в следующий раз можно поужинать вместе с Плутоном супом, приготовленном на чёрном бульоне.

Может ли тогда вся эта работа над одной книгой быть прочитана всего лишь за несколько часов, и — что намного более часто — вообще в одну секунду, и, в конце концов, независимо от того, какова она, определённо оказаться отправленной к червям?

Не это не так; то, что теперь поглощает время и жизнь Пьера, не книга, а странный примитивный стихийный материал, который в процессе создания этой книги приподнялся и излился в его душе. Созданы обе книги, из которых мир должен будет увидеть только одну, и ту, что сделана неумело. Бóльшая книга, и бесконечно лучшая — для собственной частной полки Пьера. Её непостижимое притяжение выпивает из него кровь, другой потребовались только его чернила. Но обстоятельства сложились так, что она не может быть создана на бумаге, а только лишь сохранена в глубине его души. И эта душа послоновьи неповоротлива и не сдвинется с места от вздоха. Таким образом, Пьер взят на прицел двумя кровопийцами, — сколько тогда может продлиться жизнь Пьера? Ло! Он сам по себе соответствует высочайшей жизни, выпуская свою кровь и разбивая своё сердце. Он думает о том, как жить, репетируя смерть, как часть жизни.

Кто расскажет обо всех мыслях и чувствах Пьера в этой запущенной и промерзшей комнате, когда, наконец, навязанная идея, что он должен стать мудрецом и основателем, приносит всё меньше и меньше хлеба; он мог бы теперь вышвырнуть свою глубокомысленную книгу из окна и навалиться прямо на некий поверхностный роман, слепив его, самое большее, за месяц, после чего обоснованно надеяться и на оценку, и на наличные средства. Но всепоглощающие глубины, уже открывшиеся в нём, забирают всю его энергию; теперь для него не может быть занимательной и полезной мелкая тема в некоем прозрачном и весёлом романе. Теперь он видит, что на каждом этапе его наполнения личной божественности некая великая общая окружающая божественность оползнем сползает с него, а потом распадается. Я разве не сказал, что боги, равно как и человечество, отпустили от себя этого Пьера? Поэтому теперь вы видите в нём ранее упомянутого мною малыша, вызвавшегося стоять и ковылять самостоятельно.

Время от времени он возвращается к походной кровати, смачивает в тазике своё полотенце и после прикладывает его к своему лбу. Вот он откидывается назад на своем стуле, как будто

сдаётся, но снова склоняется и продолжает упорно работать.

Надвигаются сумерки, от двери слышится зов Изабель; бедный, замерзший, с синими губами дрожащий путешественник в Санкт-Петербург распаковывается и, уже стоя, ковыляет по полу. Затем его шляпа, его трость и он сам выходят на свежий воздух. Самая печальная прогулка на нетвердых ногах! Люди пристально смотрят на его передвижение, как на некоего душевнобольного, своенравно сорвавшегося со своей кровати. Если встречается знакомый и сообщает шутливую сплетню в ухо Пьеру, тот отворачивается от него, оскорбляя тяжестью своей ледяной неучтивости. «Бессердечный», — бормочет человек и продолжает путь.

Он возвращается в свою комнату и садится за накрытый Делли стол, а Изабель успокаивающе следит за ним и настаивает, чтобы он поел и набрался сил. Но его голодание ненавидит всякую еду. Он не может есть, кроме как через силу. Им убито естество дня — как он теперь может есть с аппетитом? Если он ложится, то не может уснуть: его будит живущая в нем бесконечная бессонница, — как тогда он может задремать? Тем не менее, его книга, как огромная громыха-

ющая планета, вращается в его больной голове. Он не может скомандовать ей сойти с орбиты; он охотно позволил бы казнить себя, чтобы заполучить одну ночь отдыха. Наконец, тяжёлые часы проходят, явное истощение овладевает им, и он лежит неподвижно — не спит, как спят дети и подёнщики, — но лежит, не двигаясь из-за своих волнений, крепко держа в своей руке клюв стервятника и не позволяя ему достать до сердца.

Наступает утро; снова сброшенный пояс, ледяная вода, банная щётка, завтрак, горячие кирпичи, чернила, ручка, с восьми часов до половины пятого, и всё, что обычно включено в ад того же самого спокойного дня.

Ах! вот этот человек, день за днём дрожащий в своих халатах и плащах, и есть тот горячий парень, что когда-то спел миру «Тропическое Лето»?

Книга XXIII

Письмо для Пьера. Изабель. Прибытие мольберта и багажа Люси в Апостолы

I

Если жителя приграничной полосы берут в плен дикие индейцы, уводят далеко и глубоко в дикие края и держат там без малейшего шанса на избавление, — тогда самым мудрым для этого человека будет исключение из своей памяти любым возможным способом максимума изображений любимых объектов, что теперь навсегда у него отобранных. Если он весьма восхищен ими, то станет теперь одержимым их уходом, и потому современные воспоминания о них будут наиболее мучительны. И хотя иногда сильный человек может преуспеть в том, чтобы задушить такие мучительные воспоминания, то всё же, если в начале разрешить ему вторгаться в них бесконтрольно, он сам, в конце концов, станет идиотом. Если континент и океан разделят его с его женой, то разлука с нею будет такова,

что по любой причине из-за многолетнего срока мужу — если он неистово предан ей, и, по своей природе, задумчив и чуток душой — разумнее будет забыть её, пока он не обнимет её снова, и разумнее будет никогда не вспоминать о ней, если он узнает о её смерти. И хотя такое абсолютно самоубийственное забвение оказывается практически невозможным, тут остаются только показные и нарочитые переживания, которые бурлят на похоронах воспоминаний. Любовь сильна как смерть — что означают эти четыре слова, если не то, что такая любовь не может существовать, если постоянно не помнит о том, что любимой больше нет? Если так потом и будет, то в случаях, где полное отсутствие раскаяния в отношении любимых отсутствующих объектов предполагается намного невыносимым, приходит осознание их безнадежного настоящего, посещаемого скрытыми укорами от воспоминаний, каким-либо образом ставшими — даже невольно — причиной страданий. Для некоторых капризных организмов нельзя счесть крайностью разумные обращения за помощью при таких назойливых обстоятельствах, но попытки обращений, как справа, так и слева, обходятся ими, чтобы не случилось.

Если мало или ничего до настоящего времени не говорилось о Люси Тартэн при описании положения Пьера после его отъезда из Лугов, то это только потому, что её образ без принуждения занимал его душу. Самым большим его устремлением было выдворить его отсюда; и только однажды — при получении новости о возрождении внимания Глена — он смягчил напряжение от этих усилий или, скорее, их ощущение, до равнодушия в себе в час своего всестороннего и непреодолимого изнеможения.

Но этот бледный облик Люси, падающей в обморок на свою белоснежную кровать, этот невыразимо мучительный вопль — «Моё сердце! Моё сердце!» не могли теперь время от времени не воздействовать на него и не вызывать во всём его теле острую дрожь от неописуемого ужаса и страха. Но самый волнующий из фантомов помог ему этого избежать при помощи всей оставшейся силы духа.

Но существовали желания другие, и намного более замечательные, хоть и не смутно сознаваемые в груди Пьера, но воспринимаемые как отторжение умоляющей фигуры. Нельзя не сказать о том, что если б он не был снедаем всепоглощающей темой своей книги, то не бы-

ло бы зловещей озабоченности в его ещё более истощенном и более пугающем облике, в котором уже угадывались некоторые намёки.

Это произошло, когда однажды утром он в одиночестве сидел в свой комнате; его ослабевшие сылы искали короткую передышку; его голова повернулась к голому полу и к чередующимся щелям в нём, которые, как провода, вели прямо от того места, где он сидел, к общей двери и исчезали под ней в комнате Изабель. Он привстал при стуке в эту важную дверь, сопровождаемом обычным, тихим, нежным голосом.

«Пьер! письмо для тебя — Ты слышишь? письмо, — я могу войти?»

Он сразу же почувствовал вспышку удивления и опасения; поскольку, как раз пребывая в обычном мнении относительно внешнего мира, он не мог обоснованно искать новостей, не имеющих катастрофических последствий, или, как минимум, нежелательных. Он пригласил, и Изабель вошла, протягивая в руке письмо.

«Это от какой-то леди, Пьер; кто она? — не твоя ли мать, хотя, в этом я не уверена, — выражение её лица, как я заметила, не совсем соответствует этому почерку»

«Моя мать? от моей матери?» — пробормотал

Пьер в дикой растерянности, — «нет! нет! Вряд ли оно может быть от неё. — О, она теперь больше не пишет, даже в свой собственный блокнот! Смерть похитила последний лист и стёрла всё ради того, чтобы набросать своё собственное неизгладимое… здесь лежащее… это!»

«Пьер!» — в страхе вскричала Изабель.

«Дай его мне!» — громко крикнул он, протягивая руку. — «Прости меня, милая, милая Изабель, я блуждал в своем уме; эта книга делает меня безумным. Сюда; теперь оно у меня», — безразличным тоном, — «теперь опять оставь меня. Это от какой-то симпатичной тёти или кузена, как я полагаю», — небрежно балансируя письмом в своей руке.

Изабель оставила комнату; как только дверь за ней закрылась, Пьер нетерпеливо вскрыл письмо и прочитал:

II

«Этим утром я поклялась себе в том, мой собственный драгоценный, драгоценный Пьер, что чувствую себя более сильной; вплоть до сегодняшнего дня я ещё больше задумалась о твоей собственной сверхчеловеческой, ангельской силе, которая так мало передалась мне. О, Пьер, Пьер,

эти слова я буду писать тебе теперь, — теперь, пока ещё ничего не зная о какой-то твоей тайне, о существовании которой я догадываюсь, как провидец. Горе, — глубокое, отвратительное горе, сделало меня таким провидцем. Я смогла бы убить себя, Пьер, когда думала о своей предыдущей слепоте; но её приоткрыл мой обморок. Она была ужасна и уничтожающа; но сейчас я вижу, что ты был прав в то мгновенье со мной, и как никогда — после письма ко мне, Пьер; да, теперь я вижу это и ещё больше обожаю тебя.

«Ах! Ты слишком благороден и подобен ангелу, Пьер; теперь я чувствую, что такое существо, как ты, не может любить такой же любовью, какой любят другие мужчины; но твоя любовь как у ангела: не ради себя, но целиком ради другого. Но пока ещё мы одни, Пьер; ты принёс себя в жертву, и я спешу повторно связать себя с тобой, и поэтому я хочу поймать твой огонь, и всё множество пылающих ветвей нашего общего пламени может слиться. Я ни о чём не спрошу у тебя, Пьер; ты не должен раскрывать мне тайну. Совершенно правильно Пьер, что во время той поездки к холмам ты не смог принести любовную, глупую клятву, которую я требовала. Совершенно верно, совершенно верно; теперь я

вижу это.

«Если затем я торжественно поклянусь в том, что никогда не потребую от тебя отчета о какой-либо мелочи, про которую ты не захотел бы рассказывать мне; если я когда-нибудь, по всей видимости, призна́ю, в точности, как ты, особенное положение этого таинственного и навсегда священного существа, — тогда, может, мне не приезжать и не жить с тобой? Я не стану тебе какой-либо помехой. Я знаю, где и как ты живёшь, и только там, Пьер, такая дальнейшая жизнь возможна для меня, и только такую жизнь я способна буду вынести. Она никогда не узнает — до настоящего времени я уверена, что ты сам никогда не раскрыл ей то, кем я когда-то тебе приходилась. Пусть ей кажется, как будто я — некая подобная монахине кузина, твёрдо поклявшаяся жить с тобой в твоём странном изгнании. Не показывай мне, — никогда больше не показывай какой-либо видимый и сознательный символ любви. Я никогда не буду твоей. Наши смертные жизни, о, мой небесный Пьер, впредь должны быть одним немым ухаживанием друг за другом, без деклараций, без свадьбы, пока мы не встретимся в чистых сферах нашего последнего божьего счастья, — пока мы не встретимся

там, куда всегда мешающий и всегда искажающий мир не сможет прийти и не придёт; где всё твоё скрытое, славное бескорыстное великолепие предстанет в полном блеске этого небесного света; где более не принуждаемая к этим очень жестоким маскировкам, она, ...она... также займёт своё собственное величественное место, приняв его не с трудом, а, скорее, с ощущением большого счастья, когда там твоё нежное сердце станет открытым и полностью моим. Пьер, Пьер, мой Пьер! — теперь только эта мысль, эта надежда, эта возвышенная вера поддерживает меня. Удачей стало то, что обморок, в котором ты действительно оставил меня долгую вечность назад, — удачей стало то, дорогой Пьер, что хотя я и вышла из него, чтобы с изумлением смотреть и идти на ощупь, я с изумлением всмотрелась и пошла на ощупь, а затем опять свалилась в обмороке, и затем снова пошла на ощупь, и снова упала в обморок. Но всё это была пустота, небольшое оцепенение; я ничего не знала, ничего не соображала, мой Пьер, без какой-либо сознательной мысли о тебе, любовь моя; но чувствовала совершенный провал, пустоту, — разве ты не окончательно ушёл от меня? и что могло тебя заставить бросить бедную

Люси? — Но теперь этот долгий, долгий обморок проходит; я снова выхожу в жизнь и свет; но как я могу выйти, каким путём, мой Пьер, если не к тебе? Как только я вышла из долгого, долгого обморока, так ко мне сразу же пришла бессмертная вера в тебя, которая хоть и не предполагала простого малейшего спора о твоей выгоде, но всё же говорила о весьма таинственном обязательстве, мой Пьер. Знай тогда, дорогой Пьер, что чем больше появлялось ослепляющих земных причин не верить в твою любовь, тем больше росла у меня непоколебимая вера в неё. Ведь я чувствую, что эта любовь навсегда, и она не может знать измен, Пьер; я чувствую, что небеса вызвали меня для прекрасного служения тебе. Пока я лежала в этом долгом, долгом обмороке, — во время которого, как сказала мне Марта, я едва поела всего три раза, — эти небеса, я чувствую теперь, подготовили меня для сверхчеловеческого служения, упомянутого мною, полностью отрешающего меня от этой земли, и даже, пока я оставалась без сознания, предназначили меня к звёздной миссии среди земных элементов. О, поделись со мной своей собственной драгоценной силой! Я не бедная слабая девочка, дорогой Пьер; та, которая действитель-

но когда-то полюбила тебя, но также нежно, и с земной непорочностью. Но теперь я унесусь от этого далеко ввысь; долечу до тебя, где восседаешь ты в своём собственном спокойствии, в возвышенных небесах героизма.

«О, не стремись отговаривать меня, Пьер. Разве этим ты не убьёшь меня, и не убьёшь меня в миллион раз больше? И это никак не станет моим убийством? Я должна приехать! Я должна приехать! Сам Бог не сможет остановить меня, поскольку это Он руководит мною. — Я знаю всё, что последует за моим полётом к тебе, — моя мать будет поражена, мои братья будут в ярости, весь мир будет полон яда и презрения. — Но ты одолеешь мою мать и мои братьев, и весь мир и все небеса, и всю вселенную ради меня — ты… сильный… мой Пьер. Только одному единственному существу служит моя душа — и это — тебе, Пьер. — Поэтому я еду к тебе, Пьер, и скоро, — это произойдёт завтра, и я никогда не уйду от тебя, Пьер. Немедленно поговори с нею обо мне; ты лучше знаешь, что нужно сказать. Есть ли какая-либо связь между нашими семьями, Пьер? Я слышала, что моя мать иногда отслеживает подобные случаи, — определённое косвенное родство. Тогда, если ты не возражаешь,

ты должен будешь сказать ей, что я твоя кузина, Пьер, — твоя решительная и по-монашески бесстрастная кузина, поклявшаяся всегда жить с тобой, служить тебе и ей, до конца беречь тебя и её. Подготовь где-нибудь какой-нибудь небольшой уголок для меня, но позволь ему быть совсем рядом. Прежде чем я приду, я пошлю несколько небольших вещей, — инструменты — я буду работать, Пьер, и тем самым способствовать общему благу. Посмотри на меня тогда. Я еду! Я еду, мой Пьер; внутренний, внутренний голос уверяет меня, что всему твоему благородству, Пьер, и тебе угрожает некая ужасная опасность, которую может отогнать только моё постоянное присутствие. Я еду! Я еду!»

ЛЮСИ

III

Когда окружённый основной и наёмной командой человек, слишком долго с подозрительным презрением следящий за своим коллективом, внезапно оказывается привлеченным неким ангельским украшением человечества, человеческими признаками сверхчеловеческой любви и человеческими глазами сверхчеловеческой красоты и сияния, внезапно прорвавшимися к его душе, — то каким же замечательным и пу-

гающим бывает шок от этого! Это как если бы разорвался небесный покров, и с чёрной Иосафатовой долины с явным обожанием стало бы возможным уловить верхние проблески серафимов.

Держа простое, ангельское письмо в своей непонимающей руке, он поднялся и пристально посмотрел на свою комнату и в окно, в направлении открытого, пустого, огороженного по всем сторонам четырехугольника, а затем спросил себя, то ли это место, которое ангел должен был выбрать для своего визита на землю. Затем он почувствовал широкое, нарастающее торжество от того, что девушка с редким достоинством своей чуткой души однажды так ясно и неистово решила, что должна в этом самом огромном из всех испытаний оправдать себя с воистину безграничным величием. С другой стороны, он ушёл от неё глубоко вниз, как в бездонную пропасть, и бежал, дрожа, по галереям отвратительного отчаяния, следуя за некой неопределенной, белой фигурой и — Ло! два непостижимых тёмных глаза встретили его, и перед ним безмолвно и мрачно встала такая же все-очаровывающая Изабель.

Он встал со своей доски, сбросил свои разнообразные одеяния, и пересёк пол, чтобы уйти

с места, где им были сделаны такие милые, такие возвышенные, такие потрясающие открытия.

Затем за дверью послышался робкий тихий стук.

«Пьер, Пьер; может, теперь, если ты прекратил работу, мне стоит войти — только на мгновенье, Пьер»

«Входи, Изабель»

Она приблизилась к нему в своём весьма необычном, нежном и печальном облике. Тогда он отступил от неё на шаг и выставил свою руку, но, по-видимому, не для того, чтобы пригласить, а, скорее, как-бы предупредить.

Она настойчиво смотрела ему в лицо и стояла, не шевелясь.

«Изабель, ко мне приезжает ещё одна. Не говори, Изабель. Она приедет, чтобы жить с нами, пока мы здесь живём, Изабель. Ты не в силах говорить?»

Девушка продолжала неподвижно стоять; её широко открытые глаза, которые сначала уставились на него, всё ещё были прикованы к Пьеру.

«Тебе трудно говорить, Изабель?» — сказал Пьер, напуганный её застывшим, неподвижный видом, также боясь показать ей свой собственный страх и всё ещё медленно прохаживаясь около

неё. Она немного приподняла одну руку, как будто хватаясь за что-то, затем медленно повернула свою голову боком к двери, через которую вошла; её сухие губы медленно раздвинулись — «Моя кровать; уложи меня, уложи меня!»

Словесное усилие сломило её напряжённое морозное очарование; её ослабшее в воздухе тело склонилось набок, но Пьер поймал её, перенёс в её комнату и уложил там на кровать.

«Подуй на меня, подуй на меня!»

Он раздул слабеющее пламя её жизни; вскоре она медленно повернулась к нему.

«О! то женское слово из твоего рта, дорогой Пьер: ... что ...она.., что ...она...!»

Пьер сидел молча, обдувая её.

«О, я не хочу в мире никого, кроме тебя, брат мой, — кроме тебя, кроме тебя! и, о, Боже!.. Меня... тебе недостаточно? Голая земля с моим братом была для меня целым небом, но вся моя жизнь, вся моя душа не принадлежат моему брату»

Пьер не говорил, но он слушал; ужасное, жгучее любопытство, жившее в нём, сделало его бессердечным. Но пока ещё всё, что она сказала, было далеко не однозначно.

«Не знала я — знала бы я это прежде! Ох, сказать это теперь — чрезвычайно жестоко. Это

…она!.. Это …она!..

Она внезапно поднялась и почти в отчаянии встала перед ним.

«Или ты расскажешь о свой тайне, или она не достойна самой обычной человеческой любви! Говори, Пьер, — в чём она состоит?»

«Это пока ещё тайна, Изабель»

«Тогда она бесполезна, Пьер, кто бы она ни была — по-дурацки, безумно влюблённая! — Разве мир не знает меня как твою жену? — Она не должна приезжать! На тебе и на мне лежит грязное пятно. Она не должна приезжать! Один мой взгляд убьёт её, Пьер!»

«Это — безумие, Изабель. Посмотри: теперь причина во мне. Разве я, прежде чем открыть письмо, не говорил тебе, что, несомненно, оно было от некой симпатичной молодой тёти или кузины?»

«Говори быстрей! — кузина?»

«Кузина, Изабель»

«Всё же, всё же, это ещё не всё, как я слышала. Скажи мне больше, и ещё быстрее! ещё! ещё!»

«Очень странная кузина, Изабель, почти монахиня по её понятиям. Услышав о нашем таинственном изгнании, она, не зная причины, также в тайне поклялась самой себе в преданно-

сти нам — не столько себе, Изабель, сколько нам, … нам… служить… нам и, согласно неким милым небесным представлениям, сопровождать нас и заботиться о нас здесь»

«Тогда, возможно, это всё будет весьма хорошо, Пьер, мой брат — мой …брат… — Я могу сказать это теперь?»

«Любыми, — всеми своими словами, Изабель; слова и миры со всем их содержимым будут рабами тебе, Изабель»

Она нетерпеливо и вопросительно смотрела на него, затем опустила глаза и тронула его руку, после чего пристально взглянула снова. «Поговори ещё со мной об этом, Пьер! Ты мой брат; разве ты не мой брат? — Но расскажи мне теперь больше о… ней; всё это ново и чрезвычайно странно для меня, Пьер»

«Я сказал, моя милейшая сестра, что у неё есть эта дикая, подобная монашеству, убеждённость. Она уверилась в ней; в этом письме она клянётся, что должна прибыть и прибудет, и ничто на земле не сможет остановить её. Не пробуждай в себе сейчас сестринской ревности, сестра моя. Ты сразу же найдёшь её самой нежной, незаметной, отзывчивой девушкой, Изабель. Она никогда не назовёт тебе того, что называть

нельзя, не намекнёт об этом, потому что она этого не умеет. Однако, не зная тайны, у неё все же есть неопределённое, подспудное ощущение тайны — так или иначе, мистическое ощущение тайны. И её святость погребла в ней всё женское любопытство; поэтому у неё нет желания как-то подтвердить предчувствие, а всего лишь узнать суть неопределённого предчувствия; поскольку в нём, как она думает, содержится идущий к нам небесный зов,.. как раз там, в нём, Изабель. Теперь ты поняла меня?»

«Я ничего не понимаю, Пьер; эти глаза никогда не видели того, Пьер, что дало бы возможность понять эту душу. Я постоянно, как и теперь, хожу лишь на ощупь среди великих тайн. Да, она должна приехать; это — всего лишь на одну тайну больше. Она разговаривает во сне, Пьер? Хорошо было бы, если бы я спала с нею, мой брат?»

«На твоё усмотрение; у меня нет цели стеснить тебя; и — и — не знаю точно, как это будет в реальности, — но она, вероятно, ждёт и желает иного, сестра моя»

Она пристально вгляделась в его внешнюю стать, но внутренне нерешительный облик, а затем в тишине опустила свой взгляд.

«Да, она должна приехать, мой брат; она долж-

на приехать. Но это вплетёт очередную нить в общую загадку, брат мой. — У неё есть то, что называется памятью, Пьер; память? Она у неё есть?»

«У всех у нас есть память, сестра моя»

«Не у всех! Не у всех! — у бедняжки Белл есть, но очень короткая. Пьер! Я видела её в каком-то сне. Она светловолосая — голубые глаза — она совсем не так высока, как я, хотя и не намного»

Пьер встал. «Ты видела Люси Тартэн в Оседланных Лугах?»

«Действительно ли Люси Тартэн — её имя? — Возможно, возможно, — но также во сне, Пьер, она приезжала со своими голубыми глазами, умоляюще обращёнными ко мне; мне кажется, что она как будто уводила меня от тебя, — полагаю, что тогда она была больше, чем твоя кузина, — полагаю, что она была тем хорошим ангелом, про которого говорят, что он парит над каждой человеческой душой; и полагаю — о, полагаю, что я была твоим другим, — твоим другим ангелом, Пьер. Посмотри: посмотри на эти глаза, — эти волосы — нет, эти щёки, — все — тёмные, тёмные, тёмные, — и она — голубоглазая — светловолосая — о, как раз с красными щеками!»

Она встряхнула своими эбеновыми локонами,

она уставилась на него эбеновыми глазами.

«Скажи, Пьер; разве я облачена в траур? Бывают ли могилы так украшены? — О, Боже! Отчего я не родилась с голубыми глазами и со светлыми волосами! Из них создают небесную ливрею! Ты когда-нибудь слышал о добром ангеле с тёмными глазами, Пьер? — нет, нет, нет — полностью синими, синими, синими — настоящей небесной синевы — ясной, яркой, невыразимой синевы, которую мы видим в безоблачном июньском небе. — Но добрый ангел должен приехать к тебе, Пьер. Тогда оба будут рядом с тобой, мой брат; и ты, возможно, сможешь выбирать, — выбирать! — Она должна приехать; она должна прийти. — Когда прибудет она, дорогой Пьер?»

«Завтра, Изабель. Так здесь написано»

Она уставилась на скомканный конверт в его руке. «Подло будет спрашивать, но не будет ошибкой предположить ответ. — Пьер, — нет, я не должна была говорить это, — ты можешь дать его мне?»

«Нет; я не позволил бы тебе прочитать его, моя сестра; я бы не смог, потому что у меня нет никакого права — никакого права — никакого права, — именно так; нет: у меня нет никакого права. Я сожгу его сейчас же, Изабель»

Он отошёл от неё в соседнюю комнату, бросил письмо в печь и, проследив за ним до последних частиц пепла, вернулся к Изабель.

Она смотрела на него с бесконечной грустной иронией.

«Оно сгорело, но не потерялось; его не стало, но оно не пропало. Через печь, трубу и дым оно взлетело в пламени и ушло как свиток в небеса! Оно должно явиться вновь, мой брат. — Горе мне — горе, горе! — горе мне, о, горе! Не говори со мной, Пьер; оставь меня сейчас. Она должна приехать. Злой ангел будет ухаживать за Добрым; она будет жить с нами, Пьер. Не сомневайся: моё внимание к ней превзойдет её внимание ко мне. — Позволь мне теперь побыть одной, брат мой»

IV

Из-за неожиданного прошения войти в его частную жизнь — прошения, в котором он вряд ли мог бы когда-нибудь отказать Изабель, так как она неукоснительно, если не по некой очень разумной причине, воздерживалась от прав на него, — Пьер, находясь в среде этих конфликтных, вторичных эмоций, сразу же после первоначального знаменательного эффекта странного

письма Люси был вынужден предоставить Изабель некую атмосферу гарантии и понимания его содержания; всё же, в основном, он всё ещё был добычей разнообразных пожирающих тайн.

Вскоре, когда он уже покинул комнату Изабель, эта таинственность полностью изменила его; и как только он машинально уселся на стул столовой, мягко предложенный ему Делли — поскольку тихая девушка видела, что некоторая странность в нём нуждалась в неподвижности, — сознание Пьера уже было занято тем, как любым возможным и разумным путём внушить, что Люси могла быть вдохновлена замечательным ощущением внешне чего-то, где-то и как-то притворного, маскирующегося или несущественного, представленном им в глазах мира в весьма исключительном очевидном положении. Дикие слова Изабель все ещё звучали у него в ушах. Это было негодование всей женской сути, предположившей, что Люси, всё ещё хранившая внутри своего сердца преданность, оказалась готовой прибыть к нему, считая вместе с остальной частью мира, что Пьер был обыкновенным женатым человеком. Но какова — какова возможная причина — из-за какого возможного намека она должна была подозревать обратное или считать

что-либо необоснованным? Ведь ни в настоящее время, ни в любой другой последующий период, Пьер не воображал, или, возможно, не мог вообразить, что в её чудесном предчувствии Любви у неё могло сложиться какое-то определенно точное мнение о характере тайны, которая, расползаясь, столь феерически окутывала его. Но здесь определённая мысль мимоходом вторила ему.

Среди его личных воспоминаний было весьма характерное воспоминание о юноше, который в то время был почти помолвлен с красивой девушкой, — Пьер почувствовал возвращение его собственной пульсации от разгорающейся страсти, — так или иначе, случайно на мгновение предался неблагоразумной нежности ко второй леди; и, кроме того, глубоко заинтересованные друзья второй леди вызвались сообщить бедному юноше, что такая его показательная нежная поддержка не могла не оказать на неё естественное влияние; бесспорным было то, что эта вторая леди, всё больше и больше теряя самообладание, подошла почти к смертельному концу, всё время бредя о воображаемой жестокой неверности её возлюбленного; поэтому эти мучительные обращения от такой действительно

прекрасной девушки, которая, казалось, умирала из-за него от горя, наконец-то показали юноше, что болезненно не обращать внимание на тот факт, что, поскольку обе леди требовали его, то у предшествующей леди было больше прав на его руку — его совесть безумно бранила его за вторую леди; он думал, что вечное горе, конечно, настигло бы его здесь и после, если бы он отказался от своей первой любви, — что было ужасно напряженно для него и для неё — если бы заключил брак со второй леди, чего он, соответственно, и не сделал; в то время как через всю его последующую жизнь, деликатно и честно относясь к своей преданной жене, он, запрещая объяснять этой своей первой любви, как всё происходило, хотел успокоить её сердце; и поэтому она, находясь в своём полном невежестве, полагала, что он преднамеренно и бессердечно лгал ей, а потому дошла, с его точки зрения, до смертельного безумия.

Эта странная история из реальной жизни, как и Пьеру, также была знакома Люси, поскольку они несколько раз говорили о ней; и первой любовью безумного юноши была одноклассница Люси, и Люси имела к ней отношение, как подружка невесты. Теперь перед Пьером сама

собой предстала мимолетная идея, что умом Люси подобное решение относительно самого себя и Изабель, скорей всего, не могло овладеть постепенно. Но с другой стороны такая гипотеза, в конце концов, оказалась совершенно несостоятельной, поскольку, во всяком случае, не вполне удовлетворительно объясняла главный мотив предпринятого Люси необыкновенного шага, и воистину не оправдывала этот шаг с точки зрения общепринятых правил приличия. Поэтому он не знал, что тут и думать; не то, чтобы мечтать. Чудесные, нет, откровенные мысли и не меньше были пропеты о Любви, но здесь само по себе было абсолютное чудо — неосуществимое чудо. Из-за бесспорной непогрешимости внутри себя он чувствовал, что не зависимо от её странного мнения, не зависимо от её загадочного заблуждения, не зависимо от её самых тайных и необъяснимых причин Люси в её собственном девственном сердце всё ещё оставалась кристально безупречной, без тени греха или вины. Тем не менее, это был какой-то немыслимый поступок для неё, сделать в своём письме столь неистовое предложение! В целом это поражало его; это его запутывало.

Теперь этот смутный страх, проникший в него,

дал ругаемое всеми атеистами ощущение того, что в мире существует таинственная, непостижимая божественность — Бог — Существо, представленное везде, как нечто положительное. «Нет, Он находится теперь в этой комнате, став частью воздуха, когда я здесь уселся. Я тогда переместил Дух — немного прижал его на этом месте» Он со страхом осмотрелся; он почувствовал себя очень счастливым при виде доброты Делли.

Пока он был так погружен в эту тайну, послышался стук в дверь.

Делли нерешительно поднялась — «Я впущу его, сэр? — Думаю, что это стучит г-н Миллторп»

«Пойди и погляди — пойди и погляди», — рассеянно сказал Пьер.

В тот же момент дверь была открыта, Миллторп — поскольку это был он — поймал проблеск сидящей фигуры Пьера, пронёсся мимо Делли и с шумом вошёл в комнату.

«Ха, ха! хорошо, мой мальчик, как твоя хотьба по Аду? Это — то, что ты пишешь; каждый старается выглядеть чёрным, описывая Ад; ты всегда любил Данте. Друг мой! Я закончил десять метафизических трактатов, обсудил пять соображений по делу перед судом, посетил все наши общественные встречи, сопровождал нашего

великого профессора, мсье Вольвуна, лектора, при его объезде философских салонов, разделив все почести его славного триумфа; и, между прочим, позволь мне сказать тебе, Вольвун втайне оказывает мне больше доверия, чем я заслуживаю; спаси мою душу, если я не помог написать больше чем одну половину от большинства его Лекций; анонимно отредактировал — через изучение — научную работу о „Точной Причине Модификаций в Волнах при Волнообразном Движении“, посмертную работу бедняги — он был прекрасным парнем, а также моим другом. Да, я сделал всё это здесь, пока ты всё ещё усердно корпишь над одним этим бедным проклятым Адом! О, существует секрет быстроты в таких делах; терпение! терпение! Ты ещё научишься этому секрету. Время! время! Я не могу научить тебя этому, дружок, но Время может: жаль, что не могу, но я не могу»

Снова раздался стук в дверь.

«О!» — вскричал Миллторп, внезапно обернувшись к нему, — «я забыл, мой мальчик. Я пришёл, чтобы сказать тебе, что появился носильщик с какими-то странными вещами, спрашивавший о тебе. Я случайно встретил его в низу лестницы в коридоре и велел ему следовать за мной — что

я покажу ему дорогу; он здесь; впусти его, впусти его, славная Делли, моя девочка»

К настоящему времени грохот от Миллторпа, — если он вообще оказывал какое-либо влияние — ещё не ошеломил отвлёкшегося Пьера. Но теперь он встал на ноги. А человек со шляпой на голове стоял в дверях, держа перед собой мольберт.

«Это комната г-на Глендиннинга, господа?»

«О, входите, входите», — крикнул Миллторп, — «всё правильно»

«О! это — …вы.., сэр? хорошо, ну, в общем, тогда», — и человек поставил мольберт.

«Ну, мой мальчик», — воскликнул Миллторп Пьеру, — «ты всё ещё пребываешь в адском сне. Посмотри: это — то, что люди называют …мольбертом, мой мальчик. …Мольберт.., мольберт… — не …ласка[23]…; ты смотришь на него, как будто думаешь, что это ласка. Подойди; проснись, проснись! Ты заказал его, как я предполагаю, и он здесь. Собираешься рисовать и иллюстрировать Ад по мере его описания, так думаю. Ну, мои друзья говорят мне, что весьма безжалостно — иллюстрировать мои собственные произведения. Но я не могу позволить себе этого. Сейчас это

---

23 Примечания: 23

Игра слов (англ.): easel —мольберт, weasel- зверёк ласка (прим. пер.)

„Гимн Нигеру“, который я бросил в ящик год или два назад — ему как раз нужны иллюстрации»

«Это для г-на Глендиннинга, о котором вы спрашиваете?» — сказал затем Пьер носильщику медленным, ледяным голосом.

«Г-н Глендиннинг, сэр; всё верно, не так ли?»

«Точно так», — сказал Пьер машинально и бросил другой, необычайно пристальный, изумлённый взгляд на мольберт. — «Но кажется, что здесь не достаёт чего-то необычайного. Да, теперь я вижу, я вижу это: — Злодей! — виноградные лозы! Ты изорвал в клочья глубочайшие юношеские чувства! Ты не оставил даже холодного скелета милого дерева, где она когда-то приютилась! Разве не ты опьянил, бессердечная деревенщина и злодей, так сильно, насколько было способно вечное зло, спящее в твоей иссушенной печени? Восстанови свои зелёные виноградные лозы! Не дави их, проклятый! — О, мой Бог, мой Бог, если ты растоптал побитые виноградные лозы и измочалил, то как они смогут пережить это вновь, даже при том, что будут пересажены! Я проклинаю тебя! — Нет, нет», — добавил он капризно, — «Я всего лишь заблуждался в самом себе». Потом быстро и насмешливо — «Простите, простите! — носильщик, я весьма кротко жажду

вашего самого высочайшего прощения», — затем властно — «Ну, двигайтесь, человек; внизу у вас осталось ещё больше: принесите всё»

Как только изумлённый носильщик повернулся, то прошептал Миллторпу — «Он в порядке? — нести вещи?»

«О, конечно», — улыбнулся Миллторп. — «Я присмотрю за ним; он воистину никогда не бывает опасным, когда я рядом; идите туда!»

Затем последовали два чемодана с расплывчатыми «Л. Т.» по краям.

«Это всё, милейший?» — спросил Пьер, пока чемоданы укладывались перед ним, — «Хорошо, сколько?» — в тот момент его глаза впервые остановились на стёртых буквах.

«Оплачено заранее, сэр; но нет возражений на прибавку»

Пьер, стоя молча и в забытьи, всё ещё неотступно рассматривал стёртые буквы; его тело согнулось, и одна сторона свисала, как будто в тот момент он, оказавшись на полпути вниз, был сражён параличом, но пока ещё не осознал удар.

Оба его компаньона мгновенно застыли в соответствующих позах, впервые отметив произошедшую с ним перемену. Но, как будто стыдясь такого результата, Миллторп приблизился

к Пьеру и, обхватив его за плечи, вызывающе громким, весёлым голосом прокричал, «Проснись, проснись, мой мальчик! — Он говорит, что ему заранее заплатили, но не возражает против доплаты»

«Заранее оплачено, — что это? Идите, идите, и мелите чепуху обезьянам!»

«Любопытный молодой джентльмен, разве нет?» — бросил Миллторп носильщику. — «Смотри, мой мальчик, я повторяю: — Он говорит, что заранее оплачено, но не возражает против доплаты»

«Ах? — возьмите тогда это», — сказал Пьер, рассеянно сунув что-то в руку носильщика.

«И что мне делать с этим, сэром?» — сказал носильщик, разглядывая полученное.

«Выпейте за здоровье, но не моё; это было бы насмешкой!»

«На ключ, сэр? Это — ключ, вы дали его мне»

«Ах! — хорошо, у вас, по крайней мере, не должно быть того, что открывает меня. Дайте мне ключ и возьмите это»

«Да, да! — вот и замочная скважина! Благодарю вас, сэр, благодарю вас. Это будет выпивка. Меня зовут носильщиком не просто так: слово Стаута; мой номер — 2151; любая работа, обращайтесь

ко мне»

«Вы когда-нибудь возили гроб, дружище?» — сказал Пьер.

«Забери мою душу!» — вскричал Миллторп, весело смеясь, — «если вы не пишете про Ад, то тогда — не берите в голову. Носильщик! этот джентльмен в настоящее время проходит курс лечения. Вам лучше… понять — это незаконное вселение, носильщик! Туда, мой мальчик, он ушёл; я знаю, как управлять этими ребятами; здесь есть уловка, мой мальчик — бесцеремонная разновидность того, как это называется? — Ты понимаешь — уловка! уловка! — всемирная уловка. Знаешь его уловку, всё хорошо; не знаешь — всё плохо. Ха! ха!»

«Носильщик уже ушёл?» — спокойно сказал Пьер. — «Ну, г-н Миллторп, ты станешь совершенством, если последуешь за ним»

«Уникальная шутка! замечательная! — Доброе утро, сэр. Ха, ха!»

И со своей беззаботной весёлостью Миллторп оставил комнату.

Но как только за ним начала закрываться дверь, его рука, ещё не отпустившая внешнюю рукоять, внезапно подалась назад и оставила дверь наполовину открытой. Просунув свою свет-

ловолосую курчавую голову внутрь, Миллторп прокричал: «Между прочим, мой мальчик, я перебросился парой слов ради тебя. Ты знаешь этого скользкого малого, который недавно доставил тебе столько беспокойства? Ну, там всё утряслось; ему заплатили. У меня вчера внезапно возник прилив чувств — очередной прилив. Ты можешь вернуть его в любой день, знай — никакой спешки; это — всё. — Но, между прочим, — как ты смотришь на то, чтобы собрать здесь компанию? — Тогда просто пошли за мной в случае, если хочешь использовать меня — чтобы поднять остов какой-либо кровати или тяжёлые вещи. Не тебе и не женщинам заниматься этим, думай теперь об этом! Теперь это — уже всё. Addios, мой мальчик. Береги себя!»

«Останься!» — прокричал Пьер, простирая вдаль одну руку, но не делая и шага. — «Останься!» — самые яркие из всех его предшествующих эмоций относились к необыкновенным качествам Миллторпа. Но дверь резко закрылась, и поющий «Фа, ля, ля» Миллторп в своём захудалом пальто лёгкой походкой пошёл вниз по коридору.

«Плюс сердце, минус голова», — пробормотал Пьер, уставившись глазами на дверь. «Сейчас,

небесами клянусь! бог, который создал Миллторпа, был и лучше и больше бога, который создал Наполеона или Байрона. — Плюс голова, минус сердце — Тьфу! В мозгах без сердца появляются с причуды; но сердце хранит саму соль, и в отсутствие головы может сохранить доброту. — Делли!»

«Сэр?»

«Моя кузина мисс Тартэн приезжает сюда, чтобы жить с нами, Делли. Это мольберт, — эти чемоданы от неё»

«О боже! — прибывает сюда? — Ваша кузина? — Мисс Тартэн?»

«Да, я думал, что ты, должно быть, слышала о ней и обо мне, — но всё расстроилось, Делли»

«Сэр? Сэр?»

«У меня нет объяснения, Делли, и тебе не стоит изумляться. Моя кузина, — пойми, моя… кузина…, мисс Тартэн, приезжает, чтобы жить с нами. Следующая комната за этой, там, с другой стороны, не занята. Она её займёт. Ты также должна ждать её, Делли»

«Конечно, сэр, конечно; я всё сделаю», — сказала дрожащая Делли, — «но,.. но… г-жа Глендиндин — моя любовь, знает это?»

«Моя жена знает всё» — серьёзно сказал Пьер. —

«Я спущусь и возьму ключ от комнаты; и ты должна подмести там»

«Что нужно отнести в неё, сэр?» — сказала Делли. — «Мисс Тартэн — ведь она привыкла ко всяческим прекрасным вещам, — дорогим коврам — гардеробам — зеркалам — занавескам; — почему, почему, почему!»

«Посмотри», — сказал Пьер, коснувшись старого коврика своей ногой; — «вот торчит ковёр; вытяни его в её комнату; вот стул, поставь его; и для кровати, — да, да», — пробормотал он про себя, — «я сделал это для неё, и она по незнанию теперь лежит на нём! — как сделал — так и лежит. О, Боже!»

«Прислушайтесь! моя любовь звонит», — вскричала Делли, двигаясь к противоположной комнате.

«Стой!» — крикнул Пьер, схватывая ее плечо. — «Если бы обе одновременно позвали из этих противоположных комнат, и обе упали бы в обморок, к какой двери ты подлетела бы первой?»

Девушка пристально посмотрела на него с непониманием и внезапным испугом, а затем сказала, — «Этой, сэр», — возможно, в простом замешательстве кладя свою руку на замок Изабель.

«Это хорошо. Теперь иди»

Он стоял в неизменной сосредоточенной позе, пока Делли не вернулась

«Как сейчас себя чувствует моя жена?»

Снова пораженная особым акцентированием магического слова «жена», Делли, задолго до этого иногда поражаясь нерегулярностью использования этого термина, недоуменно посмотрела на него, и наполовину подсознательно сказала:

«Ваша жена, сэр?»

«Да, разве не она?»

«Бог допускает, что она — О, это очень жестоко спрашивать об этом у бедной, бедной Делли, сэр!»

«Как раз из-за твоих слёз! Тогда никогда не отвергай её снова! — Я клянусь небом, это она и есть!»

С этими дикими словами Пьер схватил свою шляпу и вышел из комнаты, что-то бормоча о необходимости ключа для дополнительной комнаты.

Как только дверь закрылась за ним, Делли опустилась на колени. Она подняла свою голову к потолку, но снова опустила её, как будто под деспотически внушенным страхом, и склонилась так низко, что всё её дрожащее тело съёжилось

на полу.

«Бог, который создал меня, и не причинил мне тяжких страданий которых грешная Делли заслужила, — Бог, который создал меня, я молюсь тебе! Отведи это от меня, если оно придёт ко мне. Не будь глух ко мне; эти каменные стены — ты можешь слышать через них. Горе! горе! — помилуй, мой Бог! — Если они не женаты, если я теперь в стремлении исправиться и быть чистой служу греху большему, чем совершён мною: тогда, помилуй! помилуй! помилуй! помилуй! помилуй! О, Бог, который создал меня, — ты видишь меня, видишь меня здесь — что может сделать Делли? Если я этому последую, то никто не примет меня, кроме злодеев. Если я останусь, — то настаивая на том, что я должна делать, — и они не поженятся, — тогда помилуй! помилуй! помилуй! помилуй! помилуй!»

Книга XXIV
Люси в Апостолах

I

Следующим утром недавно подготовленная комната, примыкающая к столовой с другой стороны, имела другой вид, нежели тот, что встретили глаза Делли при первом открытии помещения предыдущим вечером. Два разных прямоугольных вылинявших коврика покрывали середину пола, оставляя вокруг себя по направлению к карнизу широкий, чистый край. Маленькое зеркало висело в простенке; под ним — маленький столик, и коврик в фут или в два перед ним. В одном углу стояла раскладная кровать с аккуратно уложенными постельными принадлежностями. С внешней стороны кровати была разложена другая ковёрная полоса. Нежные ноги Люси не должны были дрожать на голом полу.

Пьер, Изабель и Делли стояли в комнате; взгляд Изабель сосредоточился на раскладной кровати.

«Я думаю, что она теперь будет вполне удоб-

ной», — сказала Делли, бледным взглядом окидывая всё вокруг, а затем снова поправляя подушку.

«Тем не менее, совсем нет тепла», — сказала Изабель. — «Пьер, в комнате нет печки. Ей будет очень холодно. Труба — разве мы не можем проложить её по этому пути?» И она очень внимательно посмотрела на него, тем самым подтверждая вопрос.

«Позволь трубе остаться там, где она есть, Изабель», — сказал Пьер, ответив ей собственным резким пристальным взглядом. — «Дверь столовой можно оставить открытой. Ей никогда не нравился сон в отапливаемой комнате. Пусть всё остаётся, это хорошо. Эх! но здесь есть камин, как я вижу. Я куплю уголь. Да, да — это можно легко сделать; немного огня по утрам — расход будет невелик. Постойте, у нас здесь и сейчас будет немного огня для приветствия. У неё всегда должен быть огонь»

«Лучше поменяй трубу, Пьер», — сказала Изабель, — «так будет постоянно, и уголь сбережём»

«Этого не стоит делать, Изабель. Разве не эта труба, и не это тепло идут в твою комнату? Разве я ограблю свою жену и добрую Делли, пусть даже ради того, чтобы сделать благодеяние моей весь-

ма преданной и искренней кузине?»

«О! Я должна сказать нет, сэр; нисколько», — нервно сказала Делли.

Триумфальный огонь вспыхнул в глазах Изабель; её полная грудь выгнулась, но она промолчала.

«Теперь она может прибыть сюда в любой момент, Изабель», — сказал Пьер, — «идёмте, мы встретим её в столовой; это — наша приёмная, как известно»

И так все трое вошли в столовую.

II

Они пробыли там недолго, когда Пьер было поднялся, но опустился, внезапно остановившись, как будто поражённый некой неповоротливой мыслью, которая просто пришла ему в голову в одиннадцатом часу. Сначала он посмотрел на Делли, как будто собираясь предложить ей оставить комнату, пока он будет говорить Изабель что-то личное; но, как будто, после долгого размышления, приняв противоположное решение о желательности этой процедуры, он, без предисловия, сразу обратился к Изабель в своём обычном разговорном тоне, и так, чтобы Делли не могла не слышать его достаточно чётко, при-

сутствовала ли она тут или нет.

«Моя дорогая Изабель, хотя, как я сказал тебе прежде, моя кузина мисс Тартэн настолько странная и упрямая, с монашеским характером девушка, что при всех опасностях мистическим образом решила прибыть и жить с нами, всё же, вполне возможно, что её друзья не смогут одобрить такой вызывающий шаг, шаг даже более вызывающий, Изабель, чем ты, при своём простодушии, можешь вообще вообразить. Я буду очень обманут, если они не дойдут до крайности в своём противостоянии этому. Теперь то, что я собираюсь добавить, может оказаться просто не нужным, но я не могу не стараться высказать это ради всех»

Изабель с пустыми руками сидела тихо, но внимательно и с надеждой следя за ним, в то время как позади её стула Делли низко склонилась над вязанием — которое она схватила, как только Пьер начал говорить — и дрожащими пальцами нервно дёргала за концы свои длинные спицы. Было ясно, что она ждала слов Пьера едва ли не с большим рвением, чем Изабель. Хорошо видя это напряжение в Делли и, по-видимому, не опечалившись этим, Пьер продолжал, но, без малейшего сомнения, внешний тон его замеча-

ний и взгляд, казалось, были обращены только к Изабель и ни к кому более.

«Теперь о том, что я имею в виду, дорогая Изабель: если эта весьма вероятная враждебность со стороны друзей мисс Тартэн из-за исполнения её странного решения, — если какая-либо враждебность предстанет перед твоими глазами, то тогда ты, непременно, падёшь духом в попытке узнать, как объяснить её; как, непременно, падёшь духом, не сделав из неё мельчайшего разумного вывода, и будешь озадачена чем-то скверным во мне. Нет, я уверен, что ты не падёшь духом, моя драгоценная Изабель. Пойми, что моё отношение к этому необычному настрою в моей кузине полностью выше моего понимания, и, воистину, относясь к моей бедной родственнице как к увлечённой стороннице некой дикой тайны, совершенно неизвестной мне, и не желая по неосведомленности вмешиваться в то, что кажется почти сверхъестественным, я не откажу ей в приезде, хотя её друзья будут стремиться силой остановить её. Я не буду отказывать ей точно так же, как и не буду приглашать. Но нейтральное отношение иногда кажется подозрительным. Теперь о том, что я имею в виду: пусть все эти неопределённые подозрения в мой адрес, если

таковые имеются, остаются лишь у друзей Люси; не позволяйте этим абсурдным дурным предчувствиям приближаться к моей драгоценной Изабель, принося ей даже минимум беспокойства. Изабель! скажи мне, достаточно ли хорошо теперь мною сказанное разъясняет то, что я имею в виду? Или, действительно, всё, что я сказал, абсолютно бесполезно; и тогда мы видим, что когда каждый чувствует себя весьма порядочным, то это часто кажется чрезмерным, воистину неприятным и не похожим на честность? Говори, моя Изабель», — и он придвинулся поближе к ней, простирая дальше свою руку.

«Твоя рука — ковш литейщика, Пьер, который считает меня совершенной жидкостью. Ты отлил меня в своей форме согласно тонко продуманной тональности; и я приобрела эту форму, и она стала моей, и я буду носить её, пока ты её не обновишь. Если ты высказал мне то, что ты думаешь, то как тогда я могу помочь тому, кто вылепил меня, мой Пьер?»

«Боги создали тебя из праздника, когда весь обычный мир уже был создан, и без спешки в тщательно подобранные часы придали тебе совершенно образцовую форму!»

Сказав это, во взрыве восхищения любовью

и восхищением, Пьер прошёлся по комнате, в то время как Изабель сидела молча, облокотившись на свою руку и наполовину свесив волосы. Нервные стежки Делли стали менее конвульсивными. Она, казалась, успокоилась; некий тёмный неясный причудливый образ, казалось, был изгнан из неё либо при помощи прямых слов Пьера, либо при помощи его намёков.

III

«Пьер! Пьер! — Скорей! Скорей! — Они тащат меня назад! — о, скорее, дорогой Пьер!»

«Что это?» — сразу же вскричала Изабель, вставая и изумлённо глядя на дверь, ведущую в коридор.

Но Пьер бросился из комнаты, запретив им следовать за ним.

На полпути вниз по лестнице тонкая, воздушная, почти неземная фигура цеплялась за балюстраду, и два молодых человека, один из которых был одет в военно-морскую форму, безуспешно стремились разжать обе её тонких белых руки, при этом не повреждая их.

Это были Глен Стэнли и Фредерик, старший брат Люси.

Через мгновение руки Пьера вцепились в них.

«Злодей! — Будь ты проклят!» — выкрикнул Фредерик и, отпустив руки своей сестры, отчаянно ударил Пьера.

Но Пьер перехватил удар.

«Ты, проклятый шарлатан, околдовал милейшего ангела! Защищайся!»

«Нет, нет», — вскричал Глен, ловя выхваченную рапиру безумного брата и крепко держа его в объятиях, — «он безоружен, сейчас не то время и не то место, чтобы разрешить нашу с ним вражду. Твоя сестра, — милая Люси — давай сначала спасём её, а уже потом — всё, что ты хочешь. Пьер Глендиннинг, — если ты хотя бы на мизинец человек — то убирайся отсюда! Ты развращён, ты аморален, ты демон! — Ты не можешь желать её: милая девушка безумна!»

Пьер отступил немного и бледным измученным взглядом посмотрел на всех троих.

«Я не даю себе оценок: я таков, каков я есть. Эта милая девочка — этот ангел, которого вы оба очерняете своими прикосновениями — она уже вправе решать: — согласно закону, она — сама себе хозяйка. И теперь, клянусь, у неё должно быть своё желание! Отпустите девушку! Оставьте её. Смотрите: она упадёт в обморок; дайте ей уйти, я сказал!» И снова их руки сплелись.

Внезапно, в тот момент, когда все они смешались в схватке, бледная девушка ослабла и боком привалилась к Пьеру. Оказавшись не готовыми к этому, оба противника, подсознательно разжав руки, опрокинулись, ударились друг о друга и разом упали на лестницу. Схватив Люси на руки, Пьер бросился прочь от них, достиг двери, протолкнул перед собой Изабель и Делли, которые в испуге задержались там, и, ворвавшись в приготовленную комнату, уложил Люси на её раскладную кровать; затем быстро вышел из комнаты и запер всех троих; и настолько быстро — молниеносно — всё это было сделано, что едва щёлкнул замок, как он увидел Глена и Фредерика, с отчаянным видом стоявших перед ним.

«Господа, все кончено. Эта дверь заперта. Она сейчас среди женщин. — Отступитесь!»

Как только оба пришедших в бешенство молодых человека схватили его, чтобы отшвырнуть в сторону, так сразу же выскочило несколько привлечённых шумом апостольцев.

«Уберите их прочь от меня!» — кричал Пьер. — «Они — преступники! Утащите их прочь!»

Двадцать рук немедленно связали Глена и Фредерика и по знаку Пьера оттащили их от комнат, увели вниз по лестнице и передали проходящему

офицеру, как двух молодых дебоширов, нарушивших святость частного жилища.

Они напрасно и отчаянно протестовали, но, наконец, как будто уже осознав, что дальше уже нечего нельзя делать без какого-либо предварительного судебного иска, весьма неохотно, дразнясь, объявили о том, что готовы отступить. Поэтому их отпустили, но страшные угрозы о скором возмездии Пьеру не прекратились.

IV

Глупый человек счастлив в час страсти. Он не расточает импульсивные угрозы, и поэтому сам редко выглядит фальшиво при переходе от гнева к спокойствию.

После ухода Глена и Фредерика из Апостолов и их выхода на проезд прошло не так много времени, когда они заключили между собой, что Люси не так легко удержать угрозой или силой. Бледная, непостижимая стойкость и непоколебимая отвага Пьера уже начали влиять на них; ведь любая социальная уникальность или величие иногда больше впечатляют, когда оглядываешься на них после. Слова Пьера о том, что Люси — сама себе хозяйка в глазах закона, теперь уже дошли до них. После множества горьких размышлений

более собранный Глен высказал предложение, что мать Фредерика должна посетить комнаты Пьера; он вообразил, что Люси, пусть и нечувствительная к их собственному совместному запугиванию, не сможет остаться глухой к материнским молитвам. Г-жа Тартэн отличалась от своей дочери; её щедрое сердце действительно испытывало искренние мучения, и не просто из-за расстроенного сватовства, хотя и болезненного; поэтому Фредерик и Глен, возможно, возлагали на неё больше надежд. Тем не менее, и эта попытка явно не удалась.

В совместном присутствии своей матери, Пьера, Изабель и Делли, обращаясь к Пьеру и Изабель как к г-ну и г-же Глендиннинг, Люси дала самой себе самую торжественную клятву, что будет жить со своими нынешними хозяином и хозяйкой, пока они не отринут её. Напрасно прошение к ней возвращалось, и раздраженная мать опускалась перед ней колени или, как казалась, едва ли не хотела ударить её; напрасно она описывала всё презрение и ненависть, намёком касаясь красивого и галантного Глена и угрожая ей, что в случае, если она будет упорствовать, вся семья откажется от неё, и, если она будет голодать, не дарует ни одного кусочка такой

подлой, и — что бесконечно хуже — бесстыжей девчонке.

Ко всему этому Люси — лично находясь уже совсем не под угрозой — ответила в самой мягкой и абсолютно неземной манере, но связной и твёрдой, не оставляющей надежды. То, что она делала, исходило не от неё самой, — ею двигало всеобъемлющее влияние сверху, снизу, со всех сторон. Она не чувствовала боли из-за своего собственного положения, ей сочувствовало только само её страдание. Она не искала вознаграждения; суть пользы состояла в сознании того, что она преуспела без минимальной надежды на награду. Если говорить о потере мирского богатства, великолепия и всех парчовых аплодисментов в гостиных, то они не стали какой-то потерей для неё, поскольку она всегда была к ним равнодушна. Она теперь ничего не отвергала, но в качестве реакции на её настоящее воодушевление она чего только не получила. Будучи равнодушной к презрению, она не жаждала жалости. А состояние её здравомыслия соотносилось с суждением ангелов, а не с примитивным мнением человека. Если бы кто-либо осудил её за то, что она бросала вызов священным советам своей матери, то ей ничего было ответить, кро-

ме того, что она продолжала всячески уважать мать, но её безоговорочному повиновению тут места не находилось. Пусть все надежды на её возвращение будут немедленно, раз и навсегда, оставлены. Только лишь одно может повлиять на неё, и настолько, что сделает её навсегда недвижимой, — это смерть.

Откуда такая замечательная сила в такой замечательной мягкости, такая несгибаемость в одной только хрупкости, — что было удивительным вопросом для любого наблюдателя! Но для её матери этого было чересчур много; как и для многих других поверхностных наблюдателей, сформировавших своё предыдущее мнение о Люси, основанных на незначительности её личности и мягкости характера, г-жа Тартэн всегда предполагала, что её дочь была совсем неспособна на какое-либо подобное смелое действие. Как будто небесное серебро было несовместимо с героизмом. Но эта пара всегда бывает неразлучна. Но, поскольку Пьер знал Люси больше, чем кто-либо ещё, то её исключительное поведение по большей части не удивило его. Даже тайна Изабель, как случай редкий, очаровала его больше, напомнив об ужасном. Просто весь облик Люси, более чем освежённый жизнью, наполнил-

ся множеством сильных и новых эмоций. Этот незапятнанный облик цветка оказался теперь полностью открытым, совершенно не пожелтев, как обычно происходит в подобных случаях. И её тело как будто действительно стало храмом Бога, и мрамор действительно был единственным пригодным материалом для такой святой обители, блестящая, сверхъестественная белизна которого теперь мерцала на её щеке. Её голова сидела на её плечах как верхняя часть точёной статуи, и мягкий, негасимый свет в её глазах казался таким же чудом, как и точёная статуя, служащая символом проницательности и интеллекта.

На Изабель также необычайно сильно воздействовала эта неземная нежность в облике Люси. Но здесь решающим фактором стало не просто обычное обращение к сердцу, сколь непосредственная привлекательность самой печати небес. В уважении, содействующем Люси, — что редко случается — было больше чистой непосредственности, нежели желания сострадать. И когда случилось так, — возможно, вследствие долетевшего на мгновенье резкого звука от далёкой и одинокой гитары — что Люси, тихо говорящая в присутствии своей матери, внезапно и просто дала покорный ответ в музыкальном, как у звеня-

щей струны, тоне, проникающем через открытую дверь в смежную комнату; тогда Изабель, как будто охваченная неким душевным страхом, упала на колени перед Люси, показав этим быстрым жестом своё уважение, хотя на самом деле, так или иначе, не содержащем добровольного содействия.

Сочтя все свои самые горячие усилия неэффективными, огорченная г-жа Тартэн сейчас же жестом попросила Пьера и Изабель оставить комнату, чтобы наедине изложить свои просьбы и угрозы. Но Люси лёгким взмахом призвала их остаться и затем обернулась к своей матери. Впредь у неё не будет секретов, кроме тех, что таятся на небесах. Независимо от того, известно ли это публично на небесах, всё должно быть публично известно на земле. Между нею и её матерью не должно было оставаться ни малейшего секрета.

Полностью сбитая с толку таким непониманием своей столь отчуждённой и страстно увлечённой дочери, г-жа Тартэн возбужденно обратилась к Пьеру и предложила ему последовать за нею. Но снова Люси сказала «нет», не пожелав никаких тайн между её матерью и Пьером. Там её ждало бы всё, что угодно. Обратившись к перу

и бумаге, она, воспользовавшись своими коленями и какой-то книгой как столом, написала следующие строки и протянула их своей матери:

«Я — Люси Тартэн. Я приехала для того, чтобы жить с г-ном и г-жой Пьер Глендиннинг при их соизволении и согласно своему собственному добровольному выбору. Если они пожелают, я уйду, но никто не вправе удалить меня, кроме как при помощи силы; и в случае какого-либо насилия я просто обращусь к закону»

«Прочитайте это, мадам», — сказала г-жа Тартэн, с дрожью вручая его Изабель и следя за нею со страстной и презрительной важностью.

«Я прочитала его», — спокойно сказала Изабель, проглядев и вручив его Пьеру, как будто показывая этим действием, что у неё нет особого мнения по этому вопросу.

«И вы, сэр, также, косвенно этому потворствуете?» — сказала г-жа Тартэн Пьеру, когда он прочитал его.

«Я не даю оценок, мадам. Это, мне кажется, трезвое, письменное и окончательное желание вашей дочери. По сути, вам лучше уважить его и отступить»

Г-жа Тартэн огляделась в отчаянии и гневе; затем, остановив свой взгляд на своей дочери,

заговорила.

«Девочка! там, где я стою, я навсегда отвергаю тебя. Никогда более тебя не будут раздражать мои материнские просьбы. Я накажу твоим братьям отвергнуть тебя; я прикажу Глену Стэнли вычеркнуть твой обесцененный образ из его сердца, если он ещё не вычеркнут оттуда твоим собственным невероятным безумием и развращённостью. И обращаюсь к вам, г-н Монстр! Божий суд за это настигнет вас. Что касается вас, мадам, то у меня нет слов для женщины, которая будет лукаво потворствовать любовнице проживать под одной крышей со своим собственным мужем. А тебе, бабёнка», — к Делли, — «мне тебе добавить больше нечего. — Гнездо мерзости! И, конечно же, теперь, от тех, кто навсегда оставлен самим Богом, мать может уйти, никогда более не возвращаясь»

Это разъединяющее материнское проклятие, как видно, не оказало соответствующего видимого влияния на Люси; она была уже настолько мраморно-белая, что страх больше не мог отбелить её, если страх в тот момент вообще присутствовал в её сердце. Подобно тому, как самый высший, самый чистый и самый тонкий эфир остаётся невосприимчив ко всем шумам

в нижележащих слоях воздуха, так и прозрачный эфир её щёк, ясная кроткая лазурь её глаз не выказывали и признака страсти, в отличие от её земной матери, устроившей шторм внизу. Помощь, получаемая ею от неподвижных рук, улавливаемые ею проблески невидимой помощи поддержали ту великую силу бессмертной Любви, что однажды принимает сторону самого тонкого тростника, терзаемого беспредельной бурей; и тогда эта беспредельная буря разбивается об его непреодолимое сопротивление.

Книга XXV
Люси, Изабель и Пьер. Пьер и его книга. Энцелад[24]

I

День или два спустя после прибытия Люси, когда она вполне оправилась от каких-либо возможных неприятных последствий недавних событий — событий, также потрясших Пьера и Изабель, пусть и каждого по разному, но, по крайней мере, не повлиявших столь сильно на Люси, — все трое пили кофе, и Люси выразила намерение уже профессионально практиковать свою графику. Помимо содействия пополнению их общего котла это стало бы весьма приятным для неё занятием. Пьер хорошо знал об её умении улавливать сходства и рассудительно и правдиво приукрашать их, не меняя особенностей, путём погружения их в приукрашенную атмосферу. Про это Люси даже сказала, что, как-то кинув взгляд в Лагуну, она обратила внимание

---

24 Примечания: 24
Гигант в древнегреческой мифологии — (прим. пер.)

на то, — как и я слышал — что самые грубые камни, не подвергшиеся обработке, создают самые привлекательные пейзажи. Если бы только Пьер предпринял некоторые усилия, чтобы привести позирующих в её комнату, то её не подверженный сомнению прекрасный урожай голов можно будет легко собрать. Конечно, среди многочисленных обитателей старой церкви Пьер должен был знать многих из тех, кто не имел бы никаких возражений на то, чтобы быть нарисованным. Кроме того, хотя она пока ещё имела небольшую возможность увидеть их, всё же среди столь замечательной компании разнообразных поэтов, философов и мистиков должны найтись какие-то удивительные головы. В заключение она выразила свое удовлетворение подготовленной для неё комнатой, поскольку тут раньше была студия художника, одно окно в которой было значительно приподнято, в то время как ввиду особенного расположения внутренних ставней свет по желанию мог расходиться в любом направлении.

Пьер уже ожидал нечто подобное уже при первом взгляде на представленный мольберт. Поэтому его ответ был вполне продуман. Он сказал, что поскольку в настоящее время она сама заинтересована в систематической практике сво-

его искусства, то тут конечно, имеется хорошая возможность в содействии её столь прекрасному занятию. Но с тех пор как она едва ли может надеяться на какой-либо патронаж со стороны своей следящей за модой матери и состоятельных партнеров, — поскольку, действительно, такое занятие было очень далеко от собственных желаний г-жи Тартэн, — и поскольку его планировалось начать только в пределах Апостолов, она могла бы — по крайней мере, на некоторое время по прибытии, — обоснованно надеяться на появление клиентов; но так как апостольцы были почти сплошь весьма неудачливым и бедным контингентом — хотя, по правде говоря, среди них имелось несколько замечательных, роскошных голов, — то поэтому Люси не стоит немедленно надеяться на большой денежный заработок. Прежде чем она сможет, наконец, действительно сделать что-то очень солидное, ей для начала надо бы хорошо умерить свои ожидания. Это предостережение, уже в изменённом виде, исходило из-за определенно стоического, упорного настроя Пьера, порождённого его недавней жизнью, которая учила его никогда не ждать чего-то хорошего от чего-либо, а всегда ждать плохого, — однако, не без готовности встретить

обратное, — и затем, если хорошее приходило, то ему становилось намного лучше. Он добавил, что этим же самым утром пройдет среди комнат и коридоров Апостолов, бесцеремонно объявляя, что его кузина, графическая художница, занимает соседнюю с ним комнату, где она будет очень рада принять любую натуру.

«И теперь, Люси, какими должны быть цены? Это — очень важный момент, как тебе известно»

«Я полагаю, Пьер, что они должны быть очень низкими», — сказала Люси, задумчиво глядя на него.

«Очень низкими, Люси; воистину, очень низкими»

«Ну, тогда десять долларов»

«Десять Банков Англии, Люси!» — воскликнул Пьер. — «Это же, Люси, почти четверть дохода у некоторых апостольцев!»

«Четыре доллара, Пьер»

«Я скажу тебе теперь, Люси, — но сначала скажи ты, сколько времени уйдёт на один портрет?»

«Два сеанса с натурой, и два дня на работу, Пьер»

«И позволь мне взглянуть, какие у тебя материалы? Я уверен, что они не очень дорогие. Они не предназначены для резки стекла, — твои ин-

струменты не заточены алмазами, Люси?»

«Посмотри, Пьер!» — сказала Люси, протянув свою небольшую ладонь, — «посмотри; это горстка древесного угля, немного хлеба, мелок или два, и квадрат бумаги, — это — всё»

«Ну, тогда ты должна запрашивать семьдесят пять за портрет»

«Разве не доллар семьдесят пять, Пьер?»

«Теперь я почему-то боюсь, что мы установим слишком высокую цену, Люси. Тебе не стоит быть экстравагантной. Посмотри: если твоя цена составит десять долларов, и ты будешь рисовать в кредит, то тогда у тебя будет много натур, но маленькая прибыль. Но если ты применишь свое право снизить цену, а также скажешь, что ты должна иметь достаточно денег, — но не начинай всё с этих… денег… — тогда не будет ни нужного количества моделей, чтобы почувствовать твердую почву под ногами, ни большой прибыли. Ты это понимаешь?»

«Будет так, как ты скажешь, Пьер»

«Ну, тогда, я напишу афишу для тебя, приложу твои расценки и размещу её на видном месте в твоей комнате, так, чтобы каждый апостолец мог знать то, что он сможет получить»

«Спасибо тебе, спасибо тебе, кузен Пьер», —

сказала Люси, поднявшись. — «Я довольна твоей приятной и совсем не безнадежной точкой зрения на мой скромный маленький план. Но я должна что-то делать, я должна зарабатывать деньги. Посмотри, я этим утром съела очень много хлеба, но не заработала ни единого пенса»

С печальной улыбкой Пьер перекинул взгляд от большого оставшегося куска, которого она коснулась, и уже решил было шутя поговорить с нею, но она удалилась в свою комнату.

Спустя некоторое время он очнулся от странной задумчивости, в которую его ввёл конец этой сцены, и из которой вывело прикосновение руки Изабель к его колену и её долгий выразительный взгляд ему в лицо. Во время всех прежних обсуждений она оставалась совершенно тихой, но досужий наблюдатель, возможно, заметил бы, что некие новые и очень сильные чувства подспудно шевелились в ней.

«Пьер!» — сказала она, с вниманием склонившись к нему.

«Ну, хорошо, Изабель», — запинаясь, ответил Пьер, в то время как таинственная краска залила всё его лицо, шею и лоб, и он невольно подался немного назад от приблизившейся к нему её фигуры.

Остановленная этим движением Изабель неподвижно следила за ним; потом она медленно поднялась, и с огромной скорбной величавостью распрямилась и сказала: «Если твоей сестре когда-нибудь можно будет подойти почти совсем близко к тебе, Пьер, то скажи своей сестре об этом заранее; в сентябре солнце вытягивает туман от презренной земли не более ревниво, чем мой тайный бог отдаляет меня от тебя, когда я решаю подойти к тебе слишком близко»

Пока она произносила эти слова, одна рука была на её груди, как будто она решительно скрывала там предчувствие что-то смертельного; но Пьер, скованный всем её поведением больше, чем конкретным жестом, в этот момент не уделил особого внимания многозначительному движению её руки по груди, хотя позже он вспомнил его и полностью постиг его мрачное значение.

«Слишком близко к тебе, Изабель? Солнце ты или роса, но ты делаешь меня лучше! Могут ли солнечные лучи или выпавшая роса подойти слишком близко к тому, кого они нагревают или увлажняют? Тогда сядь рядом со мной, Изабель, и сядь поближе; в моих рёбрах ветер, — если тебе так угодно, — и само мое тело может быть

целомудренным для обеих»

«Одежда красит человека, так я слышала», — очень ожесточенно сказала Изабель, — «но разве прекрасные слова всегда творят прекрасные дела? Пьер, что бы ты не говорил, но ты сейчас далёк от меня!»

«Когда мы хотим очень нежно обняться, то сначала отводим назад руки, Изабель; но я не удалился, чтобы подобраться к тебе как можно ближе»

«Хорошо; все слова — настоящие застрельщики, а дела — это уже просто сама армия! Будь по-твоему. Я всё же доверяю тебе. …Пьер…»

«Ты остановила моё дыхание; что это, Изабель?»

«Я была глупее камня; я теряю рассудок, думая о ней! Ещё более безумно то, что её большая нежность сперва напомнила мне мою собственную глупость. Но она не должна опережать меня! Пьер, я как-то должна зарабатывать для тебя! Посмотри, я продам эти волосы, выдерну эти зубы, но как-нибудь я заработаю деньги для тебя!»

Пьер уже с сильным удивлением следил за ней. Отпечаток некой особенной важности сиял на девушке; нечто тайное в глубине терзало её. Нежные успокаивающие слова вертелись у него

на языке, его руки бездействовали, выражение лица изменилось, и он тревожным шёпотом воскликнул — «Прислушайся! Она идёт. — Пока останься»

Но, смело поднявшись, Изабель резко открыла соединяющую дверь, наполовину истерично воскликнув — «Смотри, Люси: вот самый странный муж, боящийся быть пойманным за разговором со своей женой!»

Принеся небольшую коробку художника, — чей грохот, возможно, воздействовал на Пьера, — Люси села на полпути в свою комнату, напротив открытой двери, так, чтобы в тот момент и Пьер, и Изабель отчетливо видели её. Особенный тон голоса Изабель сразу же заставил её всмотреться по-внимательней. В этот момент внезапное озарение от некой свежей мысли — неприятной для неё или же не полностью осознанной — выстрелом ударило по всему её облику. В ответ она пробормотала нечто неопределённое, а затем низко склонилась над своей коробкой, как бы говоря, что очень занята.

Изабель закрыла дверь и снова села возле Пьера. На её искажённом лице появился смущённый и нетерпеливый взгляд. Она казалась тем человеком, у которого самая сильная эмоция в жизни

проявилась в неразрешимых и тяжёлых обстоятельствах, и кто, стремясь высвободить себя, всё же знает, что вся борьба окажется не более чем тщетной, поскольку в настоящий момент вырастает безумно отчаянное и самое вызывающее из всех препятствий. Пьер задрожал, как только пристально взглянул на неё. Но скоро этот настрой покинул её, её прежняя, нежная печаль вернулась, чистая и непостижимая мистика вновь засияла в её взгляде.

«Пьер, прежде, — прежде чем я когда-то узнала тебя — я совершала безумные поступки, которые я никогда не осознавала, кроме как в туманных воспоминаниях. Я не считаю их своими поступками. То, что я теперь вспоминаю, — как будто только что свершилось, и было одним из них»

«Ты лишь проявила свою силу, в то время как я показал свою слабость, Изабель; — да, для всего мира ты — моя жена, — для тебя — ты также моя жена. Разве я сам не сказал ей так? Я был более слабым, чем котёнок, Изабель, а ты — сильна как небесные ангелы, от которых беспредельная красота не может не получить силу»

«Пьер, когда-то такие слова от тебя становились какой-то свежестью и росой для меня; теперь же, хотя они снисходят от тебя как тепло и влага, они

будто проходят через некие заслоны, замерзая по пути и ударяя по моему сердцу словно град, Пьер. — — Ты так не говорил с нею!»

«Она не Изабель»

Девушка быстро, пристально и проницательно взглянула на него, потом посмотрела довольно спокойно и сказала: «Моя гитара, Пьер: ты знаешь, что я её абсолютная хозяйка; теперь, когда перед тобой появятся желающие получить портрет от художника-графика, ты должен заполучить учеников для учителя музыки. Разве ты этого не хочешь?» — и она посмотрела на него убедительно и трогательно, чтобы предстать перед Пьером более, чем смертной.

«Моя бедная, бедная Изабель!» — вскричал Пьер, — «хозяйка естественной сладости гитары, но не своего красиво придуманного умения; и они оба — это то, за изучение чего заплатит глупый ученик. И тому, что ты можешь, нельзя научить. Ах, твое сладкое невежество — всё передаётся мне! моя сладость, моя сладость! — дорогая, божественная девочка!» И он импульсивно обхватил её руками.

Первый огонь его чувства уже явным румянцем пылал на его лице, но прежде чем он всё-таки подхватил её, Изабель, плавно отодвинувшись

назад, закрыла общую дверь, которая в момент его объятий внезапно открылась, как будто по своей собственной воле.

Перед глазами сидящей Люси стояли обнявшиеся Пьер и Изабель; Пьер прильнул губами к её щеке.

II

Несмотря на родительский визит г-жи Тартэн и безапелляционность, с которой она подытожила своё заявление уйти и никогда не возвращаться, пообещав призвать всех родственников Люси, её друзей, собственных братьев и поклонника отринуть её и забыть, Пьеру всё же казалось, что он знал слишком много о большинстве человеческих сердец и слишком много об особенностях характеров Глена и Фредерика, чтобы оставаться совершенно спокойным в отношении этих двух горячих молодых людей, способных устроить теперь заговор против него, как против воображаемого монстра, вследствие адских уловок которого Люси Тартэн, как предполагалось, отвергла обычные светские приличия. Но к счастью, хотя и более угрюмо, он предсказал, что г-жа Тартэн приедет к Люси без сопровождения, и что Глен и Фредерик позволят пройти сорока

восьми часам и более, не подавая малейшего признака враждебности или нейтралитета. Вначале он думал, что, обуздав свою импульсивную свирепость, они решили избрать медленный, но возможно более верный метод вернуть Люси обратно, устроив некий судебный процесс. Но эта идея была отставлена более чем одним соображением.

Не только Фредерик имел такой характер, присущий военным, который побудил его в таком сугубо личном, частном и семейном вопросе презреть выгоду медлительной руки закона, присвоить себе право на огненную ярость и отомстить; ведь из-за Люси у него, скорее всего, появилось чувство жестокого оскорбления самой его семьи, и поскольку её собственный умышленный уход он счёл ошибочным и, как бы то ни было, но очерняющим семью, то он и побудил его к быстроте действий. Но эти понятия были столь же уважаемы не только Фредериком: касаясь Глена, Пьер хорошо знал, что Глен, будучи бессердечным в делах любви, не был бессердечным в деле ненависти; несмотря на то, что в памятную ночь его прибытия в город Глен сам бессердечно закрыл перед ним свою дверь, он мог бы теперь с жаром опорочить известность

Пьера, если бы полностью верил в то, что постоянный успех последнего закончится банальной дракой.

Кроме того, Пьер знал следующее: что суть такой неудержимости это естественный, неукротимый, скрытый дух мужественной отваги в человеке, и, несмотря на то, что современное общество за тысячи лет воспитано в изначальном уважении к Закону, единственно предназначенному удовлетворять каждого пострадавшего, всё же с незапамятных времен и повсеместно всем господам духа, однажды произнёсшим несвязные угрозы личной мести в адрес своего недоброжелателя, а затем после этого, украдкой отступившим в суд и нанявшим за подачки отряд визжащих крючкотворов для ведения столь отважно объявленного боя, — то, что внешне всегда считается вполне достойным и весьма благоразумным, — по размышлении видится оборотная сторона, к сожалению, позорная. Фредерик не был столь рассудительным человеком — кровь Глена была более взрывоопасна.

Кроме того, Пьеру казалось довольно ясным, что только представив Люси абсолютно безумной и стремясь доказать это тысячью мелких презренных подробных фактов, можно было бы

юридически преуспеть в том, чтобы вырвать её из убежища, которое она самовольно нашла для себя; курс, возможно, одинаково отвратительный всем вовлечённым в дело сторонам.

Что тогда должны были делать эти две кипящих крови? Возможно, они патрулировали бы улицы и при первом появлении одинокой Люси увезли бы её домой. Или, если бы Пьер был с нею, то ударили бы его крюком или палкой, изваляли бы в грязи или столкнули, и затем — прочь вместе с Люси! Или, если бы Люси систематически пребывала бы в своей комнате, то сообща напали бы на Пьера, повалили бы его и держали до тех пор, пока тот достойно не признал бы вину под тяжестью сваленных в кучу оскорблений и ненависти, да так, чтобы вследствие такого позорного колесования Пьер сам бы перестал владеть собой и бесчестно добытым призом.

Ни невнятное бормотание призраков в каком-нибудь старом доме с привидениями, ни необычный знак сернистого цвета, созерцаемый ночью на небесах, так не поднимают дыбом волосы, как гордый и благородный человек в тот момент, когда он планирует в своей душе нанесение некоего грубого общественного и материального бесчестия. Это не страх; это — ужасающая

гордость, которая более ужасна, чем какой-либо страх. Тогда убийцы чувствуют Каинову печать, горящую у них на лбу, и уже оправданная ими кровь на сжимаемом рукою ноже служит предупреждением.

Он был уверен, вспоминая их презрительные проклятия на лестнице, всё ещё эхом отдающиеся в его ушах — проклятия, в быстрых ответах на которые от него самого было бы со временем трудно убедиться, — что эти два молодых человека сейчас должны были готовить что-то неистовое. Он полностью осознавал изначальную природу той безумной бурлящей ненависти, которую энергичный брат направил на осквернителя чести сестры, — вне сомнения, самой непримиримой из всех человеческих страстей, известных человеку, — и не исключал способность такого брата поразить своего противника за своим собственным семейном столом, когда все люди и все суды поддержали бы его, сочтя все действия благородной души допустимыми, как следствие безумного позора милой сестры, пострадавшей от проклятого соблазнителя. Поставив себя на место Фредерика и ярко ощутив в этом положении его чувства, вспомнив, что любовная ревность свертывается, как гадюка,

и что ревность Глена была удвоена невероятной злобой вследствие очевидных обстоятельств, при которых Люси отвергла руку Глена и сбежала к его всегда успешному и уже женатому сопернику, якобы вызывающе и бесстыдно устроившемуся, — вспоминая все эти ревностные подстрекательства обоих своих противников, Пьер не мог не предвидеть диких событий, время которых уже приближалось. Но шторм страсти в его душе не был обдуманным решением его самых спокойных часов. Шторм и штиль вместе сказали ему, — Посмотри на себя, о Пьер!

Убийства совершаются маньяками, но серьёзные мысли об убийстве это порождение совокупного человеческого отчаяния. Пьер таким и был; судьба или что-то иное сделала его таким. Но он таким и был. И когда всё это теперь всплыло перед ним, когда он подумал обо всех двусмысленностях, как и о каменных стенах, которые окружали его и которые он был не в состоянии проигнорировать; о миллионах обстоятельств, отягчающих саму его несчастную судьбу; о последней томительной надежде на счастье, слизанной, словно языком пламени; об одном единственном взгляде на чёрную, бездонную пропасть вины, на краю которой в последнее время

он ежечасно балансировал, — тогда беспредельная ненависть Глена и Фредерика принималась им с торжеством, и убийство, символизирующее ответ на осуждающее его общественное мнение, казалось одним единственным благоприятным продолжением такого отчаянного развития событий.

III

Подобно статуе, установленной на вращающемся пьедестале, показывающей то одну конечность, то другую, то спереди, то сзади, то боком, а также постоянно меняющей общий профиль, вертится изваянная душа человека, когда её вращает рука Истины. Неизменна только ложь; не ищите в Пьере постоянства. И при этом ни один лицемерный глашатай не встанет рядом для того, чтобы объявлять фазы его вращения. Вы сами угадывайте эти фазы, насколько позволяет ваше понимание.

Прошёл еще один день; сами Глен и Фредерик пока ещё не появлялись, а Пьер, Изабель и Люси всё ещё проживали вместе. Присутствие в доме Люси начало оказывать замечательное влияние на Пьера. Иногда, как зорко подглядела Изабель он, казалось, рассматривал Люси с выражением

лица, плохо подходящим их исключительным и поэтому — просто предполагаемым родственным отношениям; а также с другим выражением, ещё более необъяснимым для неё, — состоящим из страха и трепета, весьма смешанного с нетерпением. Но его общее внимательное отношение к Люси было исполнено лаской и нежной заботой — и более ничем. Он никогда не оставался с нею наедине; но, и как прежде, время от времени бывал наедине с Изабель.

Люси, казалось, совершенно не претендовала на узурпацию какого-либо места рядом с ним; не проявляя ни малейшего нежелательного любопытства относительно Пьера, и какого-либо болезненного замешательства в отношениях с Изабель. Тем не менее, ей казалось, что она всё больше и больше, час за часом, так или иначе необъяснимым образом проскальзывала между ними, не касаясь их. Пьер чувствовал рядом с собой некое необычное небесное влияние, удерживающее его от некой серьёзной беды; Изабель живо осознавала некоторое вытесняющее воздействие. Хотя, когда все трое бывали вместе, чудесное спокойствие, нежность и полное отсутствие подозрений у Люси устраняли какие-либо общие затруднения: уж если вообще и были ка-

кие-либо сложности под этой крышей, то только иногда, когда Пьер оказывался наедине с Изабель, после того, как Люси простодушно оставляла их.

Тем временем Пьер всё ещё продолжал писать свою книгу, с каждой минутой становившейся, так или иначе, более разумной из-за всевозможных весьма зловещих обстоятельств, при которых продолжался этот труд. И поскольку теперь её продвижение и сосредоточение над предпринятым трудом всё больше и больше требовали от него концентрированной энергии, он чувствовал, что может отдавать её всё меньше и меньше. Это был не только сигнал страдания от Пьера, что было невидимо, — хотя, и не случайно раздраженного из-за того, что в час умственной незрелости он взялся за зрелую работу, — обстоятельства самого по себе достаточно печального, — но также и в час своей кричащей бедности, когда он в дополнение к этому труду оказался раздражён долгим и затянувшемся выполнением этого предприятия и всей непредусмотрительностью при оценке конечной материальной выгоды. Что это было, откуда исходило, можно было бы полностью и с большой пользой объяснить, но здесь пространство и время не позволяют этого сделать.

Кроме того, внутренние вопросы — арендная плата и хлеб — так подступились к нему, что внесли неуверенность в то, должны будут или нет, первые страницы пойти в печать; и таким образом добавилась ещё одна беда, потому что печатные страницы уже диктовали следующую рукопись и рассказывали всем последующие мысли и выдумки Пьера — …То да сё, так и эдак.., …ещё одно плохое соперничество… Поэтому его книга была уже отформатирована, переплетена и передана на проверку даже прежде, чем эта форма была как-то утверждена или полностью завершена. О, кто может показать ужасы бедности в авторстве, которые столь тяжелы? Если неразумный Миллторп протестовал бы против её задержки на несколько недель и месяцев, то это, к сожалению, не отвечало сердечному чувству Пьера, считавшему, что авторы большинства великих общечеловеческих работ посвящали им не недели и месяцы, не лета и годы, а целые жизни. По обе стороны за него цеплялись девушки, которые отдали бы за него жизнь; Пьер, тем не менее, в своей самой глубокой, самой высшей составляющей был лишён сочувствия со стороны какой-либо божественной, человеческой, животной или растительной сущности. Живя в городе

с сотнями тысяч жителей, Пьер был одинок как на полюсе.

И большим горем для всех стало следующее: всё это было непредвиденно и нераздельно; сами кинжалы, наносившие удар, были смешны из-за Невежества, Головотяпства, Самодовольства, вселенской Неопределенности и Дурмана вокруг него. Теперь он начал чувствовать, что его титанические мускулы были предусмотрительно перерезаны ножницами Судьбы. Он чувствовал себя американским лосем, который начал хромать. Всё, что думало, двигалось или лежало неподвижно, казалось, было создано для того, чтобы дразнить его и мучить. Ему казалось, что он наделён высокомерием, просто потому, что оно могло затянуть его в грязь. Однако его глубокое упрямство не уступало. Противостоя разрывающемуся сердцу и лопающейся голове, противостоя всей мрачной усталости, смертельной слабости и бессоннице, суматохе и сумасшествию, он, тем не менее, держался как полубог. Корабль его души предвидел неизбежные скалы, но решил плыть вперёд и смело устроить кораблекрушение. Теперь он платил насмешками за насмешки и насмехался над обезьянами, которые насмехались над ним. Имея

душу атеиста, он написал самые благочестивые произведения, ощущая страдания и смерть внутри себя, он создал формы радости и жизни. Из-за мук в своём сердце он выложил на бумагу крики. И всё остальное он также замаскировал под весьма удобно приспособленной драпировкой из абсолютно растяжимой Философии. Чем больше и больше он писал, чем глубже и глубже он погружался, тем отчётливей видел постоянную иллюзорность Правды, вселенскую скрытую неискренность даже самых великих и самых точно описанных мыслей. Словно краплёные карты, листы всех больших книг были упаковкой тайны. Он был не более чем ещё одним упакованным набором текста и, воистину, очень бедным и истощённым упакованным набором. Поэтому, он ничего так не отвергал, как свои собственные стремления, ни к чему у него не было большей ненависти, кроме как к возвышенной части самого себя. Самый яркий успех теперь казался ему невыносимым, так как он хорошо видел, что самый яркий успех не может быть единственным детищем Качества, — хотя бы на одну тысячную часть Качества и девятисот девяносто девяти объединений и случайных подгонок для остального. Поэтому он априори презирал те лавры, которые

по самой природе вещей никогда не даруются беспристрастно. Но пока ещё вся земля не была истреблена его амбициями, обстоятельства представляли его как нетерпеливого претендента на известность. Таким образом, он заранее чувствовал затаённое жало полученных аплодисментов или осуждений, одинаково непрошенных и одинаково ненавидимых, ещё прежде, чем он их получил. Так, он заранее предчувствовал пирамидальное презрение к истинному благородству от всей бесконечной компании бесконечно малых критиков. Его презирали те, кто думал, что он ничего не будет стоить, пока он будет презираем. Он никогда не знал о том, что был наиболее презираемым. В своём уединённом маленьком кабинете Пьер сумел предвкусить все похвалы или осуждения, каким-либо образом принадлежавшие этому миру и, вследствие чего, предвидя вкус обоих напитков, предсказуемо оба их и пригубил. Все панегирики, все обвинения, вся возможная критика любого сорта смогли дойти до Пьера слишком поздно.

Но человек никогда не оставляет дом без дверей и ставней под четырьмя разрушающими воющими небесными ветрами, если этот дом не тронут упадком. Гораздо чаще, чем прежде,

Пьер откидывался назад на своём стуле со смертельным чувством слабости. Гораздо чаще, чем прежде, приходил, шатаясь, домой со своей вечерней прогулки и вследствие чисто физического истощения берёг дыхание, которое отвечало на тревожные вопросы относительно того, что нужно было для него сделать. И как будто всего общего духовного истощения и зла, объединившихся с его полным общим истощением, было недостаточно, чтобы особое материальное неблагополучие теперь не обрушилось на него с неба, словно ястреб. Его непрерывное усердие сказалось на его глазах. Они настолько пострадали, что в некоторые дни он писал почти с закрытыми веками, боясь широко открыть их из-за света. Через ресницы он всматривался в бумагу, которая, как ему казалось, волновалась при скручивании. Иногда он писал вслепую, уводя глаза от бумаги, — такой манерой подсознательно символизируя неприязнь к этой необходимости и отвращение, заранее привившее ему сильное неприятие быть пленником букв.

Каждый вечер, после того, как были сделаны его дневные записи, пробные оттиски начала его работы приходили домой для исправления, где Изабель могла ему их прочитывать. Они были

переполнены ошибками, но озаботившись их массой и чистыми, тонкими образами вещей, он в такие минуты стал проявлять нетерпение, подобное мучениям от мошкары; он беспорядочно исправлял худшее и позволял остаться остальному, и сам смеялся над богатым урожаем, собранным похожими на энтомологов критиками.

Но, наконец, он получил огромный интуитивный толчок, сорвавший его — всё ещё стоявшего там — с точки неестественного напряжения.

В более ранний период работы над своей книгой он испытывал некоторое облегчение от регулярной вечерней прогулки по самому большому проезду города, но чрезвычайная оторванность его души ощущалась более напряженно из-за непрерывных толчков по его телу со стороны тысяч спешащих людей. Тогда он начал более серьёзно осмысливать фантастические бурные ночи, как ночи приятные; когда большие проезды менее наполнялись людьми, а неисчислимые навесы над магазинами тряслись и бились, как широкие паруса шхун во время бури, ставни стучали как стегаемые ветром паруса, а большие куски черепицы падали с тем же шумом, что и сорванные сверху корабельные

блоки. При появлении таких бурь на пустынных улицах Пьер чувствовал мрачную, триумфальную радость, и в то время как другие уползали в страхе в свои питомники, он один бросал вызов штормовому адмиралу, чьи большие мстительно заброшенные градины, — наносившие удар по его обрамлённому железом горящему, словно печь, телу, — таяли в мягкой росе, и таким образом, не причиняя вреда, утекали прочь.

Вскоре из-за этого воя в неистовых ночах он начал сворачивать в тёмные, узкие переулки в поисках более уединённых и таинственных пивных. Там он испытывал исключительное удовлетворение, полностью промокшим усаживаясь на стуле, ставя перед собой свою половину пинты пива и так сдвигая свою кепку, чтобы, защитив свои глаза от света, следить за лицами разнообразных изгнанников общества, которые здесь получали себе убежище от самой горькой полночи.

Но, наконец, он начал чувствовать отвращение даже к ним; и теперь ничего, кроме чрезвычайной ночной пустоты тёмных складских переулков, не оказалось способным удовлетворить его или вообще быть для него терпимым. Он привык теперь обретаться среди них каждый вечер

и вне его, пока однажды ночью не остановился в момент, предшествующий повороту к дому, и внезапное, непривычное и всепроникающее чувство охватило его. Он не знал, где находится, он просто вообще не чувствовал себя живым. Он не видел, хотя, инстинктивно подводя свою руку к своим глазам, казалось, чувствовал, что веки были открыты. Тогда он ощутил совместное воздействие слепоты, головокружения и нетвёрдой походки; перед его глазами танцевал миллион зелёных метеоров; он чувствовал, что его ноги балансировали на бордюре, он протягивал руки и не думал больше о течении времени. Когда он пришёл в себя, то обнаружил, что лежал посреди грязной лужи, плескаясь в грязи и слизи. Он поднялся, чтобы узнать, может ли он стоять, но приступ полностью закончился. Он немедленно ускорил шаги к дому, воздерживаясь от покоя или вообще остановок на пути, чтобы этот прилив крови к его голове, последовавший за его внезапным прекращением ходьбы, не смог снова свалить его. Это обстоятельство предостерегло его от тех пустынных улиц, где его мог застать повторный приступ и оставить ночью умирать в неизвестности и непредвиденном одиночестве. Но если это ужасное головокружение также было

предназначено в качестве другого и более серьёзного предупреждения, то он это дополнительное предупреждение совсем не принимал во внимание, пока сердце и мозг снова не оказались смятыми, как и прежде.

Но теперь, наконец, с тех пор, как сама кровь в его теле напрасно восстала против его титанической души, — теперь единственно видимые внешние символы этой души — его глаза — также по-настоящему предали его, и более успешно, чем мятежная кровь. Он злоупотребил ими так опрометчиво, что теперь они абсолютно отказывались смотреть на бумагу. Он вернул взгляд на бумагу, но они мигнули и закрылись. Зрачки его глаз укатились от него вдаль в своих собственных орбитах. Он закрыл их руками и расслабился на своем стуле. Затем, не говоря ни слова, он продолжал писать с прежнего места в своей обычной манере, отстранённой, неподвижной, невыразительной.

Но следующим утром — это было спустя несколько дней после прибытия Люси — всё ещё чувствуя, что определенное безумное увлечение, и не меньше, является обоюдно неизбежным и обязательным в содержании любой великой, глубокой книги или даже какой-либо совершенно

неудачной попытки написать какую-либо большую, глубокую книгу, — он следующим утром вернулся к работе. Но снова зрачки его глаз в своих орбитах напрочь отвернулись от неё: и теперь общая и неопределённая вялость — некое ужасное предвкушение самой смерти — казалось, тайно подкрадывалась к нему.

IV

Во время этого полубессознательного состояния или, скорее, транса ему явилась замечательная мечта или видение. Реальные искусственные объекты вокруг него исчезли и были заменены на иллюзорную, но всё же более внушительную картину естественного пейзажа. Но даже само это иллюзорное видение, как воздушное зрелище приняло очень знакомые Пьеру черты. Это была фантасмагорическая гора Титанов, ввиду исключительной высоты стоящая отдельно на одиноком просторе недалеко от великой гряды тёмно-синих холмов, окружающих его наследственное поместье.

Если повторить слова некоторых поэтов о том, что Природа не такова, как её собственная сладостная интерпретация, то при простом использовании этого хитрого алфавита, посред-

ством отбора и соединения его букв — кому как нравится — каждый человек выучивает свой собственный особый урок согласно своему собственному особому сознанию и настроению. Таким образом, высокопарный, но весьма капризный, разочарованный бард однажды случайно посетил Луга и увидел, что имя, со скуки присвоенное им этой прекрасной возвышенности, полностью затмило её бывшее название — Магнитная Гора — когда-то давно дарованное старым баптистом — фермером, наследственным поклонником Буньяна[25] и его самой чудесной книги. С того времени и никогда впоследствии от этого названия гора не уходила; на данный момент, разглядывая его в свете наводящих на размышления слогов, ни один поэтический наблюдатель не смог воспротивиться очевидной удаче названия. И древняя гора как будто бы действительно весьма охотно приспособилась к этому новому имени, на что некоторые люди говорили, что имя это незаметно поменяло всепроникающий характер нескольких или пары зим. Но этот странный образ был бы полностью безосновательным, если не знать, что ежегодные смещения огромных

---

25 Примечания: 25
Английский писатель и проповедник — (прим. пер.)

скал и гигантские деревья всё время меняли весь её передний и общий контур.

На северной стороне, развернутой к старому поместному дому, удалённому приблизительно на пятнадцать миль, высота, рассматриваемая с площадки в мягкий полдень укрытого туманом лета, представляла собой длинную и красивую, но совершенно недосягаемую взглядом фиолетовую кручу, приблизительно в две тысячи футов высотой, по бокам опускающуюся к высоким террасам пастбищ.

Эти пастбища на склоне, стоит сказать, были плотно засеяны маленьким белым амарантовым цветком, который, будучи невероятно неприятным для коров и полностью отвергаемым ими, по этой же причине, всё время умножаясь с каждой стороны, ни в коем случае не способствовал сохранению сельскохозяйственной ценности этой возвышенности. И доходило до того, что арендаторы, занимающие эту часть Поместья под пастбище для молочного скота, приходили в уныние и подавали прошения своей владелице о некотором уменьшения их ежегодной платы за зелёные возвышенности в июньскую страду: скаток масла в октябрьском кувшине, волов и тёлок на октябрьском копыте, индюков в рож-

дественских санках.

«Маленький белый цветок это наша отрава!» — с мольбой взывали арендаторы. — «Ростки амаранта поднимаются каждый год, и всё новые и новые террасы захватываются им! Амарант бессмертен, он не умрёт, а прошлогодние цветы доживают до этого года! Террасные пастбища выращивают белый блеск, и в тёплом июне всё ещё кажутся снежными шапками — соответствуя символу порождённого амарантом бесплодия! Так избавьте же нас от амаранта, добрая госпожа, или порадуйте нас снижением арендной платы!»

Теперь, при несколько более близком подходе, круча не опровергала фиолетовый цвет, видимый с поместного двора — эта сладкая фиолетовая перспектива, казалось, полностью подтверждала первоначально дарованное ей старое буньяновское название — но показывала богатую воздушную листву нависающего леса. Тем не менее, если подойти ещё ближе, то через длинные и частые просветы среди массы листьев уже будут видны ужасные проблески тёмных влажных скал и таинственные входы в волчьи пещеры. Весьма пораженный этим неожиданным зрелищем путешественник ускоряет свои

импульсивные шаги, чтобы, подойдя вплотную, увидеть изменение этой хамелеоновой высоты. Теперь он может идти быстрее по более низкому полю, которое с поместного двора всем кажется засеянной травой плоскостью, внезапно сливающейся с очень долгим и утомительным пологим подъёмом, медленно возрастающим к началу крутого основания горы так, что цветущие травы слегка раскачиваются напротив него, как зелёные волны на некой большой возвышенности или длинная покатая волна напротив ватерлинии невероятно огромного военно-морского корабля. И подобно тому, как среди катящихся волнообразных песков Египта беспорядочные ряды разбитых сфинксов приводят к самой пирамиде Хеопса, так и этот длинный пологий подъём плотно усыпан огромными, гротескной формы, скальными массами с такой примечательной внешностью, которая, кажется, выражает дремлющее сознание, наблюдаемое у некоторых лежащих зверей — зверей, которые будто бы, к сожалению, лишились дара речи на некий неясный и необъяснимый срок. Тем не менее, со всех сторон этих всё ещё очарованных скал, неприступных из-за их всяческих зубчатых венцов, и среди их хитрых щелей, мизантропи-

чески измеряющие холм козы жуют свою самую сладкую еду; скал, самих по себе бесплодных, собирающих питательную влагу, которая поит всю зелень, что растет возле их огненных граней.

Оставив эти лежащие скалы, вы продолжаете подниматься к нависающему лесу и проникаете в его самый нижний край, когда внезапно останавливаетесь, ошарашенный, как идущий солдат, только что напуганный видом неприступного редута там, где он рассчитывал найти реальный приют для своих храбрых мускулов. К этому моменту ловко замаскированным, зелёным гобеленом из переплетающихся листьев вам противостоит массивный потрясающий высокий палисад мшистого тёмного цвета, и с его нависающих бровей медленными грозовыми ливнями, состоящими из водяных капель, холодных, как последние смертельные росы, падает на вас сочащаяся неиспарившаяся влага. Теперь вы стоите и дрожите в этих сумерках, хотя стоит высокий полдень и горящий август лежит на лугах. Повсюду вокруг мрачные разбитые скалы сосредотачиваются снова и снова; взлетающие, торчащие, вытянутые, раздутые и нетерпеливо устремленные вдаль, каждой ощетинившиеся гранью исходящие ужасным неприятием. Бро-

шенные, сложенные и неразобранные среди них сейчас подобны бревнам при наведении мостов, зажатым аллювиальными потоками из далекого Арканзаса или большим мачтам и палубам разбитых флотов, подброшенным ввысь и разбитым быстро, на все осколки разом, на парящих горных хребтах Атлантического моря, — вы видите печальные трофеи, которые Северный Ветер, защищая неутолимую мольбу Зимы, с варварским презрением вырвал из лесов и расчленил на ими самими выбранном поле битвы. Среди этого зрелища широких и удивительных доспехов сдержанные шумы от упавших скал расходятся быстро, взрывают тишину и пугают всех эхом, которое разносит среди пещер вопли, похожие на стенания женщин и детей в некоем осаждённом городе.

Абсолютное опустошение; крушение, беспощадное и непрерывное, холод и мрак, — всё здесь живёт скрытой жизнью, занавешенное этим хитрым пурпуром, который при виде с площадки кирпичного дома так красиво окутывает гору, однажды названную Восхитительной, но теперь похожей на титана.

Утомленный таким невообразимым мраком и крутизной, вы уже с печалью возвращаетесь

той же дорогой и, может быть, обходите по краю нижележащие террасы пастбищ, где многочисленный, совсем стерильный, не имеющий запаха бессмертный, маленький, белый цветок, не ставший мягкой жвачкой для задумчивой коровы. Но тут и там вы всё еще можете уловить запах от далёких сладко пахнущих зарослей кошачьей мяты, дорогóй для фермеров травы. Вскоре вы увидите скромную зелень самих растений, и, куда бы вы не взглянули, вид старых закладных камней и сгнивших древесных срубов, давно покинутых, также остановит ваш взгляд; их опустошение плохо скрывается заботливой зеленью мигрирующей травы. Наиболее пригодно то, что называется кошачьей мятой: с тех пор, как домашняя и живущая среди людей кошка оставляет место, то растение это остаётся надолго, долго греется и цветёт на заброшенном очаге. Плохо укрываемый, астрономический амарантовый цветок с каждой весной выигрывает на смерти домашней травы; каждую осень кошачья мята умирает, но амаранта никогда не становится меньше. Кошачья мята и амарант! — земной домашний мир человека и вечное стремление к Богу.

Но далее вы следуете краем печального паст-

бища, взяв путь вниз по длинному откосу, выводящему на мистическую высоту. В середине поля вы снова оказываетесь среди лежащих, похожих на сфинксов форм, сброшенных со скальной кручи. Вы останавливаетесь, застыв из-за вызывающей формы, формы ужаса. Вы видите титана Энцелада, самого мощного из всех гигантов, корчащегося, заключенного в земляную тюрьму, скорчившегося под тюрбаном из наросшего мха; тем не менее, даже безоружный, сопротивляясь всем своим сражающимся телом, он отбросил Пелиона и Оссу[26] прочь от себя; — он корчится под тюрбаном из наросшего мха, всё ещё развернувшись своим непобедимым фронтом к той величественной горе, на которую он вечно и напрасно нападал, и которая, отбросив его самого прочь, подняла над ним его же сброшенного демона, и в насмешку оставила там приманивать к себе тщетным завыванием.

Пьеру эта поразительная форма всегда была интересна, хотя до настоящего времени всё его скрытое значение никогда полностью и внятно не доходило до него. В его раннем детстве компания прогуливающихся молодых студентов

---

26 Примечания: 26
Горы в Греции (прим. пер.)

колледжа случайно оглядела скалу и, пораженная её необычностью, принесла несколько кирок и лопат и отрыла землю вокруг неё, чтобы раскопать её и понять, было ли она в действительности дьявольской причудой природы или неким грубым творением доисторического искусства. Сопровождая эту нетерпеливую партию, Пьер впервые рассмотрел этого бессмертного сына Земли. В то время, в своём нетронутом естественном состоянии статуя виделась только как увенчанная тюрбаном голова из магматической породы, вырастающая из земли, с неуязвимым лицом, повернутым вверх на гору, и как ясно видимая бычья шея. С искаженными чертами лица, разбитого и изуродованного, и чёрной бровью, которую дразнил наросший мох, наполовину погруженный в землю Энцелад вскоре застыл в земле на уровне шеи. Лопаты и кирки вскоре удалили от него часть его Оссы, пока, наконец, вокруг него не была отрыта круглая скважина глубиной приблизительно тринадцать футов. На этой отметке утомленные молодые студенты колледжа отчаялись продолжать своё предприятие. Несмотря на весь свой тяжёлый труд, они ещё не добрались до пояса Энцелада. Но они обнажили добрую часть его могучей

груди и выставили его искалеченные плечи и ампутированные культи его когда-то дерзких рук. К тому времени, опозорив его обнажением, они оставили его в этом скверном тяжёлом положении совершенно обнаженным, его напрасно бунтовавшую грудь осквернили птицы, которые ещё с неписанных времён загрязнили его покорённый хребет.

Но не достойно сравнивать его с тем свинцовым Титаном, с помощью которого сила Марса и широко разбросанный род Бурбонов обогатили очарованием сады Версаля, и из искривленного рта которого на шестьдесят футов вверх всё ещё бьет фонтан воды, элементарно соперничая с теми огнями Этны, которые, как утверждают, в старину были зловредными выдохами свергнутого гиганта, — нет, не достойно сравнивать его с этим свинцовым полубогом, заваленным великолепными скалами, с одной стороны выворачивающим колено, торчащее из разбитой бронзы, — весьма достойно сравнивать его с тем смелым трофеем высокого искусства, этим американским Энцеладом, обработанным энергичной рукой самой Природы, который действительно пошёл далее, чем выдерживает это сравнение, — он действительно намного превзо-

шёл ту прекрасную фигуру, созданную простым мастерством человека. Марс дал руки вечно беззащитным, но Природа, более справедливая, произвела ампутацию и оставила бессильного Титана без единого пригодного к работе сустава выше бедра.

Таков был дикий пейзаж — отбивающая атаку с небес гора Титанов с Энцеладом посреди них, позорно лежащим у основания горы, — таков был дикий пейзаж, который теперь, сместив четыре глухих стены, стол и раскладную кровать, составлял основу странного видения Пьера. Но больше всего ошеломляла позорная позиция титанов, заставившая их теперь вскочить на ноги, сбросить самих себя под уклон и снова колотить в беззвучную отвесную стену. В первую очередь среди всех них он видел мшистые тюрбаны безоружного гиганта, который, отчаявшись каким-либо иным способом дать выход своей неумолимой ненависти, отшвырнул свои собственные арочные ребра и, превратив своё мощное тело в таран, снова и снова долбил неуязвимую кручу.

«Энцелад! это — Энцелад!» — выкрикнул Пьер в своем сне. В этот момент фантом предстал перед ним, и больше Пьер Энцелада не видел; но на безруком теле Титана отпечаток его собственного

лица и особенная величавость мерцали над ним с пророческим замешательством и горечью. Дрожа всем телом, он встал со своего стула и после всего этого идеального ужаса очнулся посреди всего своего фактического горя.

V

Но случайные познания Пьера о древних баснях все же потерпят неудачу в дальнейшей попытке объяснить видение, которое столь необычайным образом подводило язык к немоте. Но это разъяснение стало более отталкивающим, поскольку оказалось роковым и мрачным — возможно, потому, что Пьер не преодолел финальный мрачный барьер, возможно, потому, что Пьер непреднамеренно вырвал некое финальное утешение из басни, не расколол эту упрямую скалу, как Моисей, и даже не преодолел саму сушь, чтобы избавиться от своей болезненной жажды.

Таким образом, сражённая гора Титанов, кажется, приводит к такому последующему выводу:

— Старый Титан сам был сыном от кровосмесительного союза Целуса и Терры, сыном от кровосмесительства Неба и Земли. И Титан, женившийся на своей матери Земле, это другая и дополнительная кровосмесительная партия.

И отсюда сам Энцелад был фигурой спорной. Таким образом, Энцелад оказался сыном и внуком инцеста; и ещё — он появился от органического смешения небесного и земного в Пьере, иного смешения, сомнительного, устремленного к небесам, но всё ещё не полностью освобождающего от духа земли, который снова, своей земной скверной удерживал его внизу у его Матери-Земли, там же самой и породившей этого вдвойне кровосмесительного Энцелада. Поэтому настоящий настрой Пьера — как опрометчивое агрессивное отношение к небу — имел в основе своей — и никак не иначе — идею поддержания статуса внука неба. Ведь согласно вечному предназначению этот скованный Титан всё ещё должен был стремиться вернуть своё неотъемлемое отеческое право даже при помощи жестокой эскалады[27]. И потому тот, кто штурмует небо, сам считается лучшим доказательством того, что он произошёл оттуда! Но то, что копошилось во рву перед этим кристаллическим фортом, показывало, что оно родилось в этой тине и навсегда останется там.

Несколько восстановив силы от последнего

---

27 Примечания: 27
Штурм стены, крепости (прим. пер.)

фрагмента этого дикого видения, ввергшего его в транс, Пьер как можно лучше расправил своё чело и немедленно оставил свой фатальный кабинет. Собрав все оставшиеся в нём силы, он решил всё и с силой изменить и, умышленно действуя против своих собственных самых обычных предпочтений, бороться со странной болезнью своих глаз, этого нового смертельного злодейского транса и его адского видения — образа Титана.

И теперь, когда он пересёк порог кабинета, то, мучаясь, умышленно стремился напустить на себя весьма беспечный вид — хотя, как действительно смотрелось его лицо, он сказать не мог. Из-за боязни неких невыносимо мрачных открытий в своём зеркале он в последнее время полностью воздерживался от обращения к нему — и в своем уме он быстро вывел, что равнодушно, обманчиво или беззаботно игриво разговаривать ему стоит только тогда, когда он будет предлагать своим компаньонам маленькие картинки, которые были ему дороги.

И, несмотря на это, мир богов приковал мрачного Энцелада цепью к шару, чтобы затянуть его нагруженные ноги, — и, несмотря на это, тот же самый земной шар выпустил тысячи цветов, хрупкие улыбки которых маскировали его

тяжесть.

Книга XXVI

Прогулка; иностранный портрет; парус и конец

I

«Идём, Изабель, идём, Люси; у нас ещё не было ни одной совместной прогулки. Сегодня холодно, но ясно; и однажды, глядя из города, мы сочтём его солнечным. Идёмте: подготовьтесь, и прогуляемся вниз к причалу, а затем к каким-нибудь пароходам на заливе. Несомненно, Люси, ты сочтёшь, что в пейзаже залива есть некоторые намёки на тот таинственный эскиз, которым ты так энергично занимаешься — прежде чем действительно придут настоящие живые модели — и над которым ты так преданно работаешь в полном одиночестве и за закрытыми дверьми»

При этих словах обычный облик Люси, бледный и трепетный, слегка поколебленный удовлетворением и удивлением — вызванными непредвиденным решением Пьера позволить себе небольшой отдых — приобрёл одно из бесконечных, немых, но необъяснимых выражений,

в то время как её блуждающий кроткий взгляд, полностью озадаченный, уставился на пол.

«Всё уже закончено», — вскричала Изабель, — но, внимая этой сцене, резко вышла вперёд, чтобы перехватить мгновенный увлечённый взгляд Пьера на возбуждённую Люси. — «Эта мерзкая книга, она закончена! — Слава Богу!»

«Но поэтому», — сказал Пьер, и, сместив все маски, беспокойное требовательное выражение внезапно появилось на его лице, — " до того, как эта мерзкая книга будет закончена, я должен оказаться в некой иной стихии, нежели земля. Я сижу на седле земли, пока не утомился; я должен теперь на некоторое время перескочить на другое седло. О, мне кажется, смелому человеку для езды необходимо два неутомимых коня — Земля и Море; и, как циркачи, мы никогда не должны спешиваться, а только продолжать движение и отдыхать, перепрыгивая с одного коня на другого, пока они всё ещё бок о бок несутся вокруг солнца. Я был на коне Земли так долго, что теперь испытываю головокружение!»

«Ты никогда не бываешь в состоянии выслушать меня, Пьер», — сказала непритязательная Люси, — «нет нужды в таком непрерывном напряжении. Посмотри, Изабель и я, обе предлагаем

тебе быть твоими секретарями, — не просто в копировании, а в самом написании; я уверена, что это серьёзно поможет тебе»

«Это невозможно! Я дерусь на дуэли, в которой все секунданты запрещены»

«Ах, Пьер! Пьер!» — вскричала Люси, опуская платок в своей руке и смотря на Пьера с невыразимой тоской, происходящей от некоего непостижимого чувства.

Безмолвно глядя на Люси, Изабель приблизилась к брату, схватила его за руку и проговорила: «Я ослепла бы вместо тебя, Пьер; прямо здесь вынула бы эти глаза и использовала бы их в качестве очков». Сказав это, она снова на мгновенье со странным высокомерием и вызовом взглянула на Люси.

Главная часть непреднамеренного выпада, выгоняющего в путь, была сделана.

«Вы готовы; идите впереди», — кротко сказала Люси, — «я буду следовать за вами»

«Нет, обе под руку», — сказал Пьер — «идёмте!»

Как только они вышли через низкий арочный вестибюль на улицу, проходящий матрос с обожжёнными щеками игриво воскликнул — «Плотней держись, дружище; это узкий пролив!»

«Что он говорит?» — тихо спросила Люси. —

«Да, Это действительно — узкий проход с улицы»

Но Пьер чувствовал, как внезапная дрожь передалась ему от Изабель, которая прошептала ему на ухо что-то невнятное.

Проходя мимо одного из проездов, они приблизились к яркому плакату на двери, объявлявшему, что выше по лестнице находится картинная галерея с работами, недавно привезёнными из Европы, которые теперь свободно показываются на выставке, предваряющую их продажу на аукционе. Поскольку такой встречи Пьер совершенно не предполагал, он все же уступил внезапному импульсу, после чего предложил посмотреть картины. Девушки согласились, и они поднялись по лестнице.

В приёмной он взял в руки каталог и остановился, чтобы бросить на него один поспешный, но всесторонний взгляд. Среди длинных колонок из таких имён, как Рубенс, Рафаэль, Анджело, Доменичино, Да Винчи, бесстыдно снабженных вступительными словами «бесспорно», или «по свидетельству», Пьер встретился с краткой строкой: — «…No. 99. Голова незнакомца, рукú неизвестного художника…»

Казалось ясным, что всё это должно было быть коллекцией жалкой привезённой мазни, кото-

рая с невероятным нахальством, присущим для части иностранных торговцев картинами в Америке, была окрещена самым высокими именами, известными Искусству. Но как наиболее искалеченные туловища античного совершенства не могут не удостоиться внимания студента, так и ничего из большинства неумелого современного несовершенства не может удостоиться внимания студента в настоящем; и оба они — фрагментарны: одно — погибшее в прошлом совершенство; другое — ожидаемое, но пока неосуществлённое совершенство в будущем. Однако, Пьер, проходя мимо плотно завешенных стен, казалось, обнаружил влекомую тщеславием страсть, побудившую многих из этих совершенно неизвестных художников замахнуться слабой рукой на серьёзные темы; он не мог подавить большое печальное предчувствие своего будущего. Все стены мира казались ему плотно завешенным скопищем пустых и бездарных картин, грандиозно обрисованных в общих чертах, но ужасно выполненных. Картины поменьше и поскромней, воспроизводящие небольшие знакомые сюжеты, безусловно, были исполнены лучше всего, но они, даже не раздражая его в каком-либо конкретном смысле, не разбудили

дремлющего величия в его душе и поэтому, в целом, были презираемы как несоответствующие требованиям и не дающие удовлетворения.

Наконец Пьер и Изабель подошли к той картине, которую Пьер обнаружил случайно — под номером 99.

«Мой Бог! Смотри! Смотри!» — с сильным волнением вскричала Изабель, — «только моё зеркало когда-то показывало мне прежде этот взгляд! Смотри! Смотри!»

Из-за некой простой магической превратности судьбы или из-за тонко продуманного мошенничества реальная драгоценность итальянского искусства нашла своё место в этой большой разнородной коллекции подлогов.

Никто из тех, кто прошёл через большие галереи Европы, не смог не изумиться их замечательным и многочисленным высоким совершенством — избыточность которого нейтрализует всю дискриминацию или индивидуализацию способностей большинства обычных умов — ни один спокойный, проницательный человек не может не подвергнуться жесточайшим испытаниям от богов без совершенно определенных особых эмоций, вызванных какой-либо одной или более чем одной, отдельной картиной,

в отношении которой, однако, и каталоги, и критические замечания, и все оклики самых великих знатоков отрицают какую-либо всё превосходящую заслугу при её случайно произведенном эффекте. У нас сейчас нет времени показать это полностью; удовлетворимся тем, что в таких случаях это — не всегда абстрактное превосходство, а часто случайный элемент сходства, которое и вызывает такую замечательную эмоцию. Однако сам человек склонен приписывать её различным причинам; следовательно, безрассудное восторженное восхищение одного или двух людей произведениями, вообще не получавших похвал, — или, самое большее, к которым остальной мир остался равнодушен, — такое явление часто считается необъяснимым.

Но в этой Голове Незнакомца Неизвестного Мастера обычное абстрактное превосходство объединилось с удивляющим всех случайным сходством совокупных впечатлений, появившихся при воздействии на Пьера и Изабель. И странность эта на очевидное равнодушие Люси к самой этой картине вообще не повлияла. Действительно, Люси, которая вследствие случайного толчка из толпы высвободила свою руку из руки Пьера, постепенно продолжила идти

вдоль зала с картинами — Люси так и прошла мимо странной картины без малейшей особой паузы и уже добрела по кругу как раз к противоположной стороне зала, где к настоящему моменту неподвижно встала перед очень неплохой копией (другим и единственным хорошим произведением в коллекции) самой нежной, самой трогательной, но самой ужасной из всех женских голов — Ченчи, работы Гвидо[28] Известность этой головы состоит в основном, возможно, в поразительном, предсказуемом контрасте, — наполовину идентичном и наполовину следующем аналогии — что существует одно, почти сверхъестественное явление — иногда заметное у девушек из тропических стран — а именно: нежные и голубые глаза с чрезвычайно светлой кожей и свисающими траурными гагатовыми волосами. Но при голубых глазах и светлой коже волосы Ченчи были золотыми — поэтому физически всё находилось в строгом, естественном состоянии, которое, тем не менее, ещё больше усиливало представленную причудливую аномалию в образе такого нежного и по-ангельски светловолосого… существа под двойным капю-

---

28 Примечания: 28

Портрет аристократки Беатриче Ченчи, убившей своего отца, изнасиловавшего её, написанный Гвидо Рени в 1598 году — (прим. пер.)

шоном, а на самом деле — под чёрным крепом из-за двух самых ужасных преступлений (в одном из которых она — жертва, а в другом — преступник), возможном среди цивилизованного человечества — инцеста и отцеубийства.

Теперь эта Ченчи и «Незнакомец» были вывешены на достойном возвышении в одном из верхних рядов, на противоположных стенах, точно друг напротив друга, да так, что они, казалось, таинственным пантомимическим образом вели разговор над головами нижестоящих живых зрителей.

С обликом Ченчи оказались знакомы все. У «Незнакомца» была голова тёмного, миловидного юноши, важно выглядывающего из темноты, матово затенённого и двусмысленно улыбающегося. Драпировка не была раскрыта; тёмная голова со свежими, вьющимися, гагатовыми волосами, казалось, только что выбралась из-за занавесок и облаков. Но для Изабель глаза и лоб обладали неясным сходством с собственными чертами, в то время как для Пьера это лицо было частичным воспроизведением того портрета, что сгорел в гостинице. Не то, чтобы отдельные особенности были теми же самыми, но проникновенный взгляд, более тонко

переданная внутренняя цельность, были почти идентичны; тем не менее, для всех картина несла определенный отпечаток иностранного происхождения, европейского, как на самом лице, так и на манере письма.

«Это? Это? Может ли такое быть?» — с жаром прошептала Изабель.

На этот момент Изабель ничего не знала о картине, которую уничтожил Пьер. Но она только помнила живое существо, которое — назвавшись её отцом — навестило её в ярком доме, в который она была удалена в детском возрасте крупной и неописуемо приятной женщиной в экипаже. Без сомнения — хотя действительно она не могла вообще не ощущать его в своём собственном мистическом сознании — она должна была, так или иначе, но определенно представлять себе, что всегда с течением жизни изнашивается сам облик каждого человека, кроме того, что есть у него самого, вследствие очень краткого периода его возможного существования. Зная это — или мечтая об этом, как, возможно, и было, — только при взгляде с одной точки зрения и под одним и тем углом, она не смогла постичь его как-то иначе. Действительно или нет эти соображения относительно Изабель в данный момент зани-

мали Пьера, — весьма маловероятно. Во всяком случае, он ничего не сказал ей, либо чтобы обмануть или отрезвить, либо чтобы просветить или закрыть. Ведь, действительно, он был настолько сильно скован своими собственными глубоко внутренними эмоциями, что не мог в тот момент рассмотреть аналогичные чувства в Изабель. Поэтому сложилась весьма удивительная ситуация: несмотря на то, что оба были сильно взволнованы одним объектом, их сознание и воспоминания всё же были заняты совершенно разными предположениями; и одновременно оба — пусть и необоснованно — но, возможно, смутно предполагали, что каждого из них занимало одно и то же предположение. Пьер думал о портрете на стуле, Изабель — о живом лице. Всё же пылкие восклицания Изабель, ссылавшиеся на живое лицо, теперь, и в самом деле, механически находили ответ у Пьера, в словах ссылавшегося на портрет на стуле. Тем не менее, всё оказалось столь тонким и спонтанным, что никто, возможно, никогда позже не обнаружил бы этого противоречия; из-за того, что последующие события закружили их так быстро и неотвратимо, у них не осталось времени для относимой к прошлому спокойной мечта-

тельности, возможно, обязательной для такого открытия.

«Это? это? это возможно?» — прозвучал горячий шёпот Изабель.

«Нет, этого не может быть, этого не существует», — ответил Пьер, — «одно из замечательных совпадений, и ничего больше»

«О, этими словами, Пьер, мы не без успеха стремимся объяснить необъяснимое. Скажи мне: это существует! это должно быть! это замечательно!»

«Давай уйдём отсюда, и давай всегда молчать», — быстро сказал Пьер и, отыскав Люси, они вскоре покинули место; как прежде, Пьер, с виду не желая обращаться к кому-либо из тех, кого он знал, или к тем, кто знал его компаньонов, подсознательно ускорил свои шаги, одновременно стремясь ради пространства следовать оживлёнными улицами.

II

Когда они поспешно уходили, Пьер молчал, но дикие мысли в его сердце кричали и неслись наперегонки. Само по себе сильное движение, коренным образом изменяющее мысли, смещало в нём пласты, отсылая его к Изабель; но — хотя

в то время он едва ли ощущал эти сдвиги — эти мысли были ему совершенно неприятны.

Как он узнал, что Изабель была его сестрой? На фоне туманной легенды тёти Доротеи, которой, в некоторых тёмных местах, здесь и там, казалось, соответствовала ещё более туманная история Изабель, — хотя, определенно, недостаточно — обе из которых таким образом туманно соединяли повествования, сочтённые в сумеречном свете реальной голой правдой. И были ещё какие-то намёки, не достаточно точные, и его собственные отложившиеся тусклые воспоминания о смертном ложе его бредящего отца (хотя, с одной точки зрения, эти воспоминания, возможно, предоставляли собой определенную часть предположений относительно того, что его отец был родителем непризнанной дочери, — всё же они совсем не ставили окончательную точку относительно личности этой предполагаемой дочери, и великий вопрос стоял теперь перед Пьером, необычный вопрос — была ли у его отца дочь, допуская, что именно ...Изабель.., а не какое-либо другое живое существо ...была этой дочерью..,), и он откладывал в сторону все свои собственные разнообразные и всепроникающие мистические и трансцедентальнные убеждения, — поро-

дившие изначально, как он теперь, казалось, чувствовал, простую сильную воспроизводящую саму себя восторженность, — восторженность не долгую, как и всё издавна происходившее с ним. Сдвинув всё это в сторону, он и пришёл к простым, ощутимым фактам, — как появилось его ...знание.., что Изабель была его сестрой? Ничего из того, что он видел в её лице, не могло напомнить ему его отца. Портрет на стуле был всей суммой и сутью всего возможного, раковой опухолью, совершенно допускаемым доказательством, которое странным образом было предъявлено именно ему самому в отдельности. Всё же здесь был другой портрет совершенно незнакомого человека — европейца; портрет, привезённый из-за моря для продажи на публичных торгах, был таким же сильным доказательством, как и другой. Тогда оригинал этого второго портрета был таким же отцом Изабель, как и оригинал портрета на стуле. Но возможно, что не было никакого оригинала вообще для этого второго портрета; он мог быть чистой фантазией, для которой самомнение, — действительно, нехарактерно раздутое, — казалось, не предоставило ни малейшего основания.

Такие удивительные размышления внутри

Пьера, — растущие как зажатые скалами волны, накатывающие на берег самых скрытых тайн его души, пока он шёл рядом с Изабель и с Люси, корпусом касающейся его с боку, — были совершенно непереводимы в какие-либо пригодные для описания слова.

В последнее время Пьеру намного более ярко, чем когда-либо прежде, вся история Изабель казалась загадкой, тайной, образным бредом, тем более, что он весьма глубоко проникся тайнами своей книги. Поскольку тот, кто максимально практикуется и очень сведущ в мистике и тайнах, тот, кто по роду занятий имеет дело с самой мистикой и тайной, — часто этот человек больше, чем кто-либо ещё, предрасположен считать подобное у других весьма обманчивой подтасовкой и аналогичным образом стремится быть материалистом во всех своих собственных простых личных понятиях (как элевсинские жрецы в обычной жизни), и больше, чем какой-либо другой человек, часто склонен, в основе своей души, бескомпромиссно скептически относиться ко всем романтическим и призрачным гипотезам любого вида. Тут — только без мистиков, или наполовину мистиков, которые, вернее говоря, оказываются просто доверчивыми людь-

ми. Поскольку у Пьера оказалась очевидная аномалия ума, то вследствие её, самой по себе действительно глубокой, он стал скептически относиться ко всем предложенным глубинам, как раз когда обычно предполагается обратное.

Под воздействием некой странной силы удивительная история Изабель, возможно, была, некоторым образом и по некоторой причине придумана для неё в её детстве и хитроумно внушена её юному сознанию, и, подобно небольшой зарубке на молодом дереве, — уже расширяясь, росла вместе с ней, пока не стала таким огромным, широко раскрытым чудом. При проверке реальности чего-либо практическим и основательным путём всё уже выглядело менее вероятно, — так, например, вообразив себе пересечение моря в своём детстве при последующих вопросах Пьера, она даже не знала, что вода в море была солёной.

III

Пребывая во власти всех этих душевных волнений, они пришли на причал и отобрали самую привлекательную из различных лодок, стоявших в трёх или четырёх смежных пристанях, которая как раз направлялась на полчаса под парусом по прекрасной шири этого великолепного зали-

ва. Вскоре все уже быстро скользили по воде.

Они стояли, облокотившись на ограждающие перила, словно на остроносом судне, брошенном посреди высокого соснового леса из судовых мачт и густого подлеска и зарослей тростника из карликовых палочек шлюпов и шаланд. Вскоре каменные шпили на земле смешались с деревянными мачтами на воде; теснимый между двумя рукавами реки большой город почти исчез из поля зрения. Они пронеслись мимо двух небольших островков, удалённых от берега, полностью обогнули далёкие купола из песчаника и мрамора и достигли большого возвышенного купола широко открытых вод залива.

В тот день в запертом городе чувствовался небольшой бриз, но на открытом природном просторе бриз дул теперь прямо в лицо. Волны начали собираться и накатываться, и, как только они достигли точки, где на удалении между высокими мысами крепостей широкий залив на глазах вливался в Атлантику, Изабель судорожно схватила руку Пьера и заговорила.

«Я чувствую его! Я чувствую его! Это оно! Это оно!»

«Что ты чувствуешь? — что именно?»

«Движение! движение!»

«Разве ты не понимаешь, Пьер?» — сказала Люси, следя с беспокойством и обращаясь к его бледному, напряженному лицу, — «Это волны, это движение волн, о которых говорит Изабель. Гляди, теперь они катятся прямо с моря»

Пьер снова погрузился в ещё более странное молчание и задумчивость. Было невозможно полностью сопротивляться силе этого нанесенного удара, подтверждающего, безусловно, самое удивительное и невероятное в полностью удивительной и невероятной истории Изабель. Он хорошо помнил её туманное воспоминание о бушующем море, которое не качалось подобно этажам неведомого, покинутого, старого дома среди гор, похожих на горы во Франции. Пока он был погружён в эти взаимно нейтрализующие друг друга мысли о странной картине и последних восклицаниях Изабель, лодка прибыла к месту назначения — небольшой деревне на пляже, невдалеке от великого синего шлюзового канала, ведущего в океан, который был теперь видим ещё более отчётливо, чем прежде.

«Нам не стоит останавливаться здесь», — прокричала Изабель. «Глядите, давайте пройдем туда! Белл должна пройти там! Смотрите! Смотрите! там в синеве! вон там, вон там! ...далеко!

…далеко, далеко, и далеко, и далеко, там! где встречаются две синевы и исчезают — Белл должна пройти!»

«Зачем, Изабель», — пробормотала Люси, — «нужно ехать в далёкую Англию или Францию; немного друзей ты найдешь в далёкой Франции, Изабель»

«Друзья в далёкой Франции? А какие друзья у меня здесь? — Ты мой друг? В глубине своего сердца ты желаешь мне добра? И для тебя, Пьер, я разве не ужасная помеха, отделяющая от всего твоего счастья? Да, я пойду вон туда — вон туда; туда! Я пойду, я иду! Отпустите меня! Дайте мне нырнуть!»

В это мгновенье Люси бессвязно перевела взгляд с одного на другого. Но оба, она и Пьер, теперь уже снова машинально схватили Изабель за безумные руки, как только они опять устремились за пределы лодки. Они тянули её назад, они говорили с нею, они успокаивали её; но, хотя и не столь истово, Изабель всё ещё с серьезным подозрением смотрела на Люси и с глубокой укоризной на Пьера.

Они не оставили лодку, как намечали; все и так были слишком рады, когда она освободилась от своей привязи и повернула обратно. Ступив

на берег, Пьер снова торопил своих компаньонок при неизбежном проходе по многолюдным проездам, но попросил идти менее быстро, как только они зашагали по более тихим улицам.

IV

Добравшись до Апостолов и оставив обеих своих компаньонок заниматься личными делами в своих комнатах, Пьер, притихший и полный решимости, какое-то время посидел возле печи в столовой, а затем собрался было войти в свой кабинет из коридора, когда Делли, внезапно последовав за ним, сказала ему, что она прежде забыла упомянуть о том, что он найдет два письма в своей комнате, которые отдельно оставлены у двери во время отсутствия адресата.

Он прошёл в кабинет и медленно задвинул засов — за неимением ничего лучшего, им оказался старый притупленный кинжал — медленно прошагал до стола, не касаясь своей кепки, и посмотрел на письма. Они лежали печатями кверху; взяв в каждую руку по письму, он приподнял их и разложил по бокам от себя.

«Я не вижу написанного; мои собственные глаза ещё не знают, что они адресованы мне; все же этими руками я чувствую, что теперь держу по-

следний кинжал, который должен будет нанести мне удар; и, нанося мне удар, они также нанесут… мне… множество быстрых ударов штыком при отскоке. На какое указать для начала? — на это!»

Он надорвал и открыл письмо, лежащее слева:

«СЭР, Вы — мошенник. Под предлогом написания для нас популярного романа, Вы получили от нас наличные, в то время как провели через нашу прессу листки с богохульной рапсодией, украденной у поганых атеистов, Лукиана и Вольтера. Наше сильное стремление к публикации к настоящему времени прекратило какой-либо контроль за читательской корректурой Вашей книги. Не посылайте нам другой рукописи. Выставленный к настоящему моменту счёт за печать, а также за Ваш аванс, обманом от нас полученный, находится теперь в руках нашего адвоката, которому приказано обходиться с Вами максимально жестко.

(…Подписано…)
СТАЛЬ, КРЕМЕНЬ & АСБЕСТ.»

Он свернул левое письмо, придавил его своей левой рукой и так и оставил её на нём, а затем вскрыл правое письмо.

«Ты, Пьер Глендиннинг, — искусный злодей и лжесвидетель. Это единственная суть этого письма, главный смысл листка, лежащего перед тобой; эта суть, оказавшись в твоём сердце, разнесётся отсюда с твоей кровью по всему твоему телу. Мы готовы подождать, чтобы подтвердить и укрепить нашу ненависть. Каждый сам по себе и все вместе мы клеймим тебя, каждую клетку твоих лёгких, как лжеца, … лжеца, потому что это — презрительное и гадкое название для человека, который есть скопище всего, что позорит свет.

(…Подписано…)
ГЛЕНДИННИНГ СТЭНЛИ,
ФРЕДЕРИК ТАРТЭН»

Он свернул правое письмо и положил его под свою правую ладонь; затем сомкнул обе свои руки, лежащие на обоих письмах.

«Это совсем мелкие неприятности; но поскольку сейчас они происходят со мной, то показывают всю безграничность. На данный момент меня подковали ненавистью! На ней я поскачу к своему оправданию! Я больше не придерживаюсь каких-либо условностей. И хлеб насущный, и дух чести украдены у меня, но я бросаю вызов всему хлебу и духу. Здесь я выхожу в саму космическую

ширь, за границы растянувшихся миров, и вызываю одного из них и всех до одного на поединок! О, Глен! о, Фред! я совсем по-братски бросаюсь в ваши ломающие ребра объятия! О, как я люблю вас обоих, кто всё же смог зажечь во мне живую ненависть в том мире, в котором иной человек заслуживает только застойного презрения! — Тогда где этот мошенник, где книга этого фантазёра? Здесь, на этом мерзком прилавке, на котором фантазёр рассчитывал передать её миру, — здесь я быстро пригвозжу его за обнаруженный обман! И как только пригвозжу, то плюну на него, и тем самым обрету начала злейшей и оскорбительной мировой мудрости! Теперь я выйду, чтобы встретить мою судьбу, идущую ко мне по улице»

С надетой шляпой и письмом Глена и Фредерика, машинально сжимаемых в его руках, он — словно сомнамбула — прошёл в комнату Изабель, которая издала высокий, длинный вопль при виде его поразительно белого и измождённого лица, и затем, не имея сил придвинуться к нему, села ошеломленная на свой стул, словно забальзамированная и остекленевшая под ледяным лаком.

Он не внял ей, но прошёл прямо через обе смежные комнаты и без стука и каких-либо на-

мерений вошёл в комнату Люси. Он прошёл бы оттуда и в коридор, без единого слова, но что-то его задержало.

Мраморная девушка сидела перед своим мольбертом, маленькой коробкой с мелками для рисования и несколькими карандашами бо бокам; её волшебная палочка для живописи зависла напротив рамы; тёмно-серый карандаш застыл в двух пальцах, в то время как той же самой рукой, держа корку хлеба, она слегка тёрла портретную бумагу, чтобы удалить какой-то необдуманный штрих. Пол был усыпан крошками и тёмно-серой пылью; он глянул на мольберт и увидел набросок своего собственного портрета.

Мельком заметив его, Люси не встала и не пошевелилась; её собственная палочка как будто так очаровала её, что она сидела с отсутствующим видом.

«Мёртвые тлеющие угольки погасших огней, лежащих возле тебя, огораживают девочку; мёртвыми тлеющими угольками ты снова пытаешься зажечь пламя всей погашенной любви! Обрезки от хлеба — это не хлеб; съешь их — но только в горечи!»

Он повернулся и вышел в коридор, а затем, вытянув руки, остановился между двумя внешними

дверями Изабель и Люси.

«Большая часть моей искренней молитвы — за вас обеих, поскольку здесь и теперь из-за ваших незаметных и замороженных стульев вы никогда не сможете вызвать живой спор; — глупец из-за Правды, глупец из-за Достоинства, дурак из-за Судьбы теперь оставляет вас навсегда!»

Как только он ускорил свои шаги вниз по длинному извилистому проходу, кто-то нетерпеливо окликнул его со ступенек.

«Что, что, дружок? куда теперь в такой порывистой спешке? Привет, я говорю!»

Но, вообще не обращая на него внимания, Пьер продолжил свой путь. Миллторп с тревогой и волнением недолго смотрел ему вслед, затем начал было преследовать, но снова остановился.

«У этого Глендиннинга была когда-то чёрная вена; и теперь это вена как будто бы вздулась, словно осталась одна затычка выше жгута, с большим трудом затянутого. Я не достаточно смел, чтобы теперь преследовать его, но всё же моё сердце внушает мне опасение, поэтому я должен это сделать. — Пойти в его комнаты и спросить, что за беда — что за беда случилась с ним? — Нет; это еще не всё, — могут подумать, что я назойлив — говорят, что я склонен к этому. Я буду

ждать; что-то скоро может начаться. Я пойду на ближайшую улицу и немного прогуляюсь, а там — посмотрим»

V

Пьер прошёл в дальнюю часть здания и сразу же вошёл в одну из известных ему комнат Апостолов. В ней никого не оказалось. Он на мгновенье поколебался, затем подошёл к книжному шкафу с выдвижным ящиком в нижней части, заполненном вещами.

«Здесь я видел, что он положил их, … это, … нет… здесь… да… попробуем так»

Когда он взломал и открыл запертый ящик, перед ним предстала пара пистолетов, пороховница, сумка с пулями и круглая зелёная коробка с капсюлями.

«Ха! кто знает, какие поразительные инструменты использовал Прометей? но они удивительны тем, что могут разом разрушить все высочайшие тринадцатилетние труды Прометея. Приходите: вот две трубки, что издадут гул тысяч труб Гарлема. — В них появится музыка? — Нет? — Тогда вот славный порошок для пронзительного дисканта и аккомпанемента для тенора и ведущая пуля для завершающего баса!

И, — и, — и, — да; в качестве основной упаковки я пошлю назад их ложь и всажу этот обжигающий запал в их мозги!»

Он оторвал ту часть письма Глена и Фреда, которая больше всего была наполнена ложью, и, разорвав её надвое, обеими обрывками запыжил пули. Он заложил по пистолету за каждую полу своего пальто и по заднему проходу спустился на глухую улицу, направив свои быстрые шаги к центральному городскому проезду.

Стоял холодный, но ясный, тихий и относительно солнечный день между четырьмя и пятью часами вечера; в этот час большая яркая авеню больше всего наполнялась величественно катящимися каретами и гордо шелестящими гуляющими — как мужчинами, так и женщинами. Но в этот раз они были, главным образом, сосредоточены на одной широкой мостовой, ведущей на запад; другая мостовая почти совсем пустовала, выручая носильщиков, официантов и курьеров от магазинов. На западе мощёной улицы, вверх и вниз, на три длинных мили, два потока лощёных, укутанных в шали и поплин жителей нескончаемо тёрлись друг о друга, словно длинные, великолепные, свисающие шлейфы хвостов соперничающих павлинов. Не смеши-

ваясь ни с кем из них, Пьер следовал посреди потоков. Из-за его дикого и обречённого вида люди, шедшие с ним по пути, прижимались к стене, идущие навстречу — к обочине. Неосознанно, в глубине сердца Пьер пронизывал взглядом всех идущих в потоках. Он связал себя с откровенной, математически выверенной целью. Пока он шёл, глаза его были начеку: особенно он поглядывал на пустынную мостовую напротив, дабы пустота не обманывала его; он сам часто ходил по этой стороне, чтобы лучше разглядеть людской поток на противоположной. Как только он достиг большого, открытого, треугольного пространства, обстроенного по краям самыми величественными общественными зданиями — главной авансцены города, — он увидел Глена и Фреда, идущих от него на расстоянии по другой стороне улицы. Он прошёл дальше и скоро увидел их, идущих ему наперерез, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Он прошёл ещё, когда внезапно убежавший от него вперёд разгорячённый Фред уже остановился (потому что Фред не хотел лично нападать на одного в одиночку) и прокричал «Лжец! Злодей!» Глен подскочил к Пьеру сбоку, и с такой молниеносной свирепостью, что одновременный удар его воловьей кожи рассёк Пьеру

щёку и оставил на ней наполовину мертвенно-бледный и наполовину кровавый след. В один момент люди разбежались от них во все стороны и оставили их — на мгновение отскочивших друг от друга — в паническом кольце. Но хлопнув обеими ладонями по обеим бокам, Пьер, избавляясь от внезапной прямой хватки обеих примчавшихся девушек, выхватил оба пистолета и очертя голову ринулся на Глена.

«За каждый свой удар ты получишь здесь по смерти! Убить тебя это несказанная сладость!»

Брызги его собственной родственной крови лежали на мостовой; его собственная рука загасила в родственной бойне жизнь единственного человека, законно носящего фамилию Глендиннинг, — и Пьер был схвачен сотней соперничающих рук.

VI

На закате этого дня Пьер в одиночестве стоял в низком подземелье городской тюрьмы. Тяжёлый каменный потолок почти касался его лба, да так, что верхние длинные ряды больших галерей с клетками, казалось, частично опирались на него. Его неувядаемые, неподвижные, блед-

ные щёки были сухими, а щёки каменных стен сочились влагой. Запертый сумеречный свет с закрытого двора, пройдя через бойницы в стене, ложился тусклыми полосами на гранитный пол.

«Теперь здесь появился несвоевременный и своевременный конец, — последняя глава Жизни хорошо вписывается в середину! Ни у книги, ни у автора книги нет какого-либо продолжения, хотя у каждого из них есть последние слова! — Это всё пока неоднозначно. Будь я тогда бессердечным, отрёкшимся и презрительно отказавшимся от участия в жизни девочки в Оседланных Лугах, то теперь бы я был счастлив от долгой жизни на земле и, возможно, от долгой вечности на небесах! Теперь это просто ад в обоих мирах. Хорошо, пусть будет ад. Я создам раструб для огня, и вместе с моим дыханием мой пламенный вызов войдёт обратно! Но дайте мне сначала другое тело! Мне предстоит долго-долго умирать, избавляясь от опозоренных щёк. Повешенный за шею ещё не мертвец. — Если что, то я предупреждаю вас! — О, теперь жить, это значит умереть, и теперь умереть, это значит жить; теперь меч для моей души это моя акушерка! — Прислушайтесь! — палач? — кто там идёт?»

«Ваша жена и кузина — так они говорят, — на-

деюсь, так и есть; они могут оставаться до двенадцати», — хрипло ответил тюремщик, заводя шатающихся девушек в клетку и запирая за ними дверь.

«Вы, два бледных призрака, оказались в том, ином мире, где вам не были рады. Прочь! — Хороший Ангел и Плохой Ангел — оба! — Для Пьера это теперь всё равно!»

«О, вы, каменные крыши и семикратно каменные небеса! — не убийца, а твоя сестра убила тебя, мой брат, о мой брат!»

При этих рыданиях Изабель Люси сложилась, как листок бумаги, и бесшумно упала к ногам Пьера.

Он коснулся её сердца. — «Мертва! — Девочка! жена или сестра, святая или злодейка!» — он схватил Изабель в свои объятия, — «в твоей груди нет жизни для младенцев, но есть смертельное молоко для тебя и для меня! — Снадобье!» — и, разорвав на её груди платье, он выхватил оттуда тайно вложенный пузырёк.

VII

Ночью грузный астматический тюремщик брёл по полутёмной галерее вдоль одного из длинных рядов с железными клетками.

«Великан всё ещё там, в той норке, где две мыши, которых я впустил, хм!»

Внезапно в дальнем конце галереи он различил тёмную фигуру, появившуюся из арки, пробежавшую перед дежурным и стремительно приближавшуюся к тому месту, где и стоял тюремщик.

«Ещё родня пришла. Эти побитые ветром парни всегда оказываются перед второй смертью, увидев, что они навсегда пропустили первую. — Хм! Ты что тут болтаешь, приятель? — Хрипишь хуже мен я!»

«Где она?» — в отчаянии крикнул ему Фред Тартэн, — " в камере убийцы её нет! Я искал милую девочку там сразу же после удара, но одно немое существо, которое я нашёл там, только воздело свои безмолвные руки и указало на дверь, — обе птички улетели! Где она, тюремщик? Я обыскал всё вдоль и поперёк, но только не здесь. Хоть один ангел когда-то вычищал и освещал ваш гранитный ад?»

«Его сломил ветер, и он же выпустил его на свободу, не так ли?» — хрипло сказал тюремщик уже подошедшему дежурному.

«Этот джентльмен ищет девушку, свою сестру, каким-то образом невольно связанную с заклю-

ченным, которого привели сюда последним. Вы у него здесь каких-либо женщин видели?»

«О, да, — две из них уже там», — направив свой отставленный большой палец за спину.

Фред бросился к означенной клетке.

«О, полегче, полегче, молодой джентльмен», — в его огромной связке зазвенели ключи, — «полегче, полегче, пока не выберу — я здесь — хозяйка дома. — Привет, сюда идёт другой»

Спешащая к ним через ту же самую арку вторая устремленная фигура, теперь уже быстро приблизившись, обогнала второго дежурного.

«Где клетка?» — потребовал Миллторп.

«Он хочет поговорить с последним заключенным», — пояснил второй дежурный.

«Тогда убейте их обоих одним камнем», — прохрипел тюремщик, рывком отворив скрипучую дверь клетки. — «Вот его миленькая комната, господа; входите. Мышиная норка Реглара[29], разве не так? — Того, кто мог бы прослушать кроличью нору на другой стороне Земли; — они все спят?»

«Я споткнулся!» — изнутри прокричал Фред, — «Люси! Свет! свет! — Люси!»

Он беспорядочно ощупал клетку и вслепую

---

29 Примечания: 29
Охотник за привидениями (прим. пер.)

поймал Миллторпа, который также двигался на ощупь.

«Не трясите меня! Уберите ваши окровавленные руки! — Хо, хо, свет! — Люси! Люси! — она упала в обморок!»

Затем оба снова столкнулись и разлетелись друг от друга уже в клетке: и на какой-то момент всё, казалось, стихло, как будто все сдержали дыхание.

Как только пробился свет, Фред обнаружился на полу, держащим на руках свою сестру, а Миллторп — стоящим на коленях около Пьера и держащим его безвольную руку в своей, в то время как Изабель, медленно двигаясь, прислонилась к стене между ними.

«Да! Да! — Мёртв! Мёртв! Мёртв! — без единой видимой раны — его нежное оперение скрыло её. — Ты — адская падаль, это — твоя адская работа! Твои трюки с ружьём одолели эту небесную птицу! О, мой Бог, мой Бог! Ты скальпировал меня этим зрелищем!»

«Разрыв тёмной вены, и вот — потоп — гибель — всё переплелось здесь! Ах, Пьер! мой старый компаньон, Пьер, — одноклассник — приятель — друг! — Наши милые мальчишеские прогулки в лесу! — О, я бы удержал тебя и, под-

шучивая, остерег бы от твоего слишком капризного пути, но ты в этом никогда не нуждался! Что за презрительное простодушие покоится на твоих губах, друг мой! — Руки, опалённые убийственным порошком, всё ещё по-женски мягкие! — Ради Бога, пусть эти пальцы шевельнутся! — одно безмолвное сжатие! — всё кончено!»

«Всё кончено, и вы знаете, что его уже нет!» — донёсся вздох от стены, и из пальцев Изабель выпал пустой пузырёк — словно высыпавшийся песок из песочных часов — и зазвенел на полу; всё её тело склонилось набок, она упала прямо на сердце Пьеру, а её длинные волосы, разлившись по его телу, заключили его в раму из виноградных эбеновых лоз.

КОНЕЦ

Перевод 15.12.2016 Москва

Послесловие

Этим романом я завершаю перевод всех четырех доселе неизвестных русскоязычному читателю крупных романов и повестей Германа Мелвилла.

Книга обладает мистической глубиной. Она отчасти описывает не только то, что произошло с писателем до её написания, но и то, что произошло потом. После её выхода и неприятия читательской аудиторией Мелвилл не смог опубликовать ныне утраченный роман «Остров Креста». Он почти ничего не писал четыре года, разочаровался в религии и это свое разочарование отразил в «Маскараде». Он осознал, что ремесло литератора более не в состоянии обеспечить его семью. Он уходит на государственную службу. Его старший сын, подобно главному герою романа через пятнадцать лет добровольно сводит счеты с жизнью.

Мистика романа охватывает не только персонажей, самого автора и его семью, но и тех, кто пытался перенести содержание книги на другие языки: переводчиков и того, кто воспользовался

языком киноискусства. В 1999 году французский кинорежиссер Леос Каракс экранизировал «Пьера», перенеся его в наше время под названием «Пола Х». Сложно сказать, удачной ли была эта экранизация, но Гийом Депардье, сыгравший главную роль, надолго оказался больным, а потом умер в самом расцвете сил. При невыясненных обстоятельствах через десять лет скончалась и исполнительница другой главной роли — жена режиссера Каракса актриса Екатерина Голубева.

Такова цепь событий.

Главная тема романа — непререкаемое и буквальное понимание принципов чести и благородства, которые губят не только жизнь молодого аристократа, но самых близких ему людей.

А второстепенной, вернее, фоновой темой, стал вопрос «Куда идет Америка?», куда идет её молодежь. Этот же вопрос поднимался и в других книгах Мелвилла — «Марди», «Моби Дике», «Маскараде».

И именно сам этот вопрос, очевидно, не понравился в ту пору читателям и издателю. Не понравился настолько, что следующий принесенный в издательство роман «Остров Креста» не был принят даже в редакцию, а судьба рукописи и её содержание до сих пор пребывают

в неизвестности, что породило массу невероятных предположений.

Очень сложным делом для переводчика оказалось подобрать второе название книги. В русском языке не нашлось четкого синонима слову *ambiguities.* Поэтому я вообще не стал его вписывать и оставил в названии только имя главного героя.

До сих пор не совсем ясно, почему роман почти сто семьдесят не переводился на русский язык. Почему это произошло с первыми тремя книгами, переведенными к двухсотлетию со дня рождения писателя, понятно: «Маскарад» показал Дьявола, чаще, чем кто-либо, рассуждающего о вере, «Марди» — ложные идеалы современных Мелвиллу социальных течений и деспотий, «Редберн» — стремление к свободе на примере измученных дорогами и лишениями эмигрантов. Возможно, что виной тому — отрицательное отношение автора к Великой Французской революции, вынудившей множество невиновных людей бежать за океан и прятаться от революционного террора в других странах и на других континентах.

Так или иначе, но книга, как и много лет назад, не оставляет читателя равнодушным. Мир меняется, но нравственные принципы остаются.